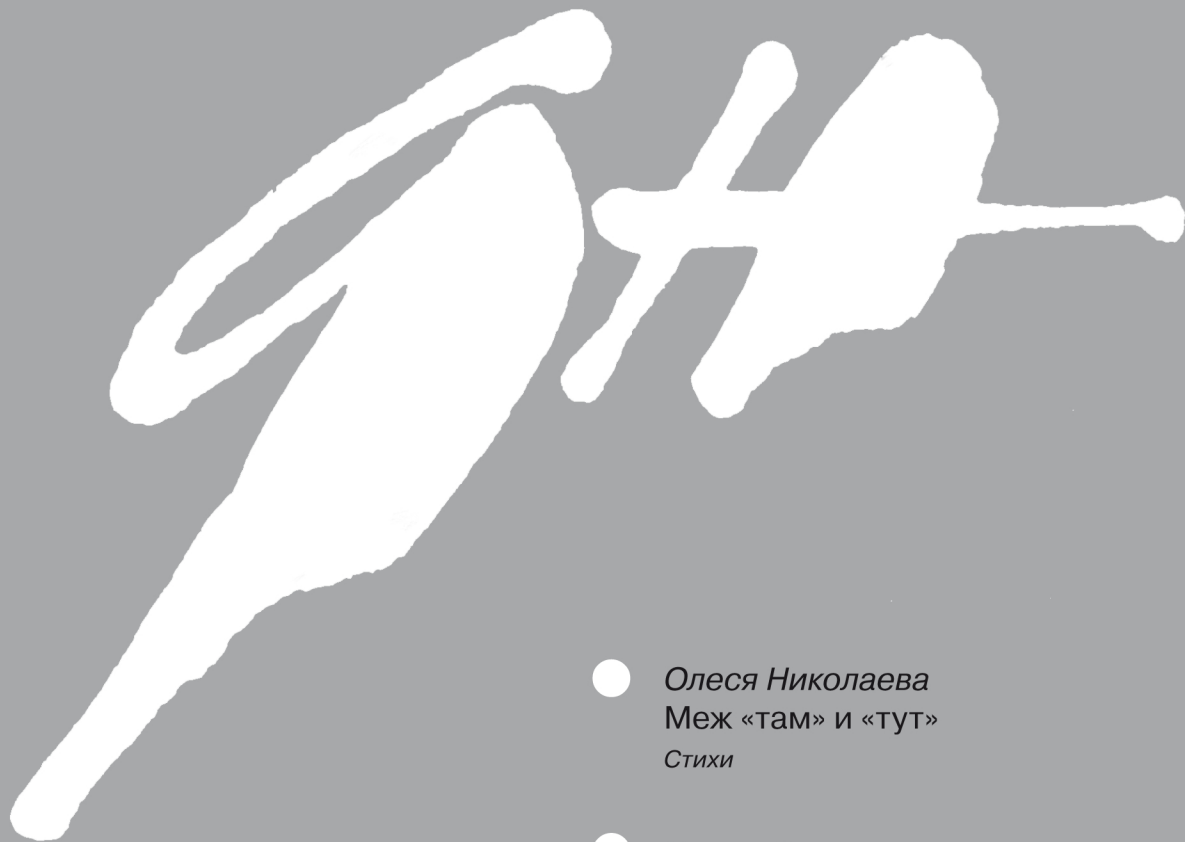




ДРУЖБА НАРОДОВ



- *Олеся Николаева*
Меж «там» и «тут»
Стихи
- *Ирина Василькова*
Водителям горных троллейбусов
Повесть
- *Александр Тимофеевский*
Поэма
- *Александр Бушковский*
Праздник лишних орлов
Повесть
- *Вячеслав Запольских*
В зеркале пермских вод

10'2013

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzhba/
LIVEJOURNAL: http://drujba-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.
Отпечатано в типографии ОАО
«Можайский полиграфический
комбинат», 143200, Московская
область,
г. Можайск, ул. Мира, 93;
тел.: (496)20-685; (495)745-84-28;
факс: (49638)21-682;
www.oaompk.ru, e-mail:
oaompk@oaompk.ru

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 21.08.2013.
Подписано в печать 22.09.2013.
Формат бумаги 70 x 108 1/16
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отг. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 3987. Цена свободная.

Дружба народов

10'2013

Редакционная коллегия

Главный редактор

Александр
ЭБАНОИДЗЕ

Лев
АННИНСКИЙ

Леонид
БАХНОВ

Ирина
ДОРОНИНА

Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Зам. главного редактора

Фарит
НАГИМОВ

Ответственный секретарь

Сергей
НАДЕЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Резо
ГАБРИАДЗЕ

Алла
ГЕРБЕР

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Александр
КЛЯЧИН

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Левон
ХЕЧОЯН

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Олеся НИКОЛАЕВА. Меж «там» и «тут». Стихи	3
Ирина ВАСИЛЬКОВА. Водителям горных троллейбусов. Повесть	7
Илья ОДЕГОВ. Овца. Рассказ	51
Ояр ВАЦИЕТИС. Я к Братьям пришел. Стихи. С латышского. Перевод Ирины Цыгальской	65
Александр БУШКОВСКИЙ. Праздник лишних орлов. Повесть	67
Юрий ОСИПОВ. Неделя в Эйлате. Рассказ	103
Юлия СТОНОГИНА. Второе полугодие учителя Яманэ. Повесть	124
Александр ТИМОФЕЕВСКИЙ. Случай, произошедший в университетском Ботаническом саду Балчика в Еньов день. Силаботаническая поэма	156

Поэт о поэте

Татьяна КУЗОВЛЕВА. Исповедь скорбной души	161
---	-----

Публицистика

СТРАНА РОССИЯ Вячеслав ЗАПОЛЬСКИХ. В зеркале пермских вод	167
--	-----

Нация и мир

Манана ДУМБАДЗЕ. Афганистан сквозь замочную скважину «Барона». С грузинского. Перевод Владимира Маловичко. Окончание	187
---	-----

Критика

Светлана АЛЕКСИЕВИЧ: «Социализм кончился. А мы остались». Разговор ведет Наталья Игрунова	209
--	-----

Книжный развал

Игорь БОНДАРЬ-ТЕРЕЩЕНКО. Санация Санаева	222
Татьяна МОРОЗОВА. Многоуважаемый том	228
Александр ЗОРИН. Поэзия — тоже документ	231

Культурная хроника

Алексей УСТИМЕНКО. Обвиненные в любви	233
К нашей вклейке Усто МУМИН. Живопись	

Эхо

Они и оно. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	252
--	-----



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФОНДА «РУССКИЙ МИР»,
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА
ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ (МФГС)

Олеся Николаева

Меж «там» и «тут»

Заплачка

Не взлюбила свекровь невестку-хохлушку,
Ой, не взлюбила!
Бросала ей в суп колдовскую мушку,
Заговоренным пойлом поила.

Клала молодке иглу в подушку, змейку в одежду,
Бросала ловчую сетку,
Насылала черную кошку,
Черную метку.

Ой, травила свекровь невестку — не дотравила,
Ой, сама проглотила мушку,
Ой, на змейку босой ногой наступила,
Укололася, упав на подушку!

Ой, кричит свекровка, кричит невестка, —
Надрываются!
И обеим с неба летит повестка:
На небесный суд они вызываются.

— Чем тебе не угодила моя хохлушка? —
На суде спрашивают.
— Так проста ведь, Господи, как полушка, —
Отвечает, а ноги ее подкашивают.

— А тебе, невестка, свекровка что ж не по нраву?
— Так зажила, старая, заедает!
А сама ногу леву на ногу праву
Закидывает, крендельком сплетает.

Ну и присуждают им друг друга не хаять
И, пока не полюбят друг дружку, жить кучно.
А не то, говорят, — вечность будете маять
Неразлучно.

Николаева Олеся Александровна — поэт, прозаик, эссеист. Родилась в Москве. Окончила Литинститут им. А.М. Горького. Печатается как поэт с 1972-го. Автор 6 книг стихов, нескольких книг прозы, многочисленных статей и эссе по православной этике и эстетике. Профессор, руководитель (с 1989) семинара поэзии в Литинституте. Лауреат премий Бориса Пастернака (2002), «Anthologia» (2004), «Поэт» (2006) и др. Живет в Переделкине.

И тогда невестка давай холить свекровку,
А свекровь ублажать детинку,
Та этой конфетку дает «коровку»,
Эта той — с люрексом газовую косынку.

А внутри-то у них при этом слова, что жабы,
Ядовитая плещется там водица.
Но им с неба: э, нет, мол, бабы!
Бабы, так не годится!

И тогда невестка свекрови — сироп улыбки,
А свекровь невестке — речи из шелка,
А в глазах — железные ледяные рыбки,
А в сердцах — бессильная ярость волка.

Но опять им: «Вам, непослушным глинам,
Объяснять ли грозами да громами?»
Тут взмолились обе: «Господи, помоги нам!
Тошно нам! Ну, не можем сами!»

На колени падают богомолки,
Только чуют — батюшки, затихают
В глубине души эти жабы и эти волки,
Солнце встало, цветики расцветают.

«Ну, теперь-то можно и расставаться! —
Говорят им с неба. — Ваши прошли печали!»
А они, — ну, плакать, ну, целоваться,
Ну, просить, чтоб теперь-то не разлучали!

Повторяют им строго: «Прощайтесь! Полночь пробило!»
А они обнялись, прильнув друг к другу упрямо.
Ой, и вправду свекровь невестку ту — полюбила!
А невестка ей: «Мама! Мама!»

* * *

Жизнь поучительна: подножка за подножку
И зуб за зуб.
А кто живет слегка и понарошку,
Тот слеп и глуп.

С ним тоже поиграется в наперстки
Лукавый дух,
И в темноте погладит против шерстки
Чужой пастух.

И тоже пересолит, как в насмешку,
Кухаркин друг,
И походя собьет, как сыроежку,
Грибник-дундук.

И вот, отчаявшись и трепеща за око,
Уже всерьез,
Ты видишь, как язык тебя далеко
завел, занес.

И так прозрачна и тонка мембрана
Меж «там» и «тут»,
Что стоит топнуть лишь — и урагана
Жди, баламут.

Но если у тебя внутри не пусто,
Спой до конца
В честь Ока Ярого и высшего искусства
Смирять сердца.

Крысы

По осени — еще с Покрова дня
две крысы поселились у меня.
Сначала боязливо, а потом
нахально, с дерзостью обследовали дом.
Теперь шуршат, снуют туда-сюда,
грызут бумагу, свечи, провода.
В помойке роются, штырь пробуют стальной
и зубы точат о косяк дверной.

Жиреют, наглые, ворчат между собой,
что лучше — войлок? свитер шерстяной? —
что в брюхе книжный переплет урчит,
а клей резиновый на языке горчит.
Что если зубы не точить, то вот напасть, —
они растут и прошивают пасть,
и что попробовав, готова ли стряпня,
пора бы им приняться за меня.

Вот путь природы порченной! Черна
создания падшего слепая глубина,
где заварилась похоть с мятежом,
чтоб кончить людоедским кутежом.
Вот безнаказанного зла широкий путь:
когда пытается герой забыть, заснуть,
не видеть, не хотеть, не быть, не знать,
рискует сам крысиной снедью стать.

А мне что делать? Больше, чем ножа,
крысиного боюсь я куража.
Куда бежать мне за верстой верста?
Но мне сказали: заведи кота.
Как просто все! Не яд, копье и ствол —
есть кот на весь крысиный произвол.
На зубы хищные, на тварей смрадных жесть —
кошачья простота и гибкость есть.

* * *

Лишь стоит вспыхнуть мне и лишь начать,
врагу и местнику в запале закричать:
«Дурак вы, право же, не вам меня судить!», —
душа срывается и ну себе бродить.
И колобродит, темноту вина,
руками шарит в поисках огня
и натывается на все углы подряд
среди насытых мысленных волчат.

Как получается, что бранное словцо
вдруг обретает голос, плоть, лицо?
А каждый резкий жест и гневный крик
вдруг возвращаются, показывая клык?
Но утешительно сознание одно,
что все здесь взвешено в свой срок и сведено.
И в Книге Жизни на простом листе
ты все это читаешь в темноте.

* * *

Когда свет разума погас,
то есть причина
юродом стать в лукавый час.
Гори ж, лучина!

Причина есть дать кругалю:
с тылов и тына
зайти, где мать сыра земля
утешит сына.

И ни во что ему вменит
его провалы,
потухший взгляд, потертый вид
и захудалый.

Не взыщет за растрату дней,
за все непрухи,
за то, что без гостинца к ней
пришел, старухе.

Ни яств заморских, ни речей,
и ни диговин:

пустой, как высохший ручей,
как снег, бескровен.

И говорит земля, к утру
горя зарницей:
— За нищету твою в миру —
Бери сторицей.

От рек подземных и корней,
от тайных токов,
от мифов, соков и теней,
от всех истоков!

Бери — такого не добыть
кайлом и буром,
и ломом здесь не продолбить
в усердьи хмуром.

Пройди сквозь плиты, ослен,
омыт, окислен,
к Тому, Кем был ты сочинен
и Кем исчислен.

Ирина Василькова

Водителям горных троллейбусов

Повесть

Проламываясь через заросли каких-то тростников, оказываюсь на краю — внизу серпантин автомобильной дороги, еще ниже Аламедин петляет по дну долины голубым шнуром, на другом склоне — оранжевые обрывы, овраги и урочища, за ними острые хребты, как штормовые волны, вздыбленная орогенезом суша с вечными снегами на горизонте. Косматые рваные облака мечутся в небе, волоча по земле хвосты синих теней, панорама горной страны дробится на осколки, вспыхивая дополнительными деталями и объемами.

Ууу! Киргизия! Как я здесь оказалась?

Справка

Контора называется СЭС. Битый час проискала ее среди заросших тополями пятиэтажек. Но трамваи в переулке звенели счастливыми голосами детства, а клейкие листья пахли радостью, так что я и не злилась особенно. Контору показал трамвайный водитель — солнце золотило неказистый домик, похожий на трансформаторную будку без опознавательных табличек. Оцинкованная дверь, три раскрошенные ступеньки — и все.

Третий час утешаюсь созерцанием полоумной очереди. Напротив красавец. Седобородый шкипер. Или киноактер. Пялится. Хочет пригласить на чашечку кофе? Наверняка расскажет что-нибудь интересное. Люди с такой внешностью просто обязаны увлекаться слаломом на Хан-Тенгри или рафтингом на Замбези. Что он тут делает? Прививается от экзотической заразы перед очередной экспедицией? Наконец шкипер ныряет в щель кабинета — слышно, как громоподобно трубит монументальная дама, он отвечает виноватой скороговоркой и вскоре выскальзывает наружу, прижимая к груди белый листочек. Моя очередь.

Стою перед нахмуренной особой в крутых кудрях — на голову выше меня, халат трещит на арбузной груди, очки отсверкивают синим, прямо аллегория Медицины. Объясняю, что мне нужна справка об отсутствии в квартире инфекционных заболеваний — последняя из двенадцати, которые требуются, чтобы положить отца на месяц в больницу. Чем болен? — строго вопрошает дама. Объясняю: ничем, старость, Альцгеймер, но от этого не лечат, кривится дама, ну да, знаю, но обещали поколоть витаминами, подкрепить, ну-ну, презирует меня дама, хотите сплавить старика в чужие руки, много вас таких, никакого чувства долга по отношению к родителям, и вообще откуда я знаю, что вам нужна справка, и есть ли у вас направление, а без

Василькова Ирина Васильевна, родилась в Москве, окончила геологический ф-т МГУ, Литературный институт им. А.М. Горького и ф-т психологии УРАО. Стихи, проза, пьесы публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Мир Паустовского», «Современная драматургия». Преподает литературу в московской Пироговской школе, руководит детской литературной студией «19 октября».

направления я не обязана... бу-бу-бу... бу-бу-бу... Тупо смотрю вбок, на не политые горшки с унылой «щучкой» и неизменным хлорофитумом. Интересно, какой диверсант занимается подбором растений для медицинских контор? Почему выбирает именно такие, сгущающие уныние? Дверь неожиданно приоткрывается сквозняком — коридорная очередь, вытягивая шеи, сканирует теткин монолог, извлекая из него свою эфемерную пользу. Достая список. Двенадцать позиций, напротив одиннадцати галочки уже стоят. Но эпидемиологическая дама непреклонна, ей требуется направление по форме такой-то. А место в больнице зарезервировано на послезавтра, и если я не успею... в общем, наворачиваются слезы, на которые аллегория Медицины смотрит с утробным наслаждением и, упившись властью, на кресле-вертушке оборачивается к шкафу. Папка извлечена, пыль сдута, отметка сделана, справка выписана. Победа.

— Можно вас?

Ага, у оцинкованного выхода поджидает шкипер. Хочет познакомиться? Неужели мысль материальна и я домыслилась до совместного кофепития?

Нет, гораздо проще. Он, видите ли, из-за двери все слышал. У него тоже неадекватная старушка-мама. Варит ей кашу, куча денег уходит на памперсы, спать не дает, и с работы его скоро выгонят, и деньги кончились... ааа!!! Все понимаю, человеку поделиться не с кем, а тут — оп! — сходные проблемы! И вот, весь в истерике, красавец-мужщина тащится за мной до остановки и живописует, как старуха его достала. И чем больше живописует — тем больше его бьет нервная дрожь. Видимо, подобные испытания мужикам даются тяжелее. Вот тебе и кофе. Слушаю и киваю — может, человеку и полегчает.

— Удачи вам! — запрыгиваю в трамвай и машу рукой.

Он смотрит вслед глазами больной собаки и вовсе не кажется таким уж кинематографичным.

Гиперкомпенсация

Раньше не вдумывалась в слова молитвы о «кончине мирной и непостыдной».

Может, все неправильно живут, пряча глаза и ни о чем таком не думая. Самый большой дефект нашей цивилизации. Не выпалась, в глазах все плывет, оттого «дефект цивилизации» слипается в «дефекацию»...

Именно. Пришла с победной справкой домой. В квартире пахнет ужас-ужас, отец на полу — упал с кровати, до туалета не дошел. Видимо, давно лежит — белый как мел, руки ледяные. Стонет. Постельное белье стянуто на пол — цеплялся, пытался подняться. Перекатила на клеенку, отмыла, передела. Теперь поднять на койку. Сажаю, прислонив спиной, влезая на кровать, продеваю под мышки жгут из простыни и тяну вверх. Получилось, хоть и не сразу.

Ну вот. Выпил чаю, угрелся и заснул.

Сажу и думаю о «непостыдной». Удручает не физическое — горшки-пеленки, перетаскивание в ванную и обратно — а психологическое напряжение: когда видишь, что боевой офицер, атомный физик, да просто красавец-мужчина превращается в бессмысленное существо.

Психика разумно устроена — когда нет сил, летит предохранитель. В моменты непереносимого стыда, как сейчас, у отца отключается разум — он делается жалким, хнычет, лепечет, а после ничего не помнит.

И мне стыдно — будто я не должна видеть его стыд.

Будто я виновата. Будто мне самой ничего подобного не светит в восемьдесят пять.

Зато потом у него гиперкомпенсация — требует, обвиняет, грозит. Это он-то, который за всю жизнь и мухи не обидел...

Ага, проснулся. Кричит, чтобы я срочно бежала в аптеку за витаминами, от которых он сразу выздоровеет. А если не побегу — то я змея и кровопийца.

С больницей тоже его идея. По радио услышал — есть такая, бывшая «старых большевиков». Какая-то у них двухмесячная реабилитационная программа для стариков. Хочу туда, я что, не заслужил? За соломинку хватается. Поспрашивала — говорят, неплохая. Не лечат, конечно, но в порядок слегка приводят, да и домашним дают передышку. И не так дорого. В общем, решилась.

— Пап, обедать?

— Пошла к черту, раз в аптеку не идешь!

Изображаю, что ушла, хлопая дверью — все равно он ничего не видит. Через пять минут снова хлопаю.

— Пап, принесла! Теперь обедать будешь?

— Теперь буду.

Даю витамин — этих витаминных коробок уже полдюжину на столе, потом подношу ложку с супом. И вдруг:

— Дура! Не то купила! Неправильные! Тьфу на тебя! — выплевывает желтый шарик, неожиданным взмахом выбивает у меня ложку, тарелку, горячий суп льется на грудь, на чистую постель...

— Ааа! Я обжегся! Подуй!

Опять сжался, маленький, несчастный.

И мне опять стыдно.

Все будет хорошо

Больничному коридору полагается быть унылым, но этот и вовсе тусклый. Два крыла здания, построенного буквой П, сдерживают солнце, даже летом воздух в отделении сероватый — то ли туман плавает, то ли дым, то ли строительная пыль из дальней палаты, где два узбека крушат стенку отбойными молотками. По коридору бродят люди-тени, тихо шаркая, шурша, шелестя сухими, изношенными, почти прозрачными оболочками. Старики, старушки — отделение геронтологии общее, без всяких стыдливых М и Ж. В таком возрасте чего церемониться — пусть сидят на соседних горшках, как в детском саду. Бродящих старушек больше — не хотят лежать, из последних сил пытаются пересилить судьбу, ожить, цепляются, тянутся вверх. Вот одна, с бессмысленным выражением выпученных глаз, снова учится ходить — приволакивая обе ноги, шатаясь и опираясь на трость с четырьмя опорами. Никому не видимый героизм, мучительно закушенная губа и тупое улиточье перемещение вдоль длинного ряда палат. Возможно, воля у нее тверже, чем у покорителей Антарктиды, но кто здесь оценит?

На дерматиновой кушетке, здешней лавочке, квашней расплылась деревенского вида бабка — фланелевый халат, серый платок, обрезанные валенки. Рядом примостилась седая леди в сиреновой пижамке и кокетливых тапочках. В той жизни они, может, и не удостоили бы друг друга даже презрительным вниманием, здесь же никак не могут наговориться, и просторечие одной, сталкиваясь с филологической утонченностью другой, высекает стиль, которому позавидовал бы иной писатель.

О детях, о детях — о чем же еще? Все здесь тоскуют о детях — включая совсем полуживых. Та, что в валенках, жалеет, что аборт сделала в восемнадцать лет, осталась бездетной, а та, что в пижамке, утешает — ааа, какая разница, что есть дети, что нет — все равно в итоге остаешься одна.

Ничего нового никто не скажет, ничего интересного не произойдет.

Боже, как здесь можно работать? Выдерживать этот запах, этот ужас, это смирение перед неминуемым, безвыходное ожидание финала, зеленоватую полуживую плоть?

Отец отказывается вставать с постели — напуган последним падением. После переезда в больницу был плох, ничего не понимал. Вчера опомнился и сказал, что даже нравится — много медсестричек, все заботливые, памперсы меняют по десять раз на дню.

Вот такая мне вышла передышка. В припадке авантюризма сажусь в самолет и лечу в киргизский город Бишкек — абсолютно без цели и без смысла. При этом чувство испытываю сложное — с одной стороны, придти бы в себя. С другой — больно оставлять отца на чужих людей. Хотя уверяют, что уход прекрасный, кормят с ложечки, моют и все такое.

— Но он слепой совсем!

— Вы не волнуйтесь, Лариса Петровна! — улыбается симпатичная докторша. — Все будет хорошо. И не таких поднимали. Вот увидите. Ходунки наденем. Эти такими же были — и вон, по коридору ходят. А вам тоже отдохнуть надо!

Всю жизнь считала, что за родителями буду ухаживать сама. Неожиданно оказалось, что ресурсы организма не беспредельны. Но эти люди чужие. А если они не понимают, что проблема у него не в ногах, а в голове? Но все же — профессионалы-геронтологи... А вдруг?

...ну-ну, кивает аллегория Медицины, хотите сплавить старика в чужие руки, много вас таких, никакого чувства долга...

Ох!

Этнографическое

Почему в Бишкек? А случай подвернулся.

Спасибо «Одноклассникам.ру». Не виделась с Петькой лет тридцать, и вдруг нашлись. В десятом классе, сидя на последней парте у окна, веселились, наблюдая, как на детской площадке ясельная группа отнимает друг у друга ведерки и совочки. Теперь известный сейсмолог собирается в Киргизию на международный симпозиум. Мой бледно-зеленый вид кажется ему неправильным и требующим немедленного вмешательства. Мысль прогулять подругу детства по отрогам Тянь-Шаня материализуется в самолетный билет. Положилась на волю обстоятельств. Мироздание не препятствовало, даже помогло собрать двенадцать справок.

Расслабляюсь в самолете «Киргизских авиалиний». Хорошенькие узкоглазые стюардессы разносят напитки. Кофе не предусмотрен, зато чай наливают из облупленного эмалированного чайника фасона 50-х годов.

Рассматривать землю в иллюминатор — из любимых занятий. Чем ближе к цели, тем пейзаж грустнее — казахстанские сумеречные полупустыни с блюдцами соляных озер. Приземляемся в темноте. Научных сотрудников загружают в «уазик», и мы несемся по ночному шоссе. Оно обсажено деревьями, за которыми печально сквозят пустыри. Сидящий напротив старый академик с отчаянием начинает рассказывать. Какие здесь были поля, чем только не снабжали столицу! А теперь — ничего. Он и не видит меня в темноте, но нужно выговориться, голос как ручей, как тоска, как слезы. Родился и вырос на этой земле, много лет возглавлял научный институт, пока не распался Союз и не вышел негласный приказ — наукой должны управлять люди коренной национальности. Пришлось уехать, основал научную школу в России, но жизнь, и детство, и юность, и могилы родителей — все здесь.

Кой-Таш. Ну вот, приехали. Шофер выволакивает чемоданы, объясняет, что на научной станции (на горе) гостиница переполнена, поэтому некоторым придется жить здесь (под горой). Отель поражает шикарным мраморным вестибюлем. Роскошный зеркальный лифт. Две девушки на ресепшене — белые блузки, модные стрижки.

Но внимание, не расслабляться!

Проблема номер раз — в номере никаких удобств. При европейских-то ценах! На этаже полумрак — пробираясь к туалету по сумеречному коридору, натыкаюсь на сонную девицу и пытаюсь уточнить маршрут. Девица в ужасе шарахается, это американская геологиня, не понимающая по-русски и глубоко травмированная варварскими обычаями — необходимостью шастать по ночам. Слышно, как на другом этаже Петька громко сражается с администрацией, пытаясь вытребовать стол, чтобы

пристроить ноутбук. Испуганные киргизские барышни долго не понимают, потом отпирают дверь подсобки с кучей покалеченной мебели. Бери что хочешь!

Не найдя в номере шкафчика для одежды, кидаю вещи на чемодан и проваливаюсь в сон. Снится, что лечу с ледяной горы. То и дело просыпаясь, не могу понять, почему простыня сползает с кровати, причем вместе со мной — утром обнаруживается, что с нового матраса просто не догадались снять полиэтиленовую упаковку. Приходится вспарывать полиэтилен маникюрными ножницами. Непонятно, куда этот объемный ком теперь девать — никаких мусорных корзинок. Бросить, что ли, прямо в коридоре?

Балкон выходит на унылый бурый склон, по которому муравьино ползают овцы и коровы. Пройдясь по этажу, обнаруживаю холл с огромным не работающим телеэкраном. Еще висят постеры — узкоглазые красавицы рекламируют меха и этнические украшения. Здесь задерживаюсь — не с курьезов же сервиса начинать знакомство с новым ландшафтом, знакомство с этнографическими типами важнее. Лица девушек поражают странной негармонической красотой, они грубее знакомых мне узбекских или таджикских, но гораздо разнообразнее. В некоторых проскальзывает что-то монгольско-бурятское или тувинское (может, мне просто примстился настойчивый ветер с востока?). Надвинутые на лоб меховые шапочки и многоэтажные серьги соответствуют типу лица, и я замираю — надо почувствовать здешнюю луноликую эстетику, поймать стиль, ноту, дыхание.

И еще о бытовых мелочах.

Представления хозяев киргизского сервиса об удобстве и функциональности настолько простодушны, что им в голову не приходит привинтить на стенку в душевой крючки для одежды — видимо, ее полагается складывать прямо на мокрый пол или нестись на помывку голышом через весь этаж. Поставить в номер стол или стул тоже не догадываются, зато ковер присутствует непременно. Впрочем, милые люди и стул дадут, если попросишь — только не понимают, зачем. Традиции многовекового проживания в юрте? Но никаких юрт в окрестностях не видно — обычные домики. Может, у них внутри домиков спрятаны юрты? Я выпросила целых два стула — выставила на балкон, будем курить и любоваться закатами.

Манера подавать на стол одну тарелку салата на двоих привела в неадекватное состояние двух американских геофизиков — бедняги не могли понять, почему за свои деньги они не могут получить каждый по отдельной тарелке! Киргизы тем временем смотрели на них, как на придурков — не могли взять в толк, для чего этим людям так много растительной пищи.

Темпераментные итальянцы устроили скандал из-за отсутствия туалетной бумаги и даже накатали телегу на дежурную администраторшу (ну прям как дети малые — свою возить надо!). Расстроенная, она горько жаловалась мне на их двуличность — ведь при всем при том они ей так мило улыбались! Но моей просьбы разбудить меня в полпятого к самолету девушка искренне не поняла — зачем ей так рано вставать, если она вторые сутки не высыпается.

А говорят все местные жители по-русски, и надписи везде русские — ей-богу, чувствуешь себя как дома.

И возлюбленный Аламедин

Пошли вкушать гостиничный завтрак. У официантов обоего пола дресс-код, белый верх, черный низ — претензия на международный стиль. Все молодые и худые, многих можно назвать красивыми. Мне кажется, среднеазиатская красота сильно выигрывает на белорубашечном фоне, а вот пестрое и цветастое делает смуглые лица грубыми. Элегантно обслуженные, получаем... по блюдцу манной каши и ломтику хлеба. И еще несут большой чайник, в котором плавают одинокий пакетик зеленого чая. Мне смешно, а Петька звереет. Спрашиваем у робкой девушки, есть ли поблизости магазин. Ну да, есть, совсем близко, километрах в пяти. Возникает подозре-

ние — а не живут ли тут все впроголодь? Рано утром с балкона видела двух мальчиков — выходили через заднюю дверь кафе, прижимая к груди пакеты с кусками хлеба. Хочется думать, что просто собирались побаловать своих лошадок.

С утра никаких заседаний, идем знакомиться с окрестностями. Ослик чешется о придорожный столб. Через дорогу — безлюдный отель с небольшим парком, тоже безлюдным. У парка свое выражение лица — изо всех сил старается выглядеть культурным объектом. Скушает без воды бассейн, облицованный кафелем с греческими меандрами — на дне сухие листья, шишки, сор. Торчат голубые елки, вдоль арыка с мутно-бирюзовой водой рдеют кусты роз, плакучие ивы свисают в поток, скамейки-качели увиты диким виноградом. Красным песком засыпаны пустые теннисные корты. В центре странное сооружение — синее мозаичное яйцо в два человеческих роста, разрисованное знаками зодиака — дань общекультурным стереотипам. Но где же национальный колорит? Интересно, у киргизов существует своя космология? Или это и есть их космическое яйцо? Спросить не у кого.

Над арыком крытая беседка на столбах — отдыхать над прохладным ручьем в жару, наверное. Через пару дней наблюдаю из отеля — в беседке степенно прохаживаются мужчины в черных костюмах, а среди них хрупкая принцесса в чем-то длинном нежно-желтом. Оказалось, китайский посол с супругой и гостями, пикник у них.

Проходим парк насквозь — а там шум, там речка Аламедин мчится по камням, то разделяясь на струи, то сплетаясь, и когда стоишь на мосту — ледниковой стужей веет от голубовато-серой непрозрачной воды. Не речка — поток, в мужском роде. Это на русской равнине речки, а здесь — кипящий ледяной богатырь. (Неужели так и буду всю жизнь влюбляться в географические объекты?)

Через мост — местные варианты шести соток. Ступенчатые садики лепятся к выпуклостям рельефа, стены из речных валунов, заборы из подручных материалов — спинок кроватей, арматуры, проволоки, рельсов. Совсем недавно в окне подмосковной электрички мелькали такие же коряво огороженные участки, ныне пережеванные неумолимым прогрессом. Пенится поток, вылизывая до глянца каменные глыбы. Как безупречно прекрасны вода, камни, небо — как жалко и отвратительно ржавое искоженное железо!

Людей в проулках нет — видимо, сюда бишкекские труженики приезжают только на выходные. Всех будто сдуло таинственным ветром, и теперь воцарилось безветрие, пронизанное чувством опасности, как у Стивена Кинга. На одном участке вижу женщину со шлангом. Прошу разрешения посмотреть местные розы, но хозяйка не расположена общаться, несмотря на все комплименты розарию. Русская, с седой завивкой — почему-то кажется, что бывшая библиотечка — но гримаса выражает подозрительность и желание, чтобы чужаки быстрее отсюда свалили. Мы ей пришельцы, мы из отеля, как из инопланетного корабля. Почти ксенофобия.

Какая-то странная цепкость зрения. Ау, я не во сне? Еще вчера была Москва. Но во сне все дрожало бы многослойно и объемно, как в толще воды, а здесь резкая отчетливость всего, от муравья до дальних гор. Можно потрогать шершавую стену или уколоть шипом палец — убедиться в материальности. Поднимаемся на каменистую грядку. Под нами садики, ниже — красная крыша нашего псевдоевропейского шале, а посмотреть вверх — на склоне дрожит мираж призрачного города с миниатюрными дворцами, куполами и полумесяцами — местное кладбище. Бежит по грядке грунтовая дорога, втягиваясь в соседнюю долину — а там, в перспективе, зеленые склоны становятся все голубее и все теснее, и взгляд упирается в дикий, ослепительно снежный пик.

Субкультура

А вот и земной рай. Научная сейсмологическая станция РАН около Бишкека — единственная, сохранившаяся за пределами России (такая же в таджикском Гарме

была разгромлена в ходе межклановых столкновений). Лет десять назад здесь возник Международный научно-исследовательский центр.

Станция — на высоте 1700 метров, тридцать лет назад здесь был лысоватый холм, джайлоо для киргизских овец. Теперь — научные и жилые здания. Сотрудники посадили деревья, развели цветы, вымостили дорожки, разбили парк — стало похоже на курортную зону.

Про людей особо. Если наука — это своя субкультура, то комплекс наук о земле — субкультура еще более специфическая. Ух, какие кадры! Фанатическая увлеченность, неиссякаемый оптимизм, отсутствие патологической депрессии и эмоциональное здоровье. Люди занимаются настоящим делом! Вот она, реальная метафизика счастья!

Пока Петька общается с коллегами и готовится к докладу, брожу с фотоаппаратом по задворкам территории, проникаясь ощущением места. Какие-то строения, между ними снуют люди, занятые делом — тут автопарк, там тащат баллоны для газосварки, здесь тарыхтит движок. Пытаясь найти площадку для съемки, проламываясь через заросли каких-то тростников, оказываюсь на краю — внизу серпантин автомобильной дороги, еще ниже Аламедин петляет по дну долины голубым шнуром, на противоположном склоне — оранжевые обрывы, овраги и урочища, за ними острые хребты, как штормовые волны, вздыбленная орогенезом суша с вечными снегами на горизонте. Косматые рваные облака мечутся в небе, волока по земле хвосты синих теней, отчего панорама горной страны дробится на осколки, вспыхивая дополнительными деталями и объемами.

Аж дух захватило.

Почему мы так любим смотреть сверху — с гор, башен, верхних этажей? Что-то распахивается, раскрывается, что-то освобождается, мы думаем и чувствуем уже иначе. А когда спуск — горное ущелье, или тесная улица, или узкий коридор — мы сворачиваемся, поджимаем ноги, скрючиваемся эмбрионом — и кто мы тогда? Или каморка, будка, чулан, тюремная камера, больничная палата. Клочок неба в зарешеченном окне не спасает — никакого объема, просто синий лоскут, ему не хватает линии горизонта, чтобы стать трехмерным. Говорил же Айтматов: «Если правда, что душа после смерти переселяется во что-то... хотелось бы мне превратиться в коршуна-белохвоста, чтобы летать и глядеть не наглядеться с высоты на землю свою». В те дни Киргизия прощалась с Айтматовым. Как он и хотел, его похоронили по мусульманскому обряду недалеко от Бишкека, в мемориальном музее «Ата-Бейт», рядом с могилой отца и еще ста тридцати семи человек разных национальностей, расстрелянных в годы репрессий.

Вспомнила, как однажды в Киеве меня пригласили в гости — в знаменитый «Замок Ричарда», на откосе над Андреевским спуском. В те времена он был еще жилым домом. Нас ждала самая верхняя, совершенно экстремальная квартира — вход не из подъезда, а прямо из воздуха, только пройти по узкому навесному мостику. Вы бы попробовали сделать это зимой! — смеялась хозяйка. Восхищало все — нестандартная планировка, стеклянный потолок в кухне. Но главное — балкон. Вышла и задохнулась от открывшейся панорамы — Днепр сверкал внизу, и далеко-далеко видны были заднепровские дали.

— Видеть такой пейзаж каждое утро — становишься совершенно другим человеком!

— Именно поэтому я и переехала. Провернула дико сложный обмен и теперь — здесь.

У нее за спиной осталась какая-то травма — развод или что-то вроде, я не стала любопытствовать. Понятно, что это была ранозаживляющая квартира.

И здесь — в том же духе.

Выдираясь из зарослей обратно, натыкаюсь на тетку в сатиновом рабочем халате, с метлой. Сказать, что смотрит недоуменно — это ничего не сказать, поэтому я начинаю почти оправдываться.

— Красота у вас тут! Не оторвешься!
— Понимаю, — усмехается. — Я один раз пыталась уехать. Вышла на пенсию, решила — вернуться в Россию. Год без гор выдержала — и назад.
И опять думаю: видеть это каждый день — вот вам и другой менталитет!
Я не только про сатиновую тетку, я про всю прекрасную Киргизию.

Прекрасная Киргизия

Мы забыли, что природа — не только фон жизни нашей, а силовое поле, которое сгущает человеческую суть, дает энергию и просветляет. Экзистенциальный культуролог Георгий Гачев называл природу мистической субстанцией. Ее нельзя включить-выключить, она постоянна как формирующий нацию фактор. Природа разная — и народы разные.

И как же прекрасно выразился Гачев: «возлюбленная непохожесть»!

Только тем здесь и занимаюсь, что этой непохожести внимаю. Отправляюсь исследовать Аламединское ущелье. Табун рыжих коней в лоб штурмует крутой склон, поднимает тучу пыли — красивые животные, пружинные сгустки энергии. Возможно, это в них киргизский национальный дух. А возможно, в неведомых цветах — сотни белых султанов дрожат на длинных стеблях, пронзив суровую каменистую почву. Потом уже в справочнике нашла — эремурус.

Дорога вьется по склону, а внизу, в долине, меж беспорядочно расставленных юрт медленно бредут две маленькие фигурки, старик с палочкой и старушка в национальной одежде. Едва переставляют ноги, поддерживая друг друга, и нежно-розовый шелк на ней кажется невероятно трогательным.

Разгадку народа всегда пытаюсь искать именно в женщинах — они связаны с природой первобытной дремучей силой. У оседлых азиатов все понятно — сиди на женской половине дома и не вылезай, чтобы не попасться на глаза чужим мужчинам, отсюда все эти абаи, паранджи и прочие маскировочные средства. А вот женщина на коне не может носить паранджу — это крайне неудобно. Кроме того, в юрте нет никакой женской половины. Суровый кочевой быт приучает к труду совместному и нелегкому, а привычка ездить верхом — к вольнолюбию и непокорности. Внутренне, по крайней мере, должно быть так — а внешне оно может выглядеть и по-другому. Есть степные, «горизонтальные» варианты кочевниц — казашки, монголки, бедуинки, а здесь добавляется еще и вертикальная составляющая — дочери гор.

Тянь-шаньская горная страна, как все современные области орогенеза, буквально горит под ногами. Плакаты на симпозиуме изображают разбитую на блоки земную кору, испещренную стрелками — видно, что здесь каждый блок не только движется, но и вращается. Представьте, что вы сидите на битой тарелке, которую кто-то толкает снизу, да еще крутит. Еще одна специфическая грань менталитета — фатализм — должна вырабатываться, когда в любую минуту может тряхнуть, да как! Кстати, юрта — идеальный в этом смысле вариант, дом не рухнет, и хозяев не пришибет. Зато пришибить могут камни, селевые потоки и прочие конвульсии окружающей среды.

Давешний академик рассказывал, как летел на вертолете во время Сусамырского землетрясения — видел поверхность земли, ходившую волнами, сиреневое свечение и похожие на молнии электрические разряды: пьезоэлектрический эффект кварцсодержащих пород или ионизированный газ, выходящий по разломам. Мало трясушки — еще и высокое напряжение! И вот такая земля у народа под ногами. Веками ходят-бродят силовые потоки, завязываются в узлы. Нынче если произносишь слова «энергия» или «поле», тут же набегают brave гуманитарии и записывают тебя в мракобесы-эзотерики. Хотя поле — реальность, всего-навсего одна из форм материи.

Суммируем исходные данные: наэлектризованная земля, горный ультрафио-

лет, радиоактивность, жесткий континентальный климат, перепады высот — вычисляем национальный характер. Должен быть как кремний.

А на вид — милые, доброжелательные люди. Немного робкие, даже застенчивые. И угостить всегда готовы — правда, с национальными блюдами мне не шибко повезло. Гуляем с Петькой по дороге, а ветер страшный, с ног валит, пыль закручивает столбами. На обочине потрепанный «жигуль», на капоте клееночка парусит, прижатая камнями, бутылки-стаканчики, и местные жители, сильно стесняясь, приглашают выпить с ними водки за русско-киргизскую дружбу. Это работники нашего кафе, и они нас узнали, и русских ну прямо так любят — словом, почему бы и нет? Один нюанс — в качестве закуски на клееночке стоит одно-единственное блюдо с белым-непонятно-чем, и меня упрашивают закусить местным деликатесом — курдючным салом. Беру кусочек и... Момент был в некотором роде политическим — выплюнуть субстанцию было так же неприлично, как запятнать межнациональную смычку. Пока киргизы доброжелательно глазели мне в рот, Петька незаметно выплюнул отраву в кусты. Весь последующий день я жестоко страдала — аптек на обозримом расстоянии тоже не оказалось, верный друг испуганно отпаивал меня чаем. Так что пробовать кымыз и прочие местные яства уже не хотелось. И как они только усваивают эту гадость? Видимо, не только менталитет бывает национальным, кишечная микрофлора тоже.

Еще из забавного — в ущелье попало кафе, и захотелось культурно посидеть. Пиво принес плечистый высокий красавец Алмаз. Разговорились — гордо объявил, что работает здесь только летом, а зимой предпочитает в Москве, в итальянском ресторане.

— Почему в итальянском? — поразились мы.

— Да он только считается итальянским, а на самом деле хозяин — киргиз! Наш, местный.

М-да... Москва все слопает.

Кин-дза-дза

Нас повезли на Иссык-Куль, на геологические экскурсии. Упиваюсь геологическими картами, формами выветривания, сдвигами, зеркалами скольжения и просто дикой вздыбленной красотой. Смотрю с серых и оранжевых склонов долины Чу, как зеленая вода, пенясь, влечет стайку разноцветных любителей рафтинга. Пью вкуснейший чай в придорожном кафе, похожем на советскую столовую. Разглядываю войлочные узоры юрт, возле которых продаются кымыз и курут, а потом вяленая рыба, и рыбы становится все больше — и чувствуется, что озеро близко.

Несколько километров пылим по окаймленной далекими горами равнине — гигантской свалке, где под ветром трепещут миллионы полиэтиленовых клочков — как же люди все умеют загадить! Снова и снова кладбища — скопления игрушечных восточных дворцов с башенками и полумесяцами на шпилях. Иногда это лишь фасады, за которыми ничего нет — у тех, кто победнее. Разнообразие форм, фантомы несуществующих городов — вместо настоящих. В Киргизии нет национальной архитектуры, это народ кочевников. В современных поселках — уныло сляпанные бетонные или саманные хибары, с вывесками «Интернет» или «Европейская кухня». И железо, ржавое железо. А вот кладбища — о, фата-моргана!

За спиной остался Балыкчи — бывшее Рыбачье. А заозерный Пржевальск теперь называется Каракол. История слизнула русские названия — к чему они нерусскому ландшафту? Огибаем Иссык-Куль с юга. Грубые, пестрые, диковатые краски. Прибрежная равнина покрыта глинами — зелеными, малиновыми, серыми, изгрызена следами водных потоков, проточивших в рыхлом делювии крутые каньоны.

Автобус вползает на перевал, вокруг мрачно и каменисто — щебенка, валуны, на них пустынный загар, черный с металлическим блеском. Нас выпускают полубопыт-

ствовать — можно рассмотреть мелкую цепкую флору, а можно влезть на холм и сфотографироваться на фоне гипсового снежного барса с отбитым носом.

У озера ярче, пестрее — на песке кисти лиловых цветов, оранжевые ягоды эфедры, за ними нереально синее вода. С юга цепи гор — нижняя бурая, над ней сине-зеленая, выше всех фиолетовая с вечными снегами.

Местечко называется Каджи-Сай.

Пустая гостиница задумана как курорт — с гор течет целебная вода, и на первом этаже можно принять радоновую ванну за смешную цену. Впрочем, та же вода и в номере — пахнет, как нарзан, а раковина и душ основательно покрыты густой ржавчиной. Поболтав с девушками на ресепшене, узнаю, что жизнь грустная, работы нет, им чудом удалось пристроиться в гостиницу, но постояльцев тоже нет — дорого, поэтому все боятся увольнения. Раньше в нескольких километрах, у подножия хребта, действовал урановый рудник, но теперь рудничный поселок покинут — пустые пятиэтажки с выбитыми стеклами. Были попытки занять население какой-то ерундой вроде производства шариковых ручек, но не сложилось, теперь все разъехались — кто в Москву, кто в Новосибирск. В основном — дворниками. На бывшем руднике хранятся радиоактивные отходы, поэтому местность сильно «фонит», и гулять в ту сторону не советуют, хотя ущелье очень живописное.

Петька некстати порвал штаны, битый час ищем, где купить в поселке нитку с иглой. Ужасы современной торговли — «пепси» и чипсы на каждом шагу, а нитки — проблема. Наконец нашли, но только белые, а штаны хаки. Ну ладно, хоть так.

Прогулка по окрестностям заставляет вспомнить любимое кино — «Кин-дза-дза». Визуальный ряд в этом смысле сильнее сюжета. Замеченное песками колесо обозрения убеждает в тщетности цивилизации — на подсознательном уровне. Свидетельство реальной экологической аральской катастрофы. На Иссык-Куле вроде бы не было катастрофы, но о ее ползучей агрессии напоминают груды металлолома на пляже и брошенные в песках ванны. И почему проявления энтропии, связанные с антропогенными объектами, в большинстве своем так абсурдны и тоскливы? Видимо, не доведенный до конца или ввергнутый в обратную перспективу акт Созидания содержит в себе некую отраву, над которой можно только иронизировать — чтобы не признаться в истинном положении вещей.

Еще интересней, почему формы ландшафта (а ведь вся геоморфология — это тоже энтропийные отпечатки, следы процессов разрушения) никогда не оставляют депрессивного впечатления, а напротив, прекрасны и гармоничны для человеческого глаза?

Марсианские пески

Взять хоть песок — тоже продукт энтропии.

Следующая экскурсия — на оранжевые отложения киргизской свиты. Рыхлые, причудливо выветренные красноватые толщи, откосы, башни, склоны. Заберешься повыше, смотришь вниз — вплотную стоят остроконечные возвышенности, похожие на шлемы. Войско засыпано, а шлемы торчат. Верхушки совершенно голые, а между ними, на красных песках — странная пустынная флора. Совершенная Неземля, чуждая красота.

И никаких человеческих следов.

Вдали, где рыжая тектоническая складка расходится веером, зеленеет что-то вроде рощицы. Местный геолог говорит, там бьет родник, и обитает отшельник, но туда не стоит ходить, чтобы мудреца не тревожить — не любит. Вообще-то Каджи-сай — это «ущелье ходжи». Говорят, здесь проповедовал в XVII веке знаменитый чудотворец — наставник суфизма. Может, и этот, нынешний — тоже какой-нибудь суфийский дервиш.

Маячит бетонный макет крепости с квадратными зубцами — здесь снимали фильм про Чингисхана. Непонятно, какую архитектуру киношники взяли за образец. Мы мало знаем о здешней сложной и многослойной истории — кочевые народы

прокатывались волнами, не оставляя материальных следов. Первобытные охотники, скифы, тюрки, монголы и множество других племен, названия которых не сохранились. Говорят, на дне озера есть средневековые города — почему бы и нет?

Сидя на красном холме, вижу, как по вьющейся внизу дороге, прихрамывая, пылит фигурка в розовом — одна из наших девушек. Я заметила ее еще в автобусе, у нее явные признаки ДЦП — но она исследует местность не менее увлеченно, чем другие. Геологические девушки вообще особое племя. У моего бывшего завлаба на кафедре геохимии была коронная фраза: «У нас женщин нет, а есть только сотрудники!» Я раньше злилась, а сейчас оценила. Это же субкультура с приставкой гео-... Негородские горожанки, одним словом. Женщины в ландшафте. Энергичные, умные, позитивные.

Жизнерадостной особе в маечке и шортах, ковыряющей что-то геологическим молотком, не меньше семидесяти. А другая прекрасная доктор наук скачет по марсианским холмам в свеженаложном гипсе, радуясь, что вчера ее настиг перелом руки, а не ноги. И уверяет меня, что ландшафт — точь-в-точь пустыня Гоби!

Они гармоничны, веселы и полны творческих планов. У них нет неврозов и постпенсионных депрессий. Женщины без возраста. Никаких сугубо дамских разговоров — пять минут о детях-внуках, а потом все быстренько сворачивают на оценки полей естественных напряжений литосферы или мониторинг геоэлектрической неоднородности. Счастливые фанатки!

Ну, идеализирую, конечно, но не сильно...

Усматриваю прозрачное сходство с женским архетипом кочевницы. Мобильность внутри ландшафта, полная в него включенность, погруженность во все эти стихии камня-земли-воды, не умозрительно, а визуально и тактильно. Умение ловить подземные энергии — те ловят «животом», а эти геофизическими приборами. А палатка — не сестра ли юрты? Перетаскивая жилище с места на место, привыкаешь всякий раз видеть мир в другом ракурсе.

Мусульманство здесь самым причудливым образом переплетается с более ранними культами, почитавшими животворящую силу природы и мифологических прародителей. Вот во что интересно вникнуть! Но религиозная жизнь нынешней Киргизии осталась для меня неведомой. Видны были из автобуса редкие мечети, но выглядели они стандартным новоделом с оцинкованными куполами. Скоплений народу около них не наблюдалось. Честно говоря, киргизский ислам показался весьма неубедительным — во всяком случае, по части внешнего вида. За все время попались только две девушки в мусульманских нарядах и хиджабах — одна в черно-белых шелках, вторая в неистово-розовых, обе смотрелись декоративно, как на карнавале. Преобладает интернациональная голопузая джинса. Тот же местный геолог уверяет, что из всех азиатов киргизы — самая безрелигиозная нация. Хотя, на мой взгляд, буддизм был бы суровым горцам к лицу. Совершенно не удивилась, узнав, что в ущельях на южном берегу Иссык-Куля встречаются древние камни с буддийскими символами и древнетибетскими надписями.

В общем, за такой срок нельзя многого понять, но можно кое-что почувствовать.

Прощальный вечер на берегу. Диковато-мрачный закат ляпает пурпурные полосы на гладь воды и подсвечивает далекие снежные цепи. Они остаются последним ясным пятном, все прочее исчезает в фиолетовом сумраке.

В аэропорту, просвечивая чемодан, озадачилась. Это что? Камни... Полчемо-на? Зачем везешь? Не зачем, нравится... Может, образцы ценных руд? Может, их нельзя вывозить? Да нет, обыкновенная зеленая галька с Аламедина... Что с ней делать будешь? Ничего, художественную инсталляцию... Ааа, тогда иди...

На обратном пути поняла, что мне больше всего понравилось в Киргизии кроме пейзажей — киргизы. Суровые дети гор не назойливы и деликатны. Почти не затронутый цивилизацией менталитет.

Затмение

Экзотика кончилась, началась Москва.

Сегодня обещали солнечное затмение, но я не видела, сидела в больнице. Отделение для стариков — гибрид ада с сумасшедшим домом. Даже при самом замечательном уходе. Медперсонал — ангелы. Агукают, как с младенцами. Правда, сегодня одна медсестрица истерически вопила — но только потому, что пассионарная бабушка все время вырывала у себя из вены капельницу. А в остальном все очень гуманно.

У больных тоже у всех затмения, у каждого свое. К примеру, санитарки конфисковали любимый ножик, которым я папе яблоки режу — из-за того, что полоумная старушка Марта его похитила и носилась с оружием по коридору. Сосед по палате может только мычать и слегка двигаться, но движется исключительно к нашей тумбочке, моментально сжирая бананы и пряники, приносимые папе. На здоровье, конечно, папа обижается — воспрепятствовать грабежу не может в силу лежачести. Наевшийся Дмитрий Палыч тем временем так взбадривается, что даже пытается шлепнуть санитарку по заднице. Он лысый, и у него острые мохнатые уши.

Другой сосед, овощеобразный Витя, допившийся до инсульта, способен только маниакально дергать штору так, что карниз уже перекосялся, и страшно, не даст ли он в итоге Вите по башке.

Врачи говорят, что папа у меня золотой, капельницы, таблетки, уколы — все выносит смиренно. Прозвали «интеллигентом» — потому что все время просит кофе. После акатинол-мемантина в его голове несколько прояснилось — но стало ли от этого лучше? Если в невменяемом состоянии он озабочен исключительно ловлей мафии, главным мафиозо считая председателя садового товарищества, то в моменты просветления переживает из-за своего жалкого состояния и из-за того, что создает мне проблемы. А у меня в голове свое затмение — то ли я делаю? Вроде бы человека лечить надо, не вопрос — но для чего, если он так страдает? Может, пусть уж лучше ничего не понимает? Может, я не права с этим лечением?

— Я вашему батюшке сегодня трижды пеленочку меняла! — санитарка Марь Иванна, субтильная старушка за семьдесят, с личиком, как печеное яблочко, суется и оттягивает кармашек халата. Опускаю деньги в кармашек. Тут звонит мобильник — другу-поэту не терпится прочесть свеженаписанный стишок. Хороший стишок, не спорю, почти гениальный, но слушать стишки в палате имени Альцгеймера — совсем уж запредельно.

Выпозла на улицу в слезах, зачем-то забрела на рынок, купила в утешение кустик алых роз и розовую гортензию для дачи. И еще китайскую блузку вишневого цвета. И все, заметьте, в теплой гамме — типа лекарство от депрессии. Тоже своего рода затмение — ну, к чему летняя блузка, когда лето кончилось?

Командир батареи

Отец лежит под капельницей, откинувшись на подушку. Бессильные руки на больничном одеяле. Что у него было всегда красивым — так это кисти, длинные пальцы. Не хирург, не пианист — военный инженер. Теперь синюшные, почти неживые. Он для меня всегда был идеалом, и невозможно привыкнуть к тому, что это уже как бы и не он, а совсем другое существо — капризное, агрессивное, бессмысленное.

Совсем недавно с ним можно было поговорить, даже посмеяться вместе. Странно, я чувствовала себя защищенной, наливая слепому и слабому восьмидесятилетнему старику традиционный шкалик в День артиллерии. Человеку, который любил меня больше, чем кто бы то ни было в жизни, и эта странная субстанция любви даже тогда оставалась защитой.

— Пап! Расскажи что-нибудь!

— Не буду! — сердился он, будто я пыталась военную тайну.

Но, размякнув от двух стопок, медленно и неохотно начинал вспоминать, а потом входил во вкус, и все виделось как наяву.

Сорок первый год, август, отступаем от Брянска. У девятнадцатилетнего командира батареи под началом четыре пушки, семьдесят взрослых мужиков и семнадцать лошадей. Вот вам и военная тайна — механического транспорта не хватает, вся надежда на гужевой. Лейтенант умеет рассчитывать траекторию артиллерийского снаряда, но не умеет запрягать лошадей в пушку. Солдаты, только что оторванные от крестьянского хозяйства, зовут его «сынок», добродушно подтрунивают, но всячески помогают — ловят сбежавших лошадей, лечат их потертости, а один, лет пятидесяти, даже добровольно исполняет роль денщика, пришивая лейтенанту подворотнички.

Но командир отвечает за всех, и когда начинается непонятная канонада, снаряды падают уже за околицей деревни, а связи со штабом почему-то нет, лейтенант самолично лезет с биноклем на самое высокое дерево для выяснения обстановки. Солнечный луч, цейссовская оптика, блеснувшее стекло бинокля — немцы засекают цель, следующий снаряд ложится почти точно. Рядом с деревом вырастает второе — из вметнувшихся осколков и земли, ударная волна сшибает наблюдателя с ветки. Лейтенанту повезло — живой, хотя и без сознания. Осколочное ранение, полгода госпиталя, рука не действует, отправка в тыл — в Среднюю Азию, в училище, готовить молодых офицеров. Это приказ, ты здесь нужен больше, кадры решают все. На фронт больше не взяли, хотя рвался, заявления писал. Хотел отомстить за семью — ленинградец. Но подчинился приказу — вот и считал себя всю жизнь виноватым.

Звонили недавно из военкомата.

— Ваш отец воевал в ноябре сорок первого? Составляем список, кому положены подарки в честь обороны Москвы.

— Нет, он был ранен раньше — в августе, под Брянском.

— Тогда не положено. Вычеркиваем.

Ему про звонок не сказала, но он счел бы дискриминацию справедливой. Подумаешь, герой — два месяца только и был на фронте. А Средняя Азия — тыл. Жара, пыль, скорпионы, фаланги и снова госпиталь — на сей раз малярия, но это совсем другая история.

Медсестра Фаина, неопределенного возраста мечта поэта, пробегает мимо, щеголяя розовыми (опять!) брючками и стуча каблуками белых сабо. Мне очень нравятся цвет ее помады и золотые цепочки на шее, они будто излучают уют и тепло, и больничная атмосфера становится похожей на домашнюю. Сладкая, сладкая речь — во рту халва. Действует на меня утешающе.

— Деда бы вымыть пора, — советует Фаина. — Давайте, а?

Соглашаюсь и сую ей в карман деньги.

— Я и побрить могу. И постричь.

Добавляю.

— Вы не волнуйтесь, все будет в лучшем виде! — медноволосая красавица лучезарно улыбается. Я ей верю. У нее очень красивая помада.

О множественности миров

Ну да, они существуют параллельно, как волокна, сплетенные в канат.

Вроде бы живешь внутри своего волокна, от остальных отгораживаясь — ан нет! Не дадут отгородиться!

Иду с приятелем по Тверской — он хихикает: «На этом углу мне всегда девочек предлагают». Блин, каких еще девочек?! Для меня это место знаковое — там, за углом, кафе «Десерт», где благородные дамы раз в месяц пьют кофий и собирают денежку на онкологических детей. А тут — «девочек»... Тьфу! Фантомы какие-то! Неет, смеется он, это твои благотворительные дамы — фантомы.

Или вот любимая дача — что может быть реальнее цветов? Но развалившееся крыльцо недочинено — доски уже месяц валяются, а главный строитель-таджик отбыл на родину — сказал, на свадьбу дочери. А ты и поверила! — ехидничает соседка. У нее в голове совсем другая реальность, в которой на территории нашего садового товарищества соперничают две таджикские мафии, а крышует их главный бандюган — сын местного лесника, он их стравливает и на этом имеет немалый куш. А я-то надеялась, что Саид с дочкиной свадьбы вернется и крылечко достроит! А он в бегах от Сафара! Или это не наяву происходит, а только в соседкиной реальности?

А у водителя негабаритного прицепа мало того, что свои собственные мировые константы, но и топология пространства сильно отлична от моей. Он в своей вселенной вполне успешно вписался в поворот дачных улиц, но заборчик-то мой снес и смылся! Так что в его реальности он победитель, а я в своей — лузер.

У бедного отца в голове — своя реальность. Вчера встретил возмущенными криками:

— Где водители горных троллейбусов прячут горячее?!

— Я про них ничего не знаю! — пытаюсь остановить лавину.

Обижается:

— Скрываешь? Ты же сама их водишь!

Значит, существует и такое мироздание, в котором я — водитель горных троллейбусов? А вдруг отца и не надо лечить, из той реальности вытаскивать? Вдруг ему там хорошо? Может, и мне бы там хорошо было?

Еду домой в задумчивости, ливень хлещет — а по кромке Измайловского лесопарка идет совершенно голая девушка с распущенными (сухими!) волосами. Величаво так идет, с эзотерическим выражением лица. А эта, интересно, в каких мирах сейчас пребывает?

Не знаю, как это все совмещать в своей голове... И надо ли?

Витаминами и лекарствами его накололи, выглядит окрепшим, но встать с постели совсем не желает. Сердобольная медсестра Таня несколько раз пыталась поставить его на ноги — заходится в крике, как младенец, аж синеет. Таня отступает.

— Плохо! — говорит она мне. — С ногами-то все в порядке, но сам не хочет. А нельзя старому человеку лежать — пойдет застой, долго не протянет.

Хотели на коляску посадить, вывезти в садик погулять — не справились. — Не хочууу! Уйдите!

Отбивается яростно — откуда силы только берутся.

Со зрением тоже непонятно. Резко стало падать после маминей смерти. Три операции сделали в хорошей клинике, хрусталик поставили израильский — врачи говорят, все прошло удачно, остатки зрения удалось спасти. Очки прописали новые.

А он — не видит.

Может, причина тоже в голове — он без мамы эту жизнь просто знать не хочет. А видит совсем иное:

— Лариса, смотри, смотри, вон мама! Да вот же она, в дверях стоит!

Нашла у Нины Горлановой:

«...оттого, что мы, женщины, живем другой жизнью, у нас литература все-таки другая. Мне говорят — ты пишишь быт. Да никакого быта нет. Быт — это философия, выраженная в поступках...»

Акатинол-мемантин

Все утро провисела на телефоне — занималась выяснением, где раздобыть инвалидную коляску на денек, чтобы отца переместить из больнички домой. Пыталась заказать специальную перевозку в больнице — сначала сами предложили, а теперь говорят — ненадежно: просишь на 9 утра, а могут приехать в 11 вечера, а его к тому времени уже из палаты выселят, и где ж ему лежать, ожидая — на полу в

коридоре, что ли? Прокат колясок упразднен, я звонила по всем объявлениям — отвечали, что уже прикрыли услугу, поскольку невыгодно. От слова «невыгодно» хочется вопить и кусаться. Масса жизненно необходимых вещей объявлена невыгодной.

После обеда забежала в школу распечатать макет школьного альманаха, встретила маму ученика-инвалида, та обещала одолжить на пару дней коляску. И еще у нее скопилось много лишних памперсов. Ура!

Помчалась в больницу — отец психует вслух, потому что начисто забыл, кто он и где он. Ему страшно, как заблудившемуся дитю. В больнице дубарь, как в холодильнике, его даже грелками обкладывали на ночь, чтобы не кричал, но не помогло. В виде исключения разрешили надеть на пациента кальсоны. К тому же у него в голове случился сдвиг, что его не кормят — теперь он ест не переставая, но ничего не усваивается. Весу осталось килограммов сорок.

Врач делает выписку из истории болезни, перечисляет рекомендованные лекарства, но про алатинол-мемантин напоминает только устно — не велено выписывать ветеранам такие препараты. Одна медсестричка вчера шепнула мне на ухо, что даже дорогие лекарства полагаются инвалиду войны бесплатно, поэтому наша милая врач не может писать их в карту, иначе ее просто уволят. За разбазаривание государственных средств. Экономия такая.

Отделение похоже на сумасшедший дом, особенно одна распатланная седая старуха, которая воет целыми днями не переставая — просто так. Я когда тут сижу, впадаю в какую-то кафкианскую реальность и вообще не чувствую, что где-то есть другая жизнь.

Фаина, которая слупила с меня кучу бабок на помыть-побрить и ничего не сделала, наконец вышла из запоя — свежа, как ландыш, и брючки розовые. Пьет? Не осуждаю — работа нервная. Но вот как бы на сиделку такую же не нарваться! На поиски сиделки осталась неделя — варианты лопаются один за другим. Слишком тяжелый случай, всем хочется клиента полегче.

При этом мечтаю скорее на работу — ученики уравновесят этот бред, и, может, мне перестанет везде мерещиться старуха с косой, которая промахивается по папе и попадает по мне. Завтра у меня пятиклашки и шестиклашки. С одними про сказки, с другими про мифы.

Прорвемся...

Перед выпиской завотделением сказала:

— Будем в интернат оформлять?

— Зачем это? — оторопела я.

— Через месяц вы его обратно к нам привезете, вот увидите. Не выдержите. Так что давайте оформлять сразу сейчас, так проще.

Еще чего!

Оказывается, не давал спать всему отделению — кричал, чтоб подключили его к каналу гринвичского времени. Три ночи — он и воющая старуха. Но ее перевели в психиатрическое, и она через два дня умерла.

Что он уже дома — не понимает. Я в легкой панике — спать по ночам, похоже, не придется. Истерика у него через каждые полчаса. Дневная сиделка обойдется в мою зарплату. К тому же придется уйти на полставки.

Нарастающая деменция приводит ко все более бессмысленно-младенческо-му состоянию, но проблески сознания маркируют процесс — процесс отмены конвенциональных запретов и умолчаний. Система контроля отказывает. Вылезает природное-несоциализированное. Выяснилось, что может послать всех матом, чего я не слышала ни разу. Ну, возможно, на своих ядерных полигонах он и мог, но чтоб дома, в присутствии женщин — ни-ни. Дает нелестные, но метафорически точные характеристики родным и близким, чего в силу повышенной деликатности никогда раньше себе не позволял. А сегодня, прибежав в три часа ночи на крик, услышала, что он вслух «размышляет о тяжелой женской доле».

— Ну, почему ты всю жизнь должна нас, мужиков, обслуживать? — кипятится он. — Это несправедливо!

А ведь раньше никогда не сомневался в порочности феминистского подхода!

Здесь и там

Тук! Тук!

Мой сон плотнее воды в аквариуме, а этот звук — как торканье ладонью по стеклянной стенке, как гидравлический удар, тупо и болезненно отдающийся в теле. Господи, чем он стучит? Старческий кулак почти бесплотен — наверное, дотянулся до кружки и теперь колотит ею.

Тук! Тук! Тук!

Надо встать.

Осенние ночи темны и плотны. А в этой комнате особенно — окно выходит на глухой брандмауэр, прямой свет от фонарей и чужих окон не проникает сюда, разве какие-то слюдяные отблески, редкая световая пыль. Зажигаю лампу — наливается сиянием теплая сфера, края ее мерцают и уходят во тьму, но совсем уйти не дают стены — здесь всего-то метров шесть квадратных. Мечется на подушке — живой скелет с поднятыми вверх коленями — они уже не разгибаются и тень от них двойным горбом проявляется на стене, губы кривятся в трагической маске, костлявая рука машинально долбит пустой кружкой по мокрой тумбочке — тук! тук!

— Скорее! Скорее!

— Пап, что случилось? — хотя вопрос лишен смысла, потому что здесь с ним не случилось ничего — лежит, как обычно, прикрытый одеялом и задвинутый креслом, чтоб не упал. Случилось там.

— Бежим, бежим! — хрипло кричит он, уставясь в потолок невидящими глазами, — скорее, скорее, а то не успеем! Помогите мне, что-то ноги сегодня не идут! Машину! Берем машину!

— Тсс! Берем! — успокаиваю я, но какая тут машина поможет, разве машина времени. Сны слепого человека выпуклы, мучительны и повернуты в прошлое, во все промелькнувшие почти девяносто, но прошедшие не бесследно, а учтенные и зафиксированные кем-то и теперь рассортированные по ячейкам, как видеокассеты.

— Что значит «тсс!»? Обалдели вы все! Идиоты! — возмущается он и начинает барабанить снова. Перехватываю его руку, но она, обычно вялая и безвольная, теперь непреклонной железной руки робота.

— Машина где? — гневно клокочет в горле.

— Здесь, уже здесь. Садись, — продолжаю игру, хлопая дверцей шкафа, слегка покачивая кровать и мигая настольной лампой. — Ты успеешь. Удачи.

— Но вы же должны ехать со мной! Хотя, вы, собственно, кто такая? — недоумение непритворно, острые колени дрожат, веко дергается в нервном тике. — Или я не узнаю... Зина, это ты?!

— Нет, это я, — шепчу, — все хорошо, папа, все хорошо... Едем, едем...

Он вцепляется в мое запястье артритными пальцами и втягивает меня в свою тьму.

Но тьма вдруг замещается светом — спелым июльским светом, цветочными брызгами, зеленым покоем. Маленький хутор — всего одна семья — отгорожен от мира зубчатым ельником, малинниками и оврагами. Босой мальчик, подпрыгивая от беспричинной радости, сбегает с косогора к реке, где на грубо сколоченных мостках полощет белье старшая сестра — милая, круглощекая — была бы завидной невестой, если бы не припадочки вроде эпилепсии, но кто определит — врача нет ни на хуторе, ни в деревне за лесом. Девушка наклоняется над рекой — Осуга, осока, ленты водорослей, бликующая рябь — кто-то смотрит, зовет из глубины, голова кружится, судорогой сводит тело, и она падает в темную воду.

— Зинка! — в ужасе кричит мальчик.
Он не умеет плавать, но прыгает.
Зеленая муть, водоросли, волосы, тяжелое тело.
Захлебываясь, барахтается, тянет, пытаюсь нащупать дно.
Почти вытащил — голова ее уже на песке, ноги в воде. Дальше не может.
Задышавшись, падает рядом.
По крутой тропинке к ним бежит отец.
Через тринадцать лет Зина погибнет в блокадном Ленинграде.
Вместе с отцом — моим дедом.
Вместе с двухлетней дочкой — испуганные глаза, венский стул, кружевной воротничок, глянцевые башмачки на пожелтевшем фото.

Особенности московского сервиса

Киргизские мотивы сгущаются.
Договорилась о сиделке с владельцем патронажной фирмы. Дядечка по телефону клялся и божился: патронажная служба относится к «Московскому комитету социальной помощи»... бу-бу-бу-бу... мы не наживаемся на клиентах... все кадры суперквалифицированные, с медицинским образованием и опытом работы... бу-бу-бу... Допрашивал подробно, как в гестапо — возраст больного, вес, анамнез. А я и рада! Раз интересуется — значит, подберет то, что нужно.
— Обязательно русскую? — спрашивает. — А то некоторые только на русских согласны.
— Мне все равно, лишь бы справлялась. А возраст? — спрашиваю с опаской. — Вдруг хрупкую барышню пришлете!
— Ни-ни! Мы же понимаем! У нас от 35 до 50. Проверенные!
Утром звонок в дверь — киргизское дитя лет семнадцати, в джинсах со стразами, коренастенькое такое и в золотых зубах с одного боку. Увидело старичка и испугалось до смерти.
— Ой, — говорит, — он что, лежит? Я с таким не умею.
— И памперсы менять не умеете?
— Не пробовала! — бледнеет дитя.
— А кашу манную можете сварить?
— Ой, я, пожалуй, пойду! — пугается суперквалифицированный кадр.
— Куда это вы пойдете? — негодую я. — Мне в школу пора! Меня дети ждут! Сегодня подежурите, а там видно будет!

Вперед, энерджайзер! Кашу успела сварить, из ложки покормить, постель поменять, памперс переодеть, даже на урок не опоздала. Правда, весь день занятия вела на нерве — как там, что там? Вечером прихожу — сидит нахохленная птичка на табуреточке, но выглядит поживее. Все хорошо, говорит, мне нравится, я остаюсь у вас работать. Вот только по-русски плохо понимает, а уж папины речи ей тем более непонятны — он сегодня все больше бредит про атомную физику. Никак не может найти у себя на коленке конец цепной реакции и громко возмущается. С газовой плитой девочка справилась, а к микроволновке подходить боится. Посуду, правда, вымыла.
— Как-то у вас заняться в квартире нечем! — застенчиво говорит. — Телевизор нет. Книжки одни. Зачем так много?

Чудо чудное приехало из Джелалабада. Зовут Нурбу. Все честно — в самом деле медсестричка. Но успела поработать только в наркологическом отделении. Алкоголикам уколы делала. У них там зарплата — полторы тысячи. Все молодые, говорит, в Россию уезжают. В Москве только месяц. Попробовала трудиться в «Ашане» — не смогла, от людей голова болит. Милая вообще-то. Застенчивая. Дикая, как Маугли. На метро ездить боится — родственник на машине привез. Вечером обещал забрать,

но застрял в пробке. Сидит, бедная, на кухне, вцепившись в мобильник, есть стесняется, только чаю выпила.

Может, и ничего? Может, научится памперсы-то менять? А с другой стороны, за тысячу в день имею я право желать, чтоб старику манную кашу сварили?

Даже и не знаю. Звоню владельцу фирмы — а мобильник выключен.

Девушка Алтынай

Дитя так сильно испугалось, что больше не пришло. Взамен прислали другую (чувствую, что поездка в Киргизию случилась неспроста). Эта уже постарше, и все умеет, и зовут по-простому, Аней. На самом деле Алтынай, но ей хочется, чтобы я звала ее по-русски. Энергии уйма, но спокойная. И бережная — руки очень ласковые. Общительная. Уже вечером, когда мы пьем чай, рассказывает, что живет в Бишкеке, что у нее четверо детей, в том числе двое приемных. Усыновила соседских, когда родители разбились на машине. Впечатляет! Повела про своего стовосьмилетнего дедушку, у которого семьдесят четыре внука. Впечатляет еще больше! Спросила, сколько ей лет — оказалось, тридцать два. Нуу... трудно определить по лицу. И манеры такие неторопливые, основательные.

После ее ухода папа затосковал и долго спрашивал: «Где девушка? Она вернется?», а я кинулась звонить в фирму и просить, чтоб мне оставили именно ее. Обещали. Кажется, теперь отчасти смогу сосредоточиться на учебном процессе.

Утром едва не опоздала на работу — Аня задержалась почти на час. Объясняет — убили соседа по квартире (квартиру снимают вскладчину шестеро киргизов). Вышел в три часа ночи за сигаретами — нашли утром у подъезда с восемью ножевыми ранениями, без денег и мобильного. Юноша тихий, вежливый, работал упаковщиком в универсаме, невесту себе здесь нашел, через месяц собирался отбыть на родину и сыграть свадьбу.

Невеста в обмороке, Аня в недоумении, я в шоке.

Спрашиваю — а в милицию заявили? Смущается — ну да, но мы же все нелегалы! Милиция была, протокол составила, а из квартиры велела немедленно убираться во избежание неприятностей. За взятку, разумеется.

Аня говорит, будет пока ночевать у подружки.

В сберкассе была обругана нервной бабушкой лет под девяносто. Накал страстей в очереди коммунальных платежей явно превышал градус «марша несогласных» — велика плотность обиженных старушек на квадратный метр. Бабуля применила недюжинную силу, нанеся несколько болезненных тычков рукой и ногой за то, что я «здесь не стояла». А я стояла! Повернувшись лицом к другой старушке и вникая, как несчастная, написав прощальное письмо, почти прыгнула с двенадцатого этажа, даже подтащила табуретку к подоконнику — помешало ей только то, что из окна сильно дуло.

Я потеряла ушибы и молча пропустила бешеную бабку вперед. Это разъярило ее еще пуще — она напустилась на меня с воплями: «Хулиганка! Молодое поколение! Вы все такие!!!» Остальные стали за меня заступаться... мол, она не молодое поколение (утешили!)... Я уже ушла, а старушки в очереди все кричали и кричали.

Чистый Хармс.

В утешение купила себе елочных звездочек, шла и думала — а возраст-то подpiraет! Уже сама пять лет пенсионерка. И что надо делать, чтоб не впасть в маразм? Питаться диким медом и акридами? Сигать в прорубь по рецептам Порфирия Иванова? Решать логические задачки? Есть способ-то?

Иду с работы — папины крики слышны уже от лифта.

— Ведьма! — кричит он на Аню. — Ведьма! Уберите ее!

О Господи! Что она натворила? А ведь казалось...

— Папа, что случилось?

— И ты ведьма! — не замолкает он. — Все вы тут ведьмы!

Ага, это уже легче.

Перед Аней лежит листок со списком телефонов и мобильник. Объясняет — срочно надо было позвонить родственникам. Услышав темпераментные речи на чужом языке, отец совершенно взбеленился. Успокаиваем вместе. Наконец успокоили. Аня уходит.

— Кто она? — спрашивает немного погодя.

— Медсестра.

— Зачем?

— К тебе прикрепили, из военной поликлиники.

— Бесплатно?

— Конечно, ты же ветеран! — бодро вру я.

— Тогда правильно, — соглашается он и мирно засыпает.

— Лариса Петровна, я вас очень жалею. Когда мой отец умирал, мне было так плохо, так плохо. И такой молодой умер!

— А что с ним случилось, Аня?

— Пил много. Печень разрушился. Он был фармацевт, аптекой заведовал. Уважаемый человек. У них там спирта было много. Мама так плакала, просил не пить — а он не мог.

Приходила терапевт из той самой поликлиники.

— Вы что, его не кормите? — спрашивает. — Почему такой худой?

Я обиделась.

— Понятно, — говорит. — Уже не усваивается.

Потом каких-то таблеток прописала, от давления. Возвращаюсь с работы — весь белый как мел. Аня несколько напряжена — три раза сознание терял, весь холодный стал. Даже испугалась, что умрет. Звонила мужу (сказала, он у нее врач), чем-то растирала, что-то давала нюхать. Ожил. Таблетки я выбросила.

Духовная опора

Похоже, мне повезло.

Два дня в неделю — мои. Я на работе, и моя душа спокойна.

Алтынай — значит, золотая. Она и вправду золотая. Не просто деньги зарабатывает — сочувствует.

— Ой, какой он у вас красивый!

А он и в самом деле красивый — седина над высоким лбом, правильные черты и кожа розовая, почти без морщин. Она легким движением, будто бы без усилий, поднимает его с кровати и сажает в кресло. Здесь ведь тоже своя технология. А я вот вчера его уронила. Сама грохнулась вместе с ним.

— Дедушка! — говорит она ласково и гладит его по голове. — Кушать будем?

— Будем! — соглашается он.

Открывает рот, как голодный птенец.

— Анечка, вам не тяжело за таким ухаживать?

— А я люблю старых. Они как дети. Я бы если мог, устроил бы такой приют, где бы им было хорошо. Но у нас в Киргизии так не нужно. Никто своих стариков не отдаст, сами ухаживают. У нас же семьи большие, если такой тяжелый случай, то все по очереди. Все помогают.

Читаю интервью с Григорием Померанцем.

— В чем вы сегодня находите духовную опору?

— В созерцании.

— В созерцании чего?

— Ну, например, природы. Она ведь проявление того ощутимого нами внутренне-го духа, на котором все в мире держится.

Поскольку мой внутренний дух изрядно ослаб, чувствую необходимость съездить на дачу и припасть к той самой природе — только она и действует как антидепрессант. К тому же дачка требует кое-какой консервации на зиму. Но за один день не обернуться, только с ночевкой.

Аня не может остаться на ночь — на ее попечении другая бабушка. Вспоминаю, что записывала телефон Люды — санитарки из больницы. Звоню, Люда приезжает после смены — еле живая, но готовая на лишнюю пару тысяч. Мотается в Москву из дальнего Подмоскovie — совсем нет работы, а надо дочку растить. Говорит, в больнице весь младший персонал — не москвички. Москвички не идут, зарплата смешная. Люся тут же падает спать, а я собираю вещи — выезжать рано утром. В три часа ночи отец истерически кричит, что умирает и что нужно вызвать «скорую». Лицо у него синее, он задыхается, но кричать не перестает.

Приехала «скорая». Здоровенный немолодой кардиолог с порога рывкает:

— Успокойся, дед! Ты симулянт! Сердечники так не орут!

Папа стихает и начинает хныкать. Я возмущена.

— Как вы смеее!

— Вы что, не понимаете? — говорит злой эскулап. — Это не сердце, это паническая атака. Я ее остановил. Не гуманно? В психушку его надо!

Ничего себе! А ведь уже в третий раз! Приезжали, делали кардиограмму, пожимали плечами и уезжали. И в больнице эти крики по ночам — неужели никто не догадался?

Эскулап вкалывает ему что-то, и он засыпает почти мгновенно.

— Я боюсь! — говорит Люся. — Может, вы не поедете? Может, я...

— Ничего с ним не случится! — обрывает мужик. — Занимайтесь своими делами. Поезжайте! Поменьше обращать внимания! — и хлопает дверью.

Еду — но звоню с дачи каждый час. Люда рапортует — отец весел и аппетит отменный. Кардиолог прав — ничего не случилось.

А сколько же было прекрасного!

Перекопала цветочные клумбы, перетаскала полсотни ведер компоста, нарезала лапника для роз, надышалась лесным осенним воздухом, натопила печку, выпила оставшееся от гостей вино, продрыхла двенадцать часов, была разбужена стучавшей в окно синицей... В общем, блаженствовала.

Приехала назад — а тут опять.

Таблетки из кармана

Иду к участковому психиатру и излагаю проблему.

Пожилая одышливая тетка слушает в состоянии крайнего раздражения. Понятно, что смотреть больного на дому она не обязана. Все с моих слов. Основная проблема — ночью сам не спит и никому не дает. Ну да, именно то, чем пугала заводделением. Психиатресса выгребает из карманов снотворные таблетки. Потом еще какие-то — из ящика стола. Потом два названия пишет на бумажке.

— Пробуйте все по очереди, — говорит. — Найдите сами, что больше подходит.

Пробуем. В итоге получаем непрекращающееся ночное буйство. Днем у меня кружится голова. Засыпаю в метро, в душе, за варкой каши. Только на уроках удается собраться — но понимаю, это продлится недолго. Дети интуитивно чувствуют — если учитель не в тонусе, можно стоять на ушах... И что делать?

О, чудо! Выход находится. На горизонте появляется очаровательная Дианочка, невролог-геронтолог. Приезжает, долго осматривает, потом просит показать, что мы принимаем. От психиатриссиных таблеток приходит в ужас и требует немедленно спустить в мусоропровод. Выписывает суперсовременные. Утешает — все будет хорошо, вот увидите. Может, еще на ноги встанет. Согласна периодически навещать и корректировать, то есть пасти нас частным образом. Подсчитываю — если оформ-

лю отцу инвалидность и у нас таким образом будут бесплатные памперсы, мы вполне укладываемся в бюджет. Или возьму еще лишнюю корректуру.

Новые таблетки лучше. Теперь ночью удастся поспать хотя бы урывками. И главное — если что, Дианочке можно всегда позвонить и проконсультироваться. Тоже психологическая опора, что ни говори. Сочувствие — великая вещь.

Аня тоже сочувствует — насчет обеда бабушке не волнуйтесь, сама приготовлю. Иногда и меня встречает с ужином.

Пытаюсь понять, что она такое. Невысокая, коренастая, ножки «кавалерийские». Всегда спешит — то к одному больному, то к другому, то ночные дежурства в больнице — на сиделок спрос. Но иногда удается с ней поговорить за чаем.

Окончила медучилище в Оше. Потом замуж вышла — муж был очень красивый, говорит. Врач. Потом она много разных работ сменила, двоих детей родила. Потом... но дальше что-то невразумительное — вроде бы после какой-то операции ей сказали, что больше детей не будет, поэтому родня мужа настояла, чтобы он с ней развелся. Ничего не понимаю — дикие какие-то обычаи. У нее своих два и два приемных — куда еще?

Потом она зарабатывала торговлей. Держала какой-то ларек на рынке в Саратове — торговала трикотажем. Носочками вроде. Киргизский ширпотреб, кстати, неплохой. И еще китайским — через границу возят.

А потом надо было мужа из тюрьмы выкупать — продала свою лавочку за сорок тысяч долларов. Мне сумма кажется невероятной. Ситуация тоже.

— Как — из тюрьмы? Аня, что он сделал?

И тут она рассказывает историю, которая выглядит эпизодом из другой реальности.

Родня нашла ему новую супругу. Через месяц Аня смотрит телевизор и видит на экране преступника, убившего свою жену, — это бывший муж. Ту, новую.

— За что? — только и могу вымолвить.

— Она себя плохо вел. Гулял.

— Аня, а вы не думали — как вовремя я развелась, а то и меня бы убил!

— Что вы! — смеется. — Он хороший. Меня — нет. Это она такой.

— Ну, а продать лавочку? Как решились? Вам же детей кормить надо!

— Так он же их отец! Как это — они будут знать, что он в тюрьме, а я ничего не сделал!

— Выкупили?

— Да.

— Вернулся к вам?

— Нет, — смущается.

— А дети, Аня? Они там теперь одни?

Оказывается, приемные уже взрослые, девочка замужем. Младшие под их присмотром. Чем зарабатывают? Магазины держат. А Аня в Москве трудится — московские заработки для Киргизии очень неплохи. Работает в трех местах и все отправляет в Бишкек. На свой домик удалось скопить.

Появляется с модной стрижкой вместо хвостика. Смотрит в зеркало:

— Ну чего я такой некрасивый?

— Аня, ну почему же — некрасивая?

— Да и зачем мне? Я уже старый, для секса не годюсь...

В следующий раз приходит вся в расстроенных чувствах. Призналась — всю неделю плохо спит и плачет. Что такое? Оторвавшись от родины и заскучав, нашла себе здесь подружку-соплеменницу для «поговорить по душам». В общем, дружили, пока не выяснилось, что подружка зарабатывает проституцией. Алтынай до того потрясена и преисполнена отвращения, что даже выбросила кофточки, которые давала той поносить. Они теперь грязный! Но самым непостижимым ей кажется то, что соплеменница не посылает денег своим детям!

Срочно радоваться! — отдаю себе приказ. Иначе сожрет депрессия.

Не дамся!

Выбрасываю из головы фотки прекрасных, но недоступных мест, присланные восторженными друзьями. Ищу, что поближе. Здесь и сейчас можно получить «очей очарование» совершенно бесплатно. Вешаю на шею фотоаппарат и совершаю пробежку вокруг дома и далее в поликлинику, где мне должны вкатить очередной обезболивающий укол (спину я себе все же свернула, поднимая папу). Папа горько рыдает вслед — каждый мой выход из дому ассоциирует с неминуемой гибелью. Добежав до процедурного кабинета, получаю грязной тряпкой по ногам: «Ходят тут всякие во время уборки!». Но тут мой фотоприцельный взгляд видит в окне рябиновые кисти на фоне золотого клена, и я восхищенно ахаю:

— Какое красивое окно!

Медсестра с тряпкой польщена:

— Да, у нас тут прям картина! Но вот не все замечают!

Я — замечаю, за что и получаю свой укол — «cito» вместе с извинениями за неуместные ведро и тряпку. Красота, ей-богу, смягчает нравы!

Когда возвращаюсь, папа все так же рыдает, но уже по другому поводу: «Все мы умрем! Умрем в октябре!» Не так уж плохо, думаю. По крайней мере, пышно.

В одно ухо — звонит бывший муж, из Кащенко (пить меньше надо!), и нудит, что никого так в жизни не любил, как меня. В другое ухо — папа агрессивно бредит вслух, что надо всех убить и выковырять мозги.

От отчаяния пью болгарское «каберне» в одиночку, заткнув ватой уши.

Может, это карма моя такая — притягивать ненормальных мужчин? Для сглаживания мировых флуктуаций?

Иду через двор, передо мной стройная девушка легко перепрыгивает лужи, хотя у нее в обеих руках тяжелые пакеты из «Пятерочки». И поет! Нежным таким голосом.

— Хорошо быть молодой! — думаю я. — Вот так бежать вприпрыжку, без зонта, и петь ни о чем! Счастье!

Обгоняю ее, оборачиваюсь — бабушке лет восемьдесят.

Троллейбусы не ходят

В иные дни мироздание представляется на редкость шизофреническим — сегодня как раз такое. Когда, чуть не падая со стула вследствие трех ночных недосыпов, пытаюсь рассказать что-то про Плавта и римскую ателлану такой же засыпающей ученице, на нас с грохотом падает с потолка плафон. К счастью, мы не пострадали, зато моментально проснулись и, сочтя это знаком судьбы, к обоюдной радости свернули факультативные занятия.

Забредя с туманной головой в аптеку, покупаю папе очередное лекарство, но дома обнаруживаю, что мне положили в пакетик не то чтобы совсем не то, но и не совсем то.

Дома папа в экстазе: ток из проводов украли инопланетяне, поэтому троллейбусы не ходят, а мне срочно нужно в консерваторию! Аня намекает, что многие ее соплеменники потихоньку отбывают в родной Кыргызстан по причине кризиса, и не сделать ли ей то же самое. Я, соответственно, печалюсь и поднимать адреналин иду на аэробику, но пока мы там дурачимся, изображая Майкла Джексона, в открытое окно просовывается рука, срывает штору и утаскивает в неизвестном направлении. Тренерша сигает прямо в окно, и я наблюдаю, как разъяренная тигрица в майке и шортах бразды пушистые взрывает, гоняясь за пацанятами. Имущество отбито, похитителям надраны уши.

Возвращаюсь домой по свежевывавшему снежку с фээсбэшницей Наташей из соседнего дома, та с придыханием рассказывает про поимку очередного шпиона. Шпион прокололся в процессе сочинения сказки внуку — благодаря потолочному жучку сказка стала последней каплей в толстом досье на гражданина, продавшего

англичанам. Не взять ли мне за правило ходить к Наташе пить чай и постепенно переползать с лирических рассказов на шпионские истории?

Папенькин приступ шпиономании достигает максимума в полчетвертого ночи, он требует вызвать такси и доставить его на работу, дабы перепрятать секретные бумаги в другой ящик. Пытаюсь его утихомирить, параллельно корпя над корректурой, которую завтра сдавать.

Мироздание взялось за меня крепко и полощет, как щенка в проруби. В общем, от ужаса забила в койку и читаю Стругацких. Как ни странно, помогает. Но и пугает. Ощущение нарастающей шизофренизации всего и вся в моей голове связывается с башнями-излучателями...

Утром звонит Дяденька-начальник-патронажной-службы и сообщает, что уволил девушку-курьера, которую обычно присылал за оплатой, так что придется срочно с кошельком наперевес нестись к метро и искать там его красный «ниссан». Понятно, что ток из проводов тут же крадут инопланетяне, в результате чего троллейбусы встают гуськом вдоль всего проспекта. Минут через сорок я все же изверга дяденьку нахожу, но почему нельзя было просто отдать деньги в руки Ане, он объяснить не может. (Я потом спросила у Ани — говорит, что начальник их грабит, что она получает из моих денег процентов тридцать, а у дяденьки тем временем как-то сам собой выстроился трехэтажный дом.)

Забежавший в гости сын сокрушается не столько о том, что у них в велосипедном магазине продавцы крадут выручку (знамо дело, ротация кадров — нанимаются, крадут и увольняются), сколько о неизобретательности крадущих. Будто все жадные болваны действуют по одной и той же плохо написанной инструкции! Бред, бред!

Утешает только Петька, который отпоил меня мартини и кофеем, поговорил о смерчах пустыни Атакамы и согласился искать вместе клад в пещерах Монте-Негро. У нас теперь игра — обсуждать возможные путешествия в разные страны, хотя ясно, что никуда не поедем.

Перед сном обнаруживаю, что девушка Алтынай отчистила мою любимую кастрюльку, старательно отскоблив тефлоновый слой.

Мадам Брошкина

Совпадение — прямо как в кино.

Пока пьем с Дианочкой кофе во время ее очередного визита, выясняется, что служит она в той самой военной поликлинике, к которой папа приписан! Но если бы не нашли мне ее по знакомству, мы бы никогда с ней не встретились — из военной поликлиники специалисты на дом не ездят. Только терапевты.

— А вы сами его привезите! — отвечает регистратура по телефону. Интересно, как? На такси? А до такси-то я как его дотащу?

И это притом, что они внимательны к ветеранам войны — начальство строго следит. Да, внимательны к ветеранам. К ходячим. Но категории лежащих ветеранов для них просто не существует. Не прописано в документах. Вы вдумайтесь — целая категория людей.

Нет человека — нет проблемы.

Ненавижу делать уколы. Отсутствует во мне медицинская жилка. Представлять себя благородной Флоренс Найтингейл теоретически нравится, но смачный хруст, с которым игла входит в живую плоть... аж скулы сводит, и рот наполняется слюной... по четыре раза в день... брр... ненавижу!

— Какая неловкая! — бурчит он. — Больно же! Вот у Ани легкая рука — ничего не чувствуешь.

Широкое смуглое лицо ее кажется некрасивым, когда она переодевается в цветастый халат и туго обвязывает голову косынкой, и красивым — когда появляется в пальто с пушистым меховым воротником и меховой шапке. Подходящее обрамле-

ние для киргизской красоты. На воротнике тают снежинки. Только вот синяк под глазом.

Гордится:

— Это муж пальто подарил! Сначала глаз подбил, потом извинялся.

— Который — врач? Так он же...

— Это другой! Второй муж.

Второго мужа ей, оказывается, дедушка нашел. Сказал, женщине одной жить нехорошо. Все бы ничего, только у него уже есть в наличии одна жена, а Аня — вторая. О первой он тоже заботится, а живет с Аней. У них это вполне нормально — восток.

— Первый муж меня знаете чем изводил? Мрачный такой, все молчал. Я один раз рассердился и сказал: «Лучше бы бил!». Не надо это говорить вслух, вот мне второй такой самый и достался. А первый — ух, красивый, я еще в школу ходил, на улице его замечал. А потом родственники договорились, я так радовался. А у нас знаете какой обычай на свадьбу — стелют много-много матрасов, целый куча. Нас друзья наверх закинули и ушли. Он спрашивает — тебе сколько лет? Я говорю — пятнадцать. Он говорит — ну, ты маленький еще, тебя не буду трогать. А как — надо же простыню в кровь испачкать! Он тогда бритвой себе руку резал и назавтра всем показал, что все нормально. Я сейчас думаю, он был такой самый... ну, голубой. Я молодой совсем, не понимал, что такое. Только видел — у него друг есть, он всегда с ним.

— Аня, но у вас же дети!

— Ну что дети... Дети потом, через пять лет.

У меня назревает диагноз — эмоциональная тупость, переходящая в кусачесть! Совсем недавно душу волновала возможность пойти на поэтический вечер и послушать любимых стихов. Или выпить в кулуарах с каким-нибудь сладкоголосым и великим. Словесность пьянила, тонизировала и облагораживала. Нынче же больше волнует получение очередной подписи на очередной бумажке — на долгом пути оформления нашей инвалидности.

Сегодня я, как мадам Брошкина, наехала на полковника медицинской службы по фамилии Искра (привет Пушкину!) и долго крутила за пуговицу, чтоб он мне закорючку поставил, а сбоку скромненько приписал, что хорошо бы, чтоб ВТЭК приехала на дом. В итоге бумажку подписал, хотя и заметил: «Не имею права, но бог меня за это простит». А до этого я еще полчаса тоном Макара Девушкина уламывала тетку в белом халате выдать мне бланк той самой бумаги, на которой добрый полковник потом ставил закорючку.

Сложная драматургия, непонятные правила игры, необходимость изображать то нахальство, то сиротство — во всем этом, несомненно, я нахожу некоторый азарт, но абсолютно другого рода. И убей бог не понимаю, почему это такой многоступенчатый и долгий процесс — признать инвалидом первой группы ветерана войны, который лежит пластом, выглядит дистрофиком и ходит под себя. Притом, что удостоверение инвалида войны у него уже есть, но это совсем другая бумажка и для выдачи бесплатных памперсов не годится.

Общественно активная соседка подначивает: «А ты письмо президенту напиши!» А что писать-то? Ведь формально никто не отказывает — но процесс длится, и длится, и длится... Чистый Кафка. Остапа Бендера не хватает — он бы разрулил.

И лекарства дорожают. Пишут, что стоимость повысилась только на одиннадцать процентов. Но вчера я столкнулась с реальностью — за месяц цена на вальдоксан поднялась втрое, а на акатинол вдвое. Научите мадам Брошкину ограбить банк!

Внутри консервной банки

Долой отрицательные эмоции! Все больше и больше люблю наше высокогуманное государство! Люблю, как Рахметов — свои гвозди! Как фанат здорового образа

жизни — изматывающий велотренажер! Помнится, один литературный герой говорил: «Этот дурак Квакин мне даже полезен, я на нем волю закаляю!» Короче, очередной поход во ВТЭК опять кончился обломом. Одна из подписей оказалась не в том углу и не с той печатью — но это поправимо, просто придется тащиться в минобороновскую поликлинику пятый раз за месяц (ничего, ничего... я волю закаляю!).

Но вот другая проблема — она курьезней. Им нужна справка о предыдущей группе инвалидности — «на розовой бумажке». Прямо так и написано: «на розовой бумажке». А у меня она на белой (потому что копия, а оригинал папенька утерять лет пятнадцать тому назад). Спрашиваю:

— А где взять на розовой?

— А где хотите, там и берите!

Как-то даже Замятым повеяло.

В общем, если найду, где берут розовые справки, то я не только волю закалю, а еще и отточу ум и сообразительность. В процессе оттачивания иду по улице — щас всех убью нафиг, ну их всех, подамся в репетиторы — отцу на памперсы сама что ли не заработаю? А у метро тетки продают курагу и семечки. Я было пристроилась за курагой, а они меж собой учителей поносят, да злобно так: «Эти сволочи учителя на уроках нарочно ничего не делают, отдыхают, чтоб потом репетиторством заработать на халяву!»

Блин! Сдерживаться надо, сдерживаться... и волю закалять...

Да закаляю я!!! Но уж курагу, естественно, у них покупать не стала!

Я дождала-таки ВТЭК. Врачи приезжали на дом, брезгливо признали папеньку инвалидом, теперь зовут явиться за вожденной справкой, но... имея на руках доверенность от него. Это особое извращение, потому как сами видели, что поставить подпись он не в состоянии.

Пятый раз пытаюсь объяснить заведомо поликлиники, зачем мне нужна доверенность для ВТЭКа. Дама кривится, снимает несуществующие пушинки с отворотов белоснежного халата и откровенно меня презирает. В кабинете уютно, зелено и пахнет чем-то культурным.

Душераздирающую сцену нарушает вторжение другой медицинской тетки. Та с силой вталкивает в кабинет субтильного врача со стрелками-усиками в стилистике индийского фильма. На бейджике написано — хирург Азизов. Товарищ Азизов, видимо, всю жизнь практиковал в горном ауле — по-русски понимает плохо. Тетки орут хором — выписал кому-то больничный аж на четырнадцать дней! Носитель усов трогательно, со втянутой в плечи головой и ужимками Чарли Чаплина, оправдывается, что переломы срастаются долго. Его заставляют выдрать из карты лист и переписать правильно — не понимает. Заведующая мечет молнии и пишет все сама.

После горного орла я кажусь ей уже не такой тупой и вредоносной, поэтому она разрешает сбежать за участковой и выслушать ее подтверждение, что отец не встает. После чего доверенность нехотя подписывает. По ту сторону двери — народная гуща, запах беды, потертые старухи с какими-то вороньими гнездами на головах и вечным жужжанием о нищете. Нет, есть один молодой человек — этот на глазах у всех зачем-то меняет носки, надевая их наизнанку. Заодно нюхает ботинок. О, мама миа!

На волю, на волю! На улице весна. Толстая баба, охая и балансируя на балконе, моет стекла, две другие сочувствуют снизу.

— Ничего, крепись, — говорят они, — это господь женщине так на роду положил, тяжелую работу!

Но доверенность я все-таки получила! Убив всего два дня! Когда эпопея закончится, я произведу нехитрую калькуляцию и оповещу весь свет, сколько государство сэкономило за год на одном только инвалиде. Я жить хочу! гулять! нетленку сочинять! папеньку из ложечки кормить! а не тратить время на их чиновничьи рожи! Пепел Клааса стучит в мое сердце!

Хроника большой войны

И насчет мытья окон. Впервые в жизни на это нет никаких сил. Аню просить как-то неудобно — все же медработник. Дианочка предложила казашку Жанну. Пока милая интеллигентная женщина возится с ведром и тряпками, чувствую неловкость. Не похожа она на уборщицу. Спросила. Так и думала — искусствовед! Институт разогнали, работы нет, приехала сюда с дочерью, очень удачно девочку устроила, продавщицей в парфюмерный, сама в кафе посуду мыла, пока кафе не перешло к другому хозяину, и он всех уволил, взял своих, а вот теперь убираю в квартирах.

Господи, какие все бедные!

Выбила отцу первую группу инвалидности — здравствуй, новенькая «розовая бумажка»! К этому моменту хотелось купить снайперскую винтовку и выучиться на киллера. Но бумажку дали! И я наивно подумала, что бег с препятствиями уже позади. Однако после сегодняшних визитов в три конторы по соцзащите хочется уже наконец купить танк! Милая девушка из ЦСО по секрету объяснила, что ВТЭК слегка поиздевался, «не заметив», что нам положены противопролежневые матрасы, инвалидное кресло и прочие милые штучки. «На вас экономят московские средства, но не выдавайте меня!» — именно так и сказала. В листок ИПР («индивидуальная программа реабилитации») вписаны только памперсы, но и тех девушка обеспечить нам не может, ибо не указан размер и не заверен печатью. Она бы и дала бы, но с нее тогда премию снимут. Идите опять в поликлинику, составляйте и заверяйте все бумажки по новой. Спасибо, родная страна!

Дурная бесконечность.

При слове «опять» я представила inferнальные очереди и поняла, что мне нужен не танк, а плинтус, под который уползу и там тихо сдохну! Даже знаю, как мое состояние по-научному называется — «синдром эмоционального выгорания».

С другой стороны, сама же видела во ВТЭКе объявление: «Требуется специалист по социальной работе с окладом 3 000 рублей»!!! Ждать, что они за эту зарплату еще и матрас в карту впишут? Интересно, можно ли эту систему унижения осмыслить художественно? Углубить, так сказать, тему «маленького человека»? Кафкианского ужасу придать? Мое привидение выползает из-под плинтуса и сладострастно душит министра здравоохранения прямо в монте-карловском казино!

То, что я четвертый день не могу получить справочку о том, что папе нужны памперсы именно второго размера, а без справочки не выдают никаких, — это еще семечки. Или что нам не вписали матрас.

Хуже другое. Только что позвонила дама из собеса (теперь он пышно именуется Управлением социальной защиты).

— Вы только не волнуйтесь! — сказала она.

— ?

— Вам так оформили справку об инвалидности, что ваш отец лишился надбавок и льгот инвалида войны.

— И что делать? Снова бегать оформлять?!

— Ну, я могу послать запрос, но это месяца четыре решается. На время этого срока с вас надбавки снимаются. Лучше сами бегайте.

Занавес.

Маленькая деталь — надбавки фронтовику составляют больше половины пенсии. Гремят фанфары в преддверии славного праздника 9 мая.

Провела день в казематах горвоенкомата. Очереди — как в войну за хлебом.... Разыскала в архиве требуемую справку о фронтовом ранении за 1942 год. Интересно, зачем она пенсионному фонду, если все это уже вписано в Удостоверение инвалида войны хрен знает сколько лет назад?

Но бывают случаи абсурдной. Рядом томится дама, от которой каждый год требуют справку, подтверждающую факт смерти мужа-генерала, почившего в бозе двенадцать лет назад. «Они думают, что он то и дело воскресает?» — возмущается вдова.

Анечка опекает еще одну полуходячую старушку. С той вчера сделался гипертонический криз. А почему? Позвонили из собеса, пригласили на раздачу подарков для ветеранов войны. Ветеранша загордилась, причепурилась и до собеса с трудом доползла. И получила в подарок... четыре стаканчика йогурта! Домой еле дошла, плача и ругаясь нехорошими словами. Впрочем, лет десять назад отец так же простодушно откликнулся на звонок и потащился из Теплого Стана в Текстильщики, где получил в честь 9 мая пакет вермишели и пакет поломанного печенья. Больше ни разу не ходил.

Ничего не меняется — фирменный стиль. Все же интересно посмотреть в глаза авторам акции. Именно реальным людям, а не абстрактному собесу с военкоматом. Неужели непонятно, что лучше не давать ничего, чем провоцировать гипертонические кризы?

Королева Юга

Подсела на Живой Журнал. Хочется выкрикнуть в никуда хронику своих злоключений. Может, кому пригодится, как бороться с Минздравом. Но порой в ЖЖ вылезает такое...

Инопланетяне среди нас, что ли?

Например, один вьюноша меня жить учит.

«...быть бедным позорно. Согласитесь, было бы странно относиться к слабому как к равному только потому, что он слаб. Это уже отдает гнилым душком политкорректности...

...Пенсионеры вообще в любом обществе являются балластом. А у нас они еще и необычные. Негативное отношение к старым и больным вызвано тем, что большая часть представителей этой группы родилась и выросла в деревне.

...я бы такого дорогостоящего отца тянуть не стал. Будущего у него по-любому нет, а у детей — есть. Я бы по чисто этическим соображениям не смог "украсть" эти деньги у детей, которым они явно нужнее».

Я озадачилась — может, это приколы такой у представителей высокотехнологичных безбалластных цивилизаций? Чтоб меня вывести из себя, чтоб я взвилась на метле, а он мне вслед крикнул, что я тоже дикая, из дремучей деревни? Интересно, а в своей цивилизации они старичков на что пускают? Может, на абажуры? Или перерабатывают в «Вискас»?

Мамы-то у них есть?

Как же я устала!

Проверка детских тетрадок вызывает неодолимое отвращение. Начала читать том современной английской драматургии — не понимаю смысла. Пыталась дописать две статьи — бросила, не вспомнив, что собиралась сказать. Включила утюг — глажка еще более отвратительна.

Пробовала общаться с папой — но он полагает, что мы находимся в цирке, а я сижу не на том месте, которое соответствует купленному билету, — следовательно, сошла с ума, потому он не видит смысла со мной разговаривать.

Вконец отупела. У меня нет личного времени.

Он как ребенок — то и дело зовет. Пить. Есть. Перевернуть подушку. Зажечь свет. Погасить свет. Найти конец цепной реакции. Подключить к гринвичскому времени. Разоблачить водителей горных троллейбусов.

— Лариса! Скорее, скорее сюда!

— Что случилось?

— Не знаю... Забыл.

Время искрошено в лапшу. Дискретно, а не линейно.

Ему страшно, понимаю. Но мне тоже — невозможность хоть на чем-то сосредоточиться, хоть одну мысль додумать до конца! Почитать. Прийти в себя. Внутренне помолчать. Хватаю воздух, как рыба.

И постоянный недосып.

Мозги, видимо, сопротивляются постепенному удушению — поэтому в них кристаллизуется спасительная идея. Надо бы уговорить Аню побыть летом с отцом на даче! А я буду к ним по выходным приезжать. Дианочка вполне одобряет — свежий воздух может его укрепить.

Деньги предлагаю приличные — больше моей зарплаты. Она соглашается на удивление легко, ее отсутствие удобств не пугает.

— Аня, но там только электроплитка, и то слабая...

— А я и на костре могу!

Смеется. Ей нравится, что не в городе, а на воздухе. Она цветы любит. И помидоры собирается выращивать. Но для этого надо уйти из грабительской фирмы и отказаться от других подопечных. Хотя начальник на красном «ниссане» ни за что не отпустит. Но она что-нибудь придумает.

— Он хотел меня старший сделать — как диспетчер. Быстро думаю, сказал. А я не хочу, я лучше с большим. А телевизор там есть?

— Телевизора нет.

— Без телевизора не согласен!

После ее ухода обнаруживаю на столе книжку.

Могла бы и заранее угадать, что привлекает киргизских девушек. Истории провинциалок, приехавших ловить столичную удачу, — немного цинизма, немного секса, много агрессии и налет гламура. Униженные, но умные, сцепив зубы, идут по трупам обидчиков к заветным миллионам.

Смешно, но на последней странице ее рукой — цифры, цифры, столбики цифр. Деньги считает?

Что до книг, так по мне лучшая на эту тему — «Королева Юга» Переса-Реверте. Мексиканская барышня, потеряв бойфренда в наркоразборках, бежит от наемных убийц и, закалившись в испытаниях и унижениях, становится главой синдиката наркоторговцев на юге Испании. Ум, пассионарность, страсть — и деньги, деньги, деньги. Ответ женщины жестокому миру. Понятно, что криминал — но зато какой характер!

Мысленно называю Аню «королевой юга».

Коня на скаку остановит...

Наблюдаю ее на даче. Еще больше потрясена энергетикой невозмутимой азиатки. Удивительно, но на природе, вне городских стен, она вдруг никакая не Аня — только Алтынай.

Говорит, муж за нее платил калым — тридцать баранов и две с половиной тысячи долларов. Ее витальность заразна. Папа порозовел и даже пытается шутить. Она одинаково ловко и весело топит печку, стирает стариковские кальсоны и поливает клумбы. Обнаружила старый велосипед и летает с использованными памперсами в сторону дальней помойки.

Но и это не все — оказывается, у девушки еще и с техникой все в порядке! Телевизор-то мне сын по такому случаю отдал, но к нему нужна антенна. У нас TV плохо ловится, соседи ставят навороченные тарелки — она же небрежно присобачила к телевизору шнур от мобильного и наслаждается отличным изображением.

— Анечка, как вы догадались?

— Не знаю... Догадался как-то. Ну, просто подумал, что так работает.

Зато, к великому моему удивлению, дитя гор и степей спит с кухонным ножом под подушкой. Смертельно боится бродящих в окрестностях таджиков — считает их нецивилизованными головорезами. Эти межнациональные тонкости мне непонятны. Кажется, таджики — вполне милые люди, в позапрошлом году хозблук мне построили. Правда, местами он уже разваливается, но зато какие вежливые.

— Эээ, это вы про них ничего не знаете! Они совсем разбойники!

— А с узбеками у вас как?

— Нормально. Но они не такой, как мы. Наш язык резкий, грубый, у них нежный. И женщины у них красивые. У нас в Оше много узбеков. Мой родственник на узбекче

женат — красавица, как картинка, но есть какой-то непонятный колдовство — уж так он ее слушается!

Папенька, по Анечкиному мнению, еще молод. Вот ее стодевятилетнего дедушку сажают на коня (сам уже не может), и он три часа по горам скачет, стада объезжает — у него там собственное джайлоо.

— Аня, — спрашиваю, — а вы на коне... тоже?

— А как же, с три года. Но больше машину люблю. Меня отец учил — по степи пустые бутылки расставлял, а я между ними ездил. Вы быстро идите на курсы! Как без машины? С таким сумкам таскать в вашем возрасте! Красивый женщина должен машину иметь! Если нет денег, сначала можно подержанный «жигуль», а потом уж... Я вот тоже с «восьмерки» начинал! Когда захотеть, оно само придет...

В общем, сейчас у нее белый «мерседес»!

— ...!

— Вы не удивляйтесь. У нас в Киргизии машина дешевый.

С чтением за этот год что-то произошло. Пропал интерес к тому, что не про меня. А что теперь про меня? Почти ничего. Что сейчас в фокусе литературы? В основном, терзания умных и недооцененных молодых людей, их неврозы и комплексы, естественные для мира, где никто никого не любит. А покажите мне героинь пенсионного возраста! Да еще с лежащими стариками! Как они решают экзистенциальные проблемы? Как не превращаются в слезливых амеб? Нет, про старушек особо гуманные авторы иногда пишут — но несчастных и убогих. А моя героиня где?

Анечке легче найти себе чтиво — оскорбленная девушка размахивает пистолетом, а коварный старикашка-миллионер ползает на коленях, вымаливая прощение и суля половину состояния.

Купила розу — плетистую, с огромными цветами, кремово-розовыми, и обалденным запахом. О! Шелк! Бархат! Амбре! Все хорошо, но я вообще-то туфли шла покупать, а не розы.

Позвонил Петька — вдруг обломилась какая-то премия, и он не знал, куда ее девать. Продегустировали в ресторанчике невероятно прекрасную пищу под названием «каре ягненка».

Соседка приехала из Питера — весь этаж пропах корюшкой. Мне тоже принесла корюшки, но после ягненка — ик! — в меня уже ничего не влезало — ик! Завтра вот пожалею, точно.

Нашла в шкафу французские духи «Любовь в Париже» — коллеги на юбилей дарили. Распечатала.

Позвонила на дачку — Аня рапортует, что больной хорошо ел и бодро себя чувствовал. Можно расслабиться.

Короче — начиталась книжек, налопалась барашка с красным вином, розы дышат амброзией на балконе, а я брызгаюсь в комнате «Любовью в Париже». Это все май, правда. И свобода.

Ночью мне снятся горы.

О, розы, розы!

Папе исполнилось восемьдесят семь. Фотографировать не решилась, ибо вид неутешительный. Мы просто отмечали событие — с пивом под кустом сирени. Именинника выкатили на крыльцо, но сегодня он не в форме — голова падает, изо рта ниточка слюны. Аня подвязала ему слюнявчик. Красавицу нашу восточную тоже не решаюсь фотографировать, но по другой причине — блеск стоматологии затмевает солнце! Обычай такой — дедушка золото подарил, отказаться нельзя. Я ее уговариваю вернуть белозубость — на японку будет похожа. Нет, говорит, родственники не поймут.

Клан Черной Козы

Истории из киргизской жизни — естественно, в стилистике сериалов, но если отбросить скорлупки — ядрышки те еще! Ощущение — как от Фенимора Купера,

только вместо индейцев — клан Черной Козы, управляемый вышеупомянутым дедушкой. Почтенный аксакал девушку Алтынай назначил своей преемницей, тем самым пренебрег наличием в семье множества лиц мужского полу, поскольку те запятнали свое честное родовое имя кто связями с наркомафией, кто отсидкой, кто еще чем.

Теперь понятно, почему телефон трезвонит каждые полчаса — родственники то и дело докладывают, кто женился, кто родился, кому муж подбил глаз, у кого стройка, кто машину раздолбал, у кого дочь-отроковица потерялась. Алтынай разруливает — родственники мигом скидываются на машину и на свадьбу, отроковица отыскивается (под забором, но живая — теперь проблема после такого позора ее пристроить замуж!), побитую жену на несколько дней прячут у сестры... Словом, клан Черной Козы живет бурной жизнью под чутким руководством честной девушки Алтынай.

— Я так устал... — жалуется она, делая очередной укол. — Не женский это тяжесть — решать дела племени!

Показывает фотографию — бабушка и двое внуков, это Анины мама и дети. Детьми она откровенно гордится — девочка играет на чем-то национальном, даже вместе с фольклорным ансамблем на зарубежные гастроли выезжала. А у мальчика — футбол и шахматы. Футбол Аня считает отчасти своим достижением — сына с врожденным вывихом возила оперировать в Турцию.

— Почему в Турцию?

— У нас такой операций не делают. Люди сказали — в Турции могут. Я взяла его и поехала. Теперь футболист!

— А вот один раз я выручил родственника из армии. Ему там плохо было, сначала звонил, жаловался, потом совсем пропал. Я поехал искать, спасать. Нашел в хлеву, он за овцами ухаживал. Худой, голодный. Как раб какой-то! Я так раскричался, снял на мобильник, начальнику пригрозил — засужу!

— И чем кончилось?

— Комиссовали.

А больше всего она любит убежать ото всех на киргизско-китайскую границу, куда добраться можно только на коне, где не работает мобильник, стоят горы до небес и дедушка пасет... как это... корова такой, снежный?

— Як?

— Ну да, як! — и опять сияет золотом.

— У нас в горы возле Оша прекрасный цветок растет, зовут Айгуль. Значит — лунный цветок. Больше нигде не растет. Кто видит — не может забыть. Он такой... мрачный даже... утром красный, днем фиолетовый, вечером черный. Один раз приехал жена швейцарского посла, и так полюбил тот цветок, что хотел дочку назвать!

— Назвала?

— Муж не разрешил. Зачем в Швейцарии Айгуль?

— Аня, до чего мне ваши тянь-шаньские ели понравились! Как стрелы — тонкие, острые, легкие — не скажешь, что огромные. Иногда просто акценты на склонах, а иногда весь водораздел топорщится, как пила.

— О, у нас еще один странный елка есть. Но редко бывает. У них одна сторона красный, совсем красный. Говорят, однажды так было, что мачеха под елкой зарезал ребеночка. Не знаю, просто так говорят.

Я готова слушать и слушать — про заснеженные перевалы, где волки не только воют, но могут запросто сожрать автомобилиста, и про красные глаза шакалов, окруживших жилье, и тогда, если не знаешь специальных слов, пиши пропало. А еще про тонкости национальных костюмов, и про трехэтажные юрты для туристов, и про особую дедушкину юрту, всю в экзотических узорах (иностранцы хотели купить за большие деньги, но он не продал), и про Акаева с Айтматовым. Про Акаева мне было и вовсе интересно — всегда считала, что интеллигентный академик самая подходящая кандидатура в демократические президенты.

— Нет, — качает головой Алтынай, — мягкий был, слабый. Сам ничего не решал, за него семья решал. И жена. Такой долго не продержится. Но хороший.

— А сейчас у вас какой?

— Сейчас Бакиев. Злой. Жадный. Родственников тащит на все посты.

— Значит, надо нового выбрать?

— Э, ничего не будет. Новый своих родственников тянет. У нас по-другому не будет. У нас так.

— А в советское время лучше было?

— Для простых людей — конечно, лучше. И вот интересно — раньше как делали? Соседи на улице выставляли столы, принимали гостей по очереди. Не только кушать — так, сидели, разговаривали. Песни пели до ночи. А теперь — нет, перестали... Почему, думаете?

У меня куча несделанной работы, а я сижу и уши развесила.

Зато теперь в моей копилке еще одно место, куда мне очень-очень хочется — на изумрудные пастбища, где дедушка-аксакал яков пасет.

Нет чтоб сидеть тихо под кустом и нюхать розы — придумала себе автокурсы. Нет, это не я придумала — это меня Алтынай выпихнула: «Пока с ним сижу — вы должны получить права!». В общем, нерввирую инструктора, а мой покинутый садик тем временем цветет и пахнет — прилетаю, как туристка, припадаю к нему на выходные — и опять улетаю рулить. Причем, учитывая отсутствие как машинки, так и перспектив на нее, выглядит такое заполнение досуга довольно неостроумно. Но Алтынай твердит — главное захотеть. И представить в голове то, что хочется. Но представлять не вообще машину, а конкретно — марку, цвет. И все тогда будет. Ну прямо НЛП — нейролингвистическое программирование.

— Ань, а деньги, деньги где я возьму?

— Вы прямо как маленький. Сами придут!

Сказки Шехерезады

Пока Алтынай возится с папенькой, как с дитем, кормит-поит-стирает, а также по собственной инициативе косит газончик, соседи точат зуб на понаехавших. Им не нравится, что ее навещает муж Рустам, разбитной шофер, который на здоровенном фургоне возит царицынскую колбасу по подмосковным магазинам. И если проезжает мимо — как не навестить любимую женушку? От председателя правления и дежурного милиционера честно откупается казенной колбасой. А соседям не нравятся не то чтобы фургон или колбаса — им не нравится существование киргиза в принципе. А мне нравится — веселый и смешной, Анечке помогает довести папу до душа на инвалидной коляске, да еще и помыть-побрить, а потом беседует с ним на разные среднеазиатские темы, от чего папа иногда приходит в себя и вспоминает, как его в войну лечили от малярии в душанбинском госпитале.

Душевно-семейно провели последние выходные — Алтынай кормила нас бешбармаком, Рустам устраивал мне динамическую тренировку к экзамену в ГАИ, изображая регулировщика, я же изображала трамвай. Потом Рустам фотографировал цветы и медитировал на пруд, а Анечка развлекала меня байками из киргизской жизни — про горных яков и змеиноного царя. Гармония!

Уехала в Москву... И началось!

Колбасный фургон заехал колесом в канаву соседа-генерала и нарушил ее геометрические очертания. Генерал, по обыкновению, стал орать, выпучив глаза — он всегда выразителен, как гоголевский персонаж. Честные киргизы пытались умаслить его деньгами, но, видимо, недодали. После серии взаимных оскорблений с национальным уклоном дело дошло чуть не до драки. Алтынай пыталась разнять мужчин, в процессе чего пылкий шофер подбил своей красавице глаз.

Обо всей диспозиции узнаю по телефону от бдительной соседки, которая дово-

дит до моего сведения общественное мнение. Лариса! Ты устроила притон! Ты пускаешь в дом хулиганов, пьяниц и наркоманов! Ты сущим бандитам родного отца доверяешь! Сообщается это в полночь, да еще с многозначительным предисловием, от которого я чуть не получила инфаркт — думала, что-то с папой.

В итоге шофер изгнан с территории и объявлен персоной нон грата. Остается надеяться, что Алтынай, обидевшись, не сбежит вслед за мужем и не бросит нас на произвол судьбы.

Три дня, в промежутках между пересаживанием лилейников, отпиливанием веток и печением пирогов с ягодами, намеревалась бесстрашно поразмыслить о собственном возрасте. Поскольку от звания старушки скоро будет трудно отвертеться, примеряла маски эксцентричных старушенций, от Аллы Пугачевой до черепахи Тортиллы. Тортилла мне ближе — можно, не роняя достоинства, снисходительно учить жизни разнообразных Буратин. В связи с этим собиралась сочинить назидательный текст для барышень из ЖЖ с описанием засад и подводных камней возраста цветущей зрелости.

Поразмыслить не дали — бурное кипение жизни снова нарушило мои планы. Анечка встретила меня с заметной припухлостью лица и вялотекущим сотрясением мозга, которое ей устроил пылкий супруг, мстя за несостоявшуюся драку с генералом-киргизофобом. В результате незадачливый варвар отлучен не только от моей дачи, но и от оскорбленной супруги. Он даже пытался ее выкрасть, но она не далась, искренне преданная медицинскому долгу. Для защиты от агрессора родственники выслали ей подмогу — очаровательную двадцатидвухлетнюю малышку Балдырган, баскетбольного роста и ста четырнадцати килограммов веса. Если такая огреет сковородкой (или, соблюдая национальный колорит, бишкеком¹) — мало не покажется даже Манасу.

Малышка оказалась страшной оптимисткой и сторонницей позитивной психологии, а заодно студенткой какого-то телевизионного вуза. Дева-Гаргантюа гоняла на велике, лопала пироги и делилась планами возрождения киргизского кинематографа на материале Айтматова, я же тарасила глаза, поскольку столь обильно цветущую плоть видела только у Кустодиева. Надо сознаться, в этом есть что-то поэтически-эстетическое!

В правлении садового кооператива тем временем тоже продолжались войнушки. Морально ущемленный генерал, хоть и требовал с киргизов штраф за попорченную канаву, на этом не успокоился и написал кляузу. Председатель же кооператива, узнав про штраф, взъелся на генерала за превышение полномочий и велел деньги обиженному нацменьшинству вернуть, а на дверь магазина приляпал дадзыбао, обличающее генерала в подрыве авторитета правления. Обесчещенный генерал продолжает злиться и излучать в пространство волны ксенофобии. Волны плохо действуют на папину голову — ему мерещится, что он очутился на спутнике, где его донимает космический холод, поднимает крик и успокаивается только услышав треск поленьев в печке. Но важен именно треск — температура воздуха его не интересует.

Итак, вот наша жизнь: засыпаю под орущий телевизор и скачущую на экране Пугачеву в балахоне, похожем на костюм белого медведя (малышка обожает смотреть конкурс «Новая волна»), под писк Анечкиных эсэмэсок (ревнивец методично бомбардирует ее посланиями «Я тебя люблю!» и «Я тебя убью!») успеваю краем уха уловить малышкины эротические телефонные разговоры с неким сирийскоподданным, который ужасно хочет ее, опять и немедленно, в три часа ночи (ааа, теперь я поняла, кто накидал окурков в клумбы, пока я отсутствовала — любвеобильный сириец побывал и здесь!). Через час просыпаюсь, потому что мне снится пожар, а папа монотонно кричит: «Холодно! Холодно! Холодно!». Пожар снится потому, что Алтынай, растапливая в сонном состоянии печку, случайно бросила туда хирургическую

¹ Бишкек (кирг.) — мешалка для взбивания кумыса.

перчатку, и воняет горелой резиной. Малышка же дрыхнет богатырским сном, скинув одеяло (в доме африканская жара), обнажив обильные тела и храпя, как три Добрыни Никитича.

В общем, песня.

Никакую маску подходящей старушенции я себе так и не подобрала.

Зато у меня третий день жутко свербит в середине лба, где третий глаз.

Починяю забор, поднимаю взор — мама дорогая! По улице, важно выпятив грудь, ходит натуральный дервиш в восточном халате и тюрбане. Начинаю неприлично ржать — а он возмущается: «Не имею права в любымый одэжда ходит, да?»

Откуда берет деньги рука дающего?

Королева юга.

Иногда кажется, у нее в жилах огонь.

Она меня гоняет в хвост и в гриву, дабы держать в тонусе — заставила кататься на велосипеде и плавать в ледяной речке, потом кормила пловом и рассказывала, как будет принимать меня в Киргизии. По-родственному, но в качестве самого почетного гостя!

— Про денег не беспокойтесь — только приезжайте! Мои друзья свозят на Нарын — вы знаете Нарын? Это самый красивый место! Я вам мужа хорошего найду! У меня все друзья — министры или наркомафия.

— Ничего себе диапазон! Министры и наркомафия!

— Так у нас это — одно и то же.

— А муж мне зачем?

— Чтоб на руках носил!

Она обо мне заботится! Я прямо слезу пустить готова. И о папе тоже заботится. Он ожил — то ли от непритворного внимания, то ли от полумагических снадобий — Алтынай закапывает в землю бутылочки с самодельными микстурами, и когда они наберутся от земли сил, — раскапывает. Жует травки, делает из них какие-то примочки. Пролежни у него исчезли, да и голова сильно прояснилась.

Полюбила ее прямо как дочку.

— Анечка, я бы вас удочерила!

Но у нее есть своя мама. Тоже колоритный персонаж — она, оказывается, всю жизнь одевается в розовое (о, вот оно где вылезло!) и... пишет стихи!

Забавно — знаю одну болгарскую поэтессу, которая одевается только в белое. Небольшие национальные цветковые различия, а заход один! Мне тоже, что ли, во что-нибудь такое пожизненно одеться? В черное, к примеру?

— Правда, стихи, Лариса Петровна, только не смейтесь!

— А чего мне смеяться? Я и сама пишу. Писала, то есть.

— Она всегда пишет. Про любовь. Ох, она такой несамостоятельный! Отец ей работать никогда не разрешал, а когда он умер — только плакать может! Как маленький! Она так его любила! Я маму жалею. И брат мой такой несамостоятельный! Я им спрашиваю — что бы вы без меня делали?

А я — что бы я без нее делала?

Жизнь и смерть перетягивают канат — здесь и сейчас. Мне бы в одиночку не удержать.

— Аня! У вас когда-нибудь умирали на руках больные?

— Было такое самое... Я тогда в больнице работал. Человеку плохо после операции, умер в мое дежурство. Анестезиолог как раз был дежурный врач, я его звал, но он трахался в кабинете с другим врачом. Так противно, не люблю вспоминать.

Тяжести декоративных, но несъедобных груш не выдержала громадная ветка, рухнула на электрический провод и устрашающе закачалась. Мои попытки пилить ее со стремянки заметил давешний дервиш и предложил помощь, тут же отвергнутую по причине неплательской способности.

— Ай-яй! — сказал азиат. — Разве помогают только за деньги? Подержи халат!

Я так и стояла в обнимку с ватным халатом, остро пахнущим чужой страной, пока он, трясая бородкой, лез на дерево и отпиливал сук, а заодно еще много других, в результате чего локальная энергетическая катастрофа не разразилась.

И сдается мне, что «хитрожопы» в нашей реальности вовсе не азиаты, а отдельные вполне единокровного вида соседи, которые продолжают диверсионными методами отключать уличный фонарь, чтобы свет не попадал на их парник с огурцами (огурцы «рано ложатся спать», поэтому фонарь им вреден). А то, что Анечке неудобно ночью выходить в крошечную мглу, наполненную тенями таджиков, — их мало волнует.

С папой становится все труднее общаться. Он здесь — но как бы и не здесь. Соседи, бывшие сослуживцы, навестили его из вежливости, но повторять визит не стремятся. Мне кажется, у него окукливание на грани перехода к ангельским крыльям. Но по ночам он иногда разговаривает с Алтынай — про детство, про войну, про службу в Средней Азии. Или просит сказку. Дачка фанерная, все слышно. Иногда она ему просто детские книжки читает — из стопочки, которую мой внук здесь оставил. Что угодно готов слушать, хоть про семерых козлят. Со мной говорить не желает — начинает яриться и обвинять. В чем? А непонятно. Это я виновата в старости и болезнях, это я змея и кровопийца. Или снова бред про горные троллейбусы. А мне бы с ним посидеть, поговорить, за руку поддержать. Понятно же, что человек на краю — хочется смягчить любовью и лаской. Но я и этого не могу! И только Аня врачует мое отчаяние — говорит, что нет моей вины, что это стандартный случай, она-то уж навидалась — близким от таких больных всегда сильнее достается. Когда человек в неадеквате, он всегда жесток именно к тем, кто рядом. А с чужими удается держать дистанцию — видимо, какой-то предохранитель в мозгу еще функционирует. Анечка утешает тихо и ласково, будто обкладывая меня ватой, будто перевязку делая — интуитивный психотерапевт, анальгезирующий компресс.

Сейчас у нас все хрупко уравновесилось. Она бережна с ним. Он ей доверяет. Остановись, мгновение, — но уже осень на носу, а домик не утепленный. И совсем уж на меня холодом подуло, когда Алтынай запросилась в Бишкек на пару месяцев. К детям — ну что я, не понимаю, что ли... Но как-то тоскливо и страшновато. Год она со мной — как бы я этот год пережила без доброго ангела? Но лето еще длится, и пока она здесь — стараюсь выспаться впрок. Засыпаю под папино монотонно-бесконечное бормотание, будто пластинку заело:

— Откуда берет деньги рука дающего? Откуда берет деньги рука дающего? Откуда берет деньги рука дающего?

Золото и серебро

Моет посуду и рассказывает, как купила в Бишкеке дом с привидением и его оттуда пришлось выкуривать с помощью не то муллы, не то шамана.

Верить? Не верить? Скорее, нет. Но...

Ох, осталось только посыпать голову пеплом — видимо, мне теперь только приземленная реальность по зубам, а не пятое не проявленное измерение.

— Поставили у нас памятник в Бишкеке, — говорит она, нежно меняя повязки. — Раньше был Ленин с рукой, все понятно, как в школе учили. А тут сделали статую — летучий женщина с распущенным волосам, в открытый платок. Станный такой... Куда летит, зачем — никто не понимает. В руке что-то круглый — а что? Ну, поставили бы мать с ребенком, в национальный костюм. А так — никто не понимает. Народ возмущается. В Оше люди вообще обиделись, не дали Ленина снимать. Так и стоит...

Трудится, как пчелка, на лету делая кучу работы, о которой я и не просила. Старается — видимо, и правда жалеет. Миксбордеры в образцовом порядке, засохший можжевельник спилен, на его месте новый цветник. Вот только с помидорами ей не удалось — непривычный климат.

— Анечка, милая, спасибо, но разве я вас еще и в садовники нанимала?

— А что, пока дедушка спит, я буду сидеть как бездельник?

Ну как не верить в ее добрые намерения? Некоторые вещи чувствуешь, что называется, животом. Дышишь рядом с человеком и ловишь волну, как он к тебе

относится. Сейчас мы вместе сажаем розы. У нее прелестные руки — маленькие, нежные, почти детские. И ступни такие же. Пальчики тонкие. И аккуратный маникюр — к моему приезду, что ли, делает?

— Лариса Петровна, отдайте лопату, я сам яму выкопаю — у меня сил больше... Раз, раз — и все... У вас такой сад — прямо рай, вот бы сюда мою маму. А можно ее к вам в гости на следующее лето?

— Аня, да ради бога! Давайте и маму. И сами.

— Вы с ней подружитесь. Может, она с вами плакать не будет. Хотите, я скажу, что у вас в характере главный?

— А что?

— Вы боитесь кого-нибудь огорчить. Вы очень деликатный. А я грубый.

— Аня, ну какая же вы грубая! Вы наш добрый ангел!

Посуровела.

— Вы не знаете, у меня есть один плохой качество. Я жадный. Я деньги очень люблю. И золото. Вы думаете, почему золото ношу, а не серебро? Золото — грубый, горячий, он для грубых людей. А серебро — нежный, таким как вы. Вот поеду домой, вам киргизское серебро привезу. Я уже понял, какой форма нужен — геометрический, строгий.

Любишь золото — и люби. Твое дело, не мое. Ты же Алтынай — золотая. Золотая девочка.

— А хорошо бы стать миллионером. Знаете, такой случай у нас. Один человек, горький пьяница, попрошайка, жил в аул с названием «Плохое место». Бедный такой, куча детей — и вдруг ему наследство. Какой-то родственник клал маленький сумма в швейцарский банк. В 1946 году, на 50 лет, и там указание — вручить десятому внуку. Это в девяносто шестом, значит. А он как раз десятый. И вот приезжали к нему люди из Швейцарии, все в костюмах, на черных лимузинах. И тот пьяница стал миллионер, теперь почетный гость на все свадьбы и похороны. Я вот только не понял, почему чиновники деньги отдали, себе не оставили. Швейцарцы, что ли, наблюдали?

Веселая, прибегает из магазина. Маленький дачный магазинчик, где торгует улыбчивая девушка, — осетинка, кажется.

— Мы с Ирой про вас говорили.

— Ань, ну что про меня говорить?

— Ира спросил, сколько лет вашей хозяйке. Я сказал — она не поверил. Выглядите не на свой возраст.

Комплимент нам всегда кстати, особенно про возраст, только терминология напрягла. Резануло слово «хозяйка». Вроде как она у меня в услужении. Почему-то неприятно — я-то ее как родную воспринимаю.

Как холодной воды за шиворот.

Персидский принц

— Лариса Петровна, я вам сейчас в таком сознаюсь, в таком сознаюсь... Вы не будете презирать? Я два месяца жил с бомжами.

— О господи, Аня, как это?

— Ну, это когда я все продал и мне жить было негде.

— А муж, как он допустил?

— А его опять посадили. Через полгода.

— Как? Вы же заплатили сколько!

— У этой, убитый, тетка прокурор оказался, ничего нельзя было сделать.

— И что дальше?

— А дальше я пошел к дедушке и попросил разрешения... ну... это... торговать героином.

Видимо, глаза у меня совсем круглые, и она растолковывает. Действительность

куда круче моих представлений о жизни киргизских сиделок. Родом Алтынай не из Оша, а из аула, ближе к горам, где ничего сельскохозяйственного особо не растет. Населению в этой части свободной Киргизии заняться абсолютно нечем, а жить на что-то надо, поэтому надежда только на наркотрафик. Им кормятся практически все. Но... Аня, при чем тут дедушка? Он что, контролирует бизнес? Возит героин на яках? Бред какой-то! Нет, объясняет она, это другой дедушка. Очень честный, ненавидит наркотики и среди членов своего клана это не одобряет. Ах, так это он — глава клана Черной Козы? Словом, Анечкин случай был признан экстремальным, поэтому официальное временное разрешение от дедушки она получила — но дала клятву с этим через два года завязать.

Интересно получается: ей стыдно сознаться, что жила с бомжами, а что наркотики возила — не стыдно!

Короче, на подержанном автомобиле из Таджикистана через горные перевалы (а вы на карту посмотрите, какие там перевалы!) мчится хрупкая женщина с пакетами героина.

— Анечка, и не страшно было?

— Ну да, если снег на перевале, и волки... но больше я милиции боялся.

— И что?

— За два года заработал детям на квартиру. И больше — ни-ни! Дедушке обещал.

Ощущение, что смотрю кино. У меня вообще всегда в порядке с визуализацией, а тут и вовсе — крутые склоны, ветер, поземка, ледяной серпантин, волчьи глаза и гордая девушка Алтынай, вцепившаяся в руль. Маленькая женщина против враждебного мира. Королева юга!

— Лариса Петровна, вы любите красивых мужчин?

— Нууу... не знаю... люблю, наверное... но как-то на этом не концентрировалась.

— А я один раз видел такой красавец! Ну такой! Как персидский принц! Он таджикский наркобарон. У него вилла в горах, большой, как крепость. Прямо дворец, там даже павлины у него — как сказка. И вот он на меня смотрит, а глаза у него с таким ресницам — я прямо дышать перестал, какой красота. И дает мне два пакета героин, по килограмм, и я знаю, что если с таким задержат, то посадят надолго, а он видел, что я боялся, тогда надел мне на шею такой талисман из волчий клык — пока он на тебе, сказал, никто тебя не тронет. И я так и ехал до самый Бишкек, все время щупал талисман, а когда привез — клык куда-то делся, как растаял.

Киргизия разный. Это у нас в Оше так. А Рустам родом с Памира. Я один раз с ним поехал — это ужас какой! Никакой зелени, одни камни. И дома такие... лежанки-ступеньки, все в одна комната. И у них там в доме четыре столба, которым они молятся. И обязательно карандаш от тараканов, потому что вши прямо кишит. Они не моются никогда — наверное, холодно. Зимой такой ветер, что весь снег сдувает. Голый место, и заняться совсем нечем. В советское время пограничный поселок был, снабжали хорошо, а сейчас как край света. И солнце такое злое — все обветренные, прямо черные. Зато у них танцы и песни очень-очень красивые. И наряды. Похож на наши, но только перышки на шапочке не наверху, а так, сбоку.

— Аня, а перышки должны быть от какой птицы?

— Сова. Я вам случай расскажу. У нас один дедушка любил, чтобы внуки носили такие национальные шапочки. Близняшки, по три года. И вдруг одна пропал, весь аул искал, не найдут никак. Но нашелся — по шапочке. Шапочка с перышком лежал около норы — суслики внуку туда затащили, пока она спал. Четыре часа в норе! Замерз очень, но живой.

— Ань, суслики же маленькие! Может, сурки?

— Наверное, сурки. Не знаю как у вас, у нас — суур. Я думал, по-вашему — енот. Я когда в гостях у дедушки на джайлоо, смотрю на них в подозрительный труба. Они совсем как люди — моются везде, даже подмышки. Приходят в ручей и моются. У нас и женщину-чистюлю так называют — суур. Еще цветы собирают. А как невест воруют, расскажу? Их соберется шесть или восемь суур и делают набег на соседний семья.

Там берут невеста, приводят к себе. Она у них несколько недель живет, потом отводят обратно.

— Ань, а это не сказки?

— Какие сказки, я в трубу видел!

— Интересно, может, это люди у сурков переняли кражу невест?

— Или они у людей? А еще такой случай знаю — у меня был дядя, такой красивый, такой красивый... Забрали в армию, на флот. И вот матери сообщают — погиб. Что случилось — не говорят. И привозят в закрытом гробу. А мать плачет, плачет — не хочу так, откройте гроб. Открыли — а там вместо него большой рыба. Мать в обморок упал. И умер, очень скоро.

— Аня, вы хотите сказать, что это правда?

— Правда-правда. Все же своими глазами видели!

Мухомор и кувшинки

— Астматика трудно придушить — он умеет экономно пользоваться последними остатками воздуха, поэтому менее уязвим!

Это мы с подругой Катей обсуждаем жизненные стратегии, наслаждаясь не только последним теплом, но и кулинарными изысками: жульеном, шарлоткой и малиновой настойкой. Уже вторые выходные празднуем ее день рождения — сорок восемь, из которых тридцать она ухаживает за инвалидной мамой, большую часть времени проводя с ней в ярославской деревне. Там есть все, что доктор бабушке прописал, — вольный воздух, огород, цып-цып-цыплята. Прискорбное обстоятельство только повысило градус Катиного природного жизнелюбия — радость она извлекает отовсюду, как изюм из булки, еще и делится с окружающими. Пространство и время вокруг нее закручиваются воронкой — аж гудят, а персонажи ее жизни, мифологичные и анекдотичные, описываются так сочно, что в носу щекочет, как от шампанского.

Сейчас она рассказывает про приятельницу, которая так верила в сбычу мечт, что, неэкономно вдохнув, улетела за счастьем в Австралию налаживать экологический туризм. В итоге на ее личной экологической тропе немецкую туристку сожрал натуральный крокодил. Ужасная трагедия, но хохочем, как ненормальные. Веет корицей, грибами и яблоками. Алтынай из угла сурово и недоверчиво смотрит на шумную Катю, но я знаю, что скоро эзотерические женщины кинутся друг другу в объятия.

Ну да, свершилось... В общем, узорная юрта в Киргизии теперь обещана не персонально мне, но нам с Катей на двоих.

Беседуем уже втроем — на этот раз об эффективных зельях из мухоморов, непременно зарытых в землю. Катя тоже знает магические техники, сама собирала в фольклорных экспедициях. Деревенские жители недавно заявили к ней в дом целой делегацией — нужно было переселить домового из одной избы в другую. А то местный колдун, видишь ли, умер, и больше некому.

— Кать, неужели получилось?

— Пока не знаю, вроде да, а там видно будет.

У Алтынай свои техники, и главная — это гадание на камнях. Но, говорит, здесь нельзя, у вас камни грязные, вот в родных горах она когда-нибудь нам погадает. И опять обещает нам киргизского серебра привезти — сережки-колечки всякие. Потом девушки обсуждают, какой формы и цвета ореол висит над головой человека, которому скоро умирать. Видения у них похожие. Я, кажется, тут лишняя.

Сажусь на велосипед и нарезаю круги меж садовых участков, неосмотрительно забыв о выпитом пиве. Победительно возвращаюсь, чудом не упав в канаву, почти снеся чужой забор и слегка поцарапав чью-то шикарную тачку. Аня смотрит на меня, красную, запыхавшуюся, и смеется:

— Эх, Лариса Петровна, я же вам говорила об экономном дыхании!

Мы снова смеемся, и тут становится слышно, как папа надсадно кашляет, а Алтынай ворчит на себя — забыла, где прикопала очередную бутылочку со снадобьем.

Он спит, идем гулять. Речка делает изгибы, расширяется, сужается, показывает то песчаный бережок, то старую березу на обрыве. Там ивовые шатры сгущают тень с запахом болотца, тут шоколадные камышины поют на ветру. Донные травы волнуются, сплетаются, упругая плоть воды не дает им распрямиться, гнет в ту сторону, куда бежит сама. Как время.

— Ваш красота такой зеленый! — улыбается Алтынай. — Не как у нас. И речка такой тихий.

Я вспоминаю, как ревет, вылизывая валуны, красавец Аламедин. Две красоты — непохожие, как серебро и золото.

— А я хотел увидеть белый кувшинку. У нас нет. Елки, березы — эти есть, а кувшинки нет. Я на картинке видел — такой красивый! Светится весь! Растет здесь?

Не хочется огорчать, но белые мне здесь не попадались. Слишком близко Москва, слишком все загажено — нимфеи любят чистоту. Да и выдрали бы граждане непременно, если б и росла. Желтых и то почти не стало.

— Приезжайте, Анечка, ко мне в Ярославскую область, — говорит Катя. — Там — сколько угодно.

— А у вас нельзя сделать фиктивный прописка? — интересуется Алтынай. — А то я хочу гражданство. В Москве прописка дорого.

— Я узнаю, — обещает Катя. — Но у нас мистические места, дикие. Потусторонние сущности и все такое. Не боитесь?

— Не боюсь. Я умею.

Катя вовсе не шутит насчет сущностей, точно знаю. Сама у нее в доме как-то встретила с кикиморой. И дом у нее готический — восемнадцатого века, сумрачный, с летучими мышами под крышей.

У тропинки стоит красный мухомор, Аня в восторге — никогда не видела. Фотографирую ее, счастливую, с мухомором, потом с Катей, потом на фоне мельницы, потом в зарослях каких-то метелок, и наконец мироздание дарит мне совершенно неожиданный кадр. По крутому склону холма ведет вверх деревянная лестница. И там, наверху, на фоне неба и нежных выпуклых облаков стоит Алтынай. А потом к ней подходит лошадь. Такой вот романтический получился снимок — лестница в небо, а в небе девушка и белая лошадь.

Возвращаемся. Папа уже хнычет, Аня бежит менять памперсы, а Катя размышляет вслух.

— Кажется, мы ей интересны. Мы демонстрируем, как можно быть счастливыми без денег. Похоже, раньше ей это не приходило в голову. Вы заметили, как она нас слушает? Это для нее — другая реальность. Нет, а вы видели ее синяки? Просто черные. Она рукав подняла, показала. Это не муж, это дикарь какой-то.

М-да... А мне казался симпатичным. Совершенно не разбираюсь в людях.

Давешний дервиш, проходя мимо, попросил попить водички. Понятно, пообщаться хочет. Сел по-турецки с чашкой на газоне, глаза закрыл и монотонно гудит что-то свое. Потом с надеждой:

— Хозяйка, работа есть?

— Увы, дорогой! Работа есть — платить нечем.

— Вах-вах, семья большой, деньги посылать надо... Плохой жизнь стал.

— А раньше лучше, что ли, была?

— Раньше не так. Вот были рядом два человек — у меня сто рублей, у него сто тыщ, но мы все равно одинаковые. Не знаю, как это сказать... Теперь по-другому: он хозяин, я никто.

Женщины, только женщины

Аня уехала. Попросила в долг, довольно много. На билет и подарки детям. Ей — как не дать? Дала, конечно.

Она привела вместо себя дальнюю родственницу — Айкыз. Тоже красиво — Лунная Девушка. Аня-два. Я так в телефон и забила. Дикарка, худенькая, пугливая, по-русски говорит плохо, понимает еще хуже. Не из города — из дальнего аула. С того самого Памира, что ли? Алтынай сказала, в Москве она все время плачет — хочет домой, к детям. Почему же не едет? А муж не пускает — требует, чтобы жена при нем была.

Я не в восторге, но уж ладно, пусть родственница. Все время боюсь, что Аня насовсем куда-то денется, — а так хоть ниточка осталась.

Обнялись и поцеловались на прощание.

— Анечка, — говорю, — скажите вашей маме, что я ей благодарна за такую дочку!

Смеется. В костюме новом, черном с красными цветами — совсем не идет при такой смуглости, ей бы белое с голубым.

Уехала.

А я снова как в дурдоме. Переезд с дачи ознаменовался полным улетом папиной крыши. Чем это, интересно, можно объяснить? Какой-нибудь экологической антропологией? Бетонная коробка форматирует его мозги хуже, чем деревянный дом? Или полевые воздействия виноваты — электромагнитные, биоэнергетические, психикакие-нибудь? Геопатогенная зона под кроватью? Может, что-то еще?

А мы-то сами как в этом городе живем?

Вызывала на днях «скорую». Что поразительно, не начали бурчать, что к старикам не ездят. Примчались через пятнадцать минут, сняли ЭКГ и вызвали вторую, кардиологическую бригаду. Укололи чем следует, поставили капельницу, дождались, пока прокапает, снова сняли ЭКГ и только потом уехали. Пробыли в итоге три часа. И лица у женщин такие строго-сосредоточенные, такие доброжелательно-деловые... ну прямо такие... такие... хорошие советские лица — ей-богу, другого слова не нашлось.

Айкыз старается — но нет, не волшебница. Больной наш ничего не ест, пролежни снова замучили, уколы она делать не умеет. В кресло пересадить тоже не может. Папа хоть и не видит ничего, но чувствует — руки не те.

— Аня? Где Аня? Хочу Аню!

— Это тоже Аня. Аня-два.

— Нет, я хочу нашу Аню! Где она?

— К детям уехала. Навестить. Но вернется.

— Главное, чтобы Анечка не заболела! — волнуется он.

Опять не спит ночами, и я снова хожу на работу в сомнамбулическом состоянии.

Читаю, как в комментариях ЖЖ одна палата сумасшедших сражается с другой палатой сумасшедших — по поводу ветеранов. Спорят — это наша обуза или национальное достояние? Размахивая колпаками, подушками и клистирными трубками... Да пусть их!

Только не понимаю, что мне с моим личным ветераном делать. Доверенность на получение пенсии у нас закончилась, а вызов нотариуса на дом, чтобы подпись заверить, стоит пять-семь тысяч. В Центре социального обеспечения дали «секретный» телефончик — там, сказали, можно за три тысячи договориться. Позвонила. Отвечают — нет, мы за такую цену уже не выезжаем, нецелесообразно.

Им теперь все нецелесообразно!

Даже до городской нотариальной палаты дозвонилась, какой-то специально уполномоченной тетеньке. Но у них там своя военная тайна. Оказывается, существует список нотариальных контор, где для ветеранов дешевле. Только список, вот

незадача, куда-то запропастился. Не найдут никак. Обещали позже найти и перезвонить. До сих пор ищут.

Вдруг подумала, что оказалась в реальности, в которой значимы только женщины. Пьеса, где все роли женские. Нет, мужчины тоже присутствуют, но как-то... за стеклянной стеной, что ли. Они зрители. У них свои важные дела, работа, поиски смысла, честолюбивые устремления. Может, они и сочувствуют мне по-своему, но как безнадежно сошедшей с дистанции. Упавшей за борт. Трудно объяснить, но когда оказываешься наедине с бедой, в ситуации выживания, то попадаешь на уровень, где тебя окружает только женская, почти хтоническая энергетика. Понятно, что не только целительная и добрая. В этой игре действуют разные фигурки, от черных до белых — и ты, аллегория Медицины, и вы, архивные чиновницы, больничные санитарки, киргизские сиделки, участковые врачи. Но когда совсем плохо и кажется, что ты уже идешь ко дну, тебя держат на плаву женские мелочи — кофе с Дианочкой, шепот Алтынай, полуседающая Катина шевелюра, даже неумелые старания Айкыз — это ведь она старику попу подтирает, а не этот, на красном «ниссане».

Щастье в тройном размере

Чтобы не ухнуть в депрессию, радость надо вливать в себя ежедневно. Ложками. Как рыбий жир. Насильно, разумеется. Вчера решила впервые самостоятельно объехать квартал — тут же бумкнулась о заборчик. Пытаясь сдать назад, встала поперек улицы и вот уж где наслушалась ругани и бибиканья! Смирненно вернулась на исходные позиции. Сегодня с утраца попробовала еще раз — уже без конфузаций.

Ура! Я же теперь могу ездить в ЦСО за памперсами! А то у них нет-нет, а потом кааак выдадут за три месяца! Вот и бегаешь, как челнок, три раза за три квартала. С этими тюками.

Господи, адреналину-то сколько! Так вот ты какой, настоящий антидепрессант!

Поехала в ЦСО. Стала выяснять, что нам еще положено. Слышала, у них есть санитары, которые могут лежачего дедушку донести до ванной, вымыть и вернуть в кровать. Но милые сотрудницы объяснили, что такие услуги — только для одиноких. И то раз в полгода, и по записи.

Для ходячих у них даже какие-то кружки существуют, или клубы по интересам. Проходя, видела в открытую дверь — цветочки, занавесочки, чистенькие старушки сидят и оживленно беседуют. А лежачий — это уже за скобками, не нужен никому. Мне даже крамольная мысль в голову пришла — могли бы, например, на День Победы придти на дом ветерана поздравить. Может, ему бы и полегало.

А он ведь еще живой, еще ждет внимания — не от дочери, это само собой, а от общества. И воспринимает это внимание совсем по-другому. Почему он на меня сердится, а на Аню нет? Потому что думает, это к нему медсестру государство приставило. Заслуженно!

Телефонный звонок. Кто? Рустам? Вот уж чего не ожидала.

— Лариса Петровна, простите меня! Я был как дурак! Я никогда, никогда больше! Сам не знаю, что на меня находит! Как выпью — сразу драться. Я вас очень уважаю, и Аню очень люблю. Простите! Не хочу, чтобы вы обо мне плохо думали.

Делаю строгий учительский голос:

— Вам у нее прощения надо просить. А не у меня.

— Нет, это вы меня простите! — и взволнованно дышит.

Зачем звонил? Не поняла, ей-богу.

Сегодня — щастье есть! Даже в тройном размере!

Те два часа, пока я, оставив спящего, осваивала технику езды по третьему кольцу, старая «Ока» сына лишь изредка взбрыкивала. Сломалась же окончательно ровно в пяти метрах от подъезда — это везение первое. Почти дома! Но... машинка стоит и не дышит. И пахнет горелым маслом.

Везение второе — точно в тот миг мимо проходил сосед, ученый-геолог и по совместительству поэт. В припадке корпоративной солидарности, не жалея приличного пальто, помог откатить коробочку в кусты, дабы она не загораживала проезжую часть. В итоге влетаю в квартиру за пятнадцать минут до визита барышни Оли из фонда «Справедливая помощь». Про «доктора Лизу» слышали? Это ее фонд. Барышня эпизодически помогает мне бороться с папиными пролежнями. Без Алтынай они опять активизировались. Ничего у меня без ее золотых рук не получается! Три месяца без нее, и проблемы нарастают, как снежный ком.

Оля — третье везение. Безвозмездно таскается к нам в такую даль с мешком перевязочных материалов (в том числе гипоаллергенных «дышащих» пластырей, которых нет в аптеке!) и отказывается от материальных проявлений благодарности. Максимум, что удалось впихнуть, — банку варенья из райских яблочек.

Уфф, как все совпало!

А если б машинка сломалась где-нибудь на Савеловской эстакаде или в Лефортовском тоннеле? И Оля ждала бы под дверью, а то и вовсе бы ушла? Вместе с пластырями!

Чем бы таким отблагодарить мироздание?

Хотя процесс, похоже, односторонний.

Оно благодарностей не требует.

Терминальная стадия

У папы жуткий отек в паховой области — видимо, из-за лежачего положения. Анечка предупреждала, но что делать? Пересаживать в кресло не могу, Айкыз тоже это не под силу — и так уже три месяца. Хорошо хоть сын приезжает иногда, носит деда в ванную, но это мало что меняет. И теперь такой отек, просто подушка — даже памперс не застегивается.

Я в отчаянии. И кто мне скажет, что я должна делать?

Хорошо хоть каникулы в школе, на работу бежать не надо.

Врачи приходили, трое за неделю. Один терапевт сказал — пить мочегонное горстями, второй — не горстями, а очень осторожно, но зато вызвал хирурга из поликлиники.

Явился хирург восточной наружности — я его узнала, тот самый товарищ Азизов, с усиками и чарли-чаплинскими ужимками.

— Служай, чэго волнуэшься, а? Мусульманский малчик когда обрэзание дэлать, тоже отек бывает. Ну, троксевазином, что ли, намажь.

Посоветовал найти частного уролога и ушел. Отек тем временем увеличивается, от мочегонных отец вообще полумертвый, про троксевазин сами понимаете — по нулям. Ну, и куда нам дальше обращаться?

А тут еще Новый год, все врачи празднуют.

Полезла в Интернет. Нашла частника, который согласился посмотреть больного — «всего» за семь тысяч.

Приехал — крупный, холеный, в золотых очках. Долго смотрел, мял, выстукивал. Потом предложил выйти на кухню.

— Его сколько врачей смотрели? — холодным таким голосом.

— Четверо.

— И что, никто вам не сказал, что это терминальная стадия? Никто не понял? Недели две осталось. Ну, месяц — максимум.

Взял бесстрастно гонорар и ушел.

В квартире жарко, а я заледенела. И не с кем разделить ужас.

Через два дня чудо — моя Алтынай приехала! Обнимаю со слезами. Сразу деловито осматривает папу — ох, как все запущено! А он почти в отключке — даже непонятно, узнал ли ее.

Но ничего, щебечет, утешает, обещает привести его в порядок домашними средствами типа ромашкового чая, я же чувствую невероятное, безумное, бессмысленное облегчение. Теперь в этом кошмаре я не одна, и хотя в ромашковый чай не верится, почему-то кажется, что потеплело.

Она рассказывает, почему задержалась, — дедушка умер. Тот самый, с яками.

— Ой, — огорчаюсь я. — Теперь не съездим!

— Почему не съездим? Там еще родственников много!

Пьем чай, я сияю подаренным киргизским серебром на пальцах и в ушах.

— Нравится? Я вам геометрический выбирал, строгий! А Кате — тот, с красным камушком. Вы не плачьте, Лариса Петровна, все будет хорошо!

Последний врач оказался прав. Через две недели внезапно падаю с высокой температурой. Вызываю Аню, хотя сегодня не ее день. Примчалась, золотце, обед сготовила, в кресло его перетасила, накормила — радостно докладывает, что хорошо поел.

И вдруг через два часа:

— Лариса Петровна, «скорую» надо!

— Что случилось?

— Еще сам не пойму, но чувствую — плохо.

Приехала «скорая», врач пятнадцать минут колдовала, испугалась и вызвала кардиологическую. Кардиолог что-то ему вколола, а потом говорит:

— Даже уезжать не буду. Через пятнадцать минут зафиксируем факт смерти.

У меня трясучка и озноб, голова ватная, еле стою и держусь за Аню. Папа весь голубой и ни на что не реагирует. Я даже не уловила момент ухода. Температура под сорок — все как в тумане. Опять мироздание меня пожалело — больно было, но как сквозь вату.

Выписали какие-то бумажки, позвонили в милицию.

Он лежит мраморный. Я хотела поцеловать, Аня ужаснулась:

— Это нельзя сейчас делать! Примета такой!

Почему нельзя, не помню — сказала, что-то плохое прилипнуть может.

И закрыла его лицо простыней.

Явился милиционер, спросил у нее паспортные данные как у свидетеля. Пока переписывал на какой-то бланк, я увидела паспорт — вовсе она не Алтынай, а Айгуль.

То-то дикий памирец ее Гулей иногда называл.

А мне уже все равно, сюжет окончен, гештальт завершен.

Последнее, что вижу, — черный пластиковый мешок, который санитары волоком тащат к лифту. Господи, моего отца — как мешок с мусором!

Она обещала придти на похороны, но не пришла. Потом объяснила — не решилась заходить в православный храм. Зато притащила на девять дней огромную кастрюлю салата. Красиво так нарезанный — аккуратно, как и все, что делает. Но я чувствовала отчаянную пустоту за плечом, когда хоронили. А он лежал в парадном ките, как в футляре не по размеру — так весь истаял. И не было покоя в лице — угрюмое страдание.

Я теперь очень люблю, когда Анечка приезжает, и мы вспоминаем его, и смотрим фотографии, и улыбаемся последним шуткам. И вот она, стеснясь, снова просит взаймы, жалуясь на неустроенность. К типу на красном «ниссане» ей уже не вернуться, теперь ночами дежурит у кого-то в больнице. Я-то что насчет денег — всегда дам, если есть. Сегодня звонит — просит еще. Младшего брата привез с собой, такой-самый, залил соседей снизу — скандал, ремонт. Почти всю сумму набрал, немного осталось, не у кого больше просить — только вы, Лариса Петровна.

Подруги считают, что хитрая бестия меня дурит и никогда не отдаст. Но был же давний случай с однокурсницей из Литинститута — я получила крупный по тем временам гонорар, она попросила в долг... и пропала. Отдала, когда заработала, — но через несколько лет, я уж и забыла про них. Наверное, мне легче потерять, чем подумать о человеке плохо.

Звонок. Айгуль. Радостным голосом сообщает — деньги собрала и через неделю привезет.

— Лариса Петровна, будем вам машину покупать! И можно, я к вам на самом деле летом маму привезу? Она согласный!

— Не вопрос. Конечно, можно.

А через неделю в новостях — события в Оше. Какое там «события» — резня. Киргизы против узбеков. Погромы, жертвы. Толпы озверевших молодых мужчин. Еще через месяц зачем-то звоню Рустаму, хотя уже и так все ясно.

— Извините нас, — деревянным голосом, — но денег нет. Гуля улетела в Ош, у нее родственник погиб.

Господи, у людей несчастье, а я про деньги!

Ошские фотографии в Интернете ужасны. Разбитые машины, горящие дома, ряды свежих могил, скорбные недоумевающие женщины в туго повязанных косынках, с детьми на руках. И все теперь спорят, кто виноват — узбеки или киргизы? Ох, неужели уважаемые спорщики полагают, что в случае военных действий одна сторона бывает гуманнее другой?

С одной стороны, с детства слышала душераздирающие мамины и бабушкины рассказы — что немцы творили на оккупированной Украине и в Белоруссии. С другой — один уважаемый ветеран мне подробно живописал, как русские грабили и насиловали мирное немецкое население. Можно подумать, что психология воюющих мужчин с тех пор изменилась.

Статуя свободы

Прошел год. Сажать цветы на кладбище езжу на «матизе» — деньги, действительно, сами пришли, как Аня и обещала. Военкомат заплатил компенсацию, кто-то вернул долги, знакомая предложила подработку. Маленькая машинка, но едет. Отданной Ане в долг суммы совсем не жалко. Ты справедливо, уважаемое мироздание!

Новости из Киргизии теперь читаю постоянно. Из той страны, которая казалась мне такой спокойной и дружелюбной.

В Бишкеке погромы, переворачивают машины, жгут магазины.

В Южной Киргизии одно землетрясение за другим.

На Иссык-Куле перестрелка милиции с населением.

С военной базы в Кой-Таше сбежал вооруженный солдат.

Одни СМИ пишут, что в ошских событиях видна рука российских спецслужб, другие — что это внутренние разборки наркобаронов под видом межнационального конфликта.

Одни — что Америка выделяет большие деньги на борьбу с наркомафией, другие — что она заинтересована в сохранении наркотрафика из Афганистана. Продлен срок аренды американской военной базы в аэропорту «Манас», и пока американцы расширяют свое присутствие в регионе, чиновники продолжают уводить деньги.

Стою на светофоре, из соседней машины мне машут два юноши.

— О, как вы на нашу учительницу похожи!

— Я тоже учительница!

— Но наша не в Москве.

— А вы откуда?

— Из Оша. Знаете Ош?

— Еще бы! Объясните мне, как это — жили вместе, в школе учились вместе, а теперь убивают друг друга?

— А непонятно. Какие-то люди ходят — не в городе, по селам. Деньги парням предлагают. Большие, по тысяче рублей — чтобы в городе погромы делать. Работы нет — вот и соглашаются.

— Но что за люди? Кто они?

— Сами не знаем.

Памятник в Бишкеке демонтировали — тот самый, «странный такой женщина, куда бежит — никто не понимает». Оказывается, это у них была статуя Свободы. А «непонятный круглый» в руках — наверхие юрты. Теперь пишут, что у Свободы было лицо жены президента Акаева, поэтому ей не место в центре столицы. А некоторые политики сочли памятник этнографически неверным — у киргизов дымоход юрты женщина поднимала только когда мужчин в живых уже не оставалось. Кое-кто из тамошних политиков верит, что неверно выбранный символ — главная причина перманентной нестабильности.

Киргизские депутаты провели ритуал по изгнанию злых духов из здания парламента. Для этого парламентарии устроили жертвоприношение, зарезав семь баранов. Спикер парламента сообщил, что на проведение ритуала из зарплаты каждого депутата было вычтено по пятнадцать долларов. Есть ли какие-то признаки того, что атмосфера в парламенте улучшилась, пока неизвестно.

Аня-Айгуль-Алтынай, тревожный цветок, золотая девочка, — кто знает, каково тебе там, в беспокойной Киргизии! Только бы с тобой ничего не случилось. И с твоим мальчиком, шахматистом и футболистом. И с твоей дочкой, звездочкой ансамбля народных инструментов. И с мамой в розовом, плачущей об утраченной любви. И с магазинчиком, который всех вас кормит.

А может, ты опять в Москве? Купила наконец российское гражданство и пытаешься вытащить сюда родню? Но тогда почему не звонишь?

Я не стану тебя искать.

Главное, что ты многому меня научила. Твои маленькие руки держали меня, когда я была готова сорваться. На этих руках умер мой отец. И если в жизни случается облом, то я теперь знаю, что все можно начать сначала. Нервничая за рулем, вспоминаю девушку с волчьим клыком на шее, и успокаиваюсь. А помнишь, как мы вместе сажали розы? Теперь они цветут пылко и весело. Я помню твои снадобья, твои гадательные камни и хожу в твоём серебре. Все хорошо. Не переживай. Забудь про долг.

Будем считать, что я заплатила за тренинг личностного роста. Или выживания в экстремальной ситуации.

Можно сказать и по-другому — у нас была очень дорогая сиделка. Эксклюзивная. Но она того стоила, честное слово.

Илья Одегов

Овца

Рассказ

— Эй! — Ерлан остановился возле резной ограды и оперся на нее так, что доски затрещали. — Эй, Марат! Ты дома?

— Э-э-э, забор мне не ломай, а?! Чего раскричался? — выглянула из окна Рафиза, вытирая тряпкой руки. — Нет его. Овцу потерял опять, скотина. Ярку. Пока не найдет, домой не пушу.

— Так может, пока его нет, мы... это... — Ерлан, усмехнувшись, вытер рот.

— Ишь глазки-то заблестели! — прикрикнула на него Рафиза. — Хватит с тебя. Размечтался. И руки-то с забора убери. Когда придет, скажу, что искал.

— Ну, как знаешь, — Ерлан сплюнул, развел руки в стороны и пошел, насвистывая и пританцовывая, дальше по улице. Рафиза поглядела на часы. Марат ушел уже часа три назад, а все нет его. Становилось от этого беспокойно, но и лишиться ярки было ужасно жаль. Лучшая ведь ярочка была. «Вот, уже говорю — была» — поймала себя на мысли Рафиза и расстроилась еще больше. В кухне что-то зашипело, затрещало — ах! пенку не сняла — кинулась туда Рафиза и успела, скинула ловко крышку, огонь уменьшила и ложкой аккуратно, обходя бурлящие в центре пузыри, убрала коричневые сгустки с бульона. Вернув крышку на место, лишь слегка сдвинув ее по-щегоольски на бок, Рафиза уселась чистить картошку. Очистки получались у нее — одно загляденье, ровные и почти прозрачные, вворачивались друг в друга спиралями.

По телевизору опять шли новости. Рафиза не любила местные новости — не верила. Родственников по всей стране много, сколько раз было, что по телевизору порасскажут ужасов и бежит Рафиза в одном халате и с телефоном в руках на холм, что за поселком: «Анель, Азамат, как вы там? Живы-здоровы? Говорят, землетрясение у вас было? Что? Как не почувствовали? Говорят, жертвы... Ох, солнышки мои, волнуясь за вас. Ну, хорошо, хорошо, не буду».

А как же не буду, как же не волноваться, это ведь не чужие люди, а детки свои, пусть и повзрослевшие, студенты уже.

Или наоборот, говорили по телевизору, что прошла мирная забастовка, а вон Кудайберген-ага сына своего после этой забастовки уже две недели найти

Илья Одегов — прозаик и композитор. Родился в Новосибирске, вырос в Алма-Ате. Автор книг «Звук, с которым встает Солнце» и «Без двух один». Победитель конкурса «Современный казахстанский роман» (2003). Участник Форумов молодых писателей России (2005, 2009, 2010). С циклом рассказов «Чужая жизнь» вошел в лонг-лист международного литературного конкурса «Русская премия» (2009). Издавался в литературных журналах и сборниках Казахстана, России и Великобритании. Основатель и идеолог творческого объединения «Горајаго». Последняя публикация в «ДН» — рассказ «Пуруша», № 3, 2012. Живет в Алматы.

не может. Все звонит и ему, и друзьям его, а без толку. Говорят, то ли забрали его прямо на забастовке, то ли вообще убили, тьфу-тьфу-тьфу. И молчат все, никто не знает ничего, то ли боятся, то ли Кудайбергена расстраивать не хотят. Ой, Алла... А по телевизору все неправда, нельзя верить новостям, лучше бы скорее сериал уже начался.

Вытащив из кастрюли здоровый кусок мяса, Рафиза ссыпала туда уже нарубленные картошку и лук, уменьшила огонь и вышла из дому поглядеть, не забрели ли куры в соседний двор, а то шуму потом не оберешься. Раньше за курами присматривала Лелька — их дворняжка, умная, как черт, но Лелька стала совсем старой, только лежала на крыльце лениво, да увидев Рафизу, виляла хвостом, словно извинялась. День был жаркий, и куры, растопырив крылья, бродили вокруг корыта с водой, в тени дома. Рафиза спустилась во двор, прошлась по огороду, подправляя подвязанные кусты помидоров и выдергивая по пути сорняки, и вышла через калитку на улицу. В тени редких карагачей спали собаки. Дома стояли тихие, будто пустые, только кое-где вился над крышами дымок из труб. Рафиза знала, что это лишь кажущаяся тишина. В каждом доме сейчас трудились хозяйки: месили тесто, укачивали малышей, набивали казы, а еще два-три часа, и солнце спустится ниже, станет прохладнее и тогда все выйдут из домов, сядут покурить на скамейках, пойдут гулять по улицам. Из комнат выскочат мальчишки, и не дай Аллах тогда какой курице выскочить на дорогу. И крыльями взмахнуть не успеет. Рогатки в руках этих сорванцов, что винтовки. А сейчас еще слишком жарко, потому и не видно никого. Хотя, кто это там? Уж не Марат ли идет? Рафиза сощурилась, прикрылась ладонью от солнца... Ах ты, черт, это же опять Ерлан, да и пьяный уже, судя по походке. Торопливо подобрав юбку, Рафиза вернулась во двор и заперла калитку.

Она хотела было пойти подлить курам воды, как вдруг ей почудилось какое-то темное шевеление за окном, ведущим на кухню. Рафизу как ошпарило, она подскочила и ринулась в дом. И впрямь, на скатерти сидела Чернуха — их кошка — и с удовольствием жрала мясо, оставленное Рафизой на столе. Чернуха так увлеклась, что замешкалась, не сумела сразу оторваться от еды, и этого мига хватило Рафизе, чтобы схватить попавшуюся под руку толкушку для картошки и нанести сокрушительный удар прямо по кошачьей голове. Чернуха молча повалилась со стола на пол.

«Эх, пришибла дуру, — с горечью подумала Рафиза, переводя дух. — И мясо все равно выбрасывать, и кошки у нас теперь нет». Охая, она подняла Чернуху — та повисла в руках, как тряпка — и вынесла ее во двор. Встала с ней, не зная, куда деть, и вдруг злость снова нахлынула на Рафизу, и воскликнув: «Ууу, падла», — она просто швырнула кошку на улицу, за забор, но не докинула, и кошка упала по эту сторону ограды. «Ну и черт с ней, — решила Рафиза, — Марат придет, скажу, чтоб унес. А сурпу без мяса будет есть, сам виноват».

* * *

— Эй, хозяйка, — раздалось с улицы. — Хозя-а-айка!

— О, Алла, — с досадой воскликнула Рафиза, выскочила из дома и увидела Ерлана, облокотившегося на ограду. — Да ты ж пьяный совсем!

— Открывай, хозяйка, — крикнул Ерлан и ослабился, — я к тебе пришел.

— Как пришел, так и иди дальше, — махнула рукой Рафиза, — вот же

окаянный, на мою голову. Раз приветить, так до старости теперь не отлипнет. Вот не зря говорят, палка, брошенная в степь, угодит в лоб несчастному.

— А смотри, что у меня есть, — сказал Ерлан с нежностью и достал из-за пазухи бутылку.

— О-о-о, и вот этого тоже не надо мне тут, — воскликнула Рафиза, — вот придет Марат, скажу ему, чтоб все кости тебе пересчитал.

— Марат, Марат, — скривился Ерлан, — а где он, твой Марат? А там же, где и хромой Сакен, и Амантай, и Халиулла. На мину наступил и бабах! Ни ярки, ни Марата! Хе-хе-хе.

— Тьфу ты, змея, пусть язык у тебя отсохнет! — закричала Рафиза. — Пошел вон отсюда!

— Ну, смотри, овца, — сощурился Ерлан, — уйду ведь, потом за мной не бегай.

— А ну стой, где стоишь, — сказала Рафиза, зашла в дом и вернулась с толкушкой в руках.

— Че думаешь, испугался? — усмехнулся Ерлан, — ну, давай.

— И дам, — ответила Рафиза, подошла к ограде и изо всех сил размахнулась, целясь попасть толкушкой по голове Ерлана, но тот на удивление легко увернулся, вырвал толкушку из рук Рафизы и отбросил ее в пыль, на дорогу. Потом посмотрел долгим взглядом на Рафизу, зло сплюнул и пошел дальше по улице.

После того, как Ерлан ушел, Рафиза сначала поплакала тихонько в доме, а потом вышла на дорогу, нашла толкушку — все-таки вещь нужная — вымыла ее хорошенько, да спрятала в шкаф.

* * *

Всю ночь что-то мешало Рафизе спать. Подушка казалась жесткой, луна подглядывала сквозь занавески, то и дело лаяли собаки. Около трех часов Рафиза встала и в одной сорочке вышла на крыльцо. Здесь, под дверным порогом у нее была заначка — полупустая пачка сигарет и дешевая китайская зажигалка. Рафиза курила редко и не хотела, чтобы Марат знал. Она подкурила, затянулась глубоко и выпустила в прохладный ночной воздух струю густого дыма. Вовсю стрекотали сверчки, по-прежнему гавкали собаки где-то далеко, но от этого тишина становилась только еще более пронзительной. От табачного дыма мир вдруг размяк, расплылся, потек мимо Рафизы медленно, как река летом, и звезды дрожали и блестели, будто гладкие камушки на дне этой реки. Докурив, Рафиза спустилась с крыльца, вырыла пальцами в земле ямку и спрятала окурочку там. После сигареты ноги были ватными, пальцы не слушались, но и мысли о Марате стали тусклее, незаметнее. Рафиза вдруг почувствовала, что продрогла и поторопилась вернуться в дом, неожиданно громко хлопнув дверью. От этого звука старая Лелька проснулась, вильнула по привычке хвостом, зевнула дурным духом, и, поняв, что тревога ложная, хотела было снова уснуть, но отчего-то не смогла. Какое-то знакомое, давно позабытое ощущение заставило ее встать, потянуться и выйти за ворота. Пыльная дорога была пуста, только запахи носились по ней туда и сюда, тревожа и волнуя старую лелькину душу. Повинуясь неотчетному желанию, Лелька отряхнулась и побежала по дороге налево, туда, где далеко впереди темнели силуэты кривых гор.

* * *

Проснулась Рафиза позже обычного. Проснулась, спохватилась, стала торопливо одеваться, наскоро привела в порядок волосы и, не умываясь даже, побежала во двор, выпустила из курятника возмущенных кур, насыпала им зерна, налила воды, заскочила в дом, чтобы поставить чайник, и заодно налила Чернухе в мисочку молока. Выставила миску наружу, как вдруг увидела саму Чернуху, лежащую в траве. Издалека Рафизе показалось, что ту уже поклевали птицы. «И Марат исчез, — подумала с горечью Рафиза, — и Чернуху я убила, дура старая. Хоть Лелька со мной, две старухи только и остались», — и закричала:

— Лелька! Лелька!

Но никто не отозвался, не прибежал, виляя хвостом, не ткнулся холодным мокрым носом в ладони. Только курицы глухо кудахтали, отгоняя друг друга от корыта с зерном. Рафиза подождала еще несколько секунд, а потом медленно отодвинула миску с молоком подальше от двери и вернулась в дом.

Умывшись холодной водой, она помолилась, сделала себе наскоро яичницу и присела на кухне, чтобы позавтракать. Солнце уже светило вовсю, поэтому Рафиза торопилась. По ее мнению, Марат должен был искать потерянную ярку в горах, в это время года трава в степи становилась сухой и жухлой, а в горах оставалась по-прежнему сочной, поэтому скот пасли в предгорьях. Перекусив и одевшись, Рафиза вышла, заперла дом и пошла в ту сторону, где небо подпирали далекие синие силуэты. Рафиза не часто бывала в горах. Она выросла не здесь, а ближе к центру страны, где на многие километры вокруг простиралась только степь, плоская, ровная, то зеленая от свежей травы, то красная от тюльпанов и маков, а то сияющая и белоснежная, аж до рези в глазах. А гор Рафиза побаивалась, уж слишком массивными и тяжелыми были они. Горы окружали ее и будто сжимались, грозя раздавить бездумно, безжалостно. Поэтому и сейчас высоко на склон Рафиза не пошла. Она прогулялась до моста через реку, крикнула несколько раз «Мара-а-ат! Ау!», сама не очень-то веря, что Марат может ее услышать, и поспешила вернуться вниз. По дороге ей встретились знакомые мальчишки-чабаны на низкорослых тонконогих лошадках. Рафиза расспросила их о Марате, мальчишки ничего не знали, но обещали проехаться по горам и Марата обязательно найти.

В глубине души Рафиза не верила, что Марат так просто отыщется. Внутри нее жутковато гудел холодный ветер и сердце стучало неровно, а так было всегда, когда кто-то из близких попадал в неприятности. Поэтому спустившись с гор, Рафиза сразу пошла к участковому Серику.

Нельзя сказать, чтобы у них с Сериком были хорошие отношения. Года два назад со двора Марата и Рафизы увели молодого пса — алабая. Хороший, крепкий был щенок, Марат специально и долго выбирал его, искал у чабанов, да и заплатил немало. Поэтому было из-за чего расстраиваться. То, что алабая именно украли — сомнений не вызывало. Марат с Рафизой как раз ходили в гости, отмечали рождение племянника, а вернувшись, увидели, что калитка во двор открыта, замок на клетке алабая сломан, а внутри — пусто. Побежали сразу к Серику, тот посадил их писать заявление, обещал помочь. Но прошли дни и недели, новостей не было, и про алабая постепенно забыли бы, если б не дошел до Рафизы слух, что воров Серик нашел, только те сунули ему десятку, да на том и разошлись. Серик, конечно, все отрицал, но глазки бегали. Да и уж больно

правдоподобно звучала история. Не поверила ему Рафиза тогда, и сейчас не обратилась бы, да не знала к кому еще идти.

Серик сидел у себя в кабинете и пил чай из расписной в огурцах пиалы.

— Салам алейкум, Рафиза-апай! — воскликнул он, но с кресла не поднялся. Настроение у него явно было благодушное. — Какими судьбами ко мне? Не случилось ли чего?

— Случилось, Серик, — сказала Рафиза, — муж у меня пропал. Вчера ушел овцу искать, и нет его до сих пор.

— Ай-яй-яй! — закачал сочувственно головой Серик, — вы садитесь, Рафиза-апай. Чай будете?

— Серик, волнуюсь я, — сказала Рафиза, продолжая стоять, — сердце у меня не на месте. Никогда Марат так надолго не исчезал. Если можешь помочь — помоги. Если нужно бумагу какую написать — заявление, там, на розыск, то я напишу.

— А куда ты торопишься, Рафиза? — Серик отставил пустую пиалу в сторону. — У нас торопиться правила нет. Кодекс видишь? Закон знаешь? Три дня подождем, а уж если не объявится Марат, то подадим в розыск. Может, он забухал у тебя? Может, к любовнице ушел, хе-хе?

— Ты чего говоришь такое? — тихо сказала Рафиза, — не знаешь что ли Марата? Случилось что-то, чую я. Не хочешь помогать, так и говори.

— Да хочу я, хочу, но не могу, права не имею, — развел руками Серик. — Вчера, говоришь, ушел? Вот послезавтра и приходи, заявление пиши и чего-нибудь придумаем.

— Ай, бессовестный ты! — с досадой воскликнула Рафиза, — когда тебе нужно, ты кодексы свои и не вспоминаешь даже, а как задницей шевелить требуется, так сразу законом трясти начинаешь. Сидишь тут, штаны протираешь. Ты на себя посмотри, какой карын отъел! Что, жир растрясти боишься?

— Э-э! — прикрикнул сердито Серик. — Ты за языком следи!

— Чтоб у тебя геморрой вылез! — в сердцах сказала Рафиза и вышла прочь.

★ ★ ★

Лелька бежала до самого утра, а когда рассвело, она забралась под высокую разлапистую ель, нашла там удобную сухую, выстланную хвоей и мхом ямку между выпуклых узловатых корней, и уснула. Но спала Лелька недолго и беспокойно. Что-то по-прежнему настойчиво гнало ее вперед. Проснувшись, она спустилась к реке, жадно напилась воды и побежала вверх, в горы, держась вдоль русла. Горный воздух и речная вода придали ей сил, в ней проснулось любопытство — Лелька то и дело останавливалась, обнюхивая кусты, втягивая мокрым носом непривычные запахи, выскакивала на берег, наблюдая, как вспыхивают в воде красными плавниками маленькие османчики, пыталась схватить пастью пролетающих мимо крупных блестящих жуков. Лельке казалось, что она спала слишком долго и позабыла, как весело и удивительно устроен мир. Так, гоняясь за мышами и чихая от душистого аромата горных трав, она выскочила на полянку и увидела Марата.

Марат лежал на спине. Лицо его было расцарапано, а левая рука до самого плеча придавлена верхушкой упавшей сосны. Лелька очень обрадовалась, увидев хозяина, и подбежав к нему, лизнула прямо в рот. Марат открыл глаза и с недоумением уставился на собаку:

— Лелька? Лелька! Ты что здесь делаешь? Как ты меня нашла?

Лелька только виляла хвостом и преданно глядела на Марата. Если до этого она не осознавала цели своего неожиданного путешествия, то теперь такая цель была обретена, и Лельку переполняло счастье от выполненного предназначения.

— Лелька, ты моя хорошая, — обрадованно зашептал Марат, — иди-ка сюда.

Лелька подошла еще ближе. Одной рукой Марат снял с шеи свой тумар и надел его на собаку. Цепочка была для собаки великовата, и Марат подтянул ее, просунув под ошейником и неловко завязав в узел.

— Все, Лелька, теперь беги-ка ты домой. Только дорогу сюда запомни. Рафиза мой тумар у тебя увидит и все поймет. А ты смотри, дорогу не забудь, приведи ее сюда, поняла? Все, беги! Домой! Домой!

Но Лелька уходить не хотела. Команду она понимала, но также понимала, что проделала такой долгий путь не зря, вот и хозяина нашла! Что же, ей теперь опять домой возвращаться? Ну уж нет! И Лелька не зная как же поступить, заскулила тихонько, словно заранее прося прощения.

— Беги! — хрипло закричал Марат и замахал рукой на Лельку, — пошла домой! Кому сказал, кет! Кет!

Лелька отскочила опасливо в сторону и заскулила громче. Нет, бросать хозяина одного здесь она не собиралась. Но и тяжелую руку Марата Лелька тоже знала. Отойдя на несколько шагов, она настороженно улеглась на землю, положила голову на передние лапы, но глаз не закрывала, а искоса все время поглядывала на Марата.

— Вот дура! — с досадой воскликнул Марат и снова попытался вытянуть руку из-под дерева, но бесполезно. Рука застряла крепко. Марат вздохнул и закрыл глаза.

* * *

Телефонные линии в аул так и не провели. У Рафизы был свой мобильный телефон, вот только она им почти не пользовалась. Да и никто не пользовался. Сеть можно было поймать только на холме за поселком и на минарете их маленькой мечети. В минарет, конечно, не пускали без крайней необходимости, а на холм нужно было еще взобраться. Да только зачем? В ауле проще и дешевле к соседям сходить или отправить кого-нибудь из мальчишек, пообещав пару асыков. А если случилось чего, то дом врача, которого местные звали не иначе как «дядя Саша», находился на центральной улице. Только и звонили, что в город родственникам. Звонили, как правило, в выходные дни — не потому, что так самим удобнее было, а потому, что знали — родня в городе занятая, все крутятся, как могут, только в выходные и можно поговорить подольше.

Рафиза запыхалась, пока взобралась на плоскую вытоптанную вершину холма, и присела на отполированный валун передохнуть. Отдышавшись, она, подслеповато щурясь, то приближая, то отдаляя телефон от лица, наконец, выбрала нужный номер и нажала на кнопку вызова. Шли гудки, и это было уже хорошо, но трубку на том конце никто не поднимал. Рафиза попыталась еще несколько раз, но безрезультатно. Спускаться обратно в поселок, так и не дозвонившись, было обидно. Вздохнув, Рафиза закрыла глаза и повернулась лицом к солнцу. Даже сквозь веки солнце слепило глаза. Солнечный жар проник

глубоко под кожу, и теплые ручейки побежали внутри головы, словно начал таять лед, и от этого таяния Рафиза задышала спокойнее и вся словно обмякла, расслабилась. Она сидела так еще некоторое время, пока в голове не осталось ни одной мысли, и состояние стало похожим на сон, лишь самый край сознания позволял на этой грани сна и бодрствования удержаться. И в этом состоянии все вдруг стало ясно. Нужно было ехать в город.

Спускаясь с холма, Рафиза опять повстречала мальчишек-чабанов и ничуть не удивилась тому, что Марата они так и не нашли. Сейчас ее волновало другое — на кого оставить дом. Впрочем, вариант был только один — старая подруга Рафизы Наташа, жившая с сыном по соседству.

Наташа развешивала белье на улице и визиту Рафизы обрадовалась, побежала ставить чай. Они посидели в тени яблоньки, выпили по пиалке густого зеленого чая и украдкой покурили.

— Наташ, я уехать хочу на денек, — попросила Рафиза, — ты уж присмотри за домом. Корову будешь забирать вечером, и мою заведи. А если до утра не вернусь, то овец моих завтра кому-нибудь из ребят отдай, пусть попасут денек-другой. Ну, и за птицей приглядывай...

— Хватит уже, а! — махнула рукой, смеясь, Наташа, — что я, не знаю что ли? Не беспокойся, пригляжу как за своими, езжай спокойно. Запасной ключ только не забудь оставить.

* * *

— Ох, а что в городе творится, — говорила Алиюшка, щелкая семечки и сплевывая на пол белую шелуху, — слышали, а? Говорят, ментам разрешили стрелять в людей!

— Как будто раньше они не стреляли, — хмыкнула Гульмира, — и это что, все твои новости?

— А еще говорят, что на Наурыз будем отдыхать аж пять дней.

— Ой, а ты как будто работаешь, — презрительно скривилась Зауре, — ты ведь к овце подойти боишься, тесто на бешбармак раскатать не можешь, а туда же. В городе, может, и будут отдыхать, а у нас заботы ждать не станут. Кто овец пасти будет? Кто еду на всю семью готовить? У Кудайбергена вон полкрыши ураганом снесло, как раз на праздниках Алибек с ребятами чинить пойдут, помогать. Кудайберген-то старый, да и сын у него пропал, помощников нет теперь.

— Да Кайратик всегда без головы был, — отмахнулась Алиюшка, не прекращая ловко разгрызать серебристые семечки, — я слышала, что он на флаге нашем орлу глазки пририсовал. Типа, орел должен быть зорким, ха! Вот его и повязали. И правильно. Сегодня он на флаге орлу глазки нарисовал, а завтра ему еще кое-чего подрисует, — она прыснула, подавилась семечкой и закашлялась.

— Эх, Кайратик — вздохнула Гульмира, — хороший ведь парень. У Кудайбергена-то и старшего сына в армии довели. Один у него Кайрат остался.

По дороге к ним шла Рафиза с клетчатым баулом в руках.

— Рафиза-апау! Ну как там, вернулся Марат? Нашел ярку? — загалдели девчонки.

Рафиза присела рядом с ними.

— Нет, не вернулся, — сказала устало она, — сутки его уже нет. К Серик

сходила, говорит, что ничем помочь не может. Ребят из чабанов попросила поискать — и тоже ничего.

— А что мужики-то наши? — спросила Зауре. — Нужно мужиков собрать и горы прочесать, не мог же Марат сквозь землю провалиться.

— Ты забыла, что ли, что сегодня свадьба у дочки Болатбека? — усмехнулась Гульмира. — Мужики наши все уже с утра там, корову режут, водку пьют потихоньку. Не до Марата им. Да и много ли у нас мужиков осталось?

— Ладно, девочки, — сказала устало Рафиза, — поеду я в город. Там у Марата брат в органах. Надеюсь теперь на него. Лишь бы живой Марат был. Ох, боюсь я этих мин...

— Да какие там мины, о чем вы, Рафиза-апау? — фыркнула Гульмира. — Байки все это. Вы придурка этого, Ерлана, слушайте больше, он еще и не такого расскажет. Хромого Сакена, скорее всего, волки загрызли. Амантай зимой ушел, в метель, там и замерз, видать. А Халиула просто от жены сбежал в город. Он давно об этом поговаривал. Сейчас все в город бегут.

— Может, и так, — кивнула Рафиза, — может, и нет никаких мин. Вот только мне все время кажется, что они есть. Такое ощущение, что они повсюду. Если их нет, то чего же мы ходим гуськом, ни шагу в сторону не делаем, обиды глотаем, а? — она вскинула голову и пристально посмотрела на Гульмиру. — Что, не согласна? Сама ведь знаешь. Живем как на вулкане, а сделать ничего не можем. Все, прощайте, поеду я в город, пока не поздно.

Дождавшись, пока Рафиза отойдет подальше, молчавшая все это время Алиюшка, хихикнув, сказала:

— А вы слышали, девчонки, что правильная Рафиза-то наша с Ерланом перепихнулась?

* * *

Снизу Марату хорошо было видно, как между верхушек елей текут облака, уплывая от горных пиков туда, ближе к людям и их теплу. Откуда-то снизу доносился шум реки и казалось, что она под землей, стоит только копнуть глубже — и вырвется на волю.

— Ты представляешь, — сказал Лельке Марат, — я же овцу так и не нашел. Да и не заметил я, когда она пропала. Вроде и недалеко водил, а поди ж ты. И знал, что получу от Рафизы, но не привык я, честное слово. Раньше хорошо было, отдашь овец чабану на все лето и спокоен, землей занимаешься, домом... Вот это по мне! А теперь и овец мало, и чабанов. Так и мы с Рафизой — раньше только скотом и жили, а сейчас что — одна корова, шесть овец... то есть, пять уже, ну, курицы, утки, а все больше сил и времени на землю уходит. Вон я в хлеб вложился, поле засеял, Рафиза огород держит, за садом следит. Земледельцы мы стали, а не скотоводы. Да только мне это как будто и в радость. Тяжелое это занятие овец пасти. Только кажется, что легко. То и дело начеку надо быть, а ну как в нору провалится, ногу сломает, или забредет на склон, застрянет в кустах, а то, не дай Аллах, болезнь какая... Не-е, мне куда приятней с землей возиться, картошку пальцами в земле нащупывать — молодую, круглую, тонкокорую, или жердочки на забор постругать — видала? Ни у кого в поселке нет забора красивее, чем у нас. Да только овцу мне найти надо. Без ярочки нашей Рафиза мне всю душу выест. Ох, боюсь я ее. Вот никого не боялся, а жену боюсь. Глаза у нее такие становятся... Как взглянет, так сразу у меня дыхание перехватывает, все сжима-

ется внутри. Как будто ошпарила. Только не кипятком, а льдом. Да кому я рассказываю, ты и сама знаешь, да, Лелька? И главное, что я, виноват что ли? Сколько раз говорил ей, ну не лежит у меня к этому душа, давай, говорю, найдем Саньку, Наташкиного сына, так нет. Ты, говорит, все равно лучше справишься, чем Санька. Ему наши овцы чужие, а тебе нет. Эх, а речка-то как шумит хорошо. Вода, наверное, ледяная, сладкая! Журчит, как кошка мурлычет.

Марат тяжело закашлялся.

— Слушай, Лелька, — уже с трудом шевеля сухими губами попросил Марат, — притащи-ка мне ту палку, видишь? Я-то сам не дотянусь.

Лелька, почуяв игру, подскочила и стала радостно прыгать вокруг Марата и лизать ему лицо.

— Да погоди ты, — слабо отмахивался Марат свободной рукой, — вот не зря говорят — маленькая собака до старости щенок. Вон туда смотри! Видишь? Та, что потолще? Притащи, пожалуйста. Неси! Апорт! Ну, давай, родная...

Лелька, наконец, что-то поняла, завертелась на месте, силясь разгадать, что именно просит хозяин. Марат схватил с земли ворох осыпавшейся хвои и швырнул в сторону обломка дерева, слабо воскликнув:

— Апорт!

Лелька бросилась вперед, принялась шарить по кустам, жадно вынюхивать, стараясь найти что-то с запахом хозяина, но все вокруг пахло только свежей землей, смолой да навозом. Ничего не отыскав, она решилась хоть как-то порадовать Марата, схватила самую толстую ветку — тот самый обломок упавшей сосны — и с виноватым видом — мол, вот лучшее, что нашла, хозяин! — потащила ее Марату.

— Умница, умница! — обрадовался он, — дай мне.

Лелька бросила ветку и завиляла хвостом. Марат развернул ветку более тонким концом к себе и попытался всунуть его под ствол дерева, рядом с придавленной рукой. Ветка была изгибистой, бугристой и всунуть ее было не так просто, а каждое движение доставляло Марату боль. Присмотревшись, он увидел, что ближе к его коленям дерево лежит на камне, а слева и справа от камня под стволом есть небольшие промежутки, пустоты. Он сунул ветку туда, и она вошла, пусть неглубоко, но вошла.

— Ох, лишь бы крепкой оказалась... — прошептал Марат.

Земля здесь вообще была каменистой, а Марату нужно было что-то для сооружения рычага. Он нащупал верхушку камня покрупнее и принялся пальцами откапывать его. Лелька, увидев, что Марат возится в земле, подскочила и принялась радостно копать рядом, крепко упершись в землю задними лапами и быстро перебирая передними. Комья земли полетели в Марата.

— Эй, а ну перестань! — крикнул Марат. — Токта! Фу!

Лелька взглянула на Марата с удивлением, но остановилась, а потом обиженно отошла в сторону и наблюдала, как Марат медленно, обдирая пальцы о жесткую плотную землю, отрывает камень. Наконец, камень начал шататься. Марат раскачал его и выдернул из земли, как свеклу. Камень был удачным — широким, с плоским основанием, с покатыми краями. Марат подоткнул камень под ветку и постарался коленом вбить его поглубже. Выдохнув из себя весь воздух, чтобы стать тяжелее, Марат изогнулся, перекинул ноги через ветку и всем телом оперся на ее приподнятый конец, помогая себе при этом свободной рукой. Упавшее дерево вздрогнуло и чуть шелохнулось, но этого оказалось

достаточно, чтобы чуть-чуть, на сантиметр высвободить застрявшую руку. Марат снова и снова силился приподнять сосну, пока, наконец, не выдернул из-под нее руку полностью. Рукав был разодран в клочья, предплечье сильно исцарапано, но Марат попробовал согнуть руку, пошевелить пальцами, и это у него получилось.

— Слава Аллаху, у нас в роду всегда были крепкие кости! — воскликнул он, лежа на спине и протягивая руки к небу.

* * *

В городе Рафиза не была давным-давно. Больше всего ей хотелось навесить деток — Анелечку и Азамата, они снимали квартиру где-то недалеко от университета, но Рафиза не хотела волновать их, не хотела рассказывать о том, что отец пропал, а еще что-то подсказывало ей, что у них уже своя жизнь, и врываться в нее вот так, не предупредив, просто нельзя. Вдруг у них гости, вдруг дома беспорядок, вдруг есть другие дела на вечер? Нет, нельзя так. Пусть сами в аул приезжают, и тут уж Рафиза постарается — и плов сделает, и бешбармак, и манты. Да и хоть свежим воздухом подышат, а то здесь дышать совершенно невозможно. Не воздух, а дым. Да и чего удивляться, вон стоят автобусы на остановке, а из выхлопных труб — черные облака. А глаза поднимешь — так вокруг трубы полосатые возвышаются, торчат ртами открытыми в небо, и дым из этих ртов валит густой и плотный, такой, что сквозь него солнца не видно. Обернула Рафиза платком лицо, чтобы дышать было легче, и пошла на остановку.

Ехать было далеко, но автобус несея как угорелый. Водитель выезжал на встречную, с трудом входил в повороты, сигналил и матерился в окно на прохожих, других водителей и чиновников, не ремонтирующих дороги. А дороги действительно были ужасные. Казалось, что по асфальту проехали танки. Не то чтобы на дороге были ямы или выпуклости, нет, она вся состояла из продольных и поперечных ям и выпуклостей, разбавленных открытыми люками, свежими пузатыми заплатками, узкими рвами и упавшими ветками.

«Странно, — думала Рафиза, глядя в окно, — это же город, здесь ведь столько людей, столько денег. Что ж они — дороги не могут починить? У нас-то в поселке дороги гораздо лучше, а здесь... Странно это. И деревья раньше здесь были, я ведь помню, а сейчас вместо них повсюду эти гигантские дома — торгово-развлекательные центры, и только один закончится, как другой появляется. Это что же, все теперь в городе только торгуют и развлекаются? Вот раньше было понятно — едешь по городу и видишь — возле школ детишки бегают, из библиотек студенты группами выходят, из музеев — иностранцы, вечером нарядные семьи с детьми в театры идут, а утром бабушки в поликлиники — и сразу ясно, что жизнь здесь есть. А сейчас, где дети? Еду уже полчаса на автобусе — а вижу только хмурых взрослых людей и центры эти стекляннокаменные. Плохо, значит, развлекают в этих центрах, раз лица у людей несчастные. А мне что для счастья-то нужно? Вот я вспомню, как Азаматик ходить начал, неуклюже так, в ногах своих же путался, но довольный был, аж светился — и я как вспомню, так и сама улыбаться начинаю. Вот и сейчас улыбаюсь. Или, как Анелечке, когда ей еще и двух не было, косу заплела, бант нацепила, к зеркалу поднесла, а она на себя уставилась и замерла в восхищении, девочка девочкой. А улыбаться

ся начала, так у нее зубы все вперемешку, щеки все в ямочках... И не нужно мне никаких развлекательных центров, и так хорошо мне...»

Стоящий на перекрестке регулировщик выскочил навстречу потоку машин и властно остановил движение поднятым жезлом.

— Опять кого-то пропускают, — сказал сидящий рядом с Рафизой седой мужчина в старом пиджачке. — Вы ведь не местная?

— Да, — просто сказала Рафиза.

Стоящие в пробке машины загудели, засигналили, но скоро перестали, осознав тщетность усилий. В автобусе было ужасно душно и водитель открыл двери, чтобы впустить воздух.

Наконец, взывая сиренами, мимо пронеслись две длинные черные, переливающиеся разноцветными огоньками машины. Регулировщик пронзительно засвистел и поток машин медленно тронулся.

— В древние времена императоры выезжали к народу на огненных колесницах, чтобы усилить эффект появления, — сказал сосед Рафизы. — Но тогда народ был темный, жаждущий света, да и не привыкший к спецэффектам. Думаю, что люди, видя такую огненную колесницу, переполнялись благоговейным ужасом и падали ниц. А что сейчас? Мы ведь и не знаем, кто был в этой машине. Да и разве это огненная колесница? Больше похоже на движущуюся китайскую новогоднюю елку, увешанную дюралайтовыми гирляндами. И при этом, я думаю, что те — в машине — все же удивляются, почему прохожие не опускаются на колени.

— А мне кажется, что им оттуда и не видно ничего, — сказала Рафиза, — вон какие стекла были черные. Даже жаль их, сидят там в темноте, как в гробу.

— Ох, — вздохнул сосед, — сейчас технологии удивительные. Возможно, что у них в стекла вмонтированы экраны, на которых мир прекрасен. А все это, — он кивнул в сторону окна, — видеть они просто не хотят.

— Мне нужно выходить на Гагарина, — сказала Рафиза, — это еще далеко?

— Готовьтесь, — многозначительно ответил сосед.

Нужный дом Рафиза нашла без труда. Он выходил торцом на дорогу, а под табличкой с белым номером на голубом фоне чернела большая кривая надпись «Гагарина 21». Дверь открыл высокий хмурый мужчина в черном махровом халате.

— Привет, Рустам, — сказала Рафиза.

* * *

Первым делом Марат спустился к реке, довольная Лелька бежала рядом с ним. У реки он с наслаждением напился, оторвал от рубашки испорченный рукав и как следует промыл израненную руку. Вода смыла подсохшую уже кровь, и из глубоких беспорядочных царапин стала сочиться новая. Марат нарвал листьев подорожника, разжевал их, размазал получившуюся кашицу по руке и обвязал руку рубашкой. Солнце уже садилось, а Марат заторопился в путь, понимая, что лучше спуститься с гор засветло. Горные тропки Марат знал хорошо, поэтому решил по дороге сделать небольшой крюк и заглянуть в ущелье, известное своим сложным склоном. Это была своего рода ловушка. Случалось, что овцы поскальзывались на оползне и потом не могли подняться обратно. Марат понимал, что ему в любом случае попадет от Рафизы за то, что не вернулся вчера домой, поэтому надеялся хотя бы вернуться с пропавшей яркой. Шанс найти ее

в ущелье был хоть и невелик, но кто знает? Вниз шлось легко, ледяная горная вода придала Марату сил, и он рассчитывал на удачу. Путь лежал сначала по северному склону, между высоких тихих елей, а потом вывернул на западный, и здесь уже появились проплешины, худые березки и полянки. Лелька бежала впереди, но вдруг встала на повороте. Шерсть у нее на загривке поднялась, уши стали в два раза больше, все ее тело напряжилось. Марат подошел ближе и тоже остановился.

Волков было двое: волк — высокий, крепкий, с широким загривком и волчица — поменьше, с короткими ушами и плоской вытянутой мордой. Они сосредоточенно рвали на куски окровавленную тушу барана. И тут Лелька, ободренная присутствием хозяина, не удержавшись, хрипло, незнакомым голосом, залаяла. Услышав лай, волки вскинули головы и замерли. Лелька зарычала и медленно пошла к ним.

— Лелька, ко мне! — отчаянно зашипел Марат, но Лелька уже не слышала. Волки не двигались с места. Лелька понимала, что противников двое и оба крупнее и моложе ее. Она ужасно боялась, но ответственность перед хозяином была еще сильнее. Лельку всю трясло, но она подходила все ближе и ближе, пока не подошла на расстояние прыжка. Волки глядели на нее, не мигая. Марат понял, что медлить нельзя и, закричав страшным голосом, замахал руками и побежал на волков. Волки вздрогнули, словно выйдя из оцепенения, но не бросились сразу наутек, а нехотя стали пятиться, скаля белые зубы, пока не дошли до кустов, и только тогда развернулись, чтобы бежать. Осмелевшая Лелька бросилась за ними, и тогда волчица, обернувшись на секунду, сделала какое-то мимолетное движение, и Лелька завизжала, захрипела и опрокинулась на спину. Подбежав, Марат увидел, что из левой стороны шеи у Лельки выдеран целый кусок. Кровь текла из Лельки быстро, но она была еще жива, пыталась судорожно вдохнуть и глядела на Марата так, словно страшно провинилась и теперь умоляла о прощении. Марат лег рядом и заплакал. И плакал до тех пор, пока Лелька не перестала дышать.

* * *

Праздник начался рано. Уже около двух часов пополудни гости собрались в просторной комнате, уселись за дастархан, накрытый прямо на полу. Отец невесты Болатбек, сложив ладони лодочкой, прочел перед едой молитву, провел ладонями по лицу и все повторили вслед за ним. Обстановка сразу стала расслабленной, гости полезли накладывать бешбармак, наливать водочку, выпивать и закусывать. Голоса очень скоро зазвучали громче, веселее. А когда людям весело, то и вспоминается хорошее. Вот и стали вспоминать добрые, урожайные года.

— А какие бараны у меня были! — кричал крепкий старик, имени которого никто и не помнил. — Один баран был — семьсот килограмм! Как ишак! Аж курдюк лопался! А коровы, а быки! Бык у меня был на тысячу двести кило! Когда он стоял — у него на спине легко решетка с яйцами лежала. Главное было не дать ему двигаться. Покормить и спать уложить, покормить и спать уложить — и так пять лет. Да-а, времена-а-а...

Не прошло и часа, как все, уже порядком набравшиеся, высыпали во двор, вытащили за собой магнитофон, включили в полную силу звук и устроили беспорядочные танцы. Магнитофон был старенький, потрескивал и то затихал, то

взрывался воплями, но как бы он ни старался, общий топот ног становился только еще громче. Пыль поднималась все выше, пока не укрыла танцующих с головой, да так, что с пяти метров было и не разглядеть никого. Но и музыка скоро кончилась, и все усталые, но довольные вернулись в дом, внутрь, выпили на посошок и разбежались по делам, будто и не было ничего: женщины — забирать с пастбищ коров и вести их на вечернюю дойку или к себе во двор — ужин готовить, мужчины — бахчу удобрять, крышу латать, а кто-то спешил дарет сделать, да на аср успеть. Молодые тоже упорхнули, и только Болатбек никуда не пошел, а уснул прямо на своем месте, и во сне продолжая отмечать свадьбу любимой дочери, изредка вскидывая голову и счастливо бормоча невнятные тосты.

* * *

— Ты думаешь, что это так просто? — говорил Рустам, меряя шагами комнату. — Не могу же я взять и вертолет туда направить. Кто мне вертолет даст?

— Это твой брат, — спокойно повторяла Рафиза.

— Все, что я могу сделать, это поехать с тобой сам, — сказал, наконец, Рустам. — Но я ведь и гор не знаю. Если, как ты говоришь, чабаны Марата не смогли найти, то чем я помогу? У меня и тут дел по горло.

— Рустамчик, какие у тебя дела? Я, пока сюда ехала, навидалась твоих ребят. Уж не знаю, чем они заняты, но пузо у них больше, чем у меня было, когда я Азамата носила. Боялась, что и тебя таким же встречу. Но слава Аллаху, ты хоть на мужчину похож.

Рустам усмехнулся.

— Рафиза, с тобой трудно спорить. Но мне действительно нельзя надолго отлучаться. Буквально на днях в город может кое-кто приехать.

— Да знаю я этого кое-кого, — махнула рукой Рафиза, — и что с того? Что он, лучше или важнее Марата? Марат в жизни своей не украл ни копейки, слово свое всегда держал, крыша в доме у нас за тридцать лет ни разу не текла, потому что работу свою Марат на совесть делал. И детей воспитал так же. Это я — дура, я порой скажу или сделаю безрассудно, не думая, а потом жалею. Изменяла ему, а он мне никогда. И слова бранного от Марата ни разу не услышала. Вот он какой, Марат. А что твой «кое-кто»? Может ли он тем же похвастаться?

— Ты с этим осторожнее, — серьезно сказал Рустам, — у нас ведь такой порядок — о короле, как о покойнике, либо хорошо, либо никак.

— И ты трус, — сказала с горечью Рафиза, — все вы трусы. Поеду я домой.

* * *

Земля в горах была плотная, каменистая, местами густо покрытая мхом, поэтому Марат просто набрал острых камней и сложил из них пирамиду над телом Лельки, а сверху замаскировал ее хвойными ветками. Прочитав молитву, Марат уже было собрался идти, как вдруг спохватился, что волки могут вернуться за добычей, а заодно и осквернить Лелькин курган.

— Зато ярочку теперь можно больше не искать, — бормотал Марат, разглядывая растрепанные останки овцы. Из живота вывалились кишки, а вся грудь и внутренняя поверхность бедер были уже съедены. Чтобы отвести волков от Лелькиной могилы, Марат взял труп овцы за копыто и поволок прочь. Овца была упитанная, тяжелая, а рука у Марата все еще болела. Оттащив овцу метров на

сто, он совсем устал. Между тем стремительно начали надвигаться сумерки, с вершин гор потянуло холодом, заморосил мелкий дождь. Марат вдруг затосковал по Рафизе. Ему захотелось забраться к ней под одеяло, обнять, прижаться к ее теплему боку, вот только ноги у нее оказывались всегда холодные, но это было как раз и удобно, потому что ноги Марата ночью наоборот начинали гореть, как две печки. А еще ему захотелось хорошего свежего бешбармака — такого, чтобы тесто было тонким, но плотным, а картошка сочной и рассыпчатой, и главное, чтобы кругляшки казы лежали сверху, как монеты, приправленные мелконарезанными помидорами и жирной наваристой сурпой.

— Рафиза, — крикнул он, — я живой!

* * *

Было еще совсем темно, когда автобус визгливо притормозил возле бетонной остановки и тускло освещенного магазинчика рядом. Пассажиры медленно и устало просыпались, с шумом доставали свои вещи с верхних полок. Рафиза сидела впереди, поэтому вышла одной из первых, потянувшись до хруста, зевнула, прикрывшись ладонью, и пошла в сторону своего дома. Поселок еще спал. Лениво тявкали собаки из-за заборов, у тусклых фонарей вилась мошकारа, где-то в отдалении коротко и тонко укала сплюшка, воздух был прохладный и казался особенно чистым и вкусным после густого и тяжелого городского смога. Рафиза подошла к дому, открыла калитку и тут же почувствовала, как что-то теплое коснулось ее ног. Она нагнулась и в темноте увидела только блестящие огоньки в кошачьих глазах.

— Чернуха? — недоверчиво позвала Рафиза.

Кошка жалобно мяукнула в ответ.

— Чернуха! — воскликнула Рафиза, схватила кошку за шкурку и взбежала на крыльцо, чтобы включить свет. Шерсть кошки сваялась, один глаз с трудом открывался, но это несомненно была Чернуха.

— Не может быть, — шептала Рафиза, занеся кошку в дом и торопливо наливая ей в мисочку молока. — Вот не зря говорят, что кошки живучие. Я ж своими глазами видела, как ты в траве лежала, чуть ли не вороны тебе глаза уже клевали. Чернушка моя, ты прости меня, — приговаривала она, присев на корточки и оглаживая чернушкину шерсть, разминая и распутывая колтуны, — ну, уж если ты с того света вернулась, то и Марат придет. Еще как придет. И овцу приведет, будь она проклята!

Но Чернуха слов Рафизы не понимала, а если и понимала, то не подавала виду. Она только урчала всем телом и все вылизывала, вылизывала стенки своей мисочки, словно собиралась съесть даже впитавшийся в них запах молока. И небо за окном уже становилось светло-розовым, и все отчетливее на его фоне проступали причудливо изогнутые, разлапистые силуэты деревьев.

Ояр Вацietис

Я к Братьям пришел

С латышского. Перевод Ирины Цыгальской

Поэзия Ояра Вацietиса все определеннее занимает надлежащее место и в литературе начала 21 века — как выдающееся, существенное явление искусства слова не только в Латвии, но и в «другой Европе» (Ч. Милош), — и одновременно созвучное с вершинами современной западно-европейской поэзии.

В посмертно изданном десятитомном Собрании сочинений Вацietиса опубликованная при его жизни поэзия составляет примерно лишь треть. К тому же, начиная с пятого тома, Собрание сочинений издавалось в трудное время реформ и кризисов, и тираж его резко уменьшился. Значительная часть наследия поэта так и осталась для многих труднодоступной, поэтому особую ценность обретает изданная в конце 2012 года книга избранных произведений «Стихи», которую успела составить (в сотрудничестве с литературоведами В. Канепе и И. Кронта) Людмила Азарова (1935—2012) — вдова поэта, русская поэтесса и переводчица, жившая в Латвии. В кратком предисловии к изданию Людмила Азарова пишет, что «Стихи» ВПЕРВЫЕ ...без странных белых пятен (с точки зрения сегодняшнего читателя) ...последовательно отражают путь «недожившего до бесцензурных времен» автора. Работая над новейшим изданием, составители старались реставрировать доподлинный и непрерывный творческий путь, создавая книгу «без вырванных страниц». По их убеждению, в этой книге представлены самые существенные произведения, ядро поэзии Ояра Вацietиса.

Представленные новые переводы — из последнего раздела этой книги, куда вошли стихи, написанные с 1980 года по декабрь 1983.

И.Ц.

При свете Луны

Месяц над Братским кладбищем.
Мать становится — идолом,
а Вечный —
жертвенника огнем,
свет лунный возносит к небу
немые ряды,
как миражи.

Вацietис Ояр (1933—1983) — народный поэт Латвийской ССР, лауреат Государственной премии Латвийской ССР — за книгу стихов «Дыхание» (1966). Печататься начал с 1950 г. Автор 20 поэтических сборников (в т.ч. для детей). Перевел на латышский роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». В Риге, где жил поэт, открыт мемориальный музей.

Цыгальская Ирина — переводчик, прозаик, издатель. Переводит на русский язык латышскую поэзию. Автор нескольких книг прозы, в т.ч. «Все судьбы трагические» (2009). В 1992—1997 и в 2011 — главный редактор «Рижского альманаха». Живет в Риге.

Да, именно эту странную
необычайность сюда
я пришел искать.

Да, именно эту священную
непривычность себе я пришел
возвратить.

Время спешки
окисдирует душу,
но никакое время
не смеет заокисидировать нам
Братское кладбище.

Как только мы впустим
в себя оксидацию времени,
на кладбище Братском
мы потеряем
Братьев.

Своим лунатизмом
сердца гонимый,
я к Братьям
пришел,
когда Месяц.

При свете Луны
Братья шли мне навстречу,
Солнцу и миру
счета
заплатив честно.

* * *

Что-то нетронутое и глубокое
задевается
и поднимается в высь,
как туман,
когда вечер уставший
и тихий
и то ли у горизонта,
то ли за — музыкант
незнакомый тебе
что-то неведомое играет,
и к музыке добавляется
эта молитвенная тишина,
эта даль торжественная
и эти твои мечты.

Ты давно догадался как-то,
что мечты —
голубоватого цвета
из-за этой фаты,
которая вечно над ними,
как вуаль у невесты,
и она ее поднимает,

когда та грозит сгореть
на губах
и нужен один поцелуй
единственный.

Он длится не миг,
и не минутку,
вне времени он,
затем
опять вуаль голубеет,
и тайна
за ней
опять у тебя в душе поднимает
те же
чуть в голубом мечты,
которые сладки и горьки.

...И опять тишина гробовая,
и опять бесконечная
даль,
и кто-то за этой далью
нечеловечески одинокий играет это
ни разу не слыханное еще...

Александр Бушковский

Праздник лишних орлов

Повесть

— Здорово...

— Ты чего пьяный?

— Да... Брелок я потерял. Помнишь, у меня брелок был? Такой смешной орелик с большой головой.

— Не-а...

— Вроде игрушка, а на хохолок давишь — клюв открывается, и внутри фонарик загорается, красный. В темном подъезде удобно ключом в замок попадать. Посеял.

— Брелок... Ну, брелок. Видать, лишний был, коли посеял.

— Мне его друг подарил. Давно. Лет пять. Держи, говорит, брат Пух. Клюв, говорит, на твой похож. Пока, говорил, фонарик горит, все у тебя будет в порядке. Не знаю, куда делся, просто исчез, и все. Главное, ключи на месте, а его нет. И фонарик-то горел, батарейка не садилась...

— Черт с ним, с этим орлом. Купи другого, если надо, и забудь! Или скажи другу своему, пусть тебе еще подарит.

— Да он в монастыре, на острове. Туда до лета не попасть... Честно говоря, не в орелике дело. Это я так, за компанию. Друзей у меня всего двое, и оба запили. Годами не пили, а тут резко. А у меня-то все хорошо, работаю, работаю — аж устал.

— Ишь ты...

— Один звонит, Горе, ты его видел...

— Лихо сказал — горе видел...

— Горе, смешной такой, который десятку отсидел, говорит, что брат его родной в больницу попал, гематома в мозгу, кома. Врачи кричат — шансов нет. Голос дрожит, первый раз за ним такое замечаю, считая детство. Просит, позвони Фоме, на остров. Фома — это тот, что брелок подарил. Мы с ним в

Александр Бушковский родился в 1970 г. в селе Спасская Губа, Карелия. Родители учителя, отец — физкультуры и НВП, мать — начальных классов. Занимался лыжами, боксом, аккордеоном. Работал в лесу обрубщиком сучьев. После армии, в 1993—2005 гг. служил в СОБРе. Пять командировок в Чечню. Зимой 1999—2000 гг. — минно-взрывная травма в г. Грозный. Награжден медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. С осени 2005 г. на пенсии по выслуге лет в звании майора. Окончил С.-Петербургский Юридический институт МВД РФ. Писать начал в 2007 г. Публиковался в журналах «Север», «Дон», «Октябрь», «Вопросы литературы». В 2010 г. при поддержке Министерства культуры Карелии в издательстве «Северное сияние» вышла книга «Страшные русские». Живет в Петрозаводске. Работает печником.

отряде служили вместе, двенадцать лет в одной группе. Попроси, говорит, Фому, пусть закажет молебен во здравие. Сорокоуст, или что там... Больше все равно сделать ничего нельзя. Звоню тому, он тоже заикается, туго соображает. Ехать надо, говорит, из монастыря по повестке, в уголовку вызвали. Оказывается, когда он в монастырь уезжал, в квартиру свою пустил племянника пожить. Любимого. У самого-то семья развалилась, разошелся в пух и прах. Так племянник влюбился без ума в какую-то принцессу, там ему от ворот поворот, он нашел у Фомы сейф, взломал, достал ружье и отстрелил себе голову. Записку оставил, мама, папа, дядя, простите, я вас люблю, но без Маши жить не могу. Весь потолок в мозгах, кровь сквозь диван до полу протекла. Фоме халатное обращение с оружием шьют. Майору спецназа бывшему. Дело, типа, резонансное, а у того после войны с государством и так нелады. И с головой не все в порядке, как и у всех. Короче, к реальному сроку могут осудить. Представляю, как он с бородой поедет в зону...

— Да уж...

— Что лучше? В монастыре не сахар, но туда силком не тянут. А уж в тюрьму неохота ужасно. Терпеть к себе, как к собаке. Когда мы с Горем к Фоме в монастырь первый раз ездили, он посмотрел все внутри и говорит: «Ну, что я могу сказать, общий режим». Но люди там хотя бы делают вид, что хорошо к тебе относятся. Да и на свободу можешь уйти, в изолятор не закроют. Зато и сорваться легче, чем в зоне. Самому себе слабостей позволить. Запить, к примеру. Хотя Фома больше себе ничего не разрешает. Не курит. Женщинами не оскверняется. Потом обратно вернется, если не посадят, и снова будет молиться или еще как-то мучиться. Но лучше, думает, так, чем пойти в разнос на воле. Или стать бичом и спиться, а?

— Кто знает... Бичи тоже разные бывают, как и монахи, наверное...

— А вот Горе промаялся целых десять лет, вроде как успокоился, остепенился, женился даже. Сын родился.

— Видать, о себе думает, не о жене. О жене бы думал — дочка б родилась...

— Почему это?

— Так, примета.

— Херня. Может, это жена о нем думает... Нашел себе дело подходящее. Сигнализации устанавливает. Фирму открыл. Сам директор. Че не жить?

— ...

— А порой так запьет, хоть святых выноси. Говорит, до того иногда доходит, что обратно в тюрьму хочется...

А я? Чего психую? Что я им, мама с папой? Думал я, думал, никакого ответа в голову не приходит. Скорее всего, просто кайф мой обламывается. Мне ведь как хочется? Чтоб на работу с удовольствием, домой тоже, чтоб нервы не трепать, а тут они мне кишки на кулак мотают. Себе тоже. Я уж давно не пионер, чтоб быть всегда готовым, но и сидеть сложа руки не готов, когда помочь им требуется... Что человеку для счастья надо? Сидеть перед телевизором с пивом и чипсами, или приключений, что по тому телевизору показывают? Что об этом вы, писатели, в книжках пишете? Как свои романы начинаете? «Евгений вышел из дому и посмотрел вдаль» — так, что ли?

— Ну да, примерно так.

— А дальше?

— Дальше легче. Главное — выйти и посмотреть. Там все и увидишь.

И орелика своего найдешь. Ты, когда на остров к Фоме едешь, как себя чувствуешь?

— Праздника жду.

— Вот! В том-то и...

— Похмелья боюсь. Когда придется уезжать и еще год не видется. Иногда два. Бывало и три.

— Но ведь ждешь же. Вот и будет тебе праздник.

Берсерки

Хоть они и были салаги из начальной школы, все звали их Славян и Мишган. Не Славик и Мишенька, а Мишган и Славян. Даже, скорее, Мижган, такой был звук, как в слове «жги». Звали их так, потому что на первый взгляд они казались не по годам серьезными и даже угрюмыми, и держались вместе, не будучи братьями. Не были пугливыми, как другая мелюзга. От старших в случае чего не удирали, а стояли рядом на том месте, где их застигла опасность, хмурили брови и руки держали в карманах. Славян был выше, а Мижган плотнее. Как суслик и хомяк.

Но глядя на них внимательнее, так, не вызывая их подозрений, можно было разглядеть за угрюмостью даже не задумчивость, а некий внутренний напруг. Будто ребята они не местные, заплутали в чужой станице, а дорогу спрашивать не хотят. Мол, ничего, сами найдем.

Делали тоже все серьезно, болтали мало. Как научились в детсаде мять пластилин, так к третьему классу у каждого под кроватью стояли целые армии. Наших солдат лепили вместе, и фашистов тоже вместе. Наши носили пилотки со звездами и автоматы ПэПэШа, всегда наизготовку, а у фашистов были каски с рогами-пеньками и «шмайсеры». Враги ездили на мотоциклах с колясками и пулеметами, а наши в основном ходили пешком. Или бегали.

Мижган был помладше, но он читал книжки про войну и придумывал всякие военные сюжеты, а Славян просто внимательно слушал и быстро лепил. Наши получались у него все больше похожи на партизан-разведчиков, а не на регулярную армию. Шапки набекрень, оружие из трофеев, маскхалаты. Диверсанты, одним словом. Мощное слово.

Враги же были хоть и мерзкие, однако не слабее наших. Горные стрелки из дивизии «Эдельвейс». Опасно топорщились рожки на касках, ранцы оснащены лопатками, патроны и гранаты в подсумках, даже ножи на ремнях. А у мотоциклов всегда наготове запаски и ленты к пулеметам. Потому их так полезно и приятно брать с бою. Славян улыбался, когда в азарте боя Мижган громко кричал «Пух! Пух! Пух!», изображая выстрелы.

Наших бойцов было, конечно, меньше, и им приходилось устраивать засады и дерзкие налеты на врага. Не всегда обходилось и без потерь, порой оставались в живых только двое среди убитых друзей и врагов, солдат Мижгана и солдат Славяна, причем раненые. Победа давалась нелегко, недаром же столько народу погибло на войне.

Однажды Мижгану попала в руки книга о викингх.

— Представляешь, они двумя кораблями брали целый город! — восхищал он Славяна, — по сорок бойцов на борту. А солдат в городе насчитывалось

пятьсот человек! А если было пятьсот викингов, то они брали Париж. Столицу Франции! Переплывали Северное море, поднимались по рекам и всех грабили. И все их боялись, молились богу и просили его послать шторм, чтоб драккары потонули. Драккары — это викинговские корабли. А еще у викингов были берсерки, они могли вдвоем разогнать целый отряд! Давай будем берсерки?! Я придумал новую игру...

Была весна, и лужа возле гаража разлилась шире моря. Ручей впадал в нее и вытекал с другого края. Через середину ее было не пройти, сапоги скрывало. Рядом росла сосна такой высоты и толщины, что солнца, бывало, не видать сквозь крону, а обхватить ее удавалось только вдвоем, взявшись за руки. С этой сосны они скалывали ножичками толстые куски коры и резали из них драккары. На кораблик из коры не возьмешь большую команду, потому игра была такой: два драккара, два берсерка, каждый на своем корабле, вместе они начинают сплавляться вниз по ручью. Кто первым выходит в открытое море и причаливает к берегу, где ждут его враги, тот становится конунгом и командует всем войском. Целый день потом другой берсерк подчиняется ему и действует согласно его стратегии. Мало того, нос корабля-победителя украшался добытой где-то кокардой, крылышками с колесиком посередине. В книге говорилось, что самый удачливый и отважный конунг ходил на драккаре с орлом на бушприте.

Как-то один местный хулиган из класса постарше, Макуха, с другого берега лужи стал кидать кусками льда в дрейфующие корабли и ржать, как конь. Славян и Мижган сначала растерялись, но потом подобрали штакетины, какими они углубляли русло ручья для лучшей судоходности, и пошли по берегам ему навстречу. Макуха прекратил обстрел, почесал голову под шапкой и быстро ушел, почти убежал. А пацаны почувствовали себя настоящими берсерками.

Время шло. Берсеркам не к лицу слабости обычных людей. Славян и Мижган пять лет любили одну девушку, Лену, оба это понимали, но так и не признались в этом друг другу. И все равно дружили, так же молчаливо. Причем девушке Лене нравился Славян. Он в старших классах стал настоящим викингом, ростом и плечами, а Мижган остался хомяком, коренастым крепышом, хоть и висел постоянно на турнике, таскал в сарае гантели и в рабочих рукавицах колотил мешок с песком, висящий на перекладине вместо качелей.

Девушка Лена всегда ходила в школу мимо окон Славяна, а тот лишь в десятом классе признался себе, что волнуется, если ее видит. Когда встретились после каникул, и он ради шутки решил чмокнуть ее в щеку, а она вдруг подставила губы. Сощурила глаза и сразу отвернулась. Но он уже все понял и так обрадовался, что еле сдержался, чтоб не закричать изо всех сил, срывая голос.

Потом снова была поздняя весна, начало лета, и ночи белые и теплые. Разговор слышался далеко, поэтому они говорили шепотом, когда Славян залезал к ней на балкон. Бабушка уже спала. Он шел босиком по половикам, держа кеды в одной руке, а за другую она вела его в свою комнату. Там он неумело раздевал ее, они смеялись беззвучно и медленно целовались, жмурились и не отлипали друг от дружки надолго. Она стягивала с него футболку. Это получалось легко, без цепляний за подбородок... Она не стонала, только кусала губы и молча плакала, но он не боялся, что ей больно, потому что она крепко обнимала его руками и ногами.

Утром она держала края прислоненной к балкону лестницы, сидя на пятках и натянув майку на тонкие коленки. Он слезал, осторожно опускал лестницу

между яблонями и забором, и убегал с поднятой вверх ладонью. Мчался домой, не уставая и не очень веря своему счастью.

Ночью после выпускного они гуляли до утра, держась за руки...

Никто не ожидал, что Славян вместо того, чтобы просто отслужить срочную, возьмет и поступит в военное училище. Да еще и на курс спецназа. Не известно также, что он обещал девушке Лене, наверное, жениться после первого или второго курса, потому что первые два года она его ждала. Мижган, как берсерк, сжимал зубы и не обращал на нее внимания при редких встречах. Она на него тоже. Славян слал ему коротенькие весточки о себе. Учусь, бегаем, стреляем.

После школы Мижган сразу ушел в армию, решив оттрубить два годика и потом начать жить по-своему, как захочет. Славян перешел на третий курс. Девушка Лена стала встречаться с другим.

В армии Мижгану понравилось. Не зря он к ней готовился. А вот газеты напрасно пугали дедовщиной, и тосковать особо было не по кому. Если ты не дурак, не трус и не дохляк, все у тебя будет нормально. Не лопнешь по шву. Ломаются только гордые и сентиментальные, остальных сколачивают в один забор или сплетают в одну изгородь. Главное, не допустить перегиба. В отношениях между людьми Мижган стал чувствовать и понимать кое-что новое. Например, один человек может приказать другому, а может убедить. И другой по убеждению сделает лучше, чем по приказу. А еще — одному страх преодолеть труднее, чем в строю. Зато победа ярче. Ерунда также и то, что один в поле не воин. При желании и умении еще какой. Это Мижган понял, когда в горах они никак не могли выкурить со скал одного-единственного вражеского снайпера, который прикрывал отход своей группы, да так и ушел, заминировав тропиночку и задержав преследователей на полдня. И ведь ранен был, вражина, кровь бурела на лежке, а утек, как песок сквозь сито. Тоже своего рода берсерк. Видать, в поговорке ландшафт имеет значение.

Зато в армии было самое главное. Цель. Победить. Зачем, уже не так важно — для себя, для Родины или для братвы, главное — победить.

Еще у Мижгана появились хорошие товарищи, друзья даже, а потом, ближе к дембелю, и девушка в гарнизоне. Дочка заместителя командира по тылу. Высокая, белокурая, настоящая валькирия. Что она увидела в Мижгане, он поначалу не понимал. В общем, на гражданку Мижган поехал в растрепанных чувствах. С одной стороны, хотелось воли, с другой стороны — никто не ждет, кроме мамы. С одной стороны, молодость и романтика, с другой — дружба и адреналин.

Все решилось само собой. Мама, после развода с отцом жившая для сына, встретила наконец приличного мужчину, и Мижгану теперь нечего было за нее беспокоиться. Он только обрадовался, даже не ревновал. Мама снова расцвела, и по утрам не всегда теперь успевала поджарить Мишеньке гренки, да и он тоже отвык от них... А тут погиб Славян. После училища он командовал взводом в тех же местах, откуда только что демобилизовался Мижган, и его взвод попал в засаду. Никакого героизма, никакой необходимости или смысла, просто командование, как обычно, понадеялось на «авось», а противник оказался опытнее и хитрее. Погиб весь взвод, до последнего солдата. Не оказалось даже, как в кино, рядового Форреста Гампа, который вынес бы командира с поля боя. Враги были профессионалами, не стали глумиться, Славяна просто доби́ли в

затылок. После похорон, где Мижган напился и рыдал, как тряпка (позже сам так считал), он вернулся в бригаду и подал рапорт на сверхсрочную, а потом подписал контракт.

Перед отъездом в часть он прошел мимо дома девушки Лены. Не удержался и поднялся на крыльцо. Она открыла дверь на секунду раньше, чем он постучал. Беременная, с бледными губами и отросшими волосами, она была еще лучше. Какие-то секунды они стояли молча.

— Что ты смотришь на меня, как больной? — почти зло спросила она.

«Я все равно тебя люблю, и всегда буду!» — хотел было ответить он так же зло, но выдохнул неслышно через нос, помотал головой, повернулся и пошел с крыльца, не спеша, спокойно, даже руки сунул в карманы. Мижган и не видел, как она ушла в дом, сжав зубами губы. «Что это на меня нашло?» — удивлялся он через полминуты, когда успокоился. — Что мы вообще в ней нашли? Не валькирия же...»

В следующий раз Мижган по-настоящему разволновался, только когда взяли первых пленных. И совсем перестал, разучился волноваться после того, как получили приказ командира выжать из них все и прекратить их мучения. Со временем все меньше хотелось об этом вспоминать, но полностью забыть не удавалось. Осталось ощущение, что в его голове, как в старом усилителе, сгорела какая-то лампа, и теперь голова туго соображает и почти не говорит. Но как-то работает, не выкидывают. Ничего. Ничего пока.

Потом Мижган женился на валькирии, и у них родился сын. Нет, Славяном называть не стали, еще убьют. Назвали Ванечкой. А вскоре армия поползла по швам, как залежалая шинель на сыром складе. Контрактники перестали дослуживать контракты, и даже многие офицеры не выдерживали нового пайка и старого денежного довольствия, ища применения своей науке в возникшей экономической реальности. Мижган стал предпринимателем и возглавил частное охранное агентство «Берсерк». И оно держится на плаву, как драккар с орлиным носом.

Один

Каждый Божий день человек просыпается рано утром, примерно в семь, и неподвижно лежит в постели, подобрав колени к животу, не открывая глаз, стараясь ни о чем не думать. Он один. Зачем он делает вид, что спит? Он не знает.

Но вот он открывает глаза.

Вы никогда не наблюдали за лицами просыпающихся людей? Пока они еще на границе между сном и явью, это интересно и удивительно. Если верить в то, что сон — это брат смерти, то утреннее пробуждение — как рождение на свет. Проснувшаяся душа еще не знает, как ей быть в этом неизвестном, не понятном для нее мире, и лица людей растеряны и одиноки, даже если их много. На них нет выражений, они словно застыли в мгновении между радостью и горем. Просыпающиеся люди неосознанно готовы принять и то, и другое. Узнать и почувствовать. Посмотрите им в глаза — на секунду вы поразитесь необъятности этой вселенной.

И постепенно души большинства людей снова задремлют, чтобы их тела

начали двигаться по привычной для них системе координат — без помех, возникающих при пробуждении души. На лицах появятся разные выражения, а глаза можно уже отвести.

Появившись на свет, человек слегка хмурится. Больше он не хочет притворяться спящим. Ему нужно поднять себя с постели. Как это происходит, могут видеть только рыбки в круглом аквариуме. Он сжимает зубы, морщится, упирается правой рукой в подушку и долго садится. Левая, сухая рука согнута в локте и прижата к боку. Некоторое время он сидит, опустив ноги на пол и не шевелясь, потом наклоняется вперед и отрывает себя от постели. Ему удастся разогнуться без стога, просто зажмурившись. Теперь он дойдет до подоконника и обопрется на него. Он почти не хромает. Он смотрит в окно. Тот же пейзаж, что и вчера, тот же серый город. Зима без солнца и снега, мокрый ветер несет и гонит прохожих, рябит океаны луж.

На подоконнике лежит футляр, обтянутый черной кожей. Подумав, человек открывает его и достает из синего бархата внутренностей трубку, набитую с вечера. Делает несколько глубоких затяжек, скосив глаза на огонек, затем выключивает ее в пепельницу и убирает обратно. Потом осторожно потягивается, достает из шкафчика жестянку с кормом для рыбок и идет к аквариуму.

Он не мучает своих питомцев ожиданием трапезы и не устраивает себе зрелища из драки за еду. Здесь ее хватит всем. И глуполицым рыбам-попугаям, и элегантным скаляриям, и даже стеснительным сомиком возле самого дна. Это только его маленький и уютный водный мир, с коралловым гротом, водорослями, ласковым искусственным солнцем и даже настоящим водопадом на атолле посреди океана. Хищников здесь нет.

Уехать, что ли, в южную страну и остаться там жить, сидя на берегу и глядя на сильные океанские волны? Здорово все-таки было тогда на Тенерифе, с друзьями! Вот фотография на стене, все еще в сборе, все смеются, все согласны, что остров — это место, где хорошо бы встретить старость. Плюс двадцать пять круглый год, синяя вода, вечная весна, улыбающиеся лица... Вон он сам, а вот Леги, самого близкого, уже нет в живых, Жека сидит, Славян просто исчез, пропал без вести. Те из них, кто остался в живых, теперь не встречаются, хотя, конечно, помнят этот рай. Нет, он туда не уедет. Пока. Пока здесь его держат остатки дел и чувств. Лень, боль и страх... Месть... А потом наплевать бы на все...

Пока рыбки суетливо завтракают, он смотрит на них, улыбаясь, и не выдерживает — закуривает сигарету. Все равно со здоровым образом жизни уже давно покончено. Сейчас сварить кофе, а потом в душ. Тепленький, без экзекуций. Он снова осторожно потягивается. На левом боку ярче проступает кривой белый шрам, а на плече, груди и спине розовеют пятнышки величиной с мелкую монетку, как отметины нестарых прививок от оспы. Это следы пуль от пистолета ТТ и от операций по их удалению. Откуда я все это знаю так точно? Просто он — мой друг. И когда я бываю у него в гостях, я вместе с ним курю и наблюдаю рыбок.

Пух

Три года назад это все же случилось...

— Здорово, брат Пух. Как сам? — голос доносится из телефона, как из подземелья или, наоборот, из космоса.

— Нормально. Ты где? Еле слышно тебя...

Пауза. Гул и шелест в эфире:

— Я на острове. Не хочешь заехать на денек, проведать? Горе дорогу знает.

Теперь помолчал Пух:

... — Ладно, сейчас ему позвоню, мы все решим, жди.

Конец связи. Вот и весь разговор. На острове! Ну, Фома! Никогда не расскажет, не объяснит, не попросит. «Не хочешь?»

А еще за три года до этого Пух почти случайно узнал, что Фома, весь простреленный, угодил в больницу. Никто не понимал, как после восьми попаданий из двух ТТ можно остаться живым и, мало того, в шоке мертвой хваткой вцепиться в убийцу.

Пух с Горем сели тогда в автомобиль и за полсуток через весь север пропылили тыщу двести до больницы. Представившись уголовным розыском, показали сержанту в приемном покое свои липовые удостоверения. Тот привстал было, но, увидев лица, нерешительно сел обратно за стол. Они почти бегом поднялись по лестнице в палату. Фома был один, он лежал на койке весь желтый, перебинтованный по груди, животу и рукам, и сукровица, сочащаяся сквозь бинты, засыхала бурыми пятнами на простыне. Но голова оставалась целой, неперевязанной, хотя на лице, возле правого глаза темнел ожог. Этот ожог так приковал взгляд, что Пух на секунду оцепенел. Пороховой ожог! Значит, Фома боролся с убийцей, и уворачивался, когда тот стрелял в упор.

— ...Как сам? — наконец спросил Пух.

— ...Как сала килограмм, — тихо произнес Горе, отвечая за Фому.

Фома медленно сложил кукиш из свободных пальцев перетянутой бинтами руки.

— А, «не дождетесь»? — сообразил Пух, и ему захотелось сесть, закрыть лицо ладонями и отдышаться. Фома кивнул и улыбнулся, отчего в уставших от боли глазах промелькнул оскал победившего в схватке бультерьера.

Два дня они просидели в его палате. Медсестры и врач пытались объяснить им, что больному нельзя волноваться плюс они могут заразить его, слабого, какой-нибудь инфекцией. Но им удалось убедить персонал, что они — нормальная охрана, а не тот сержантик в приемном покое. Персонал был в курсе слухов о своем простреленном пациенте. Шушукались, косо поглядывали, но не гнали. Фома сам отправил их обратно.

Перед их отъездом Фома вкратце обрисовал ситуацию и попросил запомнить пару имен, если что. Ни медикаментов, ни денег он не брал, сказал, есть. Они оставили все врачу, толковому парню...

...Пух отложил телефон. Ну что, надо ехать. Не будет же он просто так звонить. Перезванивать значит сомневаться. Скажет, ладно, не дергайтесь, все в порядке.

Набрал Горе:

— Мне Фома звонил. Он на острове, говорит, ты дорогу знаешь.

— Примерно. Значит, все же созрел...

— Говорит, если хотите, заезжайте проведать. Во, дает!

— И все?

— Все.

— Значит, надо ехать...
— Когда?
— Мне через три дня надо быть в городе.
— А мне завтра сына в школу вести.
— Ну, ты думай, решай, а я буду собираться. Если ехать, то сегодня ночью, утром пароход на остров.
Снова конец связи.

Горе ждал во дворе, прохаживался с сумкой на плече и курил.
— Каждый раз ночью выезжаем, — проворчал он вместо приветствия, устраиваясь на правом сиденье, — че ты ружье не захотел брать? Опять какие-нибудь ослы по дороге привяжутся, как прошлый раз.
— Потому и привязались, что мы ружье взяли. Наличие оружия предполагает его применение, братан! Здорово!
— Достал ты уже со своей мистикой... Здорово! Ну, что он тебе сказал? Случилось что? — Горе резонно хотел узнать подробности.
— Да ничего, кроме того, что он на острове. Чую спиной, что-то не так. Ты же его знаешь, по голосу не поймешь, что у него происходит. Перезваниваю — телефон отключен.
— Ладно, поехали на заправку. Я на всякий случай взял бутылку водки. Дашка какие-то бутерброды положила. Денег, честно говоря, впритык.
— Ничего, хватит. В святую землю едем, авось не пропадем. Я потому и ружье не взял. Не хватало еще по монастырю с ним болтаться. И на пароход могут не пустить.
— Удивляюсь я тебе, братуха! — заговорил Горе, когда выехали со двора, — с детства тебя знаю, а ты все наивный, в сказке живешь. Не будь у нас тогда ружья, шли бы мы домой пешком. Да еще и собирали бы, как ты говоришь, выбитые зубы сломанными руками.
— Может быть. Кто его знает...

Горе

...В тот раз, возвращаясь из больницы от Фомы, часа в два ночи они остановились поесть в бревенчатом придорожном кафе возле древней заправки. Машину оставили прямо у крыльца. Им хотелось выпить по сто пятьдесят, похлебать горячего и чуть-чуть покемарить в машине. Девушка за стойкой налила им борща, водки и, подперев щеки ладонками, ласково на них глядела.
— Ты заметил? — спросил Горе вполголоса.
— ...?
— Куда ни приедешь, одна лучше другой. И чем хуже дыра, тем девки краше! Вот страна северная!
Пух кивнул.
В кафе они были одни. Горе уселся так, чтобы лучше ее видеть, и поднял пластмассовый стаканчик:
— За гостеприимную хозяйку.
Хозяйка скромно улыбнулась. Только они выпили и стали размешивать в тарелках сметану, в кафе уверенно вошли три молодых человека. Сели за сосед-

ний стол. Было видно, что они здесь даже не завсегдатаи, а просто хозяева. Крупные, в темной одежде. Уже спокойные, хотя еще и не матерые.

— Кать, налей нам два пива и Сереге чай, — сказал самый крупный и темный, как видно, главный.

Катя принялась выполнять команду, а парни ненавязчиво оглядели Пуха с Горем. Все присутствующие молчали.

— Привет, парни, — начал главный, — издалека?

— Здорово. Соседи ваши, — ответил Горе.

— То-то мы глядим — машина с другими номерами. Ваша?

— Наша, — Горе разговаривал легко, по-доброму.

— Хорошая машина. Вроде не новая, а выглядит. Не продается?

— Хотите купить? — тон Гора нисколько не изменился.

— Может, и купили бы. Какого года-то?

— Не старая еще.

— И сколько хочешь за нее? — главный перешел на «ты».

— У тебя денег не хватит, — Горе продолжал за разговором хлебать борщ.

Лидер помолчал секунду и снова спросил:

— А все-таки? Вдруг хватит?

Горе зажмурился, как от удовольствия, и отрицательно мотнул головой.

— Ну, как хотели, — главный говорил негромко и будто лениво. — Просто места у нас тут глухие, вдруг чего случится? Сгорит, к примеру, и жаловаться некуда.

— Ладно, парни, давайте обсудим, — почти без паузы ответил Горе. Пух опешил от того, как легко он соглашался с беспределом.

— У меня там, в машине пяточка запарена¹, пойдем, курнем, покалякаем, — Горе встал, оставил недоеденный суп, недопитую водку и, не глянув на Пуха, пошел к выходу. Пух как можно спокойнее отправился за ним.

Молодые люди переглянулись, главный кивнул, и все трое двинулись следом. На крыльце они полукругом встали рядом с Пухом. Горе жестом притормозил их, сказал: «Щас, пацаны!» и спустился к машине. Быстро открыл багажник и обернулся, держа ружье наизготовку. Очень тихо щелкнул предохранитель. Пух еле успел приоткрыть рот, чтоб не оглушило. Навскидку Горе выстрелил сначала в неоновую вывеску над головами, а через секунду — в крыльцо под ногами. Дробь жестко хлестнула по доскам, выстрелы зазвенели в ушах, а с вывески посыпалось стекло с пылью. Все, стоящие на крыльце, втянули головы и чуть присели. Свет погас. Горе открыл затвор, гильзы хлопнули и покатались по асфальту. Он быстро вставил новые патроны, снова приложил приклад к плечу и поднял стволы в лицо главному.

— Ну, че, бледина, все еще хочешь купить? — сквозь зубы, негромко спросил Горе, но всем было хорошо слышно.

Ответа не было. Никто не двигался.

— Тогда никого не держу... — сказал он вроде бы спокойнее, но вдруг слегка поднажал голосом:

— Ну!

Все трое быстро ушли обратно в кафе. Пух тряс пальцем в ухе. Вкусно пахло порохом.

¹ Запарена пяточка — спрятана папироса.

— Поехали, Пух! Вот ключи, садись за руль.

Пух завел машину, Горе сел с ружьем на сиденье справа, и они тронулись.

— Не гони, рули спокойно, — велел Горе, и Пух сбросил газ. Ночующие в кабинах дальнобойщики уже заводили моторы и, не зажигая фар, уезжали со стоянки.

Километра два они проехали молча, потом Горе закурил.

— Далеко отъезжать не будем, — заговорил он, — вдруг кто в ментовку позвонил, а мы выпивши, и ружье при нас. Сворачивай на проселок, и в лес.

Пух остановил машину под низкой раскидистой сосной на опушке и погасил фары. Трассы отсюда не было видно, но они все же курили в кулак.

— Как думаешь, поедут нас искать? — спросил Пух, лишь бы что-нибудь сказать.

— Да ну!.. Пожрать не дали нормально..., бандиты, бя!.. — Горе вдруг озорно улыбнулся. — Хорошо, ружье было собрано!

— Ты давай, покемарь, а я пока посижу, погляжу вокруг, — предложил Пух.

Удивительно, но Горе довольно быстро уснул. Проснулся от холода, когда стало светать. Ясно и роса. Пух спал, откинувшись на сиденье. Ружье лежало между ними. Жизнь продолжалась, свежа и ярка. Горе завел мотор и включил печку на полную. Пух заворочался, поежился, но не проснулся. Горе решил его не будить...

Пух и Горе

И вот снова на север. Миновали посты, оставили за спиной освещенный город, Пух добавил скорости и включил дальний свет. Спать не хотелось, наоборот, было тревожно и радостно. Отчего?

— С детства люблю дороги! — сказал Горе, потирая ладони. — С «малолетки» еще. Даже раньше, еще с тех пор, как твой брат научил меня на мотоцикле ездить. Полный бак, чай-курить есть, жить можно! Даже бутерброды с собой, чего еще надо?

— Да уж, нам лишь бы из дому сорваться. Уже праздник. Почему с «малолетки»?

— Потом как-нибудь приколю... Праздник — не праздник, а все веселее. Да и че не радоваться? Хоть одного нормального человека повидаем. Устал я уже от всяких хапуг. Только боюсь, как бы он там не постригся уже. А то приедем, а он к нам выйдет в рясе, поклонится, перекрестит и скажет: «Вай ком диос, амигос!»¹ Что тогда?

— Он бы тогда не звонил, — возразил Пух. Его такой итог не устраивал, и он не хотел об этом думать, достал из сумки диск и включил рок.

— Ну, вот нахер тебе это кино с дустом? — Горе скривился, услышав, — тебе что, шестнадцать лет?

— Просто привык. Хочешь шансона?

— Хочу покоя. Поставь какой-нибудь релакс или расскажи страшную историю.

— Какую?

— Любую. Про баб, например. Или как вы с Фомой познакомились.

¹ «Ступайте с богом, друзья!» (ломаный испанский).

Пух и Фома

А как они познакомились... Утром, перед тем, как идти в горящий от обстрела город, в ложине все отряды построили в каре. Лицами внутрь. Большая часть личного состава была с похмелья и украдкой старалась освежиться. Думали, будет не так страшно, ан нет. Похмеляться командиры запрещали, и это удавалось не всем. Пуху, например, не удалось, и он решил терпеть.

Откуда-то из темноты во внутреннем квадрате строя появился священник. Батюшка был высок, дороден и чернобород. В руках он держал чашу и венчик. Молитву запел голосом такой густоты и мощи, что дизеля вокруг приглохли. Обмакивая венчик в чашу и взмахивая им, почти как шашкой, батюшка разбрызгивал воду на строй. Пух, низкорослый, замыкал свой отряд, но и на него попало несколько холодных капель. Дрожь от их попадания он воспринял как духовный подъем.

Почти рассвело. В строю соседей Пух заметил бойца, спокойно стоящего среди переминающихся на ногах товарищей. Его лицо было так же серо, как у других, но без партизанской бороды, принятой на вооружение подавляющим большинством. Среднего роста, подтянутый, ранец на плечах. Ни банданы, ни беспалых перчаток, только ботинки хорошие, натовские. И автомат в походном положении, за спиной, по уставу стволом вверх, а не болтается на шее, как у эсэсовца. Гвардия, подумал Пух. На «аминь» гвардеец мелко перекрестился и с прищуром оглянулся кругом. Встретил взглядом Пуха и пожал плечами, объясняя крестное осенение.

По команде «разойдись!» Пух достал сигареты. Курить не хотелось, было даже противно, но казалось необходимым. Сунув незажженную сигарету в рот, Пух взял паузу для настройки. Гвардеец подошел, на ходу вытаскивая из ранца пластиковую «полторашку» с прозрачной жидкостью.

— Фома, — он протянул руку.

— Михаил, — ответил Пух.

— Надеюсь, на «ты»?

Пух кивнул.

— Нужна тара, — объяснил Фома, — кружка не годится, нет ли чего поменьше? Спирт.

— Есть! — обрадовался Пух. Был у него наменянный набор из четырех стопок полированной нержавейки в кожаном чехле. Он вытащил его из кармана.

— О! То, что надо. Водки неохота, много надо таскать, да еще закусывать, сухпай дербанить, — размеренно продолжал Фома, аккуратно наливая. — А так тридцать граммов залил, потерпел чуток, и все в порядке. Только часто нельзя, может срубить неожиданно. Надо заливать, не глотая, чтоб не обжечься. Ну, за знакомство!

Они коснулись стопками, подняли максимально вверх подбородки и влили спирт внутрь. Пуху показалось, что в желудок потек кипяток. Выступили слезы, он зажмурился и только усилием воли не сделал глотательное движение. А когда открыл глаза, мир вокруг стал мягче и добрее. Теперь закурить уже хотелось. Пух достал пачку и предложил Фоме.

— Не, спасибо, и так нормально, — Фома слегка улыбался.

— А со своими что? — Пух мотнул головой на соседей. — Не хотят?

— Почему, хотят. Просто я с ними уже причастился, но они как дети малые, хорохорятся, думать сейчас не могут со страху.

— Думать?

— Ну, да. Как дальше действовать. Ситуации разные прощупывать. Говорят, там видно будет.

— Разве нет?

— Не совсем.

— А например?

— Ну, когда колонну обстреляют, надо спрыгнуть, загаситься, а потом ползти в сторону огня, чтобы в мертвую зону быстрее попасть. Не бежать в разные стороны, как тараканы. Это, думаю, помнишь?

— Ясно.

— А мои подзабыли...

— А что об этом думаешь? — Пух показал бровями на место уже ушедшего батюшки.

— Это не помешает...

Раздалась команда «К машинам!», и Фома поднял ладонь:

— Ладно, давай! — он улыбнулся и подмигнул, — держись меня и будешь под кайфом!..

Пух и Горе

...— А дальше? — спросил Горе.

Пух отмахнулся.

— Что ты, как девочка? — ухмыльнулся Горе.

— Да я тебе уже рассказывал. Дальше всякое говно. Фома только, молодец, ни разу не подвел. Выручал. Ну, еще бы, он в том же училище учился, что и Славян, только за драку выгнали.

— Знаю я, знаю.

— Ну...

— погоди, звонит кто-то, — Горе достал телефон: — Да. Привет. Да, все в порядке, едем. Не волнуйся, будем на месте, позвоню... Хорошо. Целую, пока.

Горе нахмурился и закурил. Пух задумался.

— Не парься ты... — сказал он наконец.

... — Не парься ты!

— А я и не парюсь.

— Не-ет, ты паришься.

— Да не парюсь я! Просто непонятно... Живу с ней, с одной, только ее вижу матерью моих детей. Все у нас хорошо. Ты же знаешь!

— Знаю. Что ж тебе непонятно? Она просто молодец — умная, красивая, дома у вас все чисто, светло, уютно.

— Мне с ней не скучно, главное. Умница, понимает меня с полуслова. А сейчас уже и вовсе без слов...

— И не ссоритесь никогда, что ли?

— Нет, почему, ссоримся иногда, конечно. Она мучается, переживает, пытается мне нервы трепать.

- А ты?
- Ну, я тоже... Вроде нервничаю. Не так сильно, как она, но...
- Из-за чего ссоритесь-то?
- Мало внимания ей уделяю. Говорит, не чувствует любви.
- И?
- Мне хорошо с ней! Что это, не любовь? Да и других дел полно, так ведь?
- Не знаю...
- Я хочу ее даже чаще, чем она меня, хоть она моложе... Погоди, звонит кто-то. Да. Привет. Нет, сегодня нет. Завтра позвоню. Да точно, точно... Все, пока, целую... Так, о чем мы?
- Она?
- Нет. Другая. Ты ее знаешь.
- А-а... Да. Тоже красавица.
- Представляешь, а с этой мне даже говорить не о чем... Я же их обеих давным-давно знаю, обе еще школьницами были, когда знакомился. Одна умная, другая... Не смог бы с ней жить. Через неделю убил бы. Дома все кувырком, одни тряпки на уме. Пока маленькая была, жалел, берег. Она нескладная такая, коленки торчали, хвосты в разные стороны. Потом выросла, сколько-то не видел, а как встретил... Главное, не люблю ее. Что в ней такого? Стерва она, что ли? Вроде нет. Скромно себя ведет. Но как притронусь, думать больше ни о чем не хочу. А она еще меня успокаивает, и сама переживает. Грустит. Но как-то не серьезно грустит, или виду не показывает...
- Что говорит?
- Говорит, любит меня. С детства. И всегда, мол, будет.
- Ну, это еще бабушка надвое...
- Может быть и так.
- Ты, все-таки, что сам думаешь?
- Жду, когда все это кончится. Противно иногда.
- Ничего, когда-нибудь кончится, когда сам себе окончательно опротивеешь. Или старым станешь. Да ладно, не парься ты!
- А я и не парюсь...
- А я и не парюсь. С этими бабами кому как повезет, — поддержал Горе, — любого запутать могут. Вот Фома, тоже ведь неспроста развелся. И ничего не говорит, все в себе. Хоть бы рассказал, что да как, авось, не так тоскливо было бы.
- Ты же знаешь его, он ни в чьих советах не нуждается. Все сам, упрямый как.... — Пух не нашел подходящего слова, — мне тоже ничего не говорил, самому надо догадываться. Жена у него красивая, образованная, на должности. Характер под стать Фоме, палец в рот не клади. Видать, где-то нашла у них коса на камень, и все. Никто не отступит. Дочка между двух огней.
- В натуре, только девушку мучают. Зачем рожали, если никто ей не занимается, не воспитывает?
- Тебя-то много воспитывали? — Пух удивился таким речам.
- Я — другое дело.
- Там такая девушка, сама кого хочешь воспитает. Выше мамы.
- Все равно, ребенок еще. Вспомни себя, — Горе был серьезен, — в армии, небось, плакал по ночам без мамы?

— Ты вообще сидел в эти годы, — Пух оставался спокойным.

— Поэтому и жалею, что ребенка упускают. Будь у меня в детстве нормальная семья, жизнь по-другому бы сложилась. Не пришлось бы на голых пятках бычки гасить! У вас, пижонов, настоящее детство было, а вы все приключений ищете, — его по-тихому закусил.

— Ты давай, не обобщай! Что завелся-то? — Пух старался говорить мягче, — люди разводятся. Это их дела. Нам ничего не изменить. Фома тоже с четырнадцати лет в Суворовском училище, сам мне рассказывал. Попал в казарму, и детство кончилось.

— Знаю, извини. Что-то злость берет. Мало есть людей, кому добра желаешь, так и у тех все не слава богу, — Горе устало сморщился и вздохнул.

— Выпить тебе надо, братан, граммов сто! — предложил Пух, — а лучше двести.

— Доедем до моря — выпьем, — согласился он, — лучше расскажи что-нибудь, а то усну.

— Что рассказать-то?

— Про штурм города, например. Всегда отмахиваешься...

— Ладно, только ты мне потом про дороги. Или про Горе?

Ваха и Рамзан

И все же, почему я чувствую сквозь дым и пыль запах лагмана? Да, того самого лагмана, который варит на заднем дворе рынка тетя Зарема. Наверное, те таблетки, что нам дали перед заданием, сильно обостряют не только все чувства, но даже и память. Все-таки это самое вкусное, что я ел в своей жизни. Горячий лагман из говядины с лапшой и приправами.

Я знаю, что нам с братом осталось лишь несколько секунд. Сейчас мы умрем. Наверное, во имя Аллаха, всемилостивого и милосердного. Или за джихад, о котором говорил дядя Абу. Эти шайтаны в серых «горках»¹ и с лицами, покрашенными черным, застрелят нас из своих бесшумных винтовок. Винтовок, которые только тихо шепчут «Пух! Пух!» и почти не бросают огня. У них длинные глушители, я видел такие у арабов в горах. Лица покрашены и очень похожи, но не человеческие. Их вовсе не видно в сумерках вечера. Ух, они хитрые, эти шайтаны! Они появились прямо из воздуха, когда мы несли в чемодане фугас, что дал нам дядя Абу. Абу — воин ислама. Он хочет, чтобы мы стали такими, как он. Но он хромой, быстро ходить не может. Потому мы и тащили этот чемодан сюда, к русской церкви, последней в нашем городе. Три дня назад мы уже взорвали таким фугасом машину с серыми «горками», на этом самом месте. Она горела, как скважина с нефтью. Абу сказал, что двоих из них черти утащили в ад. Он дал нам денег и велел купить себе на рынке все, что пожелаем. Я купил натовские ботинки. Давно мечтал. Мягкие. Удобные. Прочные и красивые. Мужчину подчеркивает обувь. А мой старший брат Рамзан купил... набор косметики. Знаю, он хочет подарить его тете Зареме. У Заремы брови как крылья, глаза как сладкий чай в стакане на солнце, и белые зубы. Она и мне тоже нравится, только ничего у нас с братом не выйдет, хоть ей всего двадцать четыре. У Заремы траур

¹ «Горка» — форма горных спецподразделений.

по мужу, года не прошло, как серые «горки» ночью забрали у нее мужа. Тихо пришли, спеленали его за секунду, а ее просто оглушили. Сколько она ни искала потом, куда только ни ходила, никто ничего не знает и не слышал.

Мы несли чемодан по очереди, и теперь нес Рамзан, а я шел впереди. И ведь мы уже почти пришли! Но я не увидел, как что-то железное, наверное, ствол от бесшумной винтовки, ударило меня в правый глаз. Я не успел крикнуть брату «беги!», потому что в голове вспыхнул красный шар, а когда он погас, я лежал на земле лицом вниз, и шайтан наступил мне коленом на шею и мотал руки и голову скотчем. Руки за спиной до локтя и все лицо. Только глаза оставил, да и то я правым теперь не вижу. Но левым я увидел, что брат уже смотан так же, как я, и один шайтан залез в чемодан, воткнул в него свой взрыватель и оставил лежать у тропинки. Ух, хитрые дьяволы! Утром Зарема пойдет по тропинке за водой и увидит его...

Дядя Абу обещал, что даст еще больше денег, если мы сможем снова взорвать серых «горок». А теперь они тащат нас в развалины и молчат. Но все же я слышал, как они коротко шептались. Хоть почти и не знаю я их языка, я понял их змеиный свист и шипение. «Далеко тащить, ползком не дотащим». «Посты не знают, свои постреляют». Там, в развалинах пятиэтажки подвал, туда нас и тащат. Никто туда месяцами не ходит, нас не сразу найдут. Хотя нет, нас же ждут Зарема и дядя Абу! Будут искать, как рассветет...

Вот и подвал. Стемнело уже, но они зажгли свои тусклые красные фонарики. Как глаза демонов. Ух, хитрые шайтаны! Они все же притащили наш чемодан с собой. Сейчас нас пристрелят, оставят лежать на фугасе, а утром по радио взорвут, и концы в воду. Почему я это так хорошо понимаю? Все эти таблетки дяди Абу. Но он говорил нам, что будет не страшно, а мне все же страшно, и больно, хоть я и мужчина. Хоть мне уже два месяца назад исполнилось шестнадцать, а Рамзану и вовсе на днях будет восемнадцать. И жутко, что ему не помочь, и даже не крикнуть «Алла-у Акбар!» замотанным ртом. И не попытаться бежать. Я слышу, как тихо свистит самый главный шайтан: «Без гильз», значит, убьют нас ножами. Как баранов, клянусь. Иншалла! Даже ножи у них черные, чтоб не блеснуть при луне. Мы лежим на полу лицами вниз, и я вижу такие же, как у меня, натовские ботинки. Рамзан хочет закрыть меня своим телом, продлить на секунду мне жизнь. Не стоит, брат, мне больно и страшно, надеюсь лишь, встретят нас гурии с глазами, как сладкий чай на солнце...

И все же, почему я все еще чувствую сквозь дым и пыль запах лагмана?

Пух и Горе

— Эх, горе ты, горюшко!.. Ладно, слушай сказку про дороги. За них-то и прозвали меня. Еще с «малолетки». Дороги — это межкамерная связь. Запрещены строго. За них — «дизо». Дисциплинарный изолятор. В общем, сидишь ты в хате, ну, в камере, и нет у тебя ни чаю, ни сигарет. Посылок тебе никто не шлет, поскольку ты сирота казанская. В хате, кроме тебя, нормальных пацанов тоже нет. Всех по разным рассадили. Остались одни матрасы. Матрасы — это такие, беспомощные, что ли, сидельцы, которые ничего не могут. Просто в депрессии лежат на нарах, а когда кормушка открывается, за баландой к ней слетаются, как чайки. И обратно на нары. Нет у них ничего хорошего. Тогда ты берешь, делаешь

ружье. Сначала отбираешь у матраса газету... Почему отбираешь? Ну, сам-то ты газет не читаешь, приходится забрать. Скатываешь ее в плотную трубку, склеиваешь мылом хозяйственным, мусолишь-мусолишь, потом сушишь-сушишь. Потом для прочности обматываешь нитками, вот так вот, крест-накрест. Дальше делаешь пулю. Скручиваешь маленький, но длинный кулек из этой же газеты, точно под калибр ружья, пихаешь в него шарик из хлебного мякиша, потом маляву, записку с просьбами, и еще одним шариком затыкаешь. К нему привязывается нитка. Делать все надо точно и аккуратно, иначе что-нибудь не сработает. Что, откуда нитки? Это еще одна история. Ладно, коротко. Раз в неделю тебе положены нитки и даже иголка. Даже ножницы. Зашить-пришить. Дают ненадолго. Если ножницы с иголкой не вернуть, устроят такой шмон, себе дороже, потому возвращаешь. А нитки выдают так: стоит мусор возле кормушки, и в окошко протягивает кончик нитки. Тот, кто берет их, должен быстро на что-нибудь наматывать. Тебе надо много, так вот ты заставляешь матрасов построиться вдоль стены возле кормушки в очередь, и как только кончик нитки просовывается, первый матрас хватается его и бежит с ним в дальний угол камеры. Добегает, нитку возле кормушки подхватывает другой матрас и бежит за первым. И так вся очередь. Ты стоишь возле кормушки и мента отвлекаешь разговорами. «Командир, командир, — говоришь, — у нас мыло кончилось. Выдай, не в падлу». Ну, или в этом роде какую-то такую глупость. Бывало, когда мент добрый или тугодум, матрасы не один раз успеют пробежать с нитками. Потом он, конечно, отрывает нитку, он же понимает, что пока он не оторвет, ее будут сматывать, и всю вымотают. Но, в общем-то, ниток особо мусора не жалели.

Ну, вот. Привязываешь нитку к пуле, к стрельбе готов. Теперь надо проделать в окне амбразуру. На окнах ведь решетки, а за решетками — реснички. Это такие жалюзи, только из толстого железа. Между ними пальца не пропихнешь, не то что ружье. Их разогнуть нелегко, но есть разные способы. Ладно, разгибаешь реснички, вставляешь между ними доминушку или шахматную пешку, есть амбразура. Теперь надо состучаться с соседями, чтоб не просто так, в никуда, стрелять. Тут наступает первый ответственный момент. Если мент услышит стук, может внезапно открыть кормушку или глянуть в глазок, тогда пять суток «дизо». Три стука в стену — приглашаешь к разговору. Потом два стука — налаживаем дорогу. И один — готов, славливаемся. После этого соседние пацаны сквозь свои реснички пропихивают длинную палочку, связанную из прутьев от веника, а ты пулю в ружье, и дуешь, стреляешь через нее пулей. Запулить можно далеко, бывает, до самой воли пуля долетает. Они ее подхватывают, подтягивают к себе. Ниточка натянута, но это еще не дорога. Теперь берешь у кого-нибудь свитер, ну, да, обычно у матраса, распускаешь его на нитки и сплетаешь канатик. Ладонями его крутишь-крутишь. Хороший канатик два здоровых мужика не порвут. Привязываешь его к нитке, и соседи его затаскивают. Вот теперь дорога готова. По ней отправляешь пыж. Это тоже трубочка из газеты, но внутрь засыпаешь чай, запихиваешь плотнячком сигареты, всякие мелочи нужные. Иногда приходится гнать дорогу через унитаз. Что ты удивляешься? Бывает, в старых тюрьмах параша в камерах — очко, как в привокзальном туалете. Вот они находятся в разных камерах, но рядом, через стенку. И слив у них один. Тогда шарик с ниткой опускаешь прямо в очко, стучишь в стену, они то же самое делают. Потом вместе сливаете воду, и ваши нитки перекручиваются в сливе. Опять дорога. Но тут уж надо в полиэтилен пыжи запаивать. На пыже пишешь, напри-

мер, «Камера три два, Пуху от Горя» и прибавляешь для смеху «Не морозить!». Это пометка срочности. Вот. Человек, что дороги налаживает, называется дорожник. Дело уважаемое, уметь надо и не бояться. Менты часто ловят, потому что матрасы боятся глазок рукой закрыть или перед кормушкой стоять, тусоваться, чтоб не видно было. Тогда дверь открывается, а-а-а, это опять ты, горемыка, ну, пойдем к офицеру-воспитателю. Там допросик, рапорт, «межкамерная связь», пять суток «дизо». Изолятор — тюрьма в тюрьме, почти всегда маленькая одиночка, в которой нет ничего. Только пень, обитый железом. Чтоб удобнее сидеть, наверное. Нары пристегиваются к стене цепями, с десяти вечера до пяти утра их отстегивают и дают матрас. Пустой чехол. Ваты там почти нет. Нары тоже железные, рамка с двумя перемычками. Матрас сквозь них проваливается, и спишь на железе, а задница висит между этими пластинами-перемычками. Кормят так: в день полбуханки хлеба и кружка кипятка. Зачем кипяток без чая? Не знаю. Баланда не всегда. Самое противное — холод и шуба на стенах. Стекла-то за решетками почти всегда разбиты, а под дверью в камере обязательно широкая щель. Это специально так устроено у мусоров, для сквознячка. Особенно после баланды, когда в сон клонит, они в коридоре уличную дверь открывают, и тогда по полу в камере аж метель свистит. Чтоб не расслаблялись. А шуба, ты же знаешь, стена так цементом обляпана, что голову не прислонить к его острым волнам. Да и между волнами слой пыли в полпальца толщиной. А в пыли столько клопов, мама, не горюй. Кажется иногда, что шуба шевелится. Когда в изолятор попадаешь, свою одежду снимаешь, выдают тебе робу. Она короткая, рваная, почти без пуговиц. На спине хлоркой надпись «ДИЗО». И тапки получаешь, засаленная войлочная подошва, как от стоптанного валенка, и кирзовый ремешок, куда ногу просовывать. Все. Когда не вмоготу и хочется лечь, ложишься на пол, под голову один тапок, а под почку, чтоб не отморозить — другой. И вот когда так насидишься, выходишь в общую камеру, как с великого поста, тонкий, звонкий, бледный и с горящим взором. Мы вот в Кемь едем, а я тут сидел, тут в Кемь в тюрьме всего три камеры, одна женская, а в двух других сидят все подряд. И малолетки, и взросляк, и больные всякие. Заходишь ты в такую камеру после изолятора, тебе чаю нальют, закурить дадут, если найдется, и поесть чего... И вот один старый каторжанин говорит тебе, малолетке, ласково: «Ну, что, сынок, сколько у тебя уже "дизо"?» Ты ему отвечаешь: «Сорок пять». А он вздохнет: «Эх, горе ты, горе. В зону приедешь, будешь, как злостный, в БУРе¹ сидеть». Это, типа, с уважухой. За что я столько в «дизо» сидел? Межкамерная связь. Нарушение режима содержания. Отказ от работы. Я с самого начала себе сказал: «Ты сюда не работать приехал, а сидеть». Никогда не работал. Да и работа-то рабская, из стальной болванки напильником выточить молоток, например. Такая, чтоб зэк помучился. Я лучше тайком заточку сделаю. Из супинатора от кирзача. Это такая пластина стальная. Точишь, точишь ее. Сначала об кровать, об железо. Потом о цементный пол. Острая получается. Сало режет хорошо. Это главное. А матраса шугануть особой остроты не требуется... И самое сволочное — это «тюремный спецназ». В последние годы появился. Заскакивают в камеру мужики в масках с дубинками, днем или ночью, все равно, и устраивают резиновый дождь. Дубинами так обстругивают, что весь синий вылетаешь в коридор через узкую щель в дверях. На построение. Они в это

¹ БУР — барак усиленного режима.

время в камере шмонают, все твои вещи ломают и рвут, как псы, а что не сломают, раскидают по камере. Потом ищешь под нарами. Или в параше увидишь. Вот это, брат, честно тебе скажу, никогда простить нельзя. До сих пор их презираю. Люди, от своей мнимой силы и вшивой власти дошедшие до скотского состояния. Когда могут просто так человека унижить, опустить или вообще сломать. Ладно, хватит грузиться. Твоя очередь рулить.

За разговорами добрались до моря. Окраинами объехали Кемь. Под тремя тусклыми фонарями она, наверное, не сильно изменилась со времен матушки Екатерины, что ссылала людей сюда, к Едрене Матери. Глухая ночь кончалась, и они ждали рассвета. Даже в темноте море оставалось огромным, оно тяжело дышало холодным ветром с мокротой и толкало в берег гудящим пульсом прибоя.

Выезд к причалу был огорожен забором. Заспанный сторож, выйдя из своей будки, сказал, что пароход отчаливает в семь с копейками, а следующий будет только днем.

— Что за пароход? — спросил Пух.

— Монастырский. «Святитель Николай». Паломников везет.

— Значит, и нас возьмет?

— Это как договоритесь. Вы же не заказывали билеты?

— Не-а... А дорого?

— Это как договоритесь.

— Ладно, отец, мы пока на стояночке у тебя подождем, в машине, — предложил Горе мягко, — пятьдесят граммчиков не желаешь? Освежиться?

— Нет, спасибо, ребята...

Сторож открыл ворота. Они припарковали машину. Не выходя, достали термос, разложили бутерброды. Горе налил водку в крышку от термоса.

— По очереди будем, — сказал он и протянул ее Пуху, — говори!

— Чтоб на борт попасть и дойти без качки! — сказал Пух и выпил. Горе налил себе:

— Пусть Фома просыпается, мы скоро! — и тоже опрокинул.

Закусили. Горе снова налил:

— Чтоб у него там все нормально оказалось! — он выдохнул, смачно выпил и крякнул. Утро началось.

— Что у него там может быть ненормального? Только он сам.

— Это точно. Каких он там чертей гонял, если все бросил и сюда подался? Ты, Пух, все-таки ближе к нему, может, я чего не понимаю?

— Ты-то нормально все понимаешь, а вот он, видно, никак в себе разобраться не может. Хотя путь к отступлению, думаю, у него есть. А если нет, то мы его расчистим. Или зачистим...

— Ну-ка, ну-ка, интересно! Открой мне глаза. Давай за путь, вздрогнули!

Фома

Экономика такова. После развода квартиру они с женой разменяли, Фоме досталась однокомнатная на окраине, а жене с дочерью — «двушка» в центре. Вот и все.

Перед этим он, говоря бодро, вышел в отставку, а если приглядеться, был по-тихому списан на унылый гражданский берег с пиратского корабля военной службы. Пиратского, потому что служба в специальных подразделениях часто напоминает деятельность корсаров-наемников в армаде вооруженных сил, ударной эскадры аппарата государственного принуждения. Потому что разбой и насилие здесь, особенно на войне, перестают быть атрибутом преступной, можно сказать, антиобщественной жизни, и не только не порицаются корпоративной моралью, но даже с житейской мудростью поощряются ею в виде добрых переговоров типа: «Что с бою взято — то свято», или: «Не важно, кто плохой — кто хороший, а важно, у кого из них ружье». Если представить Государство как бодрого паразита, сидящего на хребте у вялого Общества, а Закон — как его, паразита, головной мозг, то упомянутые пиратские подразделения будут его зубами и когтями, подчиняющимися мозгу спинному. Который, проходя по позвоночнику, мало зависит от деятельности головы и даже сам иногда заставляет ее вертеться на шее. Здесь, на мой взгляд, Закон вполне ассоциируется с Дышлом.

Зубы и когти, бывает, стачиваются и приходят в негодность, но у Государства они имеют большую способность к регенерации. Стоит ему потерять один зуб, на его месте тут же появится другой.

Майор Ф., для своих — Фома, и в прямом и в переносном смысле подорвал на службе свое здоровье, но, естественно, не стал для команды невосполнимой потерей. В тридцатитрехлетнем возрасте он, после контузии и госпиталя, перешел в разряд ветерана и пенсионера. Руководство сердечно потрясло его руку, пообещало всяческую поддержку и просило не забывать. Конечно же, он ничего не забудет. Сослуживцы как следует выпили вместе с ним по этому поводу. Одни по большей части молчали, а другие шутили, невесело и неудачно, насчет его дальнейших планов. Он отшучивался, как мог. На это он был горазд, за словом никогда в карман не лез. Кратко, лаконично и с серьезным лицом он подчас бросал фразы, значение которых доходило до товарищей через паузу, как эхо, но тогда уже заставляло хохотать до икоты. На вопрос: «Чем заниматься будешь, брат?» он, немного подумав и пожав плечами, ответил:

— У меня во дворе две «лакомки»¹, надо будет узнать, чьи, кто держит, договориться с местным контингентом... ну, и распилить сферы влияния. Вы ведь поможете, если что, да? А там цветмет, утиль, стекло, разные ништяки!

— Лакомки?

— Ну, да, такие, с крышками.

Товарищи кивали, внимательно насупив брови, а потом начинали ржать.

Через полгода, в мае, перед выборами главы администрации города, из штаба одного из кандидатов пришла ему открытка. «Уважаемый Фома Еремеевич!» — говорилось в ней, — «Поздравляем Вас с Днем Победы, желаем крепкого здоровья, бодрости и оптимизма. На плечи вашего поколения лег тяжкий груз и ужас Великой войны, героический труд по восстановлению разрушенной страны, но теперь государство должно вернуть Вам свой неизмеримый долг и позаботиться о Вашей старости, сделать ее достойной. Пожилые люди, пенсионеры, ветераны — это мудрость нации. Голосуйте за нашего кандидата, и вы убедитесь, что уважение и почитание старшего поколения — это не пустые

¹ Помойки (жарг.).

слова...» Пух был тогда в гостях у Фомы, они пили пиво и по-доброму смеялись над хорошими, честными людьми из избирательного штаба.

— Думаю туда позвонить, — делился Фома своими планами, — пообещать свой голос и попросить в обмен на него продуктовый набор. Ну, там, банку тушенки, шоколадку, бутылку водки. Чтоб сто граммов наркомовских, за Победу... Это ж праздник с сединою на висках, со слезами на глазах, со всей херней! Как думаешь, брат? Пусть уважают пенсионера, привезут, выпьют со мной, а я им страшных историй нарасказываю. Как мы в сорок третьем, под Курском...

Чем станет заниматься в мирной жизни человек, закончивший в юности Суворовское училище, потом высшее военное по специальности «командир разведвзвода» и пятнадцать лет отслуживший в специальных подразделениях? В конце концов — ничем. Станет частным охранником? Потом сторожем? Потом швейцаром? Логика катапультирования, на взгляд Фомы, была именно такой. А может быть, организовать свой бизнес? Есть же прецеденты! Некоторые бывшие сослуживцы как-то смогли! Они постоянно крутятся, движутся, что-то мутят. В глаза перестали смотреть... Нет. Чтоб быть бизнесменом, нужно иметь некую таинственную черту характера, названия которой Фома не знал. Надо, чтобы деньги прилипали к рукам, а с этим у него всегда были проблемы. Он не искал и не видел вокруг своей выгоды. Учиться этому было поздно, к тому же не хотелось.

Иногда, когда размышления о бренности всего сущего приобретали слишком уж личные формы, когда становился предельно ясным преходящий характер любви, и даже дружба начинала выглядеть эфемерным понятием, он ловил себя на мысли, что пытался обмануть, и тем самым прогневал судьбу. Ему казалось, он должен был остаться там, в горах, после злополучного разрыва фугаса. Пройди осколки чуть ниже... Ведь после этого все и началось! Все проблемы — и с семьей, и со здоровьем, с последствиями заработанных болячек... Хотя, нет. Проблемы начались раньше, когда сила и власть оружия затянули его в свой черно-красный омут, где не надо было ни о чем думать. Не надо даже никого особо ненавидеть, просто выполняй приказ. Сколько лет бездумного выполнения приказов? Не хотелось их пересчитывать.

Оставался еще один путь. Старые друзья, с которыми вырос в одном дворе, в хулиганском районе, звали к себе, «в коллектив». Коллектив по старинке, по накатанной колее занимался получением дани «за безопасность» с разных предпринимателей, мелких, и средней руки, и Фома все эти годы не терял с ним связи. Дворовые пацаны с детства привыкли помогать друг другу, не обращая внимания на то, кто кем стал и чем занимается. Можно сказать, приход Фомы в коллектив был закономерностью. Здесь тоже требовалось иногда рисковать, только теперь не за государственные интересы, а за свои личные. К риску привыкать не приходилось, хотя разница и чувствовалась. Дышло закона торчало теперь не в твою сторону, но деться было некуда. Не на заводе же работать! Этого, при всем желании, Фома представить себе пока не мог.

Но и тут судьбу обмануть не удалось. Государство обросло новыми зубами, и конкуренция с ним, а также и с другими «коллективами», возросла. Придушенные государством предприниматели стали отказываться от услуг самодельных мздоимцев, и гонка за шальными деньгами пошла по новым, более опасным виражам. На глазах уходило в прошлое времена открытого рэкета, схемы отъема у клиентов денег становились все сложнее и запутаннее, старые эконо-

мические связи рвались. Как и в начале девяностых, вопросы снова стали решаться с помощью оружия, только теперь на более высоком профессиональном уровне. И если раньше подконтрольный бизнесмен жил в легком, но постоянном страхе, то теперь он становился партнером, требовал вложений в общий бизнес, а заодно мог подставить, «кинуть», или просто столкнуть лбами надоевшую нелегальную «крышу» с растущим и проголодавшимся чиновничьим государством. С его бюрократией, милицией, прокуратурой и судом. Не говоря уже о вездесущей контрразведке.

В один из ветреных весенних дней неприметно одетый человек, проходя мимо машины, в которой сидели Фома и его друг, лидер его новой команды Леха, вдруг остановился, выхватил пистолет и стал стрелять. Первым же выстрелом он попал Лехе в голову и убил его. С Фомой вышла заминка. Тот быстрее, чем сам успел сообразить, выскочил из-за руля и с голыми руками кинулся на стрелка. Стрелок не ожидал такого поворота событий и занервничал. Он высадил в Фому все оставшиеся в магазине патроны, причем шесть пуль попали в цель, но ни одна не оказалась смертельной. Тогда стрелок бросил один пистолет и, пятясь, вытащил из-под куртки другой. В этот момент Фома сумел настичь его, схватив пистолет за ствол, и вместе они повалились на асфальт. Сколько продолжалась эта яростная и молчаливая, словно змеиная, борьба на земле, Фома не помнил, но кто-то из прохожих все же вызвал милицию. Подъехавший патруль слышал еще выстрелы, но не смог разобраться сразу, кто из двух перемазанных кровью людей убийца, а кто жертва. Обоих в наручниках увезли в больницу, и только там по пулевым отверстиям определили, кто есть кто. С Фомы срезали одежду и увезли в реанимацию.

Он выкарабкался, но долго еще лечился. Леху похоронили. Коллектив стал распадаться. Кого посадили, кто пропал. В конце концов, источники доходов иссякли. Жизнь для своего продолжения требовала новых действий и решений, ей нужны были силы. Хотя бы здоровье. Ну, хотя бы желание...

Пух и Горе

Почти рассвело, семь утра. Идет холодный дождь. Бутылка допита. Горе с Пухом курят в машине. Прибой тяжело долбит в причал. Наконец, к стоянке подкатил огромный автобус.

— Ишь ты! «Неоплан»! С комфортом паломники едут, — заметил Горе.

Сторож открыл ворота, и автобус двинулся к причалу, где качался на волнах пришвартованный «Святитель Николай», небольшой пароход с закопченной трубой. Вскинув сумки на плечи и надвинув капюшоны, Пух с Горем направились к нему.

— Ай да кораблик! — проворчал Пух. — На таком хорошо берсерков сжигать.

Горе непонимающе глянул на Пуха. Тот объяснил:

— Викинги так хоронили своих героев. Наташат дров на старый корабль, положат покойника на поленницу, подожгут и оттолкнут от причала. Он плывет и горит. Догорит и утонет, а они считают, что покойник попал в рай.

— Еще бы, конечно, в рай. Если убили, потом сгорел, да еще и угли утонули. Хорошо, мы не эти герои.

— Помнишь Басмача? — вдруг спросил Пух.

— Вовку? Смутно. Я тогда мелкий был.

— Я хорошо помню. Он на четыре года старше был. Мы с ним в «трудяге»¹ подружились. Кирпичи таскали, таскали, он и говорит: «Ловко работаешь, будешь за меня в войнушку играть?» «Буду!» «Ты, — говорит, — пионер?» «Да». «А я басмач, я всех стреляю». Мы с ним всегда побеждали в войнушку. На гитаре меня учил. Потом в армию ушел и попал в морскую пехоту на Черное море. Помню, пришел он в отпуск, в черной форме, в тельняшке, в берете, в сапогах с ремешками. Мы все завидовали. Песни пел про море и морпехов. Радовался, что ему во флоте нравится. Остался на сверхсрочную. Стал мичманом. А потом его привезли в цинковом гробу. Целое отделение морской пехоты. Все в черном. Капитан третьего ранга, командир его, на кладбище рассказывал, что у них там на эсминце что-то загорелось, Басмач своим матросикам приказал покинуть отсек, а сам остался один и тушил огонь. Главное, потушил, но хапнул какой-то химии и отравился. Почти сразу после этого умер. Хоронили с салютом. Моряки из автоматов залпом стреляли по команде. Грохот на всю деревню. Порохом пахло. Капитан честь отдавал. Орден Боевого Красного Знамени посмертно. Мы со Славяном смотрели и втихаря мечтали, чтоб нас так же хоронили, ну, если что. Сейчас-то, конечно, все равно уже, как...

— К чему ты это?

— Да так, вспомнилось... Мне кажется, Басмач счастливую жизнь прожил.

Первым из чрева «Неоплана» появился огромного роста монах с бородой, в скуфье и кожаной куртке поверх черного подрясника. Перешагивая через лужу, он приподнял полы подрясника. Пух заметил начищенные до блеска сапоги, по виду — офицерские. За ним стали выходить паломники, пожилые мужчины, женщины в темных платках, тепло укутанные дети. Водитель открыл багажник, народ стал разбирать баулы и относить их к причалу. Пух и Горе затесались в толпу и поставили свои узелки в общую кучу. «Дары разгрузить», — прозвучали негромкие голоса. В багажнике автобуса оставались еще мешки и ящики.

— Давай-ка, поможем людям, — шепнул Горе, — может, за своих сойдем.

Они быстрым шагом стали таскать к причалу сетки с овощами, ящики с консервами, мешки с крупой и коробки с краснодарским кагором, как было на них написано. Гора провианта росла. Пух вспотел.

— Зону можно накормить, — вполголоса обронил Горе, проходя ему навстречу с сеткой картошки на спине.

Разгрузились. С «Николая» перекинули дощатый трап. На палубе появился смуглый мужчина в рабочей куртке, как выяснилось, капитан, и твердым голосом распорядился:

— Так! Личные вещи в салон, мешки-ящики в трюм, потом начинаем посадку!

Двое-трое мужчин начали было перетаскивать с причала на палубу эту гору вещей, толкаясь и мешая друг другу. Горе перепрыгнул на палубу, оттолкнувшись от лееров, обернулся к Пуху и сказал:

— Подавай через перила!

Дело пошло быстрее. В общей массе они закинули на борт и свои сумки.

¹ Школьный трудовой лагерь на летних каникулах.

Погрузились. Капитан велел очистить палубу и начал посадку. Он встал у конца трапа, а с причала на трап людей отправлял монах-офицер. Тот высился над толпой, молча отсчитывая на борт сначала женщин с детьми, потом мужчин. Пух и Горе пристроились в конце очереди. Посреди посадки откуда-то сбоку подошел, прихрамывая, пожилой мужчина, почти старик, в драном полупальто и с инвалидной палкой. Седые волосы торчали из-под старой кепки, почти закрывая уши. Он был небрит и неопрятен.

— Разрешите... местному жителю, — сказал он скорбным голосом.

— Сейчас группу посадят, потом местные, — ответил ему кто-то из паломников.

— Разрешите... я Соловецкий, можно сказать, монах...

— Не стыдно вам, мужчина? Какой же вы монах? — уже не так спокойно спросил паломник.

— Извините, извините, — смутился вдруг старик, — не монах, конечно, просто местный, с острова. Извините...

Пух упустил его из виду, потому что народ у трапа задвигался быстрее. Мужчины проходили по доскам смелее женщин. Когда подошла очередь Пуха и Горя, монах остановил их жестом руки, повернулся к капитану и сказал басом:

— НЕ МОИ!

— Товарищ капитан, разрешите мне на минуточку... — вежливо попросил Горе и, повернувшись к Пуху, шепнул:

— Быстро давай «лопату»¹!

Пух сунул ему кошелек, и он, слегка задев плечом, обошел монаха, когда капитан жестом разрешил ему пересечь трап. На палубе команда готовилась отдать концы, последние паломники спускались в пассажирский салон. Горе что-то быстро сказал капитану, пожал ему руку и кивнул Пуху, можно, мол. Пух вслед за монахом взошел на борт.

— Пойдем-ка на корму, с глаз долой, — сказал Пух Горю. Тут рядом с капитаном возникла неопределенного возраста женщина в желтой куртке и бейсболке с ушами и голосом кондуктора сказала, обращаясь к ним:

— Так, мужчины, вы не из группы, оплачиваем посадочные!

— Не вопрос, хозяйшкa, сколько? — среагировал Горе.

— Вас двое, значит, двести!

Горе отсчитал ей купюры, и они пробрались на корму.

— И капитану я дал денег, и эта активистка еще маленько щипнула, — усмехнулся Горе. Пух отмахнулся. Пусть радуются.

С берега отдали трап и швартовы. Паломники забились в салон, а те, кому не хватило мест, стояли. Палуба задрожала, дизель загудел, запахло до боли знакомым Пуху выхлопом дизеля, и пароход отчалил. Чайки застонали. Пух и Горе остались наверху, засунув руки в карманы, и глядели на унылый берег. Камни. Старые избы. Полуразвалившиеся причалы. Дымящие трубы. Темные часовни. О, одна новая, желтого дерева. На выходе из бухты ветер засвистел, качка усилилась, и стало холодно.

— Семнадцать лет здесь не был! — Горе перекрикивал мотор и волны. — А на корабле в море вообще первый раз!

¹ «Лопата», «лопатник» — жаргонное название кошелька.

— Слушай, братан, мы тут за три часа задубеем! — прокричал в ответ Пух и достал из сумки рукавицы.

— А я перчатки не взял! Хорошо, хоть водки выпили!

— Ты левша, возьми левую, — Пух отдал ему рукавицу, — сейчас раскачает, будем за леера держаться!

— Блин, не знаю, есть у меня морская болезнь или нет?!

— Посмотрим! Ты молодой! Выпивший — должен вытерпеть! Трезвому хуже!

Берега уходили, расступаясь. Медленно проползали мимо острова. Над открытым морем ветер начал рвать тучи, дождик перестал, но качать стало серьезнее. Волны с белыми гривами толкали в борт наискосок. Пух застегнул все пуговицы и ухватился за палубную надстройку. Макушки отдельных волн все же заливали палубу сквозь сливные отверстия в фальшборте, и друзьям приходилось заскакивать на кнехты, чтобы не промокнуть.

Из салона на палубу, качаясь и хватаясь руками за переборки, выбрался мужчина в военном свитере, с бледным лицом. Он перегнулся через леера, и его вытошнило.

— Салон в носу, там качает сильнее! — сказал Пух Горю в самое ухо. — А им внутри еще и горизонта не видать! Натерпят, бедолаги!

Сначала небо вдали, прямо по курсу, расчистилось и посинело. Потом резко сверкнуло солнце и чуть приглушило волны, а над кильватерной струей вспыхнула радуга. Народ, почувствовав облегчение, стал просачиваться на палубу и дышать. Многие выбрасывали за борт пакеты с рвотой.

Под синим небесным столбом там, впереди, на темной глади моря вдруг появилось светлое пятнышко. «Монастырь» — сказал Пух сам себе и толкнул Горе. Тот молча кивнул. Еще не было даже видно острова, а монастырь уже белел. Потом от него в разные стороны растянулась полоска черной земли.

— Остров-то здоровенный! — Пух почему-то заволновался, — где искать будем?

— Спросим, язык не отсохнет! — успокоил Горе. Он тоже словно замер, внимательно рассматривая растущую землю сощуренными глазами.

Пароход ожил. По палубе сновала команда, паломники, прижавшись к фальшборту, разглядывали остров. Чайки снова повисли над палубой. Дети улыбались и, толкая друг друга, показывали пальцем на радугу. Скоро земля впереди заняла половину горизонта, стал виден рельеф, потом леса и заливы, и, в конце концов, строения по берегам вокруг монастыря. Издали монастырь будто висел в воздухе над крепостными стенами. Маковки изредка вспыхивали и несколько мгновений сияли.

Вошли в монастырскую бухту. Качка улеглась. Над островом солнце боролось с остатками туч, пронзало их лучами, и они истекали последними каплями дождя. Люди засобирались на сушу. Разглядывая ухабы грунтовых дорог, Пух мельком оценил толщину стен из огромных камней и мощь сторожевых башен.

Вот наконец и причал. Пара таких же, как «Николай», небольших пароходов, несколько суденышек поменьше, моторные лодки и солнце в воде. Народу на пристани мало, стоят маленький автобус и грузовичок. Капитан «Николая» умело подрулил к борту дремлющего у причала парохода со странным названием «Туман» и заглушил дизель. Команда бросила швартовы и перекинула трап. Выходить на берег надо было через «Туман».

— Давай соскочим первыми! — предложил Горе.

— Разгружать не будем? — засомневался Пух.

— А монахи на что? Вон они ходят! Им же весь «грев»!¹ Пусть на себя и поработают, — и он перепрыгнул с «Николая» на «Туман». Пух, не оглядываясь, шагнул за ним.

Под ногами была глинистая дорога — земля монастыря. Пух и Горе шли к его воротам, обходя грязные лужи. Странно, интереса к нему Пух не чувствовал. Волновало его только одно — где тут Фома. Рядом с ними шагал серо одетый мужичок с бородой и солдатским вещмешком за плечами.

— Простите, — обратился к нему Пух, — вы не подскажете, где нам здесь найти послушников?

Мужичок остановился, снял вязаную шапку и вытер рукавом вспотевший лоб. Под шапкой оказалась большая лысина. Он внимательно посмотрел на Пуха светлыми, будто выцветшими, глазами и переспросил:

— Послушников? А кого вам надо? Я, кажись, их всех знаю.

Пух сказал.

— Не, такого нет. А может, он из трудников? Давно он здесь?

— Не знаю, вчера звонил....

— Ну, значит, еще не послушник. Трудник. Вам надо к отцу Феодориту. Он ими руководит.

— Как бы нам его найти?

— А идите за мной, я как раз к нему. Правда, он очень занятой...

Перед полукруглой аркой крепостных ворот мужик снова снял шапку, широко перекрестился и довольно низко поклонился. Пух с Горем не решились с непривычки, как на это реагировать, не перекрестились и даже не переглянулись, проходя за ним в высокую деревянную дверь.

Купола и белые стены светились где-то выше и левее, а перед ними уходила вверх по склону холма каменистая тропинка. Рядом с ней, по сторонам, лежали кучи песка, красного кирпича, штабеля бревен. Серые казармы внутри двора оказались одеты в леса. На бревнах сидели бородатые рабочие, пара длинноволосых людей в робах медленно передвигалась по дощатым мосткам лесов.

— Погодите немного здесь, ребята, — сказал провожатый, — сейчас я спрошу.

И он, сняв шапку, вошел в дверь побеленной пристройки к зданию старинного общежития. Они поставили сумки на землю и огляделись.

— Ну, что я могу сказать? Зона! — констатировал Горе. — Общий режим. Курить пока не решаюсь.

Тут выглянуло солнце, и они вдруг увидели — вдоль стены общежития, рядом с тропой, росли огромные ромашки. Целая клумба ярких и необычно крупных, с блюдце, ромашек. Они странно и свежо выглядели на фоне ремонта. Как Пух их сразу не заметил? От их желтых глаз стало теплее. Пух улыбнулся.

Вскоре вышел провожатый.

— Зайдите, ребята, подождите пока, скоро отец Феодорит подойдет.

И он отправился дальше, вверх по тропе. Горе с Пухом вошли в пристройку, Горе мотнул головой — гляди, мол. В углу помещения располагалась застек-

¹ «Грев» — посылка или передача (жарг.).

ленная кабина вахты. Внутри сидел монах в скуфье, в куртке поверх рясы, с распушенной бородой. Он выдавал ключи проходящим мимо работникам и подозрительно поглядывал. В противоположном углу висела большая, в пол-стены, икона Богоматери с Младенцем. Под ней стояли скамейки. С разрешения дежурного монаха Пух и Горе сели. Все входящие крестились и кланялись иконе, но Пуху казалось — кланяются им, и от этого было неудобно.

— Как думаешь, пахнет от нас перегаром? — шепотом спросил Пух у Горе.

— Не знаю. Теперь уж чего...

Вошел тоненький, невысокого роста монах в перетянута ремнем подряснике, строго перекрестился и встал перед ними.

— Здравствуйте, — сказал Пух, вставая.

— Здравствуйте, — монах кивнул.

— Отец Феодорит? — спросил Пух как можно почтительнее.

Монах снова кивнул. С виду ему казалось лет тридцать, а может, и того меньше, но на лице не было и тени улыбки. Смотрел он серьезно и настороженно.

— Отец Феодорит, здесь у вас наш друг, он нам звонил, хотел повидаться...

— Из трудников, видимо? Как зовут? — он говорил тихо и спокойно.

— Фома.

— А, да-да. Майор?

Пух обрадованно закивал. Монах помолчал немного, подумал и сказал:

— Сейчас его найдут. Подождите здесь.

— Спасибо!

Отец Феодорит чуть склонил голову и вышел. Они остались на проходной вдвоем, не считая монаха-вахтера.

— Пойдем за ворота — покурим, — тихо сказал Горе. — Не люблю я этих закрытых помещений с вахтами. Пока его тут ищут, успеем.

Они курили и молчали. Ожидание начинало раздражать. Что, если действительно он выйдет в подряснике? Пух не мог представить себе таким Фому и боялся своей реакции. Он видел его всяким — веселым, пьяным, злым, контуженным и полумертвым, видел за работой и на безделье, но сейчас... Пух не был готов терять лучшего друга ни по какой причине, даже по причине его сложных духовных исканий. Тем более ради Божьего клира. Это, конечно, махровый эгоизм и все такое. Мудрые старцы, естественно, гораздо больше знают и понимают, чем Пух... Так пусть объяснят ему, ЧТО на свете может быть важнее твердой уверенности в том, что ты не одинок? Не одинок по-настоящему, и знаешь это. Когда все вокруг одиноки, а ты — нет! Когда хотя бы один-единственный человек, друг, всегда помнит о тебе, не может не помнить. Не требуется совершать чудеса для доказательства твоей дружбы, не надо переносить тяготы и лишения, нужно просто знать, что тяготы будут вынесены, а чудеса свершатся в тот самый, единственно нужный момент. Легко тому, кто верит, кто не одинок от сознания Бога в душе. Легко тому, для кого Бог — лучший друг. Но Пух не знал таких людей. Он сам много думал о Боге и прекрасно понимал, что Он все видит, знает наперед все его ходы и мысли, Пух даже не сомневался, что Он как-то по-своему любит его. Но пусть не останется на белом свете людей, кто тогда будет здесь любить друг друга? Деревья, цветы и камни? Тигры, олени и обезьяны? Рыбы и птицы? Ангелы? Или любовь, которая, по общеизвестному утверждению, и есть Бог, превратится в нечто новое, совсем уж непостижимое? Пух и так постоянно упирался в ограничитель, установленный Богом в его мозгу,

с железной мягкостью не дающий понять Его замысел, и не хотел становиться еще более одиноким.

Скажут — умом Его не понять, надо почувствовать душой, а Пуху казалось, вся эта мистика — только попытка примириться с одиночеством. Ищите Бога — ищите, а Пуху достаточно было друга, которого Он ему послал.

Они вернулись и снова уселись под иконой. Солнце скрылось за тучу, и, глядя в окно на ромашки, Пуху не хотелось улыбаться. Он устал. Опустил локти на колени и обхватил голову ладонями. Горе толкнул его в плечо. Пух выпрямился и увидел перед собой человека среднего роста, в темной куртке с капюшоном, брюках и очках. Он стоял, держа руки в карманах. Пух не заметил, крестился ли он, когда вошел.

— Здравствуйте, вы к Андрею приехали? — спросил человек и сразу, не дожидаясь ответа, пошел к выходу, махнув им:

— Пойдемте со мной.

Несколько минут они шли за ним по каким-то скользким камням, и Пух не смотрел по сторонам. «Куда идем?» — всю дорогу тупо думал Пух, глядя в спину провожатого. Наконец, не выдержал и обернулся к Горю.

— Успокойся, Пух! — серьезно сказал тот, — этот гражданин туда нас ведет, сейчас мы его увидим.

Пух выдохнул и продолжил путь, хотя руки чесались развернуть за плечо этого очкарика и спросить что-нибудь, все равно что. Вдоль стены они обошли полмонастыря и спустились к маленькому заливику. На его берегу стоял каменный дом старинной постройки, они обогнули его, с торца по пожарной лестнице поднялись на второй этаж, и очкарик толкнул дверь из толстых плах.

Фома

Горе вошел первым и остановился. Пух заглянул внутрь через его плечо. Посреди маленькой, в два окошка, комнаты, на табурете сидел Фома, склонясь к дверям и сцепив пальцы. Он поднял взгляд им навстречу, вздохнул и улыбнулся — сощурился в тридцать три морщины.

— Горе, братан! — сказал он тихо и встал, — Пух, гад! Придурки, все-таки приехали!

Горе скинул с плеча сумку и обнял Фому. Пух стоял позади, сжав кулаки, и наблюдал. Горе сделал шаг в сторону и уступил Фому Пуху. Пух пожал его руку и уперся лбом ему в лоб, а потом они осторожно обнялись. Пух — потому что боялся сделать ему больно, а Фома всегда так, без пафоса. Пух стал искать глазами, куда поставить сумку, и не знал, что сказать. Его немного потряхивало.

С последней их встречи Фома похудел и осунулся. Он отрастил волосы, оброс темной бородой, но одет был цивильно — темная толстовка, черные джинсы и кожаные ботинки спортивного стиля, начищенные.

— Познакомьтесь, пацаны! — заговорил Фома. — Это Алексей, старший мой тут.

Они пожали руку проводнику.

— Можно просто Леха, — сказал он, улыбаясь, и добавил, — да, парни, встревожили вы наше руководство! Феодорит прислал ко мне послушника, тот прибежал с круглыми глазами, говорит, приехали два разбойника, майора ищут!

Да вы садитесь, вот табуретки, сейчас я чайник поставлю. Может, поесть хотите с дороги?

Он говорил, а трое глядели друг на друга, ухмылялись и молчали. Они не знали, с чего начать. Кое-как сели на табуреты.

— Давно я уже здесь, — наконец сказал Фома, — вчера не выдержал, пришел сюда, к Лехе, давай выпьем, говорю.

— Парни, снимайте куртки, я повешу, — откликнулся тот.

— Он меня поддержал. Выпили. Я говорю, слава Богу, есть, кому позвонить. А то бы не знаю, что натворил... Набрал тебя, Пух, потом думаю, дам отбой, скажу — не дергайся, все нормально. А после решил — если ты сам перезвонишь, дам стоп в гору.¹ Смотрю — молчишь, ну, значит, приедете. Просто не ждал, что сразу...

— Выпили, говоришь? Значит, и я не зря тащил, — сказал Пух и за горло вытащил из сумки бутылку.

— А мы, вообще-то, боялись тебя в рясе увидеть! — улыбнулся Горе. — Теперь хоть камень с души...

Фома виновато посмотрел на Алексея. Тот замешкался на секунду, но сориентировался:

— Чувствую, сегодня день активированный! Сейчас яичницу с салом пожарю.

И он достал из посудного шкафчика четыре рюмки. Все разные.

— Какие есть, — извинился он.

Горе уже извлекал из сумки остатки провизии — колбасу, хлеб, помидоры. Алексей поставил на переносную плитку сковороду и снова полез в шкаф, за яйцами. Пух искоса за ним наблюдал. Ростом невысокий, небритый, в очках и поношенном свитере, он был простым, но не той простотой, что хуже воровства, а естественным, своим, что ли, человеком. Выглядел лет на сорок пять, очками и щетиной напоминая рок-поэта.

— Леха здесь просфорник, — снова начал Фома, — печет хлеба для службы, отцам без него никак. Я ему помогаю. Учусь с тестом, с печами обращаться. Таких, как Леха, на всю Россию трое.

Алексей поморщился, но промолчал. Он резал хлеб на доске.

— Главное, он не монах, монастырь ему за работу деньги платит. Работа не легкая, столько всего знать надо...

— Ты-то как сюда попал? — перебил его Пух.

— Долгая история, — нехотя ответил он, — есть тут у меня один знакомый ключник, еще со времен «коллектива».

— Алексей, можно на «ты»? — вступил Горе.

— Нужно! — ответил тот.

— Давно ты здесь?

— С небольшими перерывами — девять лет.

Горе задумчиво покачал головой.

— И как? — осторожно спросил он.

Алексей задумался:

— Как. По-разному. В общем, нормально. Когда сильно тяжело, домой уезжаю на месяц, на два. Но это редко.

Пух открыл бутылке голову и налил все рюмки доверху.

¹ Дам стоп в гору — останавливаю (жарг.).

— Давай за встречу.

— Давай тогда сразу и за ваш приезд, и за знакомство, — добавил Фома, — чтоб потом не чокаться. Не люблю я.

Все трое выпили до дна, Алексей только пригубил. Вопросов ему по этому поводу не задавали. Каждый поступает так, как считает нужным.

— Ну, как, покачало вас? — улыбаясь, спросил он.

— Терпимо, — ответил Пух, — могло быть хуже.

— Могло. Остров, он ведь, если не захочет, к себе не пускает. Люди неделями сидят на берегу, шторма пережидают.

Пух качал головой, а думал о своем. Фома был рад им, но сидел задумчивый, ковырялся вилкой в сковороде и не закусывал. Пуху тоже не хотелось есть. Но начинать говорить было еще рано.

— Зато, когда подплывали, радуга над нами появилась, вот такая! — Горе аккуратно закусил, отложил вилку и показал, какая была радуга.

— Это хороший знак, — ответил Алексей.

Пух налил еще. Снова выпили, почти не закусывая. Самогон не брал. Молчание давило на плечи.

— Как дома? — спросил Фома, глядя на Пуху отчаянно улыбающимися глазами.

— С переменным успехом.

— Как пацан?

— Растет. Мы с ним друзья.

— Представляешь, братан, — Фома повернулся к Горю, — приезжаю я первый раз к Пуху в гости, знакомит он меня с женой, заводит в комнату к сыну, а тому года два. Я наклоняюсь к нему с перегаром, он на горшке сидит, я ему: «Здравствуй, мальчик!», и протягиваю плюшевого такого бульдога, а мальчик ка-ак плюнет в меня! Прямо в глаз попал...

Горе захохотал, Пух с Лехой усмехнулись.

— Утерся я собакой, — продолжал Фома, — и думаю: «Хороший мальчик, весь в папу!»

Выпили по третьей, и стало легче.

— Этот бульдог до сих пор любимая игрушка, — сказал Пух, — у меня к нему медальки приколоты.

— А ты как, Иван-джан?¹ — продолжал спрашивать Фома. — Остепенился?

— Вроде того. Стараюсь вести размеренную жизнь. Семью вот завел.

— Ну, и слава Господу.

— Ты лучше о себе расскажи. Что да как тут у тебя? — Горе решил начать, — я смотрю, ты ведь не здесь живешь?

— Нет, это Алексея комната.

— Да уж, понятно! Ты пока так, наверное, не успел бы обосноваться.

Комната у Алексея была обжитая, можно сказать, уютная. Ничего роскошного в ней, правда, не наблюдалось, не было даже телевизора, но на столе стоял ноутбук, окна убраны цветными занавесками, а стены оклеены светлыми обоями. В красном углу, между окнами, висела старая икона с Николой Чудотворцем. В комнате было тепло от круглой печи.

¹ Уважительное обращение у мусульман.

— У меня в пекарне свой закуток есть, — стал рассказывать Фома, — там лавка, ширмочка. Я один, никто думать не мешает. Отче выделил.

Он кивнул на Алексея. Тот спокойно слушал.

— Не могу я в общаге с трудниками жить. Говорят, гордыня, а там такие есть персонажи, терпеть невозможно. Бичи натуральные, наркоманы чуть не на ломах¹, в общем, всякие. Казарма там. Не хочу я уже казармы. Полжизни в этой казарме...

— А баня?

— Есть баня, даже душевая с бойлером. И прачечная есть, постирать можно.

— Что-то ты похудел, на диете, что ли? Или постишься?

— Аппетита нет последнее время. Кормят, кстати, хорошо. Видали там, на стройке, работаг? Личики у всех накусаны. Парное молоко, свежий воздух, трудотерапия. Санаторий, короче.

— Ну, по тебе, честно скажу, этого не видно, — сказал Пух, решив подойти немного ближе к делу, — болееешь? Или...

— Давай потом, брат! — отмахнулся Фома.

Пух молча налил еще по рюмке. Глядя на них, Алексей допил свою. Самогон казался все вкуснее. Фома порозовел, Горе вытирал испарину со лба, и от этого настроение улучшалось.

— Я дико извиняюсь, Алексей, тут где-нибудь можно пойти и курнуть? — осторожно спросил Горе.

— Ты куришь или как? — поинтересовался Пух у Фомы.

— Мучаюсь, брат, — ответил он, — стараюсь не оскверняться.

— Пойдем, ребята, покажу место, где можно подымить! — предложил Алексей.

Пух, Фома и Горе

Они остались на чердаке втроем. Горе отошел в дальний угол и курил там сигарету, глядя из окошечка на море.

— Не хочу жаловаться, брат, но деваться некуда, — Фома стоял рядом с Пухом, смотрел в темный угол чердака и говорил вполголоса, — и сказать больше некому. Уж извини.

Пух пропустил мимо ушей последнюю фразу и молчал. Фома подбирал слова.

— Я, в общем, сюда приехал из-за того, что радоваться перестал. Дома утром просыпаюсь, а лучше бы не просыпался. Черт с ним, что все болит. Привык. Не это важно. Но ничему не радуюсь. Вот ЗДЕСЬ уже все.

Он приставил к горлу два пальца в виде вилки.

— Начинаю думать и не пойму никак — продолжал он ровно, без эмоций, будто говорил не о себе, — неужели я один остался, да еще и сам себя загнал в угол? Родителям не до меня, у них своя жизнь. Столько лет не ездил, даже не звонил. Да и мне они нужны ли, не знаю. Мы только нервы друг другу трепали.

¹ «На ломах» — на ломке.

Что говорить, с четырнадцати лет по казармам. Тогда и детство кончилось. Я обижался до слез. Теперь они, наверное, обижаются.

Фома смотрел, как Пух углом рта выдувает дым, чтоб не соблазнять его. Все равно сквозь серые клубы Пуху не было видно его глаз.

— Потом жена. Не можем вместе жить. Пока служил — терпела, сама все устраивала. Я постоянно в разъездах, она за это время и выучилась, и в люди выбилась, и дом построила. Привыкла без меня. Я ей теперь и не нужен. Да и она уже не моя теперь, чья-то чужая. Еще бы, три года в разводе. Иногда казалось, что сможем все сначала, плохо ведь бывает друг без друга, а два дня живем вместе, и все. Молчим, говорить не о чем. Прикоснуться к ней не могу, как подумаю, что у нее кто-то был... Но я ведь и сам такой... А другие мне тем более не нужны... Она мне снится иногда, и тут понимаю, что лучше ее никого и нет...

Интонация его не менялась, только паузы между фразами становились длиннее. Понятно, что произносить это, пусть и давно созревшее, было туго. Пух докурил и мял в пальцах окурки, не зная, куда его деть.

— Дочке я тоже давно не интересен. Что есть я, что меня нет. Без меня выросла. Я попытался было наладить контакт, а ей даже не обидно — смешно. Она взрослая, а я к ней, как к ребенку. Вспоминать не хочу — уши краснеют.

Фома замолчал, а Пух вспомнил его дочь Варю, умницу и красавицу Варвару, Варешку, которую провожал как-то раз в школу за ручку. Зимой это было, лет девять назад. Пуху тогда срочно требовалось выйти утром на воздух, на мороз, после вчерашнего, и девочка выгуливала его, показывая незнакомый город. Фома не мог тогда даже выйти на улицу, на обратном пути Пух купил ему пива.

— Из друзей никого не осталось. Сам знаешь. Про вас не говорю, но вы далеко. Там никого нет. Были, а теперь нет. Даже мстить нет сил. Кажется, что сам себе мстишь... Теперь каждый за себя. Бизнес или пьянка. Раньше, когда деньги халявные были, все что-то праздновали. Сейчас денег нет, никто не звонит. Я, в общем, и не жду. Просто замечаю, что и я никому не звоню. Так быть не должно, а мне наплевать. Я все о чем-то думаю, думаю, а о чем, даже тебе не могу сказать. Потому что слов никак не найти. Помнишь, в школе нас учили, что надо, мол, прожить жизнь так, чтобы не было, как там? жалко, что ли, напрасно прожитых лет? Мне вот, брат, не жалко, хоть и много времени потрачено зря. Жалею только, что по дурости своей грехов мы наделали, аж душно. Нет, покойники мне не снятся, и страха божьего не чую. Только вот... стыдно, что ли. Можно же было этого не творить. Или нельзя?

Пух молчал, не шевелясь.

— Вот и болтаюсь, как... — Фома не сказал. — Сколько я ни думал, цели все равно не вижу. Деньги? Не цель. Свободы они не дают. Это обман. Покой? Нет его. Никогда не было и не будет. Проще застрелиться. Любовь? Дает свободу на время. Но ее надо быть... достойным, что ли. Хотя бы готовым к ней. Иначе она только мучает... А еще она смертна. Или нет?

— Не знаю. Я сам все время об этом думаю. Но боюсь, что нет. Она будет мучить до конца.

— Тогда пойдем, выпьем?

— Пойдем.

Горе докурил уже вторую сигарету и пошел за ними.

Когда кончился самогон, Алексей повел их в гостиницу. Это была затхлая

двухкомнатная квартира в щитовом бараке, в поселке за крепостной стеной. По дороге купили бутылку водки и какой-то закуски. Шоколадку. Бросили сумки в комнате и сели втроем за столом на кухне. Алексей отправился к себе и, уходя, незаметным жестом позвал Пуха. Тот вышел закрыть за ним дверь.

— Михаил, не мучайте вы его! — тихо попросил Алексей в дверях. — И так он весь на нервах. Пусть отдышится, подумает, решит для себя, что ему надо, чего он хочет.

— Леха, а ты для себя уже решил, чего хочешь? — спросил Пух, чувствуя, как пахнет перегаром и яростью.

Алексей махнул рукой и ушел. Пух, зло скалясь, вернулся в кухню. Горе заваривал чай. Фома курил сигарету. Пух нашел в посудной сушилке набор стандартных стопок и открыл водку.

— У одного спецназовца, я слышал, в госпитале врачи обнаружили восемь пулевых ранений в голову, — сказал Пух с серьезным лицом, — но успокоили, что жить будет — мозг не задет. Он был размером с грецкий орех, прятался под языком.

— Видел опыт, как яйцо проваливается в бутылку? — задумчиво отозвался Фома. — Что-то там нагревают, вакуум, разность давлений, и все такое... Чудо, короче. Так вот, я слышал об одном спецназовце, который мог двумя пальцами это яйцо обратно достать из бутылки. Когда закуски не хватало. Ничего не нагревая! А потом бутылку об голову разбивал, за спецназ.

— Я, когда сидел, иногда думал — лучше бы всю жизнь в монастыре провел, чем три года в тюрьме, — смеясь, сказал Горе, но глаза его оставались серьезными. — А сейчас вижу, не так все просто. Что там тебе Леха предъявил?

— Просил не мучить нервнобольного спецназовца Булкина¹, — Пух кивнул на Фому. Тот ласково улыбался. Они выпили, глотнули чаю и разломали шоколадку.

— Ты в храм на службу ходишь? — спросил Горе.

— Хожу, пару раз даже на всенощной был.

— Ну и?

— Стою, слушаю. Но всю ночь простоять не могу. Монахи говорят — сядь, отдохни. Лучше, говорят, сидя думать о Боге, чем стоя — о своих ногах. А я и сидя думаю о чем попало, только не о Боге. Смотрю на монахов, на послушников, и хочется мне знать, о чем они думают, когда молятся! Что представляют? Дедушку с бородой и внимательными глазами? Или женщину с младенцем? Или в транс впадают? А что? Поют красиво, громко, ладан курят, свечи жгут. А я после контузии запахов почти не чувствую, глаза болят, когда мало света, и музыкального слуха у меня с детства нет. Должен же быть какой-то образ! Символ! Или чувство, эмоция... А у меня нет ничего. Леха говорит, тому, кто сюда пришел искать, дьявол сначала показывает все плохое, проверяет. Но Леху самого сколько раз хотели постричь, а он сопротивляется. Потому как примешь постриг — все. Назад дороги нет. Свобода кончится, только смирение останется. Или анафема... Но я вижу, некоторым нравится смиряться. Такая радость у них, выше свободы. Говорят, смиришься перед духовным отцом — смиришься и перед небесным.

¹ Спецназовец Булкин — шутивно-насмешливое прозвище солдата или офицера, слишком серьезно ко всему относящегося.

— А может, смириться — значит ходить с миром в душе? — вдруг ляпнул Пух.

— Может, и так. Вот и ходят иноки, земли не касаясь, что-то бормочут себе, как юродивые, в глазах небо отражается. Каждую ночь на службе, в хоре, а на работе их и не видать. Работают другие. Те нормальные, рукастые мужики. Работают так, словно забыться хотят. Будто хотят что-то себе доказать... Выпить даже могут иногда. Но не говорят ничего. Нечего им сказать, как видно. Я спрашивал, они съезжают с базара¹, все не о том вещают. Вроде не врут, но и правды не чувствую. Я же не прошу чуда! Ты только честно скажи мне, в чем вера? Конкретно твоя! Одни слова в ответ...

Фома замолчал. Он был спокоен, только курил вместе с Горем одну за другой. Пух чувствовал, что пьянеет, и уже хотел этого. Ему нужно было снять себя с предохранителя, и, если мелькнет в словах Фомы цель, не испугаться и не промахнуться. За окнами стих ветер, солнце садилось в море, а его красный лучик проникал в кухню между занавесками, как свет брелока-орла в темный подъезд. Казалось, луч движется и нащупывает замочную скважину, но не находит ее и только слепит, мажа по глазам.

— Самое смешное во всей этой комедии то, что он есть, и верить или не верить в него — вопрос не важный, — Фома говорил хмуро и просто, даже устало: — Можешь не знать законов физики, но лампа-то все равно горит. А хочешь убедиться — схватись за оголенные провода. Веры может и не прибавится, зато почувствуешь точно. Вот и у меня так — только страх и уныние, как будто надо каждый день хвататься за эти провода. Другие верят и радуются, а я шарю в темноте руками и дергаюсь, как свинья на веревке.

— Видно, не там шаришь, — пробормотал Пух, стараясь не икнуть. Больше сказать ему было нечего.

Фома продолжал, словно не заметил последней фразы:

— Я даже не знал, что это так трудно — думать по-настоящему... Искать что-то, чего сам не знаешь. Я от этого устаю, через силу думать себя заставляю, потому что иначе вообще все зря. И времени теперь жалко на разную ерунду. А мне говорят — верь, потому что абсурдно.

— Пойду я спать, пацаны, — сказал Горе. Все это время он тихо сидел и внимательно слушал, Пух даже забыл о нем, — тоже устал сегодня. Пару часов покемарю. Надеюсь, ничего важного не пропущу.

Он легонько хлопнул Фому по плечу и ушел в комнату. Они остались вдвоем и очень долго сидели молча. Пух ждал, а Фома думал. Наконец, Пух не выдержал и налил еще по стопке. Когда выпили, Фома поставил свою на стол и сказал:

— Все! Больше водки не хочу. Завтра надо хлеба печь. Леха будет ждать. Пойду спать.

Он встал и поглядел Пуху в глаза. «Что скажешь?» — было написано в них.

— Оставайся, тут кроватей восемь штук. Утром пойдешь, — не найдя более важных слов, предложил Пух.

— Нет, пойду сейчас. Там все зуборыльные принадлежности, тапочки-халатик.

— ...?

Он улыбнулся, глядя на удивленное лицо Пуха:

¹ Уходят от разговора (жарг.).

— Да нет, брат, просто если еще полбутылки, то я с вами завтра уеду. И кровати здесь продавленные, боюсь, не разогнуться утром. А у меня там лавка деревянная, одно плохо — короткая, ноги не вытянуть... Ну, все, я попер. Завтра увидимся.

Они аккуратно пожали друг другу руки, и Пух закрыл за Фомой дверь.

Только сейчас он понял, что не спит уже сорок часов. У него резало глаза, ломило затылок и ныли внутренности. Пух оставил на столе все как есть, погасил свет и лег на неразобранную кровать, на ходу сняв ботинки без помощи рук.

— Не по нему это место, — заговорил Горе из темноты. — Он не монах, и работа эта не по нему. Не останется он здесь. Можешь не париться. Он солдат, а солдату вредно думать. Много времени свободного, вот и гоняет¹. Война кончилась, проблемы навалились. Бандитом он уже теперь не будет, барыгой — тем более. Ему бы нормальную работу какую найти или...

— Или юридическим стать, — сквозь белый шум в ушах сказал Пух.

— Юридическим — это дурачком, что ли?

— Около дела...

— Ерунды не говори! Это все равно, что бичом. Легче тогда уж просто вскрыться².

... — Ты когда-нибудь серьезно об этом думал? Вскрыться...

Горе молчал, а Пух ждал ответа, и сон отшибло.

— Думал, — сказал Горе, — когда освободился в прошлый раз. Че-то некуда было идти, никто не ждал. В зоне вроде думаешь, ну, бля, только бы до воли добраться, а на воле и не знаешь, что с ней делать. Бабуля умерла, маманя тоже. Хорошо, братан младший есть. Я подумал-подумал, кому лучше сделаю, если... Решил пока погодить. Лег вот как сейчас и не двигался до утра. А утром все по-другому будет. Давай спать, а?

Утром Фома пек хлеба, а Пух с Горем бродили по острову. Все так же дул ветер, капал дождик, ненадолго выглядывало солнце. Они молча прошли по поселку, оглядели монастырь, но в храм так и не заглянули. Даже разговора об этом у них не заходило. Либо дьявол не пустил, либо бог. Одно из двух. Но они и не жалели об этом. На обед сварили магазинных пельменей, пришел из пекарни Фома и пообедал с ними. Водки не хотелось. Потом появился Алексей. Он закрыл квартиру-гостиницу, Пух и Горе взяли сумки, и все вместе пошли на причал.

На причале они встали, уперлись локтями в ограду мола и стали глядеть в море. Болтали ни о чем и курили. Пуху было прохладно в легкой куртке, и Фома предложил ему погреться в своей, теплой, военного покроя.

— Откуда такая вещь? — улыбаясь, спросил Пух, — с воли еще?

— Нет, брат. С воли почти ничего не осталось. Это монастырский подгон. Американская морская пехота собрала посылку для своей протестантской миссии в Москве, а наше подворье как-то у них ее отмело. Не знаю как, но куртка мне досталась.

— Вещь! — подтвердил Пух.

— Помнишь, я тебе говорил вчера, самое смешное, что он есть? — Фома не улыбался уже.

¹ Гонять — сильно переживать (жарг.).

² Вскрыться — предпринять попытку суицида (жарг.).

Пух кивнул.

— А самое стремное — это пристроиться здесь. К нему или к церкви его. Вот так. Как я.

Помолчали. Алексей что-то говорил, но Пух не запомнил. Наконец Фома слегка приобнял Горе, потом Пуха и сказал:

— Все, поезжайте. Я побуду еще здесь. Может, до Пасхи, может, до Рождества. Не звони мне пока, дай подумать...

— Ну, а когда позвонить-то? — спросил Пух через паузу.

— Когда... — Фома словно считал в уме. Пух напряженно ждал.

— Ну, лет через десять, — сказал он, серьезно сдвинув брови, но в глазах плясали черти.

Пух с Горем не выдержали и захохотали во весь голос. Люди на причале с испугом оборачивались на них. Фома смеялся с ними.

— Все, пока! Умирать к вам приползу! — он махнул рукой, и они с Алексеем пошли с причала, сунув руки в карманы и не оборачиваясь. Горе с Пухом проводили их взглядами и отправились на корму.

На обратном пути качало еще сильнее. Ветер и солнце никак не могли разорвать серую паклю облаков. Короткие куски радуги вспыхивали над островами то тут, то там. И сразу гасли.

— Привет! Никак, протрезвел?

— Ага. Здорово!

— Брелок-то нашел?

— Не-а...

— Как же в темном подъезде ходишь?

— На ощупь.

— А что друзья?

— Фоме присудили четыреста часов исправработ на территории монастыря. Теперь у него великий пост. Бог миловал. Горе пропился, развелся, возит брата по клиникам, не сдается...

— Ну, а ты?

— Работу поменял, учусь теперь у плотника. Лед растает, поедем церковь ремонтировать. Заодно и денег подзаработаем, мастер у меня толковый. А ты как сам?

— Как сала килограмм...

Юрий Осипов

Неделя в Эйлате

Рассказ

Рейс не отправляли.

Над Домодедово уже сгущались вязкие декабрьские сумерки, прятавшие раскисшую снежную грязь. Уже до чертиков успели надоесть гламурные фри-шопы зоны вылета. Уже хотелось со злости до половины выхлебать купленную в дорогу пластмассовую фляжку «Белой лошади». Уже схлынуло приятное предотлетное возбуждение, сменившись сонливой усталостью. Стоило вставать спозаранку, тащиться с женой по воскресным пробкам два с лишним часа до аэропорта, пройти, как положено, за два часа до вылета регистрацию, радостно устремиться в жиденьком потоке пассажиров к объявленному выходу на посадку, чтобы спустя полчаса увидеть на табло сообщение о задержке рейса на два часа...

«На черта было загонять людей в закутку, если вылет отложен!» — послышался за спиной раздраженный мужской голос. Обернувшись, я увидел в ряду кресел полнокровного еврейского крепыша лет шестидесяти в детской вязаной шапочке с козырьком. «А вы планировали с ветерком в Израиль из Москвы улететь?» — саркастически откликнулся скуластый седобровый господин той же национальности. «Славик, не надо, прошу тебя!» — шепотом одернула его жена. «Еврейская дорога, еврейская дорога помотает много...» — фальцетом пропел неожиданно пожилой крепыш в шерстяном козырьке. «Исполняю песни и стихи собственного сочинения», — добавил он с какой-то полубезумной интонацией. Заинтересованный, я подсел к нему. «Сколько вам лет?» «Семьдесят семь» — с готовностью ответил он и, видя мое изумление, доверительно пояснил: «И работаю еще, и семью содержу, я электротехник, специалист по котлам, за мной в очередь выстраиваются... Хотите, свои стихи вам прочитаю? Вы кто по профессии?» Не успел я отбаяриться, как на меня потекли вирши. Вокруг заулыбались. Я бежал в туалет.

Когда я вышел, большинство пассажиров моего рейса разбрелось кто куда. Мафусаил-теплотехник остался сидеть, не сводя глаз с пустой стойки выхода на посадку, баюкая на коленях пузатый баульчик и меланхолично пожевывая яблоко. Есть хотелось страшно, и я обреченно направился за бутербродом в грабительское кафе. Потом очень захотелось курить и выпить. Первое желание я без всякого удовольствия удовлетворил в загазованной до одури курилке. Со вторым оказалось сложнее. Ничего крепче пива в зоне вылета не подавали, а раскупоривать запечатанную в целлофан фришоповскую бутылку виски я не рискнул, опасаясь, что потом с ней не пустят на борт.

Осипов Юрий Иосифович — литератор, сценарист. Много лет работал в «Литературной газете» и журнале «Огонек». Автор книг исторических литературных портретов «Аллея над озером», «Любовь и скорбь». Публиковал очерки в журналах «Молодая гвардия», «Караван историй», «Смена», «Наше наследие» и др. Живет в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

И вдруг, о чудо! У стены в коридоре притулился киоск с «мерзавчиками» всех сортов. Я купил маленький вискарик и стал искать, где бы его развести в стаканчике с минералкой вместо содовой (ну, люблю я так). На ходу вижу проем стоячего бистро и двоих симпатичных мужиков, склонившихся над круглой столешницей. А перед ними полбутылки дорогого коньяка, куски пиццы на картонной тарелке, минеральная в приличном количестве и наполненные картонные же стаканчики. Скучающая буфетчица на них ноль внимания.

Осторожно приближаюсь и спрашиваю:

— Что, разрешают выпить?

— Вроде да, — отзывается один, помоложе, с чуть уловимым кавказским акцентом. — Давай, присоединяйся.

— Спасибо. У меня свое. Я рядом за компанию.

— Успеешь свое, — подвигая мне чистый стаканчик и заноса над ним бутылку коньяка, вступил в разговор второй, постарше. Выпили, познакомились, обсудили с тем, что помоложе, оказавшимся ассимилированным грузином из Мытищ, перспективы российско-грузинских отношений после предполагаемого ухода Саакашвили, а также проблему Южной Осетии и Абхазии. В голове приятно шумело и грело сознание, что удалось незаметно скоротать время.

У все еще пустой стойки вылета я застал дисциплинированную очередь пассажиров нашего злосчастного рейса. И саркастичного Славика с пугливой женой, и чокнутого рифмоплета, так и не встававшего с кресел. Часы над стойкой показывали четверть седьмого. На электронном табло по-прежнему светилась надпись: «Рейс 301 Эйлат задержка до 18.30». «И что дальше?» — обращаюсь неизвестно к кому, не растратив пока легкого алкогольного кайфа. «Дальше — тишина», — отзывается угрюмо пожилой Славик. «Ну и зачем стоять, раз посадку не объявляют?» — не унимаюсь я. В очереди согласно кивают, но никто ее не покидает. Бывалые люди, что и говорить, к тому же еврейских лиц много. А значит, привыкли к покорному ожиданию, лучше в очереди. И тут на табло выскакивает новая надпись: «Рейс 301 Эйлат задержка до 19.30».

Очередь обреченно загудела, но осталась стоять. Надежда успеть захватить по приезде драгоценные полдня у моря растаяла, как дым. «Семь ночей, восемь дней и наоборот, вот и весь твой разворот», — плясал в голове неотвязный напевчик. Неверной походкой я отправился коротать оставшийся час в псевдоирландский паб. В дальней зоне у окна там можно было курить, а я еще надеялся под прикрытием газеты выпить за чашкой кофе непочатый «мерзавчик».

Через столик от меня лениво потягивала пиво занятая пара. Ему лет тридцать. Высокий, плечистый, кареглазый, с ежиком русых волос. Ей явно за сорок. Худенькая, миниатюрная брюнетка, модно прибранная, с породистым, слегка увядшим лицом под игривой темной челкой. Он не сводил с нее влюбленных глаз, что-то нашептывал и нежно поглаживал двумя согнутыми пальцами открытый участок ее шеи. Наши взгляды встретились, и я из вежливости осведомился:

— Тоже задержали вылет?

— Нет, мы просто раньше приехали, — приятно улыбнувшись, сказала она, поигрывая платиновым обручальным кольцом на тонком пальце. И добавила с обезоруживающей откровенностью: — У нас свадебное путешествие.

Я постарался скрыть удивление:

— Поздравляю. И куда летите?

— На Гоа, — дружелюбным баритоном ответил за нее молодой супруг.

— Мы там в прошлом году полтора месяца сериал снимали, — оживился я. — Рай земной, но грязновато. Особенно в северной части. Отель хороший?

— Нам друзья арендовали на месяц студию, — продолжал отвечать симпатич-

ный муж. — Двухкомнатные апартаменты с кухней. Возьмем скутер и будем шариться по побережью...

— Здорово! — с завистью вздохнул я, на миг вообразив себе подобный отдых. — А я вот на недельку в Эйлат пятый час рейса дожидаясь.

— И не боитесь под палестинскую ракету угодить? — участливо спросила счастливая новобрачная. — Там же со дня на день вторжение в сектор Газа может начаться, а в ответ — шахида...

— Да нет, — перебил ее супруг, — в Эйлате всегда спокойно. Это далеко, на Юге и военные кордоны такие, что мышь не проскочит. — Помнишь, когда в Ашкелоне и Хайфе несколько терактов произошло, нас как ни в чем не бывало на экскурсию в Иерусалим повезли?

— А я все равно боялась, — тряхнула челкой женщина. — И спала плохо.

— Как же, плохо, — засмеялся мужчина, ласково прихватив жену за плечи. — На завтрак добудиться не мог...

— Это другое, — накрыв его ладонь маленькой рукой в крупных кольцах тихо сказала женщина.

— Значит, вы отдыхали в Эйлате? — уточнил я, прерывая их интимные воспоминания.

— Мы там познакомились, — подняв на меня лучистые глаза, сказала женщина. — И улетели вместе. — Она перевела испытующий взгляд на мужа. — Сергей раньше срока, даже трех дней не пробыл.

— Боялся тебя потерять, — забирая ручку жены в свою лапищу, снова засмеялся мужчина.

Тут, наконец, объявили долгожданную посадку на мой рейс и, навсегда простившись с этой трогательной парой, я, чувствуя в душе легкую грусть и умиление, поспешил к стойке выхода.

— Лехаим! — приветствовал меня, как старого знакомого и соплеменника, чудак-теплотехник. — Слышали новость? Израиль подписал-таки с ХАМАС перемирие. Вступает в силу сегодня в полночь.

— Ну слава богу! Успели, — с облегчением отозвался я.

«Слава богу! Слава богу!» — зашелестели за спиной женские голоса, и воспрянувшая духом очередь бодро потянулась мимо приветливой стюардессы к открывшимся дверям на летное поле, где ждал автобус.

★ ★ ★

Просыпаясь, он видел над рядами кресел ползущий на экране анимационный самолетик, медленно тащивший за собой по фрагменту рельефной карты пунктир маршрута. Вот уже остался позади Харьков. Потом — Крым. С достоинством проплыла сбоку Турция. Самолетик стал пересекать Средиземное море. И постепенно экран начал заполнять желтый клин Синайского полуострова с прильнувшей к нему узкой ленточкой Израиля. Самолетик упорно приближался к его южной оконечности, где прямо напротив египетского Шарм-эль-Шейха, у вдающегося в континент залива Красного моря появилось название: Эйлат.

Непроницаемая тропическая ночь, усеянная низкими звездами, приняла в свои нежаркие объятия небольшую группу пассажиров московского чартера. Вышколенные русскоязычные турагенты быстро рассортировали утомленных людей в зимней одежде по комфортабельным автобусам, выстроившимся перед неприметным зданием аэровокзала. В этот поздний час других рейсов не было, и только двое патрульных солдат с автоматами скучающими взглядами провожали нестройную вереницу российских туристов, тащивших через площадь к автобусам громоздкие сумки и чемоданы.

Заняв место в салоне, он вышел покурить. Неожиданно перед ним возник из

темноты худощавый господин средних лет в куртке с меховым воротником и тяжелых ботинках. Господин тоже закурил и, быстро оглядев его кроссовки, вельветовые штаны и джинсовую рубашку, небрежно спросил:

— Уже успели переодеться?

— Да нет, я так летел, только ветровку снял. Меня жена на машине провожала.

— Ага, — удовлетворенно кивнул утепленный господин и поправил на переносице большие очки в роговой оправе. — Предусмотрительно.

— А вы чего куртку не снимете? Запарились, наверное? — из вежливости спросил он.

Оставив его вопрос без внимания, господин неопределенно махнул рукой и вдруг извлек из внутреннего кармана куртки початую бутылку марочного коньяка. Отхлебнул и молча протянул ему бутылку. Он решил не отказываться, хотя пить давно не хотелось.

— За знакомство! — он сделал глоток и вернул бутылку. Господин снова приложился к ней и протянул ему руку.

— Анатолий. Геологоразведчик.

— Георгий. Киношник, — в тон новому знакомому сказал он.

— Из Москвы?

— Из Москвы.

— А я из Питера. В каком отеле?

— «Йам суф».

— Да вы что! — возбужденно воскликнул господин. — Это же сексотель...

Георгий изумленно уставился на него:

— Бросьте, обычный четырехзвездочный отель, причем даже не в центре, а дальше на побережье, у кораллового рифа, — попытался он урезонить фантазера. — Я специально выбирал, чтобы поплавать с маской. Оттуда до города полчаса на автобусе.

— Вот, вот, тот самый, — упорствовал набравшийся геологоразведчик. — Мне еще в прошлый раз про него рассказывали. Я сейчас хотел туда попасть, но опоздал с бронированием. А вам повезло. Там в первый вечер все заехавшие собираются внизу в холле и выбирают себе партнеров и партнерш на ночь. Потом — других. Сексотель. Официальный. Я вам точно говорю.

— Кого выбирать?! — постарался перевести фантастический разговор в шутку Георгий. — Одни провинциальные тетки да пожилые супружеские пары. Сами посмотрите.

Упрямый попутчик поднял мутные глаза на заполнявшийся автобус и вновь приложился к бутылке. — Контингент, конечно, не ахти, — неохотно признал он. — Но мало ли кто может подвернуться... Главное, что сексотель. Давайте телефонами обменяемся на всякий пожарный. Я к вам, если что, подскочу или у меня на набережной потусуемся.

— Давайте, — обреченно согласился Георгий и продиктовал номер своего мобильного. Через минуту автобус тронулся.

Едва скрылся из виду международный эйлатский аэропорт размером со средний супермаркет, к петляющему шоссе с двух сторон подступили в свете фар каменистые холмы библейской пустыни. Мерное покачивание автобуса убаюкивало, и когда Георгий открыл глаза, последние соотечественники высаживались у очередного высотного отеля в пафосной подсветке. «Йам суф?» — утвердительно осведомился у единственного пассажира в салоне массивный водитель. «Йам суф» — подтвердил Георгий, и автобус покатило прочь из города.

Далеко позади осталась россыпь переливающихся городских огней. Пустыня отступила за ряды глухих бетонных заборов и хозяйственных строений. Слева уже чувствовалось море, отделенное от шоссе портовыми доками и складами со сторо-

жевыми вышками вдоль ограды с колючей проволокой. Цепочка редких фонарей терялась во тьме. «Где же этот чертов "сексотель"? — раздраженно подумал Георгий. — Да тут вечерами-то и деться некуда... Ну и хорошо, сам хотел такой отдых. До трех — плавать и загорать, потом — сэндвич и кофе в прохладе пляжного бара, после — душ в номере, с часик покомарить и — ужинать в город. А перед сном — ритуальный стаканчик виски на лоджии. (Лоджия в номере мне обещана.) Читать, размышлять, посматривать израильские телеканалы для наглядного представления о жизни "исторической родины", куда впервые выбрался под старость. Ложиться в 12, на завтрак — к 8. В 9 как штык — на пляже. Нормальная программа, тем более два дня из семи уйдут на запланированные экскурсии в Вифлеем и Иерусалим...»

— «Йам суф» — прервали ход его мыслей голос водителя и шипение открывающейся автобусной двери. Георгий увидел в окне ажурные ворота с будкой охранника и забирающую вверх вдоль боковой стены отеля подъездную дорожку в пальмах.

— А где вход? — с подозрением спросил он по-английски. Водитель сделал нетерпеливый жест рукой в сторону ворот.

— Близко?

— Десять метров, — неожиданно по-русски ответил водитель, открывая из кабины багажное отделение. Георгий в сомнении, но не рискуя возражать, покинул салон, вытащил с опустевшей полки свою сумку и чемодан на колесиках, и автобус тут же умчался.

«Десять метров» в горку оказались почти всеми ста, и Георгий, кляня собственную деликатность и жуликоватость соплеменников, не без труда прогромыхал набитым чемоданом по неровным каменным плитам до входа в отель. За вращающимися дверьми его встретили ночная тишина слабо освещенного холла и меланхоличный юный портье в бархатной ермолке и жилетке на тощих плечах.

— Шалом! — приветствовал его Георгий, подходя к стойке регистрации и кладя перед ним паспорт и ваучер.

— Шалом! — вежливо, но без улыбки отозвался портье и, быстро просмотрев документы, забегал пальцами по клавиатуре компьютера.

— Простите, на вас нет брони, — малопонятным английским сказал он.

Сдерживая накапливающее бешенство, Георгий медленно произнес сквозь зубы:

— У вас мой ваучер с названием отеля. Я его выбрал заранее и пять дней ждал подтверждения от туроператора. Вот номер телефона и имя местного турагента, который отвечает за мое размещение в отеле. Звоните и выясняйте, а я выйду на пять минут покурить и когда вернусь, хочу немедленно занять свой номер. — Произнеся эту гневную тираду, Георгий с достоинством удалился, а возвратившись, получил у портье электронный ключ от номера и предупреждение, что его пока селят на одну ночь до утреннего разбирательства с бронированием.

Георгий ответил, что для него лично вопрос о размещении в отеле решен и что до конца срока он больше никуда отсюда не двинется. Невозмутимый юнец в ермолке вежливо пожелал ему: «Гуд найт!»

У себя в номере Георгий торопливо разобрал вещи, переоделся в майку и купальные шорты, сунул ноги в слипы, накинул на шею махровое полотенце из ванной и устремился на пляж. Следуя указанному охранником направлению, он пересек пустынное шоссе с автобусной остановкой и на ощупь пробрался по деревянному настилу между стойками тентов и лежаками к шуршащей о прибрежную гальку черной воде. Скинув шорты и оступаясь на мокрых камнях, погрузился в теплую волну, она мягко качнула его вперед-назад, он сделал первые несколько гребков и почувствовал, как исчезает все — жуткое утомление этого дня, сонливость, нетерпение, нервозность, — и приходят на смену блаженный покой и радость, заполняющие каждую клеточку тела. Георгий медленно поплыл кролем вперед, надеясь не потерять в

темноте обратный курс, но тут что-то вроде медузы остро кольнуло ему грудь, и он повернул назад.

На берегу Георгий вновь подивился низкому звездному пологу чужого неба и разглядел далеко в море очерченные гирляндами лампочек силуэты двух сухогрузов.

Поднявшись к себе, он послал жене эсэмэску о благополучном прибытии, смыл под душем морскую соль, сразу стянувшую кожу, поставил будильник мобильного телефона на 5 утра (переводить время на мобильнике он так и не научился) и мгновенно заснул.

* * *

Первый день в Эйлате не разошелся с ожиданиями. Обильный кисломолочный, яичный, овощной и фруктовый шведский стол на завтрак, с десятком сортов чая, кофе, соков и выпечки. Безупречное обслуживание, но без турецко-египетской угодливости. Удобный пляж. Комфортные, без влажности, из-за соседства с горами и пустыней, 29 градусов в тени и спокойное теплое море, где большие разноцветные рыбы плавают прямо у берега, и ты видишь их, даже не погружая голову в воду. Несмотря на три часа сна, километровый заплыв дался ему легко, и испытанное ночью ощущение душевного подъема и мышечной радости сохранялось. Он поспешил поделиться этим с женой и со смешанным чувством прочел на продуваемой легким бризом веранде прибрежного кафе ее ответ: «Рады за тебя. Утопаем в снегу. Привет евреям».

С евреями предстояло разобраться.

Как всякий российский еврей, Георгий ехал в Израиль с тайным желанием примерить на худой конец «землю обетованную». Человек русской культуры, воспитания и бытовых привычек, проживший свою московскую жизнь в окружении русских друзей и женщин, женатый первым недолгим и вторым 30-летним счастливым браком на типичных представительницах этого великого народа, крестившийся в зрелом возрасте по внутреннему убеждению и стечению обстоятельств, — он никогда не мыслил своего существования вне России и был ей тоскливо предан. А теперь, на пороге старости, он прекрасно сознавал, что может рассчитывать только на дополнительную пенсию в каком-нибудь захолустном уголке маленькой, гордой страны. И все же, и все же его исподволь тянуло разузнать, как в случае чего сложится в Израиле их жизнь с женой, без которой он свой гипотетический отъезд не мыслил, и которая категорически отказывалась обсуждать с ним подобный вариант.

Итак, с евреями предстояло разобраться.

Первые наблюдения в отеле и его окрестностях оставили у Георгия чувство некоторого неудовлетворения. Местная публика, так сказать, контингент, была похожа на любую другую европейскую курортную публику — неторопливая, вальяжная, в основном, пожилая. Израильяне отдыхали здесь преимущественно семьями или супружескими парами. На пляже вели себя активно — погружались группами с аквалангами в резиновых водолазных костюмах и, лежа неглубоко на дне, осваивали под руководством инструктора технику дайвинга. Они ничем не напоминали наших евреев и вообще евреев в традиционном российском представлении. Крепкие, хорошо одетые, уверенные в себе, суховатые и ироничные. Никто не кричал, не жестикулировал (о чем его почему-то предупреждали московские знакомые, отдыхавшие в Эйлате). Их маленькие дети тоже держались вполне благопристойно. Внешне мужчины выглядели симпатичнее и как бы поживее женщин. Это относилось и к персоналу отеля, если не считать бесшумно сновавшей по коридорам и между ресторанными столиками чернокожей прислуги из глубин Африки. Менеджеры израильяне обращались с этими людьми снисходительно-корректно.

С гостями в ход, случалось, шел юмор. Арендовав на второй день в дайвинг-центре отеля ласты и маску, Георгий заплатил и, как там было положено, оставил в

залог паспорт. Когда под вечер он возвращал взятое снаряжение, его принимал уже другой сотрудник — молодой, белозубый с хитрыми глазами. Небрежно проверив ласты и маску, он сунул их под прилавок, распечатал залоговый конверт с паспортом, открыл первую страницу и вопросительно прочел вслух: «Георгий?» «Он самый», — подтвердил Георгий, протягивая руку за паспортом. Однако кладовщик не спешил возвращать ему документ. «А деньги?» — вкрадчиво осведомился он. «Я же утром заплатил!» — не чувствуя подвоха, воскликнул Георгий. «А за паспорт?» — продолжал разыгрывать его веселый кладовщик. И насладившись реакцией онемевшего Георгия, милостиво пояснил: «Моя шутка».

Так вот, с местными представительницами прекрасного пола в Эйлате Георгию было как-то не до шуток. От них веяло холодком и плохо скрываемым раздражением при всяком излишнем (на их взгляд) вопросе. Заказав на веранде у приветливой с виду молодой официантки эспresso, Георгий услышал от нее: «Большой или маленький?». «Средний, обычный» — вежливо уточнил он. «Объясните бармену», — нетерпеливо махнула рукой официантка в сторону барной стойки, не желая, видимо, вникать дальше в суть заказа.

Подобная реакция повторялась еще не раз. Эта нетерпеливость, замешанная на чувстве собственного превосходства, живо напомнила ему характеры матери и тетки, вообще не терпевших возражений и сумевших отвлечь его в личной жизни от еврейских пассий.

И вот теперь он критически оценивал окружающих израильтянок и приходил к выводу, что здесь, как и дома, данный тип женщин его не привлекает. Встречавшиеся в городе и на пляже молодые и зрелые иностранные туристки Георгия почему-то тоже не волновали. А россиянки в его вкусе как-то не попадались. «Старею, — думал Георгий и вспоминал романтических новобранцев в домодедовском баре, которые здесь-то и нашли друг друга. — Кто ищет, тот всегда найдет. А мне уже искать поздно. Да и незачем...»

Эти двое появились на пляже его отеля утром третьего дня.

Георгий быстро завел на пляже привычку беседовать между заплывами, стоя по колено в воде, с симпатичным пожилым ветеринаром из Ростова-на-Дону. Кроме библейского имени Самуил ничто не выдавало в нем еврея. Твердое лицо, прямой нос, командирская щеточка седых усов. Беседовать на разные темы с культурным, начитанным человеком было, безусловно, занятней, нежели принимать загар на лежаке с книгой в руках. Да и загорать, как известно, лучше всего стоя.

Высокий вальяжный мужчина лет 50-ти с небольшим в закрученной вокруг головы на манер тюрбана майке прилепал по воде на третий день и сразу вызвал расположение Георгия. Нового знакомого звали Марк. Он говорил с явными московскими интонациями и акцентом, сыпал по всякому поводу смешными анекдотами и своей шкиперской бородкой напоминал Георгию постаревшего приятеля-протезиста из соседнего подъезда дома на Каретном поро их лихой молодости.

Разговаривал Марк словно нехотя, но высказывался точно, со знанием дела, заходила ли у них речь о последнем израильском военном столкновении с ХАМАС, туристических маршрутах, подводной обсерватории поблизости или здешних ценах на шмотки и спиртное. Спустя какое-то время к ним присоединилась пикантная дама средних лет с волнующими формами, в широкополой соломенной шляпе, которая ей очень шла, и модных солнечных очках. Приветливо поздоровавшись с Георгием и Самуилом, она нежным прикосновением привлекла внимание Марка и заботливо сказала: «Ты уже слишком долго на солнце, давай искупаемся и — под тент. Он недавно после операции», — пояснила она им извиняющимся тоном. Тут только Георгий заметил на шее у Марка под коричневым загаром грубые белесые рубцы. «Вика», — снисходительно представил тот свою подругу, и, взявшись за руки, они пошли в море, не снимая тюрбана, шляпы и солнечных очков. Степенно окунулись

пару раз по плечи; Марк остался стоять в воде, а Вика свободно поплыла вдоль берега. Она была похожа на фантастических героинь фильмов Феллини, и Георгий поймал себя на мысли, что это первая понравившаяся ему в Эйлате женщина. Однако когда на лежаке под тентом Вика сняла гламурные солнечные очки и шляпу, магия образа несколько рассеялась. Теперь она выглядела просто ладной миловидной еврейкой без возраста, но все равно продолжала ему нравиться.

Сплавав за буи, Георгий подсел к ним, и они втроем как-то незаметно проболтали до обеденной сиесты. Выяснилось, что оба уже почти 20 лет как эмигрировали в Израиль. Марк — из Москвы, где, по его словам, успешно заведовал аптечным складом Академии наук, а Вика — из Кемерово, на пике карьеры школьного психолога. Причем оба встретились лишь пару лет назад, осев в средиземноморском городке Акка, той самой Акке, чью последнюю крепость в Египетском походе Наполеон так и не сумел взять штурмом, и всю жизнь потом считал эту неудачу роковой. Вика успела к моменту их судьбоносной встречи похоронить второго, уже израильского мужа, Марк же преспокойно оставался мужем и отцом двух взрослых детей. Насколько Георгий сумел понять, тактично не уточняя подробностей, бурная любовная связь этих двоих была совершенно открытой и не вызывала возражений супруги Марка, которая радовалась, что за ним теперь есть заботливый уход. Если импозантный Марк со своими жутковатыми рубцами на шее и глазами заядлого преферансиста и поддавал выглядел в общем-то моложе своих 56-ти, то откровенное, без утайки признание Вики, что она старше возлюбленного на 2 года, повергло Георгия в шок. «Черт! — подумал он. — Как им удастся так сохраняться здесь после стольких мытарств да еще сохранять свежесть чувств?.. Климат, наверное, экология, море — купаются почти круглый год. Плюс фрукты с овощами от пуза, еда полезная. А привычные теракты палестинцев и угрозы исламистов аппетит не портят».

— В Россию приезжаете? — спросил Георгий. Марк и Вика переглянулись.

— Нет, — отрезал Марк.

— А что так?

Марк выдержал паузу и потянулся за сигаретами.

— Зачем? — нарочито небрежно проронил он, затягиваясь. — Родных и близких у меня практически не осталось, друзья порастерялись. Ностальгия не мучает. Хватает воспоминаний...

— Я пару раз за эти годы в Кемерово летала и в Москве у родственников гостила, — сказала Вика. — Тяжелое впечатление осталось, больше не тянуло. Хочу вот, чтобы дочь съездила, посмотрела. Но она не рвется...

— Значит, концы отрезаны? — подытожил Георгий.

— Выходит, так, — кивнул Марк.

— Ну почему? — возразила Вика. — Приятели и знакомые сюда часто навещают, общаемся.

— Курортные встречи не в счет, — сухо бросил Марк. — А других больше нет, и у тебя тоже, — повернулся он к Вике. — Не надо себя обманывать. — Вика промолчала.

— Я бы так не смог, — сказал Георгий.

— Не говори «гоп», пока не утоп, — в своей манере ответил Марк. И они втроем с облегчением хохотнули.

Расходясь с пляжа, попрощались с Самуилом, улетающим домой на следующий день, и условились встретиться здесь же послезавтра. В пять утра Георгий отправлялся до ночи в удачно подвернувшуюся комбинированную однодневную экскурсию по святым местам. С сухим пайком на завтрак во время остановки на Мертвом море и обедом в Вифлееме перед завершающим броском в Иерусалим.

* * *

Утомительная в целом поездка его не разочаровала, хотя не все из увиденного глубоко впечатлило. По пути к месту крещения Христа в иорданской купели мимо проплыли горные развалины легендарной Массады, которую почти год осаждал тот самый злосчастный легион Фульмината (Молниеносный), что упоминается в «Мастере и Маргарите». Следы последней героической схватки горстки одержимых Макавеев с Римом не пробудили в Георгии исторического воображения. Гораздо сильнее занимал его практически непрерывный рассказ русского экскурсовода Володи. Не пропустил эрудит-экскурсовод и каменное подобие на скалистом склоне горы двух женских фигур, считающихся женой Лота и ее дочерью. Это причудливое творение ветра, песка и веков вызвало явное оживление разношерстной компании полусонных россиян, прильнувших к окнам автобуса с камерами мобильных телефонов.

Никто из них, разумеется, не упустил возможности, поджав ноги, повисев поплавающим в невероятно плотной, живительной воде Мертвого моря, стараясь не перевернуться кормой вверх, чтобы не обжечь глаза высокой концентрацией морских солей и магнезии, от чего предостерегал в автобусе Володя. Георгию это удалось без труда, и он успел запастись в магазине у пляжа набором целебной косметики для жены и племянницы, пока пышущие здоровьем и энтузиазмом провинциальные тетki старались подольше продлить волшебные водные процедуры.

Столь же рьяно они совершали обряд причащения в совсем обмелевших водах Иордана. Некоторые особо истовые, приобретя в сувенирной лавке белые канонические рубахи до пят, переоблачались в женской раздевалке и трое-кратно погружались в быстрое течение зеленоватой воды с головой, не забывая креститься и шептать слова «Отче наш».

Георгию все это показалось фарсом, и он ограничился тем, что закатав до колен штаны, на минуту спустился с мысленной молитвой по скользким каменным ступеням в священную реку, ниспадающую (так переводится с древнееврейского ее название) по глубочайшей на планете естественной впадине к Мертвому морю. На другом, уже иорданском берегу, до которого было рукой подать, одиноко белела православная часовня. Ветерок едва шевелил густую листву прибрежных деревьев. Под нависшими над водой узловатыми ветвями ивы шустила полуручная выдра, и двое улыбающихся израильских пограничников — парень и девушка — охотно фотографировались со всеми желающими. На подходе была уже следующая группа туристов, и Володя торопил своих в автобус.

Пока все собирались, Георгий разговорился с гидом и узнал, что тот — отставной майор-десантник, прошедший Афган и Чечню. В Израиль его вывезла десять лет назад еврейская жена. Особенного страха перед расставанием с родиной воцерковленный вояка из-под Смоленска не испытывал, намыкавшись после армии с молодой женой и ребенком по съемным квартирам и перебиваясь случайными заработками. Свое израильское будущее он перед отъездом представлял себе смутно, однако на месте по-военному быстро освоился, за год сносно выучил иврит, окончил курсы экскурсоводов, увлекся историей страны и получил хорошее предложение пройти стажировку в Эйлате, куда вскоре перевез семью. Парадоксально, но жена его так и не вписалась в здешнюю жизнь и сидела на пособии, ограничив круг общения российскими подругами, среди которых было немало русских. Сын заканчивал школу и готовился к службе в армии. По приезде в Израиль Володя пробовал заинтересовать своими специфическими навыками и опытом министерство обороны, но получил вежливый отказ. Очевидно, его посчитали там «засланным казачком». «Оно и к лучшему», — подытожил он свою нехитрую историю, давая знак водителю отправляться.

Уже на обратном пути, когда тянувшиеся справа безжизненные иорданские горы исчезли в ночи и только прыгающие лучи фар патрульного джипа на миг выхватывали

вали из темноты бетонные столбы ограждения с рядами колючей проволоки, Георгий услышал окончание рассказа Володи о его жизни в Израиле.

— Вот все вроде есть, а настоящей жизни нет, — говорил он, поглядывая на спящих в креслах экскурсантов.

— Как нет? — удивлялся Георгий. — Вы при любимом деле, живете на шикарном курорте, семья устроена. Я бы от такой жизни не отказался...

— Да нет, не хватает чего-то, — качал головой Володя. — Может, уважения, теплоты. Чужие они все равно, по крайней мере, мне. Язык, культура, достопримечательности, памятники, история — тут я в своей тарелке, а с местными не слишком лажу. Да и мы для них, как ни крути, — люди второго сорта, пришлые. Всех наших евреев русскими называют. Россию они в душе недолюбливают и боятся. А уж если ты по национальности русский, к тому же верующий, ходу точно не дадут. Мне вот 46, сил полно, письменных благодарностей куча, но зарплату ни на копейку не прибавляют и повышения никогда не дадут. Так и буду до пенсии туристов наших мудацких возить. У меня ведь за плечами Военная академия, батальоном под огнем командовал, со смертью годами бок о бок ходил... Ну и кому это все нужно? Ни дома, ни здесь. Но дома хоть свои. Друзей бывших все чаще вспоминаю. Урал, Липецк, где служил... Летел сюда, как на крыльях, а теперь... С женой тоже здесь чужими стали. У сына своя жизнь, он от нас отдалился, в последний год даже стесняться начал... Ну и слава богу, лишь бы здоров и счастлив был.

На такой вот невеселой ноте оборвался ночной разговор Георгия с их замечательным русским гидом. Впереди показались огни Эйлата.

Да, туризм не эмиграция, — всплыла в уме услышанная когда-то фраза. — А как же Марк с Викой? Их, похоже, ностальгия не мучает, говорят, что счастливы здесь, хотя тоже, вероятно, натерпелись тут всякого. А что ты про них знаешь? — оборвал он себя. — Рано еще судить, рано. И вообще, Володя с его «загадочной» славянской душой — случай особый. Русский человек, как говорится, сам не знает, чего хочет. А ты знаешь? — задал он себе сакраментальный вопрос. И не нашел ответа.

Засыпая под утро в своем номере, снова увидел вдруг залитый солнцем палестинский городок Вифлеем и кучкующихся на пути к храму Рождества арабов-христиан, наперебой предлагающих разноязыким туристам дешевые крестики и иконки. А потом в прохладном сумраке храма — распластанная вокруг глубокого отверстия в мозаичном полу, в окружении 15 лампад серебряная звезда, символ той, что некогда привела сюда, к яслям с новорожденным младенцем, таинственных волхвов Востока. И чуть поодаль — раскинувшийся на холмах вечный Иерусалим. Громадный золотой шлем мечети Омара, округлые вершины Масличной горы и горы Скопус, увенчанные башнями университета и госпиталя Марии-Виктории, уступы поредевшего Гефсиманского сада и прижатый необъятным восточным базаром к Стене Плача Храм Воскресения. Тяжелый портал, сумрачные своды четырех приделов, поделивших Храм христианских церквей, отблеск свечей на драгоценных окладах будто парящих в воздухе древнейших икон и гирлянда лампад, источающих ладан на продолговатый камень в небольшой пещере, где Мария и Елизавета омывали тело Христа... Храм Рождества и Храм Гроба Господня. Столь символично близко друг от друга, обозначая начало и конец очень короткой жизни одного человека, по сути, не имеющей никакого отношения к нынешней жизни страны, на земле которой она протекла кристальным ручьем и оборвалась крестными муками.

Новые пляжные знакомые встретили Георгия расспросами о поездке, но когда он начал делиться с ними впечатлениями о святых местах, проявили вежливое равнодушие. Все это им было известно и по определенной причине мало занимало. Они отнюдь не были правоверными иудеями, однако Христа считали вероотступником, а христиан — гонителями богоизбранного народа. У Марка подобные взгляды легко уживались с полным цинизмом в отношении любой религии. Вика же искренне не

понимала, как Георгий мог отречься, по ее мнению, от своей нации. Он прервал долгим заплывом бесполезный спор с приятной ему парой, а затем предложил им поужинать вместе в городе. Георгий как само собой разумеющееся полагал, что Марк с Викой живут по соседству в 4-звездочном отеле полупансионом, поскольку они всегда покидали пляж в два часа дня, чтобы не опоздать на обед, который Георгий спокойно заменял ужином в недорогом сетевом заведении с хорошей кухней и уютной атмосферой. Марк и Вика в ответ на его предложение слегка замялись, но потом согласно кивнули.

Георгий первым вышел в условленное время к автобусной остановке и увидел приближающиеся по тротуару со стороны подводной обсерватории две дородные женские фигуры с увесистыми рюкзаками на спине. Он узнал вчерашних спутниц по экскурсионной поездке, кажется, из Волгограда, и сразу вспомнил, как в Иерусалиме они отстали от группы, ажиотажно рванув в лабиринт торговых рядов. Володе пришлось их разыскивать добрых полчаса, прервав рассказ о тех равномерно чередующихся светлых плитах в темной брусчатке мостовой, по которым ступал Иисус, когда его вели этой улицей на Голгофу мимо уцелевшей части колоннады Дворца Ирода Великого. Той самой, куда, пишет Булгаков, «14 числа весеннего месяца нисана вышел пятый прокуратор Иудеи Понтий Пилат».

Там эти неумные дамы тоже сумели отличиться. После того как группа спустилась в тесную кувуклию Благодатного огня, где снимать не разрешается, и оттуда гуськом перебралась к Голгофе, одна из двух дам обратилась к экскурсоводу за разрешением сфотографироваться, а вторая уже приготовила «мыльницу». Володя онемел. «Вы хотите фотографироваться на месте страданий и смерти?» — справившись с собой, спросил он. Обе дамы, оставив его вопрос без внимания, нетерпеливо ждали разрешения. Володя безнадежно махнул рукой.

Видимо, под влиянием этого эпизода гид, завершив экскурсию на площади перед Стеной Плача, предупредил туристов о том, что впереди — главная иудейская святыня, фрагмент стены Второго Храма, разрушенного при взятии восставшего Иерусалима будущим римским императором Титом. Поэтому, подходя к Стене Плача, не надо креститься. Следует просто громко не разговаривать, не смеяться, не оскорблять чувств молящихся у Стены евреев, но, покрыв затылок обязательной простенькой кипой из бесплатной стопки на специальном столике, стать у нижних камней кладки, найти относительно свободную щель и сунуть в нее заранее приготовленную записку с сокровенным желанием. Притихшие дамы вместе с остальными двинулись вперед. Георгий последовал за ними.

— Откуда и куда? — шутливо окликнул он с остановки приближающихся соотечественниц.

— А, это вы, — разглядев его в сумерках, сказала та, что постарше. — В подводной обсерватории были, с дельфинами плавали.

— Пешком туда и обратно?! — изумился Георгий. — Это же шесть километров. Еще по жаре... Неужели после вчерашнего турпохода не устали?

— Мы привычные, — подходя, подала голос вторая. — Ходить нужно больше, ходить. Вам особенно, вон уже и пузо отрастило.

— Я плаваю помногу, правда, без дельфинов, и пузо еще, по-моему, терпимое, — обиженно отозвался Георгий.

— Это, по-вашему, — не упустила возможности поддеть его первая дама. — Куда только жена смотрит? Все вы, мужики, распустились... — И не дав ему ответить, подытожила. — Ладно, мы пошли, нам еще до отеля топать.

— Удачи! — пожелал им в спину Георгий. — Не переутомляйтесь.

— Спасибо. Завтра Петру смотреть едем, — донеслось до него из темноты.

К остановке подошли, наконец, Марк с Викторией.

В облюбованном им ресторанчике с открытой верандой между витринами одной

из самых оживленных городских улиц в стороне от экспланады приморских отелей тихо лилась из динамиков томная французская музыка и неспешно скользили с подносами строгие парни и девушки в фирменных фартуках.

Когда Георгий ужинал здесь в первый раз, за двумя сдвинутыми соседними столиками расположилось большое семейство, глава которого в вышитой бархатной кипе попросил у Георгия зажигалку. Курил не он, а жена, яркая властная брюнетка, одним движением бровей управлявшая разошедшимися детьми. Воспользовавшись поводом, Георгий обратился к 40-летнему жилистому главе семейства с давно мучившим его вопросом: «Что для вас лично означает ношение кипы?» Семейство за столиками притихло и с любопытством уставилось на Георгия. Старшая девочка насмешливо фыркнула, и мать послала ей угрожающий взгляд. «Это просто означает, что я еврей, и ничего больше», — на приличном английском ответил, прищурившись, глава семейства. «А на работе вы кипу носите?» — не отставал от него Георгий. «На работе я ношу бейсболку, — усмехнувшись, ответил он. — Я прораб на стройке». Вопрос был исчерпан, и Георгий, обменявшись с супружеской четой приветственным поднятием бокалов, продолжил ужин.

Как ни странно, в этой располагающей обстановке душевного общения между Георгием и его новыми знакомыми не возникло. Марк брезгливо изучал меню, ограничившись в итоге греческим салатом и бутылкой пива. Вика сидела, глядя на улицу. Она безразлично повторила для себя заказ Марка, попросив только принести ей вместо пива бокал красного вина. Но когда перед ними поставили салаты, долго пыталась о чем-то официанта на иврите, потребовала каких-то добавок и специй и все-таки осталась недовольна. Георгий недоуменно поглядывал на еще недавно такую милую пару, смакуя понравившуюся ему в прошлый раз местную белую рыбу бат, которую здесь подавали целиком, без единой косточки, с гарниром из фаршированных баклажанов и внушительным овощным салатом впридачу.

«Что это на них вдруг нашло? — думал он. — Не нравится, так я их за уши не тянул. Или поссориться успели? Вот тебе и возрастная израильская идиллия...» К концу ужина настроение влюбленной пары несколько улучшилось. Георгий хотел заплатить за них, но счета им подали отдельные, и Вика решительно подсунула большой Марку. Выйдя из ресторана, Георгий предложил немного пройтись — до последнего загородного автобуса оставалось еще два часа. Вика охотно согласилась, взяла Георгия под руку и стала оживленно рассказывать ему о последних гастролях «Современника» в Тель-Авиве и Хайфе. Ее шелковая блузка слегка шуршала на ходу, и высокие каблуки равномерно постукивали по идеально чистому тротуару. Марк молча шел сзади в чересчур широких адидасовских шароварах с лампасами и такой же архаичной куртке. Вечерний поток нарядных прохожих постепенно редел.

На следующем перекрестке Вика потянула мужчин к приморской экспланаде, откуда доносились музыка и смех. Марк уперся и потребовал у нее свой обратный автобусный билет. Георгий почувствовал себя неловко.

— Езжайте, — сказал он. — А я еще часик погуляю.

— Я с тобой, — быстро возразила Вика (они втроем непринужденно перешли на «ты» в первый же день знакомства). — Пусть один отправляется, пить водку в номере. Пошли! — И вновь подхватив Георгия под руку, решительно устремилась к огням отелей на набережной. Марк иронически помахал им вслед.

Пестрый водоворот беспечно фланирующей вдоль моря публики втянул их и понес все дальше и дальше.

— Капризный он у тебя, — бросил на ходу Георгий, уворачиваясь от пританцовывавших под модные ритмы юных израильтянок в цветных лосинах и с подбритыми висками.

— Не то слово, — вздохнула, не снижая скорости, Вика. — Прилип ко мне, как банный лист...

— А я думал, наоборот!

— Да что ты! Месяцами преследовал после смерти мужа. Я ведь знала, что натерплюсь с ним. А тут еще забот по горло. Дочка с рок-музыкантом связалась, уехала за ним в Ашкелон. Меня сука-начальница на пенсию выпроводила, боялась, подсижу. Работа хорошая была — инспектор по школьным кадрам, моя специальность. И платили прилично.

— Ну Марк-то тебе помогает материально?

— О чем ты говоришь! Он в маленькой аптеке у своего московского приятеля провизором. Зарплата — мизер, вся на детей уходит. У них младший мальчик прихвывает, с легкими что-то не в порядке. Марка я после операции лимфы практически одна выхаживала. А он, собака, еще пьет по-черному. Даже здесь с утра полбутылки водки каждый день выдувает.

— Да ты что?! — ахнул Георгий. — А по нему не скажешь.

— Вот-вот, так и мучаюсь с ним. И без него теперь тоже не могу...

Прямо какая-то русская жертвенность! — мысленно восхитился Георгий. — Ну да, последняя любовь, последний шанс...

За этим грустным разговором не заметили, как отмахали почти до конца экспланалды. Надо было возвращаться, чтобы не опоздать на автобус.

— Вы, еврейские мужчины в России, своих родных женщин не цените, все к гойкам вас тянет, — внезапно напала она на него.

— Бывает, — стараясь обратить ее слова в шутку, ответил Георгий.

— Скажи честно, ты свою русскую жену любишь? — не унималась Вика.

— Очень, — серьезно сказал Георгий. — Больше тридцати лет вместе.

— Это еще ничего не значит, — запальчиво продолжала Вика. — У вас, правда, разница в возрасте хорошая. Лет 15?

— 12.

— Ну и как, поедет она с тобой, если ты соберешься переселяться в Израиль?

— Не знаю. Но знаю, что без нее точно не поеду...

— Смотри, не прогадай. Здесь хоть проживешь подольше.

— Может быть, может быть, — задумчиво отозвался Георгий.

— Мой тебе совет, не тяните, пока не поздно, — настойчиво продолжала Вика.

— Глядя на тебя, об этом, по-моему, можно не беспокоиться, — отшутился Георгий.

Вика благодарно улыбнулась и вздохнула.

— В России еврейский генофонд скоро совсем исчезнет, — вдруг заявила она. — Чистокровных евреев там меньше трехсот тысяч осталось, не считая «полтинников». А от них уже «четвертинки» идут и так далее.

— Русский генофонд неуклонно исчезает, размывается мигрантами, а ты за еврейский переживаешь. Раз есть собственное государство, все будет в порядке.

— Я за русских евреев переживаю, это особая нация, второй такой нет.

— Что правда, то правда, — саркастически заметил Георгий.

Запахавшись, они подошли к автобусной остановке, когда тот уже показался из-за поворота.

Наутро Георгий проснулся совершенно больным. Ломило суставы, голова была словно налита свинцом. От этого еще больше томило отсутствие рядом жены. Превозмогая себя, спустился к обычному часу на завтрак и решил все же не отказываться от запланированного посещения подводной обсерватории. Ему оставалось в Эйлате каких-то два дня с хвостиком и напоследок хотелось наплаваться и позагорать до упора. «Только бы не разболеться перед отъездом», — твердил он как заклинание,

тащась к автобусной остановке с захваченными на всякий случай в сумке через плечо пляжными причиндалами.

После невероятных океанариумов Сан-Франциско и Дубая здешняя достаточно скромная подводная обсерватория ничем его не удивила. Позабавили разве что неторопливые двухметровые черепахи наверху в парке, на чьих вольерах красовалось комичное для русского глаза предупреждение: «Осторожно! Тортиллы кусаются».

Зато на обратном пути с ним приключился любопытный эпизод. Добравшись на подкашивающихся от слабости ногах к автобусной остановке, где в этот жаркий послеобеденный час не было ни души, Георгий плюхнулся так и не понадобившуюся пляжную сумку на скамейку и откочевал в густую тень пальм над оградой обсерватории. Не прошло и минуты как с парковочной площадки перед входом рванулась на шоссе белая «мазда». Заметив на пустой скамейке бесхозную сумку, водитель резко затормозил, вылез из машины и осторожно направился к подозрительному предмету. Сработала привычная израильская бдительность в отношении возможных терактов.

— Это моя! — крикнул от ограды Георгий. — Не беспокойтесь. При звуке голоса водитель, полноватый курчавый брюнет, непроизвольно вздрогнул и, обернувшись, не сразу разглядел Георгия. Правая рука его медленно потянулась к заднему карману просторных полотняных брюк. Георгий поспешил из укрытия ему навстречу, и инцидент благополучно разрешился. Хозяин «мазды» по имени Мэйер любезно предложил подвезти Георгия до отеля. Человек этот оказался израильтянином, который уехал в свое время во Францию, женился там и ежегодно навещает живущую неподалеку мать, заодно пользуясь случаем погреться недельку-другую у моря.

— Где родина? — покачал он головой на вопрос Георгия. — Пока жил в Израиле, была здесь. Теперь — во Франции вторая. А вообще родители у меня родом из Бельгии.

— Простите, у вас в заднем кармане действительно пистолет? — не удержался от вопроса Георгий.

— Без обоймы, — усмехнулся Мэйер. — Вожу с собой на всякий случай, хотя положено дома держать. Наградной, от флотского командования.

— А вы на флоте служили?

— Пять лет вахтенным офицером на сторожевике. Повоевать тоже немного довелось. Во время ливанского кризиса. Тогда и наградили. Еще — медалью за заслуги...

— Что, и во Франции ходите со стволом? — спросил Георгий.

— Нет, там не поймут, да и надобности нет.

— А здесь?

— Ну не в Эйлате, конечно. Но может пригодиться, если, как я, по стране на машине колесить. У нас ведь в Израиле всегда надо быть начеку...

— С разряженным пистолетом?

— Обойма в бардачке, — заговорщически подмигнул Георгию Мэйер, высаживая его у ворот отеля. — А по раздельности они безопасны.

— Дай вам бог, чтобы не пришлось ими воспользоваться, — пожелал ему на прощание Георгий.

— Дай-то бог! — бодро отозвался Мэйер. — Мазель тоф! Удачи! Приезжайте еще.

— Постараюсь, — ответил Георгий, доставая с заднего сиденья свою злополучно-счастливую сумку.

В номере Георгий почувствовал себя совсем плохо и попытался вызвать гостиничного врача, полагаясь на двойную медицинскую страховку от турфирмы. И тут безупречный израильский сервис дал сбой. «Сорри, шаббат», — бормотал по телефону виноватый голос на ресепшене. Уточнив симптомы болезни, голос пообещал

прислать вскоре какого-то волонтера. И, действительно, не прошло получаса, как задремавшего Георгия разбудил деликатный стук в дверь, и на пороге возник розовощекий гигант лет 25, в спортивном костюме и кроссовках, с огромным рюкзаком за плечами. Устроившись на второй кровати напротив Георгия и угнездив между ножищ свой немыслимый рюкзак, он на ломаном английском осведомился у Георгия, где что болит. Видимо, почти ничего не поняв, он сунул Георгию под язык тонюсенький градусник, вытащил его через минуту, удовлетворенно кивнул, ободрив Георгия ослепительной улыбкой, с помощью выразительного жеста поинтересовался, курит ли он, и, получив утвердительный ответ, продолжая улыбаться, приказал: «Ноу смоук!». После чего вложил Георгию в руку извлеченные не глядя из бокового кармашка рюкзака какие-то две белые таблетки в запрессованной упаковке, велел принять их по одной — вечером и завтра с утра, ободряюще похлопал Георгия по плечу и удалился.

Позже к вечеру позвонил Марк.

— Скорее всего, вирус! — сочувственно диагностировал провизор состояние Георгия. — Здесь зимой такое бывает, налетит, как хамсин, и исчезнет. Если оклемаешься, приходи на пляж, мы будем тебя ждать. А потом — к нам обедать. Выпей перед сном полстакана водки с горячим чаем.

— Русский рецепт в Израиле? — хмыкнул Георгий. — У меня только виски.

— Ну, тогда виски, но побольше, и не разбавляй.

Содрогнувшись, Георгий последовал категоричному совету, тут же умылся потом под выключенным из опасения кондиционером и, разом захмелев, провалился в обморочный сон. Ему приснилось, что он все выше поднимается в лучах заходящего солнца за гигантом-волонтером по белесой каменистой тропе на гору Кармель и видит далеко внизу в долине разбросанные у источников темнозеленые шапки оливковых рощ. «Вон в той пещере жил Илия-пророк», — говорит, не оборачиваясь, волонтер и указывает куда-то рукой. Но Георгий ничего не видит и переспрашивает волонтера. «Вы не так смотрите», — говорит волонтер и исчезает. Георгий остается на горе один и не может найти обратную тропу.

Он проснулся рано утром выздоравливающим, хотя не сразу сообразил, где находится. В мозгу плавали обрывки странного сна. Потом показалось, что лежит дома, а за зашторенным окном спальни хмурится московская зима. Прийдя в себя, до хруста потянулся всем снова сделавшимся послушным телом, набирающим привычную бодрость, и, как заклинание, прошептал: «У меня еще целых полтора дня, полтора дня...»

★ ★ ★

Когда Георгий спустился на пляж, солнце еще не оторвалось от линии горизонта, и прохладная небесная синева не сменилась жарким маревом. Первые виндсерферы только вытаскивали вдалеке из эллингов парусные доски. Редкие энтузиасты старательно делали гимнастику и пробежку у ленивой кромки воды, пока их жены устраивались с тюбиками кремов и глянцевыми журналами на лежаках в тени. Прикормленные стайки экзотических рыб с кораллового рифа уже собирались вокруг свай веранды кафе, на которой официантки расставляли пластиковые столы и стулья.

Невыразимо острое ощущение свободы и счастливого одиночества охватило Георгия. Утренние остатки вчерашнего недуга потихоньку испарялись. Он сделал несколько любимых йоговских упражнений на дыхание, медленно вошел в море и поплыл все дальше и дальше от берега, под конец превратившегося в едва различимую полосу пляжных зонтов и навесов. Возвращаясь довольным собой, Георгий с непонятным раздражением увидел на берегу приветственно машущих ему Марка и Вику.

Рассказ о бдительном французском израильянине, с пистолетом в кармане мотающимся зачем-то на машине по стране, вызвал у его друзей разную реакцию.

— Теневой маклер, наверняка, — безапелляционно заявил Марк. — Здесь полно таких. Скорее всего, наличку развозит по клиентам.

— Ну, зачем наговаривать на человека! — запальчиво возразила Вика. — Может быть, нормальный патриот с чувством ответственности. Это ты у нас циник, которому все по фигу. Двадцать лет здесь живешь, словно проездом, и все злорадуешь. А сам даже иврит толком не выучил...

— Тебе он очень помог в жизни, иврит этот гребаный, — огрызнулся Марк. Вика молча отвернулась.

Видя, что разговор принимает нежелательный оборот, Георгий поинтересовался, сталкивались ли они лично в Израиле с угрозой терроризма.

— Было дело, — лениво процедил Марк. — Еще до нашей встречи с Викой. Какого-то психа палестинского со взрывчаткой спецслужбы по всему городу выслеживали и взяли в скобяной лавке прямо напротив моей аптеки. А так у нас, как в Эйлате, тишина и покой, ракеты из сектора Газа тоже не долетают...

— В 84-м на рынке, я тогда в Хеброне жила, — включилась в разговор Вика, — полиция прямо у меня на глазах двух вооруженных арабов задержала. Третий пытался скрыться в толпе и его застрелили... Дочь в 98-м на автовокзале в Беэр-Шеве чудом пропустила автобус, который через 20 минут шахид взорвал...

— Ужас! — сочувственно произнес Георгий.

— Ко всему привыкаешь, — философски заметил Марк. — Даже к артобстрелам. — И взглянув на часы, добавил: — Пошли обедать!

— Вроде рано, — попробовал осторожно возразить Георгий. Есть ему еще совершенно не хотелось.

— Нет, нет. Пора, — присоединилась к Марку Вика. — Нам в полтретьего заказ из магазина забирать.

Тут только выяснилось, что живут они не в отеле, а в пансионате и сами готовят из привозных продуктов со скидкой. Деваться было некуда, и Георгий нехотя поплелся за ними с пляжа, кляня себя за то, что впустую тратит последние драгоценные часы у моря. Идти по солнцепеку пришлось довольно долго — крутым подъемом за дешевый отель второй линии. Пансионат с двухкомнатными квартирками в неприметных коттеджах среди чахлой зелени произвел на Георгия после его «Йам суфа» не бог весть какое впечатление. Однако, чтобы не обидеть хозяев, он выразил полное одобрение тому, как те сумели устроиться в отдельных апартаментах на фешенебельном курорте.

— Тайм шер, — с гордостью объявил ему Марк. — Неделя в году — 800 баксов. Первые годы платил больше.

— Нормально, — кивал головой Георгий, не совсем понимая, зачем нужно привязываться за 800 баксов к определенному месту и времени, да еще самим готовить, когда за тысячу с небольшим имеешь здесь практически на любую неделю в году первоклассный отель с собственным пляжем, авиабилеты и трансфер, не считая роскошных завтраков. Вот она, изнанка их хвальной эмигрантской жизни в Израиле, — подумал он. — Каждый шекель экономят.

В пансионатском продмаге Вика живо нырнула в отдел заказов, а Марк мягко направил Георгия к винным стеллажам. Георгий хотел было взять бутылку красного сухого «Царь Давид», которое ему нахваливал перед отъездом Самуил. Марк скривился и стал настаивать на водке. Из вежливости Георгий уступил, отсчитал на кассе в шекелях 250 рублей за литровую белоголовку местного производства и, передав ее Марку, подхватил у появившейся Вики часть объемистых пакетов с едой.

Пока Вика возилась на кухне их тесноватой и не слишком уютной квартиры, Марк нетерпеливо разлил на лоджии по первой под патиссоны и красную капусту.

Однако не успели они поднять рюмки, как Вика резко позвала Марка с кухни. Секунду спустя до Георгия донеслись обрывки ее фраз на повышенных тонах.

— Я же просила купить мне к обеду красного вина... (Марк бурчал в ответ что-то невнятное.)

— ...Тогда пойд и купи...

— ...Нет, не обойдусь! — угрожающе поднялся еще выше Викин голос.

— Ну и черт с тобой! — отчетливо прозвучал голос Марка.

Наступило тягостное молчание, затем громко хлопнула входная дверь. Вика с красными пятнами на щеках вышла в лоджию.

— Давай я схожу куплю, — стараясь разрядить атмосферу, сказал Георгий.

— Он уже пошел, — глядя мимо него в стену ответила Вика. Оба помолчали.

— До операции он был другим, — вздохнула Вика.

— Каким же?

— Заботливым, чутким.

— Наверное, еще не все потеряно.

— Конечно. Иначе я бы с ним рассталась.

Георгий не успел ничего сказать — вернулся Марк. Демонстративно выставил из бумажного пакета на стол «Царя Давида», достал оттуда же маленький походный штопор в пластмассовом футляре и начал открывать бутылку.

— Штопор в магазине купил? — поинтересовался Георгий.

— Дали в придачу к вину.

— Класс! — искренне восхитился Георгий. — Вот бы у нас так.

— У ВАС так не будет, — съехидничал Марк, наполняя Викин бокал.

— Как знать, как знать... — усмехнулся Георгий.

Марк стянул через голову майку и примирительно потрепал Виду по пышным рыжеватым волосам. Она благодарно потянулась, по-детски вытянув губы, к его потному плечу. Все трое чокнулись. Закусили. Вика внесла блюдо с антрекотами и жареной картошкой. Георгий плеснул себе вина, оказавшегося действительно неплохим. Марк разлил по второй, спустя пять минут — по третьей. Георгий под его давлением, махнув рукой на вино, тоже через раз опрокидывал рюмку за рюмкой. Обед продолжался своим чередом.

Где-то в середине застолья, когда в голове у Георгия уже прилично шумело, он обнаружил на коленях объемистый сверток, замотанный скотчем, который Марк принес из комнаты.

— Это посылка соседке матери, — сказал Марк, доверительно наклоняясь к Георгию. — Она от ее постели не отходила, когда та слегла. В больнице каждый день навещала... Я не мог приехать — лежал на обследовании перед операцией... Вырвался только на похороны... — слова давались ему нелегко. — Там мелочь разная. Сможешь передать? Она тебе в Москве позвонит и подъедет, куда скажешь. Тетка боевая, мороки не будет. — Марк просительно заглянул Георгию в глаза.

— Ну, хорошо, — неуверенно ответил Георгий. И полушутя добавил. — А на таможне не задержат?

— Гарантирую! Просветят — и без проблем. Скажешь, от родственников. У тебя, кстати, родственники в Израиле имеются?

— Не знаю, — покачал головой Георгий. — Скорее всего, нет.

— Теперь, считай, будет один. Если надумаешь ехать, ссылайся на меня как на троюродного брата. Этого достаточно. Так многие делали. Приглашение я по твоему запросу тебе вышлю...

— Да не надо, — отмахнулся Георгий. — Я пока никуда не собираюсь. Спасибо, конечно, за предложение и за то, что готов взять на себя такие хлопоты.

— Брось! — настаивал Марк при молчаливой поддержке Вики, внимательно вслушивавшейся в их разговор. — Не в хлопотах дело. Попробуй приехать на пару

месяцев, для репатриации все равно необходимо некоторое время прожить в Израиле. Мы тебя устроим...

— Само собой, — вступила в разговор Вика. — Поживешь не хуже, чем здесь, тоже у моря, фактически на курорте. Осмотришься и решишь...

— Вот именно, — подхватил Марк. — Ты ведь ничем не рискуешь, второе гражданство все равно что страховка на старость. Пенсия российская сохраняется, тут еще большую будешь получать. А жена — нормальное пособие. Вторую московскую квартиру сдадите, тогда вообще порядок. Я уже не говорю про качество бесплатного лечения, продукты, экологию — сам знаешь.

— Знаю, — кивнул Георгий. — А с работой какие шансы?

— Про работу забудь, — отрезал Марк. — Особенно про свою, гуманитарную. Журналистика на русском давно до копейки разобрана земляками. Телевидение — тем более. Кино не светит. Вакансии — крошечные везде. Страна-то с гулькин нос.

— Значит, жить, как трава, — невесело подытожил Георгий.

— Хорошая, заметь, трава, сочная. А что тебе с женой еще надо? Не наработался за жизнь? Средства есть, живите в свое удовольствие. Сколько нам осталось? Подумай!

— Подумаю, — сказал Георгий.

Прощальный обед с десертом затянулся до семи. Под влиянием выпитого настроение у всех поднялось, открылись душевные поры. Марк и Вика наперебой рассказывали Георгию разные местные байки, много хохмили, смеялись. Перед тем как расходиться, дополнительно к телефонам обменялись еще и e-мэйлами, пообещав друг другу непременно поддерживать связь. Георгия должны были завтра забрать в аэропорт в три часа дня, ребята уезжали в два. Решили напоследок побыть еще часок-другой вместе на пляже. Потом Марк с Викой пошли провожать Георгия до отеля.

По дороге завернули к скульптурной группе биг-бэнда в центре круговой развязки на шоссе.

— Странно, я ни разу не слышал здесь еврейской музыки, — сказал Георгий.

— Могу спеть тебе «хава нагилу» или «айдеше маму», — серьезно объявил Марк.

— А я станцю «семь сорок», — подхватила Вика, пристраиваясь между бронзовыми музыкантами, застывшими в причудливых позах с инструментами в руках.

— Давайте лучше все вместе — «фрэлекс», — предложил Георгий. — Никогда не видел, как его танцуют.

— Это мужской танец, — возразила Вика.

— Ничего, тебе можно, — авторитетно заявил Георгий. И они втроем, пугая водителей и пассажиров проезжавших мимо машин, прошлись в импровизированном танце под губной аккомпанемент Марка.

До будки охранника у ворот отеля шагали, взявшись под руки, вдоль шоссе еще добрый час, останавливаясь под деревьями и по очереди прикладываясь к недопитому за обедом «Царю Давиду», которого предусмотрительно прихватил с собой Марк.

— Ну все, — сказал он, шуточно отдавая честь охраннику. — До завтра! Прощальные объятия — на пляже, в одиннадцать. Вика чмокнула Георгия в щеку, и они расстались.

Собрав перед сном вещи, Георгий позвонил жене и, положив трубку, почувствовал, как соскучился по ней, сыну, коту, дому. По Москве.

* * *

В условленный час Марк и Вика на пляже не появились. Не появились они и когда Георгий, отплавав дневную норму, покидал пляж, кинув в море с веранды 10-шекелевую монетку. «Чего там с ними стряслось? — с легким беспокойством

подумал он. — Пропали, вероятно, и не успели собраться. Жаль, толком не попрощались».

Микроавтобус подъехал за ним вовремя. Он сел в пустом салоне на переднее сиденье, поставив рядом чемодан и сумку. Только что прибывшая группа бледных европейцев поднималась с багажом от ворот к отелю. Одна женщина в кокетливой панамке помахала ему. Он в ответ приветственно сцепил над головой руки. Микроавтобус мягко скатился по брусчатке аллеи на шоссе. Едва обогнули бронзовых музыкантов, как Георгий вспомнил, что забыл среди ненужных бумажек на столе в номере листок с Викиным e-мэйлом. Может, сами напишут. Или в крайнем случае эсэмэску им пошлю, — успокоил он себя. Терять с ними связь ему не хотелось.

...Устрашающе близкий «боинг» местных авиалиний стал заходить на посадку буквально впритирку к замершему на светофоре микроавтобусу. Мелькнула в окне подрагивающая плоскость крыла, затем — утыканный иллюминаторами бок фюзеляжа и, наконец, горделивый хвост с голубой шестиконечной звездой, который спустя миг скрылся за бетонным забором взлетно-посадочной полосы. Отчаянный они все же народ. Сажать авиалайнеры почти в центре города. Фаталисты. Микроавтобус тронулся и свернул на трассу к международному аэропорту Увда в 40 километрах от Эйлата.

Знакомый терминал встретил шумную ораву хорошо отдохнувших пассажиров московского рейса неожиданно длительными расспросами чиновников на регистрации о том, где они жили, с кем познакомились, и собираются ли приехать в Израиль снова. Багаж улетающих интересовал расспрашивающих мало, и посылка Марка благополучно отправилась в чемодане по ленте транспортера. Столь же быстро завершились поверхностный личный досмотр и паспортные формальности. Носатые лица за нехваткой русских слов приветливо улыбались нашим из-под фуражек. Улыбки сопровождалась выразительными жестами. К особо бестолковым подбегал заправившийся переводчик.

Оставшись налегке с сумкой, Георгий пошел бродить по залу ожидания в поисках фаст-фуда и наткнулся на седобрового Славика с его боязливой женой из домодедовской очереди на задержанный рейс. Сейчас они выглядели спокойными и умиротворенными, сидя в окружении разноцветных пакетов.

— Хорошо отдохнули? — осведомился Георгий после обмена приветствиями.

— Не то слово! — восторженно отозвался Славик. — Даже улетать не хочется. — От его московской сдержанности и сарказма не осталось следа. Жена поддакивала и кивала.

— Родные люди? — гнул свое Георгий.

— В принципе, да, — почуяв насмешку, с вызовом ответил Славик, вскидывая голову. — А вам, что — чужие?

— Ну как сказать... — замялся Георгий.

— Ах да, — нахмурился Славик. — Вы же к гоям примкнувший. Христианин.

— Православный, — уточнил Георгий и прибавил: — Надо же, *гои*. В Москве вы таких слов, насколько я помню, не употребляли.

— И дальше не буду, — отворачиваясь, бросил Славик.

— Не обижайтесь! — примирительно сказал Георгий. — Здесь мы для них все — русские.

— Это точно, — согласился Славик. Они вежливо распрощались. Георгий пошел дальше.

Странно, — подумал он, — у евреев, попадающих в Израиль, сразу просыпаются национальные чувства, а у меня?.. Что это тебя вдруг на патетику потянуло, — оборвал он ход собственных мыслей. — И тут же задал себе откровенный вопрос: — А если всерьез припечет — жизнь или болезни? И без колебаний ответил: — Тогда будем смотреть. Но пока... Жить, как сочная трава, пусть даже в раю? Хм...

Как и ночью на прилете, так и сейчас, под вечер, в самый, казалось бы, воздушный час пик, ни в зале ожидания, ни в обшарпанном этническом кафетерии с домоткаными ковриками и расписными тарелками на стене, ни в плотной очереди на возврат по торговым чекам «тэкс-фри», куда он тоже встроился со своими подарками семье, — нигде кроме пассажиров их единственного за день московского рейса других иностранцев в помине не было. «Любопытно, куда они все подевались? — подумал Георгий. — Чем же они сюда добираются? Неужели только автобусами, поездами и теплоходами? Прямо какая-то русская резервация в эйлатском аэропорту».

«Шалом! — раздалось в динамиках. — Пассажиров московского рейса приглашаем на посадку. Счастливого пути! Будем рады видеть вас снова!». Зал ожидания быстро опустел. Уже из самолета Георгий с облегчением сообщил жене, что, похоже, вылетает точно по расписанию и должен прилететь вовремя. «Хорошо бы! — обрадовалась жена. — Буду ждать тебя в аэропорту. Надеюсь, в воскресенье вечером доеду без пробок».

Толчок. Бодрящий разгон. Отрыв. И самолет по крутой траектории вонзился в бархатно-фиолетовое небо. Ну вот и все, — приготовившись соснуть, сказал себе Георгий. — Кончен бал, погасли свечи. Через несколько часов буду дома. Но это было еще не все.

* * *

Я благополучно проспал невыразительную кормежку на борту и открыл глаза, когда внизу за окном замелькали заснеженные сиротские поля и перелески. Самолет шел на посадку. На выдаче багажа меня ждал сюрприз. Моего чемодана не было. Пассажиры нашего рейса уже миновали паспортный контроль и таможню, а опустевшая лента транспортера все таскала по кругу единственный чемодан на колесиках, похожий, но не мой. Предстояло идти разбираться. Думая, что жена дожидается меня в аэропорту, я позвонил ей и «обрадовал» известием о пропавшем чемодане. «А у меня, представляешь, колесо пробито. Налетела на что-то под снегом. Стою на Каширке, жду "техничку"». Ну вот, начинаются прелести московской жизни, — тоскливо подумал я. — Не успел приземлиться, все разом. Жена в темноте на шоссе со спущенным колесом. Я без чемодана. Чемодана было очень жаль — все шмотки, подарки, посылка Марка. А с собой в пляжной сумке — только мокрые плавки, слипы, традиционный вискарь из «дьюти фри», журналы, книжка и туалетные принадлежности. В офисной выгородке багажного зала мне сразу бросился в глаза тот самый одинокий, похожий на мой чемодан на колесиках.

— Кто-то перепутал и забрал по ошибке ваш, — успокоил меня молодой невозмутимый сотрудник в форменном кителе. — Так что не волнуйтесь, вернем.

— А если он уже в Хабаровск улетел?

— Все равно вернем. Данные пассажира известны. Не первый раз из разных городов перепутанный багаж возвращаем. В 97 случаях из 100.

— Хорошо бы в оставшиеся три не попасть, — вздохнул я, заполняя заявление о пропаже.

Тут позвонила жена и сообщила, что колесо благополучно поменяли и она уже подъезжает к аэропорту. Застегнув до горла поверх легкого свитерка ветровку, в которой было так удобно по прилете в Эйлат, я двинулся на морозную привокзальную площадь и почти сразу увидел нашу подруливавшую ко входу машину.

— Как ты загорел! — воскликнула, целуя меня, жена.

Час спустя в приподнятом настроении мы входили глубокой ночью в свою квартиру. Мне показалось, что под ногами у меня обратная тропа из эйлатского сна. А на третьи сутки в целости и сохранности доставили из аэропорта мой перепутанный чемодан. Жизнь продолжалась.

Текущие дела и заботы, предновогодние хлопоты, мелкие обиды и огорчения, не дающие поблажек удаче и неудаче постепенно отодвинули Эйлат на задворки памяти.

ти. Теперь, в Москве, он казался чем-то очень далеким и нереальным. Как и связанные с ним некие туманные планы и те двое людей, которые мне их по дружбе подбрасывали. Но все же моя память нет-нет да и возвращала, обыкновенно перед сном, переводные картинки проведенных там дней и часов.

Через неделю позвонила подруга покойной матери Марка. Слабый старческий голос с извинениями и благодарностями попросил передать посылку ее дочери, поскольку сама она болеет и не выходит из дому. Точно в условленное время в центре зала на станции метро «Новослободская» ко мне быстрыми шагами подошла статная моложавая женщина в стеганом пальто с капюшоном, удивительно похожая на Марка. «Неужели его дочь? — подумал я. — Вот так коллизия!» Она поздоровалась, смущенно улыбнувшись, и я протянул ей послуживший опознавательным знаком красочный целлофановый пакет. Мы обменялись парой слов, и я с трудом удержался от вертевшегося на языке вопроса. Женщина, почувствовав это, кивнула.

— Похожа, да? — спросила она, снова улыбнувшись.

— Очень, — вглядываясь в знакомые черты лица, — ответил я. Мое воображение услужливо развернуло возможные варианты той давней любовной истории.

— А когда вы отца последний раз видели? — спросил я ее.

— Когда в пятом классе училась, — уже без смущения ответила женщина.

Расспрашивать дальше не имело смысла, все и так было ясно. Мы попрощались, поздравив друг друга с наступающим Новым годом, и незаконнорожденная дочь моего нового израильского приятеля, еще раз поблагодарив меня за доставленную посылку, шагнула в обтекавшую нас со всех сторон толпу.

Сколько же ему было лет, когда он сошелся с их соседкой по квартире? — думал я, поднимаясь по эскалатору. — И сколько лет было тогда его, по всей вероятности, тайной любовнице? Знала ли об этой связи сына мать Марка? Как она относилась потом к этой внучке, продолжая дружить с заботливой соседкой? Почему дочь Марка никогда не приезжала к нему в Израиль? Надо будет в следующий приезд порасспросить его с глазу на глаз. А будет ли он, следующий приезд? Как все непросто у людей. И сами люди зачастую не совсем или совсем не такие, кем кажутся при первом знакомстве. Марка в любом случае жаль. Тут какая-то трагедия... А у Вики разве нет?.. Доведется ли еще когда-нибудь увидеться с ними? С такими сумбурными мыслями я вышел из метро и направился к машине.

Потянулись однообразные январские недели. Все вокруг разъехались на каникулы. Затейные проекты не двигались. Марк с Викой не писали и не звонили. Я, соответственно, тоже — е-мэйл-то остался в отеле. И вдруг — трогательное послание от Вики: «Жорочка! Здравствуй. Так и не получилось у нас еще раз увидеться перед отъездом. Марк мучился с похмелья и отказался идти на море. А у меня воспалилась нога, которую порезала накануне о камень на пляже. Не могла наступать. Надеемся, ты благополучно долетел до дому. И, главное, не разболелся. Мы очень рады знакомству с тобой. Ты — классный! Очень хотим встретиться еще. Приезжай с женой, ей понравится. А пока выходи на связь. Обнимаем. Вика, Марк». Я сразу ответил: «Ребята! Спасибо за письмо. Тронут. Вспоминаю проведенные вместе дни, рассказывал о них жене и друзьям. Тоже очень рад знакомству с вами. Вы большие молодцы во многом, насколько я успел понять. Поздравляю вас обоих с прошедшим Новым и Старым годом. Желаю всего самого-самого. Пишу рассказ о своей неделе в Эйлате. Жора». Спустя какое-то время пришел запоздалый ответ: «Жорик, привет! С прошедшими тебя праздниками. Здоровья, счастья! Уже и не чаяли получить от тебя письмо, а сейчас вот обнаружила его в старой почте и радуемся. Ждем твой рассказ об Эйлате и новой встречи. Обнимаем. Вика, Марк». Неожиданно для себя я разоткровенничался в ответном письме, как не всегда откровенничал даже с близкими людьми, и написал в конце: «...Очень хочется снова в Эйлат. И чтобы там были вы. До встречи в будущем году!» И сам поверил в то, что написал.

Юлия Стоногина

Второе полугодие учителя Яманэ

Повесть

Моей матери — Алле Михайловне Складаровой

Неделя началась с неудачи. Директор, господин Хамада, в кои веки решил поприсутствовать на уроке у Яманэ. Он просидел в классе 20 минут, насупившись и протирая очки, а на перемене зашел в учительскую и сразу начал тихим, но неприятным голосом:

— Яманэ-сэнсэй, разве это допустимо? Почему вы с грязными руками пришли в школу и в таком виде ведете уроки?

— Это не грязь, господин директор, это я вчера покрывал бамбук морилкой. Она, к сожалению, не смывается так быстро. Это мое упущение.

— Ведь вы не можете написать плакат «У меня руки в морилке» и ходить с ним, не так ли? Когда ученики сегодня видят вас, они все думают, что у вас просто грязные руки. Какое впечатление вы на них производите?

— Я сожалею о своем легкомыслии, господин директор. Я больше никогда не буду работать с морилкой накануне уроков.

— Пусть это будет наша с вами самая неприятная история во втором полугодии, Яманэ-сэнсэй, — многозначительно произнес Хамада и вышел, а Яманэ опустился на стул расстроенный — и тем, что сглупил с морилкой, и тем, что его, пятидесятидвухлетнего старожилу, отчитали в присутствии Сатико Оцука.

Она перевелась в их школу в начале учебного года и преподавала музыку. Новичков было трое, и они, как положено, рассказывали о себе на общем собрании учителей в апреле. Двое, Курихара-сан и Ямада-сан, коротко представились, немного зажато перед новым коллективом, а Оцука-сан встала — и запела, к изумлению всех. Она спела куплет из «Сакуры», а потом какой-то джазовый фрагмент и, засмеявшись, сказала: «Как еще может рассказать о себе учитель музыки?»

— Чудесное сопрано, — подумал восхищенный ее поведением Яманэ.

— Чудесное сопрано! — сказал директор Хамада уже собиравшейся сесть Оцуко-сан. — Но все же еще несколько слов о себе.

Юлия Борисовна Стоногина — журналист, публицист, специалист по межкультурным коммуникациям. Автор более сотни статей на темы литературы и культуры, русско-японских отношений, японской культуры в российских, европейских и японских СМИ.

Живет в Токио и в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Так Яманэ узнал, что она выпускница консерватории, несколько лет назад переехала в Токио из Фукуоки.

Хотя Оцука-сан уже перешагнула за тридцать, на придирчивый взгляд Яманэ она была юна и красива. Стройная, и волосы у нее длинные, что Яманэ одобрял, даже наблюдая их только в подобранном, для школы, виде.

Познакомившись на общем собрании, с начала года они не сказали друг другу лишнего слова, кроме формальных приветствий и прощаний. Иногда случайно встречались по пути в школу — она снимала жилье минутах в двадцати пешком от его дома. А вот уже и второе полугодие, конец октября. Но в женской компании учительниц она была общительна и смешлива, и смех ее был «обворожительный», как думал Яманэ. Слыша ее смех, он и сам, отворачиваясь, улыбался.

— Яманэ-сэнсэй, извините... а зачем вы покрывали бамбук морилкой?

Он поднял голову, увидел, как Оцука-сан смотрит на него — весело и с любопытством. Пришлось отвести глаза.

С морилкой накануне уроков он работать все равно будет. А когда еще, если у него на это одно только воскресенье, а занятия с понедельника по субботу? Просто надо использовать перчатки.

— Я строю дом в Томиока... Небольшой домик, — поправился он. — Бамбук мне нужен темный. Красивый цвет темного чая. Для этого надо морилкой пройти два раза.

— Как же это? Вы сами строите? Своими руками?

— Сам, сам, все сам. Сейчас очень хорошие книжки выпускают — как самому построить дом. Я начитался и строю, — объяснял он неловко.

— Как это здорово, — сказала Оцука-сан.

Так положено говорить, но она, кажется, произнесла это от души. Извинившись, подобрала свою сумку и ушла на занятие. У Яманэ был свободный урок.

* * *

Постепенно Яманэ перестал стесняться заговаривать с Оцука-сан. Много времени у него на болтовню все равно не было — короткие перемены или двадцать-тридцать минут после уроков, когда все приводили в порядок свои вещи и готовились к завтрашнему дню. Разговор в учительской всегда был общий, в котором Яманэ не слишком участвовал. Он готовился к урокам довольно напряженно, потому что вести приходилось несколько разных предметов — обществоведение, историю и географию. Обычно он приходил в школу раньше других учителей, а уходил последним. У Сатико же было наоборот — она вела только музыку, готовится — всего ничего. Все же два в месяц она приходила довольно рано, за час-полтора до уроков, чтобы «распеться» в музыкальном зале, не рискуя потревожить соседей.

В один из таких дней в начале декабря Яманэ, придя, по обыкновению, на полчаса раньше, застал ее в учительской одну за изучением рекламных онсэнов¹. Горячие источники в Исэ, реканы с собственными онсэнами в Хаконэ, гостиницы-онсэны в Яманаси — ворох ярких буклетов лежал перед ней. Яманэ даже успел разглядеть иероглифы онсэна Дайсэцудзан на Хоккайдо.

Они поздоровались, обменявшись фразами о наступивших холодах.

— Вы в онсэны часто ездите? — спросил Яманэ.

— Я особенно ивабуро² очень люблю, — засмеялась Сатико. — Мы в про-

шлые выходные с подругой ездили в префектуру Иватэ, в двух онсэнгах ночевали. Первый довольно простой был, в Хираидзуми, но зато бассейн из каких красивых камней — голубые, зеленые валуны.

А второй большой, «Сакунами» называется: ротэмбуро³ — сказка! Вид на гору, внизу там сад разбит, с беседками, статуями — ну, конечно, он был весь в снегу, а сама гора поросла лесом и по вечерам подсвечена прожекторами. Красота необычайная!

А утром! Мы ранние пташки: придем в шесть-семь часов. Остальные кроме нас — пары, им так рано вставать неохота, им вдвоем в футоне⁴ хорошо...

Его немного смущали такие замечания.

— В шесть-семь утра: ночной снегопад все бортики бассейна покрыл, и деревья... Такой снег на Аляске, наверное, или в России. Большой снегопад был, даже трассы закрывали, да и поезда стояли. Мы боялись не вернуться в срок.

— Если еще раз в сторону севера захотите путешествовать, пожалуйста, останавливайтесь в моем доме, — сказал Яманэ. — С подругой, с друзьями, — добавил поспешно. — Особенно летом: когда в Токио жарко, в Томиоке на 5-6 градусов меньше, а вечера там совсем прохладные. Очень красивое побережье, и вокруг есть несколько онсэнов. Пожалуйста, не стесняйтесь!.. Я хочу, чтобы много народу ко мне приезжало, — разговорился он, взволнованный мыслью о ее визите. — Половину Токио приглашу, наверное.

— Ну вот, — улыбнулась Сатико, — а я думала, вы только меня так выделяете.

Яманэ поскорее продолжил:

— Я вам фотографии принесу, не возражаете? Понравится — милости прошу.

* * *

В учительской стоял один почти плоский шкаф — на каждого учителя по отделению-кармашку. Туда раскладывались свежееотпечатанные расписания, новости из районного образовательного центра, а также иногда и внешняя почта (которой было немного).

В понедельник 6 декабря Сатико нашла в своем отделении белый конверт, заклеенный, но без марки, с надписью от руки: «Г-же Оцука». Она еще не знала руку Яманэ, но сразу подумала, что от него. Открыв, она достала сложенный вчетверо лист и несколько фотографий, отпечатанных на домашнем принтере. Записка была совсем короткая:

«Добрый вечер.

Сегодня вернулся из Томиоки. С девяти утра делал пол в доме, уже закончил.

Погода была ясная, иногда облака и +13 градусов.

В следующее воскресенье планирую заниматься внутренней отделкой.

2010.12.5.

Яманэ»

На фотографиях был деревянный пол, снятый с разного ракурса, — приятный на вид, широкие доски блестели от темно-коричневого лака. Справа предательски виднелись какие-то инструменты, брусья и строительная лампа. Еще пара снимков были пейзажные: один — побережье с чайками, второй — закат над горами.

Сатико улыбнулась этому отчету.

В следующий понедельник, 13 декабря, конверт опять ждал ее.

На фотографиях были оконные рамы с латунными крючками и кусок стены, оформленный, как седзи⁵ — с традиционной плотной бумагой и вкраплением гербария — мелколепестковых ромашек, травинки и веточки. Сатико прочла письмо:

«Добрый день.

Как Ваше здоровье?

Уже начался грипп этого сезона, будьте осторожны и всегда мойте руки, придя с улицы.

В Томиоке тоже постепенно холодает, но пока еще можно работать. Внутрь дома ветер совсем не задувает. Стены я построил надежно.

Вчера занимался внутренней отделкой, больше всего стенами. С использованием бумаги "васи" в доме сразу создается особая традиционная атмосфера.

Еще 2-3 раза съезжу, и внутренняя отделка будет полностью готова.
2010.12.12.

Яманэ»

Сатико удивилась его вкусу, глядя на бумагу и получившуюся из нее имитацию седзи. Ей тоже понравилась эта стена, и то, что Яманэ может делать своими руками не просто грубую строительную работу, но и традиционный декор.

Неожиданно для себя Сатико начала высчитывать, какие сроки это будут — две-три поездки: получалась середина января. Похоже, она уже хотела увидеть этот дом.

Среди недели, встретив Яманэ в коридоре школы, она попросила:

— Яманэ-сэнсэй, сделайте мне фотографию вашего дома целиком, пожалуйста. Это интересно. А то я вижу только кусочки.

— Да? — смутился он. — В следующий раз положу. — И, глядя в сторону: — Вы приготовьтесь, что он маленький.

— Я помню, — весело сказала Сатико. — Мне, правда, хочется посмотреть, как он выглядит. Не ожидала, что это так увлекательно.

— Действительно, вам интересно? — просветлел Яманэ.

В пятницу утром, вне графика, Сатико опять обнаружила конверт. Но фото не нашла, только письмо:

«Добрый день!

Прогноз в Томиоке на ближайшие дни:

19 декабря, воскресенье. Пасмурно, +1 С°. Поездка отменяется.

20 декабря, понедельник. Ясно, +3 С°.

21 декабря, вторник. Ясно, +3 С°.

22 декабря, среда. Переменная облачность, +11 С°. ОК!

Поеду в среду. Уже взял отгул.

В Томиоке очень вкусные местные продукты, например, джемы.

Яблочный джем, молочный джем и мед — что из этого лучше всего? В следующий раз привезу.

Яманэ»

Ей сразу захотелось яблочного джема; это напомнило детство. Яманэ, с его заботой о мытье рук и выборе для нее десерта тоже возвращал ее в детство. Но взрослая женщина внутри сказала ей: «Неудобно» — так что Сатико ничего не

стала заказывать, ни письменно, ни устно. Хотя в понедельник они встречались, Сатико только приветливо улыбнулась, а во вторник у нее занятий не было.

22 декабря, в отсутствие Яманэ, Сатико вспомнила о европейском Рождестве.

«Пожалуй, надпишу ему красивую открытку», — подумала она. Еще с конца ноября улицы Токио были украшены рождественскими декорациями — в этом году все универмаги выставили елки одна другой роскошнее.

— Как видно, они неплохо заработали за год, — обсуждала Сатико с подругами.

— Наоборот! — воскликнула Акияма. — У них у всех дела довольно плохи, поэтому и стремятся завлечь покупателей хотя бы на рождественский шопинг.

— Вряд ли я много потрачу на подарки в этом году, — с сомнением сказала Такино-сан. — Все экономят, так что и я не рассчитываю на гору подарков.

— Все равно, мы все хотя бы соберемся на новогодний ужин, — непререкаемым тоном заявила Акияма. — Я обнаружила новый ресторан, где подают угря. Так и называется «Унаги», как раз на границе Янака и Нэдзу. Очень новогоднее меню.

Такино-сан сразу поддержала идею. Ей было за пятьдесят, и выпить она любила, всегда заказывала себе сакэ, как правило, самое сухое.

— Опять у нас девичник, — хлопнула она по плечу Акияму-сан. — Когда мы будем приглашать и мужчин — приличных, с доходом? Что думаете, Оцука-сан?

— Есть подходящий для вас мужчина, — со смехом ответила тогда Сатико, и Такино-сан сразу заинтересовалась. — Только он не пьет, кажется, и ресторанов не любит.

— Лучше, что не пьет! Серьезный человек?

Сатико замялась. То, что имела в виду Такино-сан, не подходило под Яманэ, и Сатико пожалела, что подала ей напрасную надежду.

— Боюсь, что не очень серьезный. То есть, он серьезный, но какой-то... забавный.

— А! — сразу отмахнулась Такино-сан, рассматривая взятую у Акиямы визитку ресторана «Унаги».

Сатико подумала, что ужин с угрем обойдется на каждую минимум в пять тысяч йен⁶, а то и шесть. Акияма работала в корейском банке, и, в отличие от Сатико, над подобной суммой не очень задумывалась.

В юности Сатико очень любила Рождество. Встретить сочельник в одиночку считалось почти позором среди мужской половины ее курса. Она была популярна и всегда получала приглашения на рождественский ужин. Часто ей нужно было выбирать из трех-четырех. Однако ее студенческие романы ни к чему не привели.

* * *

В четверг, 23-го декабря, она пришла немного раньше и сразу направилась к своему кармашку на стенде. Письмо уже было там:

«Доброе утро!

Как Ваше здоровье?

Вчера в Томиоке занимался работами по внутренней отделке. Еще немного, и все закончу. Правда, было не 11, а всего 8 градусов.

Хочу обязательно там устроить печку, для обогрева и для чая.

Прилагаю фотографии дома. Пытаюсь, чтобы дом получился, как чайная комната — это мой любимый стиль.

Хотя Оцука-сан ничего и не заказала, я все-таки купил яблочный джем. Завтра вечером положу в Ваш почтовый ящик у дома.
2010.12.22.

Яманэ»

Получить в подарок яблочный джем было приятно, но фотографии дома изумили Сатико. На деревянных столбах-опорах помещалась избушка с фасадом едва ли в пару метров ширины. О длине Сатико судить не могла. У входа в избушку, одной ногой на широком пне, служившем ступенькой, стоял Яманэ, и ясно показывал собой масштаб домика. Легкая кепка, которую он носил в Токио с октября, не закрывала красных от холода ушей.

Избушка была сбита очень добротно, но занимала едва одну восьмую большого участка. Поодаль за ней виднелся какой-то гараж или сарай. Слева втирался светлым фасадом чей-то большой каменный дом.

Сатико вздохнула. Она сейчас поняла, какой подарок сделает Яманэ на Рождество.

Вечером 24-го она писала ему первое за их знакомство частное послание.

«Яманэ-сэнсэй,

Спасибо за письмо и фотографии.

Представляю, как Вы устали.

Завтра Рождество, поздравляю Вас и шлю лучшие пожелания.

Яблочный джем очень вкусный, спасибо, что привезли.

В Томиоке уже холодно; пора одеваться теплее для работы.

Хороших Вам каникул.

Оцука»

К открытке она приложила вязаную шапку — двустороннюю: снаружи сливочного цвета, а внутри — шоколадного, ее можно выворачивать на любую сторону.

Вечером она отнесла пакетик к дому Яманэ и положила в почтовый ящик. Его окна на первом этаже были темные; похоже, он вышел куда-то поужинать.

* * *

С 25 декабря по 5 января в школе каникулы. Яманэ собирался максимально использовать это время для строительства. Он рассчитывал, что поедет в Томиоку 26-го и 29-го декабря. В промежутке он чуть-чуть подготовится к Новому году — сделает уборку, купит новое постельное белье. Ему еще предстояла распилка и покраска загодя купленного бамбука (с ним оставалось сделать некоторые работы в Томиоке).

30 декабря его обязательно приедет навестить сестра, живущая в Кавасаки. Ей уже семьдесят, и она появляется раз в год, чтобы спросить: «Ну как ты, младший брат?» и привезти кой-какие гостинцы. Он разливает чай, они пьют вместе; весь визит длится не дольше часа.

31-е и 1-е — новогодние дни. Если погода позволит, еще 3-го января он съездит в Томиоку — и дом закончен. Можно будет приглашать Сатико на осмотр.

Ей в самом деле, кажется, нравится. Удивительная женщина во всем!

Впрочем, не один же дом... Яманэ думал, как покажет свои плотницкие и столярные работы, объяснит те хитрости, которые он применял, изучив по книгам. Конечно, пусть посмотрит, на что он способен. Когда-нибудь он выстроит полноценный, большой дом — теперь у него есть и опыт, и некоторые сбережения. Сам участок тоже недешевый, и приятно, что продолжает расти в цене.

Но она любит ивабуро; надо найти неподалеку подходящий онсэн. Был один хороший, назывался, кажется, «Цура-цура». Ей нравится ротэмбуро в снегу, как раз сезон, а в горах уж точно снега хватает.

Поздка на синкансэне⁷, потом осмотр дома, потом онсэн — Яманэ волновался, представляя, как они проведут вместе целый день. Сначала она сидит у окна в поезде, разглядывая горы. Яманэ на листочке пометил один пункт: приготовить о-бэнто⁸. Может быть, Сатико и сама возьмет дорожный обед, но все же лучше позаботиться. Потом они в переездах от дома до онсэна — это точно полный день. Ну что ж, в онсэне они проведут пару часов порознь, потом ужин... Яманэ размышлял, как сказать Сатико, что денег ей тратить не потребуется, раз он ее приглашает. Это может вызвать недоразумения. Но в целом поездка выглядела мечтой.

Получив рождественский подарок Сатико, Яманэ был и рад и растерян. Он сразу начал думать, как и чем отдариться. В конце концов решил, что джем может засчитаться как подарок. Сейчас он не станет торопиться и множить эту цепочку взаимных сувениров. За ближайшие дни он что-то сумеет подобрать для нее на Новый год. Пока же, воодушевленный, он сел писать письмо:

«С Рождеством!

Удивлен и обрадован вашим подарком!

Завтра планирую поехать в Томиоку, обязательно надену эту замечательную шапку.

Уже скоро работы закончатся. Прошу еще немного подождать.

Как только закончу, приглашу Вас на экскурсию по окрестностям, покажу дом.

Ивабуро тоже — узнаю, где есть хороший, и отвезу вас.

Хорошенько отдохните на каникулах, пожалуйста.

Наверняка Оцука-сан приглашена куда-нибудь на Новый год...

2010.12.25.

Яманэ»

Последнюю фразу он приписал как-то неожиданно для себя. Подаренная шапка уж слишком его приободрила.

Все последнее время он встречал Новый год однообразно: вечером шел гулять в один из ближайших парков, в полночь машинально съедал «положенную» гречневую лапшу собу, а первого января сам варил себе новогодний суп-дзони. Изредка получалось выпить пива с кем-то из соседей, если позовут. Сам Яманэ мог бы и вообще не пить, делая это только из вежливости.

Правда, в прошлом году он все же выбрался в Асакусу — пригласил один приятель по району. Они отстояли три часа в длинной очереди к алтарю Асакуса-Каннон, болтая обо всех событиях года и время от времени согреваясь теплым амадзакэ. Болтал скорее приятель — о разводе с женой-китайкой, которая пыталась его обобрать. У Яманэ была одна большая новость — инвестиция в участок в Томиоке.

Спрашивая Сатико про Новый год, он заранее готовился к разочарованию.

В письмо он вложил фотографию хибати⁹ — своей недавней антикварной покупки. Хибати, сделанная из цельного эбенового дерева, китайской работы, внутри имела бронзовую чашу для углей. Стоила хибати больше десяти манов¹⁰, но в день, когда он появился в антикварном, хозяйка объявила на все пятидесятипроцентную скидку. Цена в пять с лишним манов тоже была не маленькой, и Яманэ долго топтался возле. Но хозяйка пообещала присовокупить к хибати старинный бронзовый чайник в качестве бонуса, и Яманэ сдался.

Тут же из магазина он заказал доставку в Томиоку, что обошлось еще в четыре с половиной тысячи, но выбирать не приходилось: хибати весила добрых четырнадцать килограммов.

* * *

27-го он нашел в почтовом ящике короткую записку от Сатико:

«Хибати просто великолепная! На Новый год особых планов нет, хочу пойти в храм».

Вместо положенной уборки Яманэ с утра слонялся по узким улицам квартала Янаки, где было много магазинчиков — и обычных, и антикварных. Никак не мог решить, какой подарок выбрать для Сатико. Сначала прикидывал что-то из одежды, но побоялся прогадать с размером и цветом.

Потом долго стоял в переулке перед витриной совсем крошечной и захудалой лавки Тамура-сан, у которого, однако, попадался иногда хороший жемчуг. Там было одно приятное кольцо, но Яманэ чувствовал неуместность такого подарка. Тамура-сан заметил его сквозь стекло и махнул ему. Яманэ очнулся, поклонился и пошел кружить дальше.

Наконец, неподалеку в магазинчике на холме, среди домашних обиходных предметов, беспорядочно расставленных в витрине, он увидел один необычный и сразу решил купить. Опять китайская старая вещь: обитый шелком ларчик, а внутри круглая фарфоровая шкатулка под крышкой — наполнить краской для личной печати. Во втором отделении ларчика — деревянная подставка под шкатулку. И мотив на шкатулке — «каракко», китайские дети, и расцветка говорили о том, что это скорее женский предмет. Яманэ обрадовался, что отыскал такой изящный и нейтральный подарок, и расплатился.

Он выходил из магазина, когда за спиной услышал оклик:

— Hello, old boy!

Пряча сверток в рюкзак, Яманэ неловко смешал японское и европейское приветствия, одновременно кланяясь и взмахивая рукой.

Толстый, загородивший пол-улицы американец жил в этой местности уже лет шесть и недавно открыл новый бизнес — купил два домика рядом и сделал пансион для сдачи внаем туристам. Звали его Дик, и со своей женой-японкой он скорее прятельствовал.

Дик был одет как байкер, включая красную бандану за сто йен на голове, которой часто маскировал свою пятидесятипятiletнюю лысину.

— Новогодние подарки? — уличил он Яманэ, весело зыркнув на его рюкзак. Они немного поговорили по-английски, и Дик уговорил Яманэ, расслабившегося от удачной покупки, выпить пива на Янака-Гиндзе. Там среди продуктовых лавок и забегаловок была особая стойка для торговли «живым пивом», а рядом перевернутые пивные ящики, надписанные «нама биру сэки» — места для его

распития. Ежедневно Дик проводил там за пивом и разговорами от двух до трех часов. К нему нередко подсаживались европейские туристы, бродившие в этих закоулках ради видов «старого Эдо».

Сегодня Дик сманил Яманэ, чтобы было кому похвастать успехами нового бизнеса. Приобретенные им особнячки на Сэндаги имели по два этажа и три входа, и могли принимать и группы в 5-6 человек, и туристов-одиночек. Существова чуть меньше года, его пансион уже приобрел известность. Сначала Дик объяснял, как использовал поисковики и оптимизировал сайт, чтобы подняться в рейтингах; потом — как просиживал дни и ночи в социальных сетях, размещая рекламу. Яманэ вежливо слушал, кивая.

— Теперь угадай, — говорил Дик, — до какого времени у меня заказы? — И, вытирая пивные усы: — До лета 2013 года!.. Ты можешь себе это представить? Там, в Европе, они считают, что должны хоть раз в жизни побывать в Японии. И находят мой маленький пансион, тут, в Токио. Если набрать «Токио, дом на каникулы» — он появляется первой строкой! И, черт меня дерь, как же приятно уже знать свой доход по июль 2013 года!

Поскольку это были уже вторые пол-литра, Дик не сдержался:

— В среднем, 6000 долларов ежемесячно!

— Аа, — промычал Яманэ, забыв, какой английский эквивалент подобрать слову «потрясающе».

— Я доволен этой суммой. Расходы минимальные. Приезжают интеллигентные люди. Почти все. Ну вот только в прошлом месяце эти итальянцы из Бруклина, горячая смесь! Они провели веселую неделю, а я получил головную боль. И от соседей, и со стороны уборки. Нет, больше я не принимаю итальянцев из Бруклина.

— Но все же вам нравится ваша работа... — внес свою лепту в разговор Яманэ.

— Слушай, это самая приятная работа, какую я делал в своей жизни! Это легко, и это нормальный доход. У меня раньше была работа, которая приносила мне до полумиллиона долларов в месяц...

— Как, полмиллиона в месяц? — переспросил Яманэ.

— Эй, парень, я раньше работал в автопроме. Мы чинили американские машины. Я и один гений из Небраски, Патрик Хаффорд. Однажды мы получили заказ на партию из четырех тысяч машин — их все побило градом. Владелец предложил нам почасовую оплату, но я сказал: «Слушай, не плати мне 40 долларов в час, плати мне 180 долларов за машину, и мы починим их все за два месяца».

— Два месяца?! — сказал он.

— Два месяца, — сказал я. — Что ж, некоторые машины были в пяти или десяти вмятинах, некоторые выглядели, как будто их расстреляли из пулемета, но многие имели только одну или две вмятины. Вот и считай наш доход, — подмигнул Дик узкими глазками над заплывшими щеками.

Яманэ все еще переваривал сумму в полмиллиона. Для него и шесть тысяч долларов были приятной суммой. Сегодня его учительский доход, добываемый шестидневным нелегким трудом, и со всеми надбавками за выслугу лет, составлял четыреста пятьдесят тысяч йен, или примерно четыре тысячи семьсот долларов.

Что же касается небольшого родительского наследства, Яманэ сберегал его на банковском счете и старался не касаться.

— Привет, Юки! — крикнул тут Дик. Англоязычных японцев в округе было немного, и он жаждал вовлечь в общение всех.

Неизменно в черно-белом, элегантный и стройный, парикмахер Юки только поклонился издали, улыбнувшись, и быстро прошагал дальше по улице. Он жил здесь, но его салон был на Роппонги, районе скопления посольств, представительств и сервисов для иностранцев.

— Никогда не посидит с нами, — с досадой сказал Дик. — Всегда занят, все на бегу!.. Он пятнадцать лет в Америке работал, вот и популярен у гайдзинов.

Слово «гайдзин», иностранец, произнесенное американцем, хотя бы и с самоиронией, звучало странно.

Яманэ слышал, что клиентура Юки была вся женская часть европейских посольств и компаний. Впрочем, и мужчины к нему ходили, по совету своих жен. Европейские тонкие волосы требовали другого обращения, нежели японские.

— Мне тоже пора, — поднялся Яманэ, выбрасывая стаканчик в мусорный контейнер. — Приятно было поговорить.

Набывшийся Дик беспомощно развел руками, и Яманэ поспешил его покинуть.

* * *

«Добрый день!

Как Ваши приготовления к Новому году?

26-го и сегодня ездил в Томиоку. 26-го было только +7 и ветер, еще раз благодарю Вас за шапку. А сегодня потеплело: +10.

Остается самая легкая работа по интерьеру, так что совсем не устаю.

Гостинцы для Вас: местные яблоки и кинкан¹¹.

Будете есть кинкан по одному в день, ни за что не подхватите простуду.

Кладу также новые фотографии. Надеюсь скоро показать Вам все вживую.
2010.12.29. Яманэ»

Вечером он занес свой пакетик, постаравшись не хлопнуть крышкой почтового ящика: в окна Сатико был виден свет. Он знал, что она проверит вечернюю почту, так что фрукты не замерзнут. Яманэ был голоден и собирался поесть собы в своей любимой соба-я, поэтому спешил.

Соба-я оказалась закрыта. Яманэ молча постоял перед вывеской, глядя на расписание — он забыл, что по каким-то личным причинам хозяина эта соба-я не работала именно по средам. Ему пришлось зайти в супермаркет и там купить готовый ужин: жареную рыбу и порцию риса. Он был недоволен.

Это недовольство назавтра привело его, часам к 12-ти, в ту же соба-я, приветливо машущую норэном¹² над низким входом. Предновогодние дни были солнечные, с приятным несильным ветром. Войдя, он сразу увидел Сатико, доедавшую за стойкой лапшу. Они не встречались больше недели, и ему показалось, что она посвежела, вид у нее был праздничный — может быть, оттого, что он впервые видел ее одетую не формально, для школы, а во что-то розовое с желтым. Волосы у нее были распущены.

— Ээ... как давно не виделись! — сказал Яманэ, с удовольствием слушая ее

приветствие, и присел поблизости за стойку. Хозяин уже ждал заказа, и Яманэ заказал горячую какэ-собу.

Сатико доела и заговорила первая:

— Я под впечатлением вашей хибати, Яманэ-сэнсэй. Кажется, она страшно дорогая.

— Ничего, — сказал Яманэ, — мне сделали хорошую скидку. Сначала она больше 10 манов стоила.

— Десять манов? — поразились Сатико.

— Я гораздо меньше заплатил, всего 56 тысяч в результате.

— Такую дорогую хибати купили? — у нее был изумленный вид.

— Это цельное дерево, китайский мастер больше двухсот лет назад сделал.

Яманэ склонился над принесенной лапшой.

— Извините, что я так говорю, но... Яманэ-сэнсэй всегда онигири¹³ покупает самые дешевые, по восемьдесят йен. И собу сейчас самую дешевую заказали, а тут вдруг отдали за хибати 56 тысяч. Это для меня удивительно.

— Потому что я увидел, что это очень хорошая, качественная вещь. — Яманэ было не слишком приятно, что она, оказывается, подмечает за ним такие детали. — Если строить хороший дом, на века, то надо, чтобы и вещи в нем были хорошие. Такую хибати поставишь на веранде — приятно смотреть, и тепло, и москитов отгоняет. Мне к ней чайник старинный бронзовый бесплатно дали.

Сатико улыбнулась и покачала головой.

— Вот вы ее скоро увидите сами! Я покажу наш поселок, дом свой, там чаю выпьем, потом опять на станцию, оттуда автобусом в онсэн. До онсэна час езды. Там часа два провести можно: Оцука-сан в ивабуро два-три раза войдет. Там же можно пообедать — и обратно на поезд в Токио. Туда-обратно, за один день все успеем.

— Туда-обратно — это хорошо, — сказала Сатико, и тут же спросила: — А вы хотите «дом на века» построить?

— На триста лет, минимум, — оживился Яманэ. — Этот нынешний дом, это модель, я на нем учился. Теперь я все приемы знаю, какие для традиционного японского дома нужны. Может быть, рекан¹⁴ построю, большой, в хорошем месте. Хочу, чтобы после меня дом остался. Это моя мечта. Конечно, время нужно.

— Но не только время, Яманэ-сэнсэй, а какие средства нужны! — подхватила Сатико. — Ведь это затраты, такая большая работа.

— Нет-нет, — мотнул Яманэ головой. — Поскольку я все сам буду делать, денег это не возьмет много, только на материалы. Главное — время.

— Вы один не справитесь, — задумчиво сказала Сатико. — Тяжело это.

— Ну, если Оцука-сан мне поможет стены штукатурить, буду благодарен, — пошутил Яманэ, и, в ответ на ее недоуменный взгляд: — Ну, только немножко!

Она даже не стала подыгрывать:

— Нет уж, самое большее — я вам онигири могу слепить, для обеденного перерыва.

— Это тоже поддержка, — примирительно сказал он.

Она сегодня была совсем другая; сидя рядом, Яманэ еще разглядел сапоги на каблуках, и быстро отвел глаза от ее ног.

— Оцука-сан с распущенными волосами гораздо лучше. Подобранные — не очень.

— Я-то думала, что Яманэ-сан все во мне нравится. Какое разочарование! Заглушая смехом глагол «нравится», он настаивал:

— А волосы лучше распущенные...

— А если я начну о том, что мне нравится, а что нет? — довольно холодно спросила она.

С начала и до конца их разговор весь был какой-то напряженный.

«Она что-то сильная, — размышлял он потом. — Сейчас японские женщины после ссоры мужа за дверь выгоняют. Убирайся из моего дома, говорят. И много примеров. Не из таких ли она?»

* * *

Хотя Яманэ и не верилось в это, 31-го с утра они с Сатико договорились вместе пойти в храм на новогоднюю молитву. Он несколько раз переспросил, не приглашена ли она куда. Она несколько раз со смехом объяснила, что да, приглашена, но ей не хочется в ресторан, а есть настроение пойти в храм — лучше всего в Канда Медзин.

— Ну тогда разрешите мне к вам присоединиться, — в такой форме договорился с ней Яманэ.

Решили отправиться пораньше, к десяти часам.

На метро до Отяномидзу это заняло всего десять-пятнадцать минут. От станции в сторону популярного и нарядного Канда Медзин уже тянулись группы, а то и целые процессии — тех, кто шел в храм, было легко отличить с полувзгляда. Многие женщины шли в парадных кимоно — черных или светлых; по цвету и орнаменту угадывался примерный возраст и статус хозяйки. Попалось и несколько оживленных красивых школьниц или студенток в ярких кимоно с пышным цветочным орнаментом. Но большинство шло, как и они с Сатико — в более-менее праздничной европейской одежде.

Яманэ с облегчением подумал: хорошо, что не пошли в храм Нэдзу. Там наверняка сейчас много соседей, да и ученики тоже придут, вместе с родителями. Вдруг он понял, что Сатико, скорее всего, умышленно выбрала храм подальше от дома.

Подойдя к Канда Медзин около четверти одиннадцатого, они встали в очередь. Люди собирались неспешно, от ворот до их места в хвосте было метров шестьдесят-семьдесят.

— Я слышал, вы хотите организовать школьный оркестр, — вспомнил Яманэ. — Это прекрасная идея.

— К сожалению, не моя, — улыбнулась Сатико. — Ученики заставили. Несколько мальчиков замечательно играют на трубах, почти профессионально. Есть три выпускника музыкальной школы. Мы хотим сделать джазовый концерт в начале апреля. Во дворе, под вишнями...

А в Токийском Женском Университете очень хороший концертный зал, и они весной проводят музыкальные фестивали. Может быть, там выступим тоже.

— Хорошо бы кто-то из учителей присоединился, — подумал вслух Яманэ.

— Вы, Яманэ-сан? — спросила Сатико.

— Не-ет, я нет. И голоса никогда не было, и ни на чем не играю. Все равно мне нравятся только народные песни или энка. Когда работаю, бывает, тихонечко пою «Намида» или «Осака для двоих».

— А вторую я что-то не помню. Это тоже энка? Напайте немного, — лукаво предложила Сатико.

Но Яманэ разгадал ее хитрость и шутливо упирался, отказываясь демонстрировать голос.

— Много еще осталось сделать? — стала спрашивать Сатико о доме.

— Уже скоро! — уверил Яманэ. — Осталась самая мелкая работа, но она-то и отнимает бездну времени.

— Но к середине января?..

— Да-а-а, к середине... или, самое позднее, в 20-х числах все закончу.

Вдруг Сатико поняла, что выказывает нетерпение, и смутилась.

— А, пока не забыла, Яманэ-сэнсэй, — немного переменила она тему, — на фото я видела какой-то гараж или сарай — это для инструментов?

— Нет-нет! Это моя кладовая. Очень надежная: два замка, один цифровой, а другой навесной. Там я держу свои сокровища, — нарочито округляя глаза, сказал Яманэ.

— Например, что?

Он не ожидал, что она начнет выпытывать, и растерялся.

— Например... портрет матери.

Сатико быстро посмотрела на него и примолкла.

— В Янаке дом старый, — объяснял Яманэ. — Вокруг тоже квартал такой, много деревянных зданий. Если пожар случится, опасно. А в Томиоке пожаров быть не может, там надежнее.

— А что же мы так и не движемся, — спохватилась Сатико.

— Подождите, я узнаю! — Яманэ отправился на разведку и вернулся с докладом: — Мы пока не можем двигаться. Самые первые стоят перед воротами. К алтарю начнут пускать только с двенадцати.

Оба посмотрели на часы.

Стоять надо было еще около часа, а потом неизвестное время двигаться к алтарю. Сатико засмеялась, замерзая.

— Ну что ж, — предложил Яманэ, — может быть, нам поехать в Асакуса?

— Поедемте! — встрепелась Сатико. — Время уйдет на дорогу, и приедем как раз к полуночи.

Но расчеты их подвели. На перегоне между Асакусабаси и Курамаэ электронные часы Яманэ начали пищать полночь.

— Яманэ-сэнсэй, с Новым годом! — в отчаянии воскликнула Сатико, но тут же постаралась улыбнуться. — Мы с вами встречаем Новый год в поезде, куда это годится!

— С Новым годом! — отозвался Яманэ, пожимая ей руку. Ему эта ситуация казалась даже романтической.

Хотя и не полные вагоны, а все же с ними ехало достаточно людей, так же встречавших Новый год в подземке. Некоторые даже не оторвались от экранов своих мобильных или игровых планшетов.

Выскакивая на станции Асакуса и припускаясь как школьница, Сатико торопила: «Скорей, скорей!»

Яманэ нравилось, как она, даже в спешке, не обгоняла его, держась за ним. Им пришлось пробежать длинным тоннелем, и, выбираясь наружу уже на подступах к храму, они услышали удар колокола.

— Ах... — обрадовалась Сатико, — и следом еще один, гулкий и долгий, последний из восьмидесяти трех ударов.

— Ну все же! — с облегчением сказала она. — Хотя бы два последних мы услышали — все-таки нам будет удача в этом году.

— В этом году тоже позвольте надеяться на ваше расположение! — произнес Яманэ обязательную этикетную формулу и поклонился. Сатико с поклоном повторила ее в ответ, но куда веселее и беззаботнее.

Справа и слева слышались те же слова.

* * *

До начала новой четверти Яманэ успел еще раз съездить в Томиоку. Работа подходила к концу, но ему пришла в голову новая мысль, которой он поделился с Сатико:

«Доброе утро!

Завтра начало четверти, опять на работу; надеюсь, Вы успели хорошо отдохнуть.

Спасибо за новогодний вечер, было очень приятно.

У меня есть план ехать в воскресенье, 9-го января, в Томиоку, строить деки вокруг дома. Дек — это помост. В Томиоке бывают очень ветреные дни, особенно сейчас, зимой.

Чтобы дом не упал под ветром, надо сделать эту работу.

Собираюсь также позвонить в местные онсэн, узнать, как они работают по воскресеньям. Вероятно, приезжает много народу.

Прошу еще некоторое время подождать. Когда построю деки, пространство очень расширится — будем, сидя на деках перед хибати, пить чай.

2011.1.5. Яманэ»

Сатико, прочитав, нетерпеливо засмеялась. Ее приятное путешествие все время откладывалось. Правда, в утешение Яманэ всякий раз привозил съедобные подарки, один другого вкуснее — от яблок до необычно больших сэмбэев, жареных печений, доходящих до размеров лепешки. Последний раз он преподнес шоколадно-ореховый кекс, божественного вкуса и самой изысканной упаковки. В магазине Яманэ уверяли, что этот кекс они регулярно поставляют для императорской семьи, о чем он не забыл написать Сатико, прибавив «Вот и мы с Вами приобщились к элите». Впрочем, большинство из того, чем он баловал ее, сам он не пробовал.

Он исправно носил подаренную ею шапку теперь и в Токио, так как похолодало. Сатико отводила глаза, замечая, что в шерстяной узор забиваются опилки, мелкая древесная пыль.

В конце января и начале февраля Яманэ пропустил два воскресенья подряд — было уж слишком холодно и ветрено. Но, даже пропуская поездки, он продолжал писать: прикладывал к письму чертеж из книжки по строительству, фотографии «образцовых» японских домов или просто сезонную открытку.

14 февраля принесло Сатико неожиданное открытие.

Войдя в учительскую после уроков, она услышала оживленный разговор, восклицания, смех — коллеги собрались вокруг Яманэ, который смущенно улыбался и отворачивался.

— Оцука-сан, смотрите, — со смехом позвала Танэмура-сан, радуясь, что

кто-то еще в неведении. — Вы такое видели? Девятнадцать шоколадок от учениц! Директору Хамада, конечно, не одной, кто осмелится! Только от нас троих. Курихара-сэнсэй две заработал, Кагава-сэнсэю повезло — восемь, но спортивные смены всегда так, а у остальных от учениц по одной. А тут! Уже лавочку можно открыть!»

Все засмеялись.

— Яманэ-сэнсэй так популярен? — не удержалась Сатико.

— Конечно, популярен, а вы не знали? Его уроки очень любят. Это он с нами молчит, а на уроках он оратор, сходите как-нибудь. А с шоколадом — это каждый год так! Ему и письма пишут ученицы.

— Просто благодарят за интересные уроки, — быстро сказал Яманэ.

Сатико было приятно и досадно. То, что Яманэ — хороший преподаватель, ее порадовало. Ей стало стыдно, что в последнее время она так покровительственно о нем думала. Но то, что его отметили «валентинками» девятнадцать девочек, укололо ее. У школьников хорошее чутье, они действительно выбирают только интересных и приятных людей.

Но почему он в одиночках? — думала Сатико.

Вернувшись домой, она перечитала короткие письма Яманэ, начиная с первого — их оказалось уже двадцать три конверта.

В его сегодняшнем письме, по следам вчерашней поездки, было:

«Оцука-сан,

Рад видеть Вас всегда здоровой.

Надеюсь, у Вас хорошее отопление в доме. До марта все же поберегитесь гриппа и простуды; при Вашем чудесном сопрано нельзя болеть.

Уже полностью сбит каркас помоста. Я также нарезал по размеру половину досок, в следующий раз буду красить и нарезать вторую половину.

Нужно еще будет сделать лестницу, чтобы Оцуке-сан легко подниматься на деки. Деки над уровнем земли примерно на высоте 90 сантиметров.

Теперь приходится работать снаружи, немного холодно. Ветер дует очень сильный, я рад, что мне пришла эта идея. Даже сейчас, просто с каркасом, дом уже лучше укреплен.

Купил для Вас вяленой хурмы — будет вечером в Вашем почтовом ящике. Кушайте с чаем, очень полезно для здоровья.

2011.02.13. Яманэ»

Все-таки он ко мне по-особенному относится, — решила Сатико.

В прошлый раз они поспорили, почему надо называть «деками» террасу, которую он строил. Она спросила его, почему «деки», а не «энгава» — традиционное японское название. Энгава — это закрытая терраса, настаивал Яманэ, но Сатико возражала, что открытая энгава тоже бывает, называется «ногоиэн», в доме ее бабушки именно такая.

— Все-таки у моего дома форма современная, — нашел наконец объяснение Яманэ. — Я хоть и учусь традиционным приемам, но пока еще до традиционной формы не дошел. И деки тоже — более современно звучит.

* * *

Сегодня в Томиоке был до странного теплый день.

Обычно по воскресеньям Яманэ просыпался в пять, пил чай и завтракал,

по-европейски, тостами; в шесть выходил из дома, и через полчаса, добравшись до станции Уэно, садился на экспресс линии Дзэбан до Томиоки. Дорога занимала два с половиной часа. От станции пешком ему ходу было всего-то минут восемь-десять. Таким образом, около девяти утра он уже начинал работы. Не прерываясь на отдых, он только однажды, около часа дня, выпивал чаю и быстро съедал пару привезенных с собой рисовых колобков (тех самых, за восемьдесят йен, как сказала Сатико). Колобки были одни и те же — с морской капустой, изредка со стружкой тунца. Когда он сам делал себе онигири, клал туда свою любимую маринованную сливу. Потом продолжал работу часов до пяти — пока не начинало понемногу смеркаться. Переодевался, в пять тридцать садился на экспресс и возвращался домой к половине девятого, а если заходил в лапшевню, то и к девяти вечера. На завтра шел в школу к семи тридцати.

Яманэ плотно пригонял доски одна к другой, и с каждой новой доской красота деков радовала его все больше. Деки он делал из сугиноки — японского кедра. Дерево было качественное, гладкое, чуть темнее общего тона внешних стен. Вдоль четырехметровой, «длинной» стены дома дек был полностью уложен, и сейчас Яманэ выкладывал короткую сторону. Он был доволен, что сделал их такими широкими, два метра. Можно сидеть, вытянув ноги, и даже лежать, утомившись от трудов.

Яманэ уже прибавлял последнюю доску и загнал последний гвоздь с победным восклицанием:

— Еси!

Деки были готовы.

Яманэ стоял, улыбаясь и оглядывая свою работу. Срезы досок показывали идеальную подгонку по длине. Он прошелся по срезам пропиткой в цвет доски — защита от влаги. На сегодня работа была закончена. И опять — день пролетел так быстро, было уже почти четыре часа.

Вспомнив, Яманэ вынес хибати и, пока солнце красиво освещало деки, поместил хибати на них и сделал несколько снимков для Сатико.

Длинная сторона деков была приятно нагрета, и Яманэ присел, наконец, отдохнуть, налив из термоса любимого чая.

Он сидел, как и было задумано, привалившись спиной к стене дома и вытянув ноги, с закрытыми глазами, изредка отхлебывая из чашки.

Всю неделю стояли солнечные дни, и в Токио бутоны сакуры уже набухли. На телеканалах начались прогнозы на сроки цветения. Если такая погода продлится еще дня три-четыре, то цветы распустятся, а манкай¹⁵ надо ждать в двадцатых числах, необычно рано. Хотя и в прошлом году пик цветения пришелся на последние числа марта. Прошли времена, когда *сакура* и *апрель* были синонимы — каждый год цветение все раньше; климат меняется.

Яманэ вздохнул и отпил из чашки. В Томиоке, конечно, это будет на неделю позже, чем в Токио. Сатико-сан приедет в хороший сезон: здесь, у моря, будет цветущая сакура, а в горах, где онсэн, снег.

Пригревшись, Яманэ совсем расслабился. Он пошевелил левой, безвольно лежащей рукой, и, чуть подвинув ее, почувствовал руку Сатико. Только мизинец. Замерев, он решился — и погладил ее мизинец своим. Сатико не убрала руку. Тогда он осторожно, сначала мизинцем, а потом всеми пальцами, погладил внешнюю сторону кисти. Рука была нежная, с рельефом косточек, и он упивался этим несколько минут, счастливый позволением Сатико.

Потом осмелился пройти на внутреннюю сторону ладони, сжал ее руку — Сатико повернула кисть — внутри ее ладонь была такой мягкой, что у него сбилось дыхание. Он раскрыл свою ладонь, чтобы почувствовать всю поверхность ладони Сатико, всю длину пальцев. Они были длиннее, чем у Яманэ, хотя рука уже.

Теперь, когда они сплелись руками, он почувствовал ее теплое предплечье, и сглотнул ком в горле.

Упоительно было сидеть рядом с Сатико, рука в руке, и видеть горный пейзаж, с розовыми пятнами сакуры по склонам, слышать отдаленный шум побережья. Он мог бы сидеть так бесконечно. Не глядя в ее сторону, он чувствовал, что она тоже взволнована: по движению пальцев под его пальцами, по напряжению плеча. Он продолжал гладить ее руку. Он не мог двинуться дальше и не знал, как это сделать. Пора было ехать в онсэн.

Яманэ очнулся и оглушительно чихнул.

Оказывается, он просидел так полный час. Солнце побагровело и остыло, спустилось за рощу. Яманэ почувствовал озноб и вскочил, чтобы собираться в город.

Его дом был наконец готов.

Последний раз он приедет сюда в следующее воскресенье, чтобы собрать и выбросить строительные отходы, перенести всякие мелочи из дома в кладовую, пропылесосить...

Яманэ посмотрел туда, где они сидели на деках с Сатико.

«И без поцелуя хорошо», — прошептал он, вскинул рюкзак на плечи и отправился обратно в Токио.

* * *

В понедельник Яманэ удалось поговорить с Сатико минут десять, он сообщил ей, что дом готов. Сатико поздравила его и пообещала подарок на новоселье, он же чувствовал себя скованно. После грез на деках он изменился в своем чувстве к Сатико, ощущал странное родство с ней и стыдился, что она может это заметить.

— Сегодня нет письма? — пошутила Сатико, слегка подняв брови.

— Вчера что-то устал, извините, к возвращению Оцука-сан подготавливаю.

Сатико еще с тремя учителями уезжала в среду, 9-го марта, на конференцию в Ниигату и возвращались они только в пятницу вечером.

* * *

В пятницу у Яманэ подходил к концу урок по истории Японии; он рассказывал о Второй мировой войне.

Вдруг он почувствовал неладное и остановил себя, оглядываясь.

Здание школы содрогнулось от сильного и продолжительного толчка.

Не успел класс и вместе с ним Яманэ выдохнуть в секундной паузе «О-о-о!» — как последовал другой толчок, еще сильнее, затем непрерывная череда ударов. Послышался дребезг стекла, из шкафа и со стен начали валиться предметы. Вибрация нарастала.

«Под парты, под парты», — скомандовал Яманэ тем немногим, кто еще не догадался туда залезть. Быстро вынув из-под стола защитную каску, он позаботился открыть дверь, чтобы не заблокировало выход. В коридорах звенел длин-

ный звонок тревоги. Школьная радиосеть начала передавать распоряжение оставаться в классах и укрыться под столами.

Нарушенная гравитация сделала для Яманэ путь назад к столу в три раза дольше обычного. Яманэ хватался за стену, закрываясь рукой от осколков и другой летавшей мелочи. Кто-то из девочек закричал. Бросив взгляд за окно, он увидел: соседние дома раскачивались не хуже, чем столбы коммуникаций, люди выбегали из зданий на улицы, стекаясь в толпы.

— Ничего, ничего! — бодро сказал Яманэ в сторону глядящих на него из-под парт раскрытых глаз и ртов. — Без криков...

Все же эта пятиминутная вечность закончилась.

Следуя командам радиотрансляции, Яманэ вывел класс на спортивную площадку. Успели даже сообщить: 6-7 баллов. Едва выстроились, как тряска возобновилась: на земле стало трудно удержаться, почти все ученики и учителя сели. К счастью, это продолжалось недолго. Минут через пятнадцать, когда основные толчки прошли, всех стали распускать по домам. Уже было известно, что метро и поезда встали, и, возможно, надолго. Как живущий неподалеку Яманэ задержался в школе: нужно было убедиться, что никто не травмирован, проверить классы, принять участие в коротком совещании у директора Хамады.

Возвращаясь из школы, Яманэ повсюду замечал признаки ущерба: местами облетевшие фасады старых зданий; хозяев, убиравших перед домами где осколки, где упавшие изгороди. Проходя по границе кладбища Янака, он увидел во дворе одного из храмов два рухнувших каменных фонаря, метра по два высотой.

Ущерб, к счастью, казался не слишком большим.

Сильнее всего Яманэ поразили многокилометровые автомобильные пробки. Уже темнело, и красные шеренги из стоп-сигналов протянулись десятками тысяч во всех направлениях города. На автобусных остановках бессмысленно толпились служащие — метро не работало, но автобусы тоже не могли проторить свои маршруты в этих гигантских пробках.

Яманэ увидел один из автобусов, стоящий с раскрытыми дверями: водителя в фуражке и белых перчатках, автоматически держащего руль; пассажиров с усталыми лицами, многие спали.

Так будет продолжаться еще несколько часов, — подумал Яманэ. — Землетрясение, пожалуй, не слабее, чем в двадцать третьем году. Сколько тогда было? Шесть баллов или шесть с половиной?..

— Бедные люди! — услышал он приближающийся голос за спиной. Его обгоняла пара на велосипедах: пожилой мужчина-японец и молодая женщина-европейка.

— Да! Вот бы им сейчас всем велосипеды дать! — отозвался мужчина. — Лучшее средство передвижения.

Сами они, впрочем, двигались в этой толпе тоже довольно медленно.

И правда, — подумал Яманэ, — почему бы не купить велосипеды?

В ответ на его мысль через пару десятков метров попался магазин спортивных товаров. Стойки, где обычно помещались велосипеды, были все пусты.

Пробираясь сквозь толпу, Яманэ уже не в первый раз слышал слово «цунами». Говорили, что даже в самом Токио, на О-Дайбе, есть какие-то повреждения.

Войдя в дом, Яманэ слегка опешил: холодильник съехал и загородил вход на кухню, книги обрушились с полок, разная бытовая мелочь валялась на полу.

Как бы то ни было, Яманэ решил оставить уборку на завтра и сразу же включил телевизор. Все каналы работали в прямом новостном эфире, и Яманэ впервые за сегодня увидел то, что уже успело потрясти весь мир: убийственный приход тридцатиметровой высоты цунами на северо-восточное побережье.

— Сильнее Великого Кантосского?! — изумленно думал он, слушая комментарии.

Тогда, в двадцать третьем, эпицентр находился практически в Токио, город просто развалился на части и горел. Всего за полтора дня благополучную столицу буквально сдул огненный торнадо. Сто тысяч погибших, повсюду обугленные трупы. Если это землетрясение сильнее, то что же происходит теперь там, на Севере?

Показывали кадры из разных точек Тохоку, во время и после цунами. Тяжелое предчувствие охватило Яманэ, хотя и без того он не смог бы оторваться от телевизора. Тогда — огонь, теперь вода. «Сколько погибло?» — подавленно думал Яманэ, ожидая сводки по количеству пострадавших.

«Побережье префектуры Фукусима» — возникли иероглифы на фоне изуродованного пейзажа, который Яманэ не узнавал — и узнавал. Рельеф бухты и гор, оставаясь тем же, был искажен отсутствием признаков человеческой деятельности: дамба, маяк, линия белых прибрежных строений, одно- и двухэтажные дома чуть в глубине, на холмах, — все исчезло. От станции осталась только бетонная платформа. Яманэ рефлекторно мотал головой, не веря, и впиваясь глазами в экран. Город был маленьким — 16 тысяч человек, но если представить себе 16 тысяч трупов!.. Он просидел у телевизора до часу ночи, думая, что увидит еще раз те же кадры, но ему показывали другое: выброшенные на берег рыболовецкие и пассажирские суда; выбитые цунами поселки; жуткий захват морем прежде безопасных территорий; людей, с крыш и балконов следящих за подступавшей водой. Первые цифры подсчитанных жертв были какие-то несуразные: 411 погибших, 560 погибших... К полуночи стали говорить про тысячу человек. Яманэ этому не верил и понимал, что это всего лишь разбег.

Он все не мог отвлечься от мыслей о доме в Томиоке. Понятно: масштаб его потери ничтожен в сравнении с этими драмами. И все же, все же... В уме он пересчитывал размер потерянных сбережений; месяцы труда. Все же это было куда меньше объема мечты, которую смыло вместе с домом.

Хорошо, что Сатико была в Ниигате, — подумал он. — Как они теперь доберутся оттуда? Мысли были вялые, его утомили события дня, и он допоздна не ложился.

Усталость и стыд... усталость и вина? С этим непонятным чувством Яманэ, не выключая телевизора, пошел в постель, но спалось ему плохо. Ночь прошла, как на борту корабля: в постоянной мелкой ряби толчков, не всегда слышных даже посуде, но ощутимых телу. Время от времени эта рябь словно разбавлялась довольно сильными ударами волн, то бортовых, то килевых. Яманэ просыпался, таращился в телевизор на цифры баллов в системе оповещения, снова засыпал в монотонной качке.

Из-за всего этого и встал он довольно поздно, в восемь.

* * *

Вчера в школе объявили, что субботние занятия отменяются; просили только учителей, живущих поблизости, прийти к 12 часам, помочь с уборкой в

кабинетах: часть интерьера и обычного школьного декора — портреты классиков, грамоты и карты — была повреждена. В классах привинченная мебель устояла, но в учительской был полный разгром.

Проснулся Яманэ с мыслью, что надо ехать в Томиоку. Конечно, сегодня он не мог этого сделать, но, по крайней мере, до школы он хотел попасть на вокзал и посмотреть, восстановилось ли движение поездов и, возможно, купить билет на завтра.

Яманэ перекусил под плохие новости: репортажи были один другого тягостнее, агентство «Киодо» теперь давало прогноз в тысячу семьсот жертв. После завтрака он вышел из дома и отправился пешком до Уэно. Через тридцать минут он был на вокзале, где удивился собственной глупости.

Огромную станцию опоясывали, стекаясь ко всем ее входам-выходам, длинные очереди в тысячи людей — одни с грудой чемоданов, другие только с кейсом или рюкзаком. Было много иностранцев. Линия «Кэйсэй», идущая в аэропорт Нарита, была еще закрыта, движение синкансэнов не восстановилось. Все надеялись, что в ближайшие часы откроют хоть какую-нибудь линию. Сотни ждали здесь с вечера или раннего утра, и, уже измучившись, прилегали на ступенях парка Уэно. Многие, прямо в костюмах, сидели и лежали на бетоне тротуара. Здесь, конечно, были и десятки полицейских; их засыпали вопросами, пытаясь выпытать больше, чем они знали.

Яманэ прошел к зданию вокзала и попытался войти, но и там все изменилось: пространство от входа и до отдаленной линии кассовых окошек тесно заполняла толпа — мужчины в костюмах, менеджеры, офисные сотрудники, чьи планы сегодня были сорваны. Они стояли, ожидая объяснений администрации вокзала и сведений о графике движения поездов. Впереди, перед толпой, был виден небольшой помост, и синие мундиры полицейских с мегафонами.

От картины сотен одинаковых черных затылков и темных пиджаков Яманэ стало не по себе. Он оставил идею пробиться внутрь, и, вернувшись на площадь, обратился к полицейскому:

— Какой у вас трудный день... А мне нужно завтра ехать в Томиоку. Как мне купить билет?

Полицейский, молодой парень с участливым лицом, нервно засмеялся:

— Извините, вряд ли это возможно. В направлении Тохоку поезда не ходят.

— Не ходят, — машинально повторил Яманэ, который и сам видел, что поезда не ходят ни в одном направлении.

— Понемногу сегодня будут восстанавливать график, но в сторону Тохоку даже неизвестно, когда откроют движение, — с состраданием сказал полицейский.

Яманэ поблагодарил его и повернул, чтобы идти в школу. Бредя вдоль очередей, он сочувственно разглядывал всех. По тому, что творится с транспортом, непохоже, что Сатико сможет вернуться в ближайшее время.

Действительно, ни на двенадцатичасовом сборе, ни позже Сатико с коллегами не появились.

Учитывая силу прошедшего землетрясения и уровень разрушений на Севере, всем посоветовали запастись водой — и питьевой, и технической, а также продуктами.

К вечеру, когда все понемногу разошлись, Яманэ добросовестно походил по окрестным магазинам и аптекам и составил запас минеральной воды и

бутылочного чая литров на сто. Кое-кто тоже покупал воду, но особого ажиотажа пока не было.

* * *

Воскресным утром сила привычки подняла Яманэ в пять часов. Полежав с закрытыми глазами, он понял, что не уснет. Пришлось встать и произвести все привычные действия, как обычно перед поездкой в Томиоку. Он умылся, поджарил тосты и сидел, медленно жуя, не понукаемый временем. Газовый обогреватель гудел под боком, разгоняя утренний холод.

Как следует подумав над положением в Токио, Яманэ понял, что лучше принять некоторые исключительные меры. Он все же решил сделать небольшой запас продуктов, чтобы хватило недели на две. Продукты — это вопрос транспорта, а сейчас доставка нарушена. Значит, не будет лишним немного позаботиться на случай перебоев.

С этими мыслями днем он подкупил сухой лапши, риса, крекеров, сушеной морской капусты, шоколада, нелюбимых им в другое время субпродуктов — растворимых супов, готовых завтраков.

Сегодня он сделал еще несколько рейдов за водой — частью ради Сатико. Прогулялся два раза к ее дому и обратно, оставив под дверью шесть пятилитровых бутылей.

...

Вечером, около девяти часов, под звук телевизора, Яманэ не сразу услышал тихий стук в дверь.

Сатико прибежала в спортивной куртке и большом вязаном шарфе.

— А! — с облегчением сказал он. — Как хорошо: вы благополучно вернулись. Я купил воды на вашу долю, видели?

— Да, спасибо за заботу, — проговорила расстроенная Сатико. — Вчера с большим трудом к поздней ночи доехали... Такой ужас...

Он колебался, говорить с ней на улице или звать в дом.

— Яманэ-сэнсэй, извините, что пришла без предупреждения: телефоны еще не работают.

Следующие фразы дались ей нелегко:

— Мне очень страшно; дом у меня ненадежный, все время толчки. Извините за неудобство, но не могли бы вы сегодня переночевать со мной?

Яманэ быстро осмотрел улицу — не слышит ли кто. И тихо сказал: «Хорошо, вы идите. Если я приду к одиннадцати — это нормально?»

Она с признательностью поклонилась.

«А, чуть не забыла: успела купить для вас местное печенье. Нехорошо, что в такое время, но все же возьмите», — она протянула ему небольшую коробку с голубыми кораблями на упаковке и отступила, поворачивая к дому.

Закрыв дверь, он начал приготовления: собрал тонкий футон, завернул в фуросики¹⁶ три одеяла и подушку. Взял свой любимый бутылочный чай в аварийный рюкзак и еще минителевизор.

Ему было немного тревожно, что он идет проводить ночь в доме женщины, к тому же своей коллеги, но он видел, как боится Сатико, и приготовился служить охраной.

...

Сатико встретила его так, будто ждала и не могла дожждаться. Одета она была по-спортивному — на случай эвакуации. Внося свою поклажу и извиняясь,

он спросил, где ему лечь. От чая он отказался. Квартира Сатико была из двух комнат — шесть и девять татами. Яманэ остался в маленькой.

— Вы знаете про Танэмура-сан? — тихо спросила Сатико. — Кажется, ее бабушку с дедушкой вместе с домом унесла цунами. Они ведь жили в этом городке, Рикудзэнтаката — а его полностью накрыло водой. Такое несчастье. Она еще ждет подтверждения, но, похоже...

Яманэ покачал головой — сказать было нечего.

— Вас не будет раздражать, если я в изголовье оставлю телевизор включенный? На всю ночь. А то ведь всякое может быть. Если что объявят, я услышу. Уже два дня так сплю. И вещание сделали круглосуточное.

Получив ее согласие, он расстелил futon и, не раздеваясь, лег.

— И надо новости смотреть, и сил нет, — проговорила Сатико. — Час назад говорят: полторы тысячи, через час — две, еще через час — две с половиной тысячи погибло...

Ее рюкзак тоже был собран и стоял у двери. Оттуда выглядывали пакет сэмпэев, бутылка воды и какие-то тетради.

Яманэ, не дожидаясь, пока она выключит свет, накрылся одеялом и сразу уснул.

...

В пять тридцать он проснулся и быстро, по-солдатски, собрал futon. Он уже подхватил рюкзак на плечи, и тут через седзи увидел: в комнате Сатико зажглась лампа.

— Доброе утро, — тихо сказал он, и услышал в ответ тихое, но оживленное:

— Доброе утро!

— Вы хорошо спали? — спросил Яманэ. — Кажется, ночью была пара довольно сильных толчков.

— Очень хорошо, спасибо! Не то, что в прошлую ночь. Все благодаря вам.

Яманэ решил оставить телевизор — своего у Сатико не было. Новости и другую информацию она искала через интернет.

У двери его нагнал вопрос Сатико:

— А вы хорошо спали, Яманэ-сан?

Он в замешательстве ответил:

— Да, хорошо, — но честно добавил: — От мысли, что поблизости красавица Сатико-сан спит, иногда просыпался.

Засмеялся над собой и вышел.

* * *

Входя через два часа в школьный холл, Яманэ обнаружил новое: большой стенд для размещения оперативной информации. Там висел и номер свежей газеты.

— Слышали: уже три тысячи с лишним трупов насчитали! — бросил ему на ходу Кагава-сан, отправляясь в спортзал. Яманэ неприятно поразила его грубость. Он подошел к развороту «Йомиури симбун» и увидел в сводке цифру «3105 погибших», которая была, по сути, самообманом. Еще 11 794 человека числились пропавшими без вести.

Во вчерашних газетах он читал, что уровень угрозы второго большого землетрясения все еще составляет 70 процентов. Но стали разрастаться и худшие новости: проблемы с реактором на атомной станции Фукусима. Печатали

схемы реактора в разрезе, с длинными комментариями ученых. Похоже, что цунами была не последним несчастьем.

Яманэ пошел на второй этаж, в свой класс. Мимо него большой группой вверх по лестнице пронеслись старшеклассницы в своих темно-синих «морских» костюмах. У Яманэ, как всегда, перехватило дыхание при виде их голых бедер из-под мини-юбок, в любой сезон без чулок или колготок. Школьные юбки были стандартной длины, по колено, но их высоко закатывали под пояс — как стройные и длинноногие, так и приземистые толстушки.

Проведя долгий день в школе, Яманэ начал думать, где будет ночевать сегодня.

После уроков предстояло раздать ученикам специально подготовленные инструкции для них и для родителей: как быть в случае повторных сильных толчков, и как меняется расписание спортивных занятий и внеклассных уроков.

Несмотря на ропот мужской половины учеников, были отменены тренировки по бейсболу — токийский воздух в эти дни не самый полезный для легких. Хуже всего, что никто не давал мало-мальски дельных прогнозов. Создавалось впечатление, что власти больше полагаются на милость богов. Делают все что могут, но втайне просто надеются на чудо.

Яманэ еще с тремя коллегами, включая Сатико, раздавал инструкции на выходе. Он чувствовал, что она неспокойна и пытается как-то заговорить с ним, но ей было неловко.

Улучив минуту, он спросил:

— Сегодня как быть?

— Если возможно, очень вас прошу, — быстро прошептала она.

Вернувшись домой после семи, он поужинал и, проверив мобильный, обнаружил, что сеть восстановилась. Сегодня, на четвертый день, он подумал, что может позвонить соседям по Томиоке, спросить, как там дела.

Хотя он своими глазами видел репортаж, чувство нереальности продолжало владеть им. Он хотел убедиться, что не ошибся. Теперь Яманэ уже понимал, что разрушенным домом дело не обошлось. А участок? Кому он нужен — в зараженной радиацией местности?

Но, в конце концов, он был в Томиоке только дачник. Его соседи, те, кто жил там постоянно, оказались в куда худшем, фактически отчаянном, положении.

Яманэ начал со звонка Симотакэ-сэнсэю, чей участок был бок о бок с его. Симотакэ был университетский преподаватель и несколько лет — заведующий кафедрой. Они с Яманэ были не ровня, но все же оба из системы образования, так что Симотакэ общался с ним вполне дружелюбно.

Яманэ с уважением смотрел на его просторный двухэтажный каменный дом, на небольшой сад вокруг дома — хоть и не традиционный японский, но очень привлекательный.

Он набрал номер Симотакэ, но сразу же механический женский голос сообщил: абонент недоступен. Это пока ничего не значило. Яманэ искал в книжке и набрал номер Хаттори — профессионального строителя, жившего тоже неподалеку, от которого он получил пару ценных советов. Та же история, что с Симотакэ.

Тут Яманэ вспомнил, что домашний номер Симотакэ у него тоже есть, и позвонил на домашний. Линия молчала. Яманэ заволновался. Он отложил сотовый и включил телевизор.

Где-то в префектуре Иватэ на развалинах поселка или городка телегруппа бродила следом за женщиной лет шестидесяти, которая молча и медленно, двигаясь, как сомнамбула, разбирала деревянные завалы — все, что осталось от ее дома. Поднимала что-то и роняла обратно, откладывая в кучку. Журналистка, молодая девушка, пробовала говорить с ней, но в ответ слышалось какое-то мычание, глухие «ун» и качание головы.

Вдруг женщина потянула из хаоса некий предмет. Это оказался фотоальбом; женщина отвернула обложку, камера наехала и показала парадную черно-белую фотографию: юная пара в свадебном уборе, жених в формальном кимоно и невеста в роскошной накидке и особом головном уборе — цуокакуси.

— Это ваша свадьба? — ахнула девочка-журналистка.

— Ун, — послышалось над альбомом.

— А, как хорошо! — воскликнула опять девочка, — хорошо, что нашелся. Какая вы тут красивая!

Женщина рукой все обтирала и обтирала альбом, не останавливаясь.

Картинка сменилась: лет семидесяти с лишним, деревенского вида мужчина показывал в камеру место, где прошла цунами. Он бодрился, как только мог. Его дом на высоком холме уцелел, но в низине, где была основная деревня, теперь расстился плоский пейзаж: измельченные деревья и камни, дома и коммуникации валялись толстым неряшливым ковром на местности.

— Вот тут она села в машину, — показывал рукой мужчина. — Я смотрел вон оттуда. Быстро за покупками хотела съездить, — с болезненно долгими паузами говорил он. — Через пять минут пришла цунами... Увижу я ее или нет? — спросил он и заплакал.

Яманэ стало совсем тяжело на душе. Переключив канал, он услышал очередную уточненную цифру жертв — четыре тысячи пятьсот человек. Но без вести пропавших было уже четырнадцать тысяч. Следить за ежечасным нарастанием цифр было невыносимо.

Он выключил телевизор и, колебавшись, набрал номер Икэмицу-сан. Икэмицу был бизнесмен: его роскошный, построенный столичным архитектором, дом стоял через дорогу. Дом был европейский, в средиземноморском стиле; справа, на небольшой площадке, мощеной терракотовой плиткой, часто стояли шезлонги.

Икэмицу с каким-нибудь приятелем, сидя там, пили коктейли.

Номер Икэмицу молчал, как и первые два.

Но, может быть, их местная сеть еще не работает, — подумал Яманэ. — Кому бы позвонить, чтобы узнать, живы они или нет, — соображал он, забыв, что изначально он хотел узнать у них, стоит ли его домик на месте.

Неожиданно он представил Сатику в шезлонге с коктейлем.

Впервые он подумал, что, может быть, глупо было приглашать ее в свой деревянный «чайный» домик, если рядом стоят эти прекрасные каменные дома. Сидеть на деках перед старой хибати и созерцать особняки, пруд с карпами у Икэмицу — такое ли это удовольствие для молодой женщины?

Тут Яманэ спохватился, что уже десять тридцать, и пора перебираться к ней. Набрал мобильный номер, спросил:

— Я скоро выхожу... Это вовремя? Уже удобно?

Услышав обрадованное: «Да, пожалуйста, жду вас», — взял рюкзак и отправился.

По дороге он думал, как хорошо с ее стороны не спрашивать его о доме, хотя она, конечно же, поняла, что случилось.

* * *

Утром, в семь с небольшим, они столкнулись на Сэндаги Нитемэ. Вывернули из-за разных углов, направляясь к школе. На остановке садилась в автобус группа младших школьников — к обычной форме добавились оранжевые стеганные наголовники. Теперь их обязали носить такие, пока не будет снижен уровень угрозы второго сильного землетрясения.

— Спасибо за сегодня, Яманэ-сэнсэй, — сразу сказала Сатико. — Только я волнуюсь, что вы не высыпаетесь, особенно с телевизором.

Она говорила немного в нос.

— Телевизор — это ничего, — решил отшутиться Яманэ. — Сегодня я просыпался от храпа Сатико-сан.

— Что, правда? — воскликнула она.

— Да-а, сегодня ночью я слышал, как храпят в Фукуока, — продолжал Яманэ весело, но тут же перебил себя: — Шучу, шучу, — хотя, и правда, ночью он слышал, как Сатико несколько раз довольно громко всхрапнула.

— Ужасно, — сказала она, быстро зашагав и глядя перед собой.

— Да это неправда, — нагоняя, повторил Яманэ.

— Я знаю, что правда — дело в том, что я немного простудилась, нос не дышит. В такое время я вполне могу храпеть.

— Ну, вы уж берегите здоровье, — пробормотал Яманэ. — Это ничего; вы приятно храпите.

— Нет, — отмела Сатико, — ничего приятного быть не может. Яманэ-сэнсэй, сегодня не приходите, пожалуйста. Я не хочу в таком состоянии... при вас храпеть.

— Ну а если толчки? — растерянно спросил он.

— Буду надеяться, что нет!

— Ну что ж, тогда сегодня полечитесь в одиночестве, раз так... А будут сильные толчки, я сразу позвоню вам на мобильный, — решил он.

— Вот это очень прошу, — подхватила Сатико, — буду благодарна. А сейчас не возражаете, если я вперед пойду? — слегка поклонившись, она ускорила шаг.

...

Кажется, даже ученики стали понимать серьезность положения. Обычно беспечные, они все как-то нахохлились, у некоторых был потерянный вид. Впрочем, это было связано и с тем, что многих ребят, едва закончится учебный год, родители собирались отправлять подальше от Токио — на запад, в Кансай, а то и за границу. Яманэ уже слышал об этих планах.

Как ни странно, толчок таким идеям дало поведение европейцев. Наблюдая за коллегами-иностранцами, которые сразу начали эвакуировать семьи, японцы и сами понемногу поддались тревожным чувствам. Те, кому позволяли средства, позаботились забронировать билеты и гостиницы для детей.

«Еще десять лет назад, не говоря уж про пятьдесят, вряд ли такое было возможно, — думал Яманэ. — Приятие судьбы — это чувство всегда было главным. Так и сидели, ожидая, что произойдет, молясь, не пытаюсь найти личный путь к спасению. А теперь вот...»

Конечно, в Тохоку и до сих пор так — наверняка, местные бродят вокруг

своих разрушенных поселков, по зараженной земле, и не помышляют никуда бежать. Да им и некуда. Но здесь в Токио, в других больших городах, по-европейски сильный инстинкт самосохранения, доходящий порой до неприличия, до забвения долга, японцы наблюдают близко. Сохранить если уж не свою жизнь, то жизнь детей, спасти семью — ради этого отмечается все прочее. Таков европейский путь. Много стало и смешанных браков: союзов, в которых женщина, европейка, настаивает на приоритете семьи. Это новое для японца. Вот сейчас эта высылка собственных детей из страны... может быть, это и правильно...

Однако, следуя такой логике, надо бы махнуть рукой на все занятия, схватить свое чадо сейчас же и закинуть его в самолет на ближайший рейс. Нет, на такое японцы еще не способны: образование — это святое. Но однажды поддавшись чувству страха за ребенка, будут теперь трястись до конца полугодия, с билетами до Осаки, Нахи, Пномпеня, Нью-Йорка на руках.

«Японский фатализм, разбавленный европейским индивидуализмом, — размышлял Яманэ. — Ни туда и ни сюда, это даже опасно».

Его мысли подкрепил еще и разговор, который состоялся сегодня с Мацунага-сан, отцом Масару, учеником выпускного класса. Мацунага заехал за сыном, чтобы забрать того после занятий. Было уже известно, что Масару благополучно зачислен в Университет Кэйо. На весенние каникулы Мацунага собирался отправлять его, кажется, в Китай.

— Нет-нет, — смущенно пояснил Мацунага, — свои каникулы он сам заранее планировал. Все же выпуск, перед Университетом — вот и хотел себе организовать такое путешествие по Азии. Он и деньги долго копил. Поедет в Бангкок сначала, потом во Вьетнам, а вернется через Китай. Ну да, теперь, когда все это случилось, он чуть не отменил... Я настоял, я очень настаивал, что не надо менять планов — это правда. А вот его сестры старшие не хотят никуда ехать, стыдят меня. Да, вот так: стыдят отца. Это позор, говорят, уезжать из Японии в такое время. У них тетка живет в Рио-де-Жанейро, хотели туда отправить — не едут, категорически. И в результате: мы остаемся с вами в Токио, говорят нам... Я даже в какой-то степени, можно сказать, горжусь ими. Но все-таки один у меня сынок... надежда моя. Его мы отошлем.

— Так Масару-кун не откажется уехать? — переспросил Яманэ.

— Я его упросил. Мы с женой упросили. Недели три-четыре пусть там поживет, лучше посмотреть из-за границы, что тут будет. Он и китайский знает. Если вдруг некуда станет возвращаться, сможет там работать.

«Некуда станет возвращаться...» — повторил про себя Яманэ. Мацунага-сан выглядел, как обычно: приятное спокойное лицо, мягкий голос. Разница была в его лексике, выборе слов, как почувствовал это Яманэ.

— Все же надо деток наших спасти, по возможности, — добавил Мацунага и придвинулся ближе к Яманэ, понижая голос. — Даже там, если вы обратили внимание, почему-то больше всего стариков спасается. Детей много погибло, и среднего возраста людей, наших ровесников тоже. А старики — спасаются, даже странно как-то, — виновато улыбнулся Мацунага. — Стариков в Японии избыток, детей недостаток, и даже тут... опять.

На этом месте пришел Масару, и они попрощались с Яманэ.

Выйдя из школы, Яманэ вдруг понял, какой впереди длинный свободный вечер — надо бы убить хоть немного времени, и он зашагал в сторону Янака-Гиндзы.

В этом году я, кажется, ни разу не выпил пива, ну и ну, — припоминал Яманэ. — Потом куплю, пожалуй, тэмпуру и съем дома с рисом.

Подходя к «нама-биру сэки», он готовился встретить Дика. Пару дней назад увиденный мельком Дик почти испугал его, и Яманэ постарался пройти незамеченным. Неприятная картина — уже не в обычном пивном, а куда более сильным подпитии, с отеками глазами, небритым и злым лицом, похожий на тэнгу¹⁷.

Так и вышло. Яманэ приблизился, и, поздоровавшись, убедился, что Дик сегодня еще более заросший и помятый. Стараясь держаться, как обычно, Яманэ взял пива и присел неподалеку.

Начал Дик, хмыкнув в его сторону:

— Смотришь на щетину?.. Я столько работаю в эти дни, что не успеваю бриться!

Яманэ кивнул с сочувствием.

— А знаешь, что за работа? — желчно продолжал Дик. — Я должен отвечать на десятки писем своим клиентам, которые ВСЕ как один отменяют приезд. Отмены! Отмены на полгода вперед... Они идиоты: они пишут мне, что здесь теперь опасно. Объясняют это мне... Разве здесь есть радиация? Пусть газеты говорят, что угодно — в Токио нет радиации! Просто не ехать на север, и все. Но нет смысла объяснять им, у страха глаза велики... Бог мой, сколько я уже потерял! «Мы надеемся на ваше понимание... Обстоятельства так переменялись...» Они даже позволяют себе просить меня вернуть им залог! И все же мне приходится быть стопроцентно вежливым, когда я пишу им, что *они этого не дождутся!*..

— Дик-сан, вам лучше побриться, — сказал Яманэ.

— ОК, я побреюсь, — мрачно пообещал Дик. — Завтра побреюсь. ...Только этим идиотам, своим клиентам, я скажу, что у меня щетина выпала от радиации. Это же то, что они хотят услышать.

Понимая, что говорит очевидное, Яманэ все же попробовал подбодрить его:

— Много людей гораздо сильнее пострадало, а у вас остается и жизнь и бизнес...

— Какой бизнес? Мой бизнес — рушится... — медленно и с нажимом возразил Дик. — Что? Что я должен делать? У меня были планы!..

Хозяйка магазина засмеялась; Дик с раздражением оглянулся на нее. Яманэ решил, что нет пользы уговаривать Дика, и даже слегка оробел от его напора. Продолжать общение было тягостно.

— Я маленький пример, — спохватившись, завел Дик. — Посмотри на местные реканы, та же история. В сезон — и своих пятнадцать-двадцать человек наскрести не могут. Посмотри на «Саваноя»: хозяйка только на пороге не стоит, туриста высматривает... А этому все нипочем, — пробормотал он вдруг. Проследив за его взглядом, Яманэ увидел, как возвращается домой парикмахер Юки — в черном и белом, с аккуратно уложенной стрижкой.

В следующий момент Дик и Яманэ, оторопев, следили, как Юки меняет обычную траекторию, идет прямо на них, садится и заказывает пинту.

— Что, выдалась свободная минута? — недоверчиво пошутил Дик.

Юки кивнул:

— Все клиенты уехали. Работы нет. Иностранцы все сбежали.

— А у тебя, что, и правда, все иностранцы были? — присвистнул Дик.

— Двести человек в списке, теперь остались двое. Конечно, японцы приходят и некоторые новые гайдзины тоже приходят. Но все-таки, мои двести человек... Все уехали. Потрясающе. Некого стричь...

— Немножко потерпите, — сказал Яманэ. — Японцы умеют терпеть, это важное качество.

— Да-а, — протянул Юки, и улыбнулся. — Только у меня шестнадцать работников. Надо думать, как быть...

— Так мы с тобой в одной лодке, старина, — вскричал Дик, неприятно хохоча. — Что, теперь каждый вечер будем тут сидеть?

— Они теперь не гайдзины, а флайдзины¹⁸, — вступила в разговор хозяйка, подавая Юки его пинту. — Да-а, вот так они теперь делают: бросают Японию...

— Им приказали их правительства, — пожал плечами Юки. — Как они могли отказаться, если посольство говорит им: все обязаны эвакуироваться...

— Да и без посольства побежали, и не посольские, — настаивала хозяйка.

— Мы привыкли, — сказал Яманэ, — с детства привыкли, уже не боимся. А для них это шок. Пусть едут, придут в себя и вернуться.

Расправив плечи, Дик сказал:

— Ну все-таки, не все уехали, да?

Юки взглянул на голый череп Дика и послушно подтвердил:

— Не все...

Возвращаясь домой с тэмпурой в руках, Яманэ чувствовал, как меняется к худшему и без того нерадостная погода — поднимался ветер, тучи ходили совсем низко.

Вообще, после землетрясения резко похолодало — оно словно остановило наступающую весну. Вернулась февральская промозглая погода. Сакура, еще неделю назад готовая распуститься, теперь как будто застыла. Яманэ, успевший сменить зимнюю куртку на весеннюю, вчера опять достал ее из шкафа и утеплился. Все в природе глядело как-то мрачно: солнце почти не показывалось из-за туч.

С сегодняшнего дня по телевизору начали транслировать обращения выживших. Время от времени передачи прерывались, чтобы дать место тридцатисекундному обращению кого-то с Севера. Мужчина сообщал, что выжил и находится в приюте для пострадавших, и просил откликнуться своих сестер и жену. Или мальчик-школьник говорил, что спасся и ждет своих родителей в такой-то больнице. Родители искали детей, супруги — друг друга, почти без надежды, с полными слез глазами. Но все эти обращения кончались словами: «Будем держаться!», «Не сдавайся, Япония!» или «Держись, Тохоку!» Оттого, что их производили люди, уже так много потерявшие, сжималось сердце.

На Севере не было электричества, газа, разрушенные дороги не позволяли подвезти достаточно продуктов. Весь регион Канто перешел на режим экономии. Токио, погасивший рекламные вывески, отключивший половину освещения, тоже был сумрачен. Магазины и рестораны закрывались вечером на 2-3 часа раньше. Количество поездов в метро сократили. В супермаркетах к полудню полки были уже пусты.

Сатико продержалась один день.

Утром в среду она, не выдержав, снова обратилась к Яманэ с просьбой о ночевке. К тому же новости, пришедшие из газет и с телеэкранов, устрашали и не таких, как она.

Двадцать одна тысяча погибших — в эту цифру верилось с трудом. Хотя шестнадцать тысяч из них пока называли пропавшими без вести, иллюзий никто не питал. Еще полмиллиона человек лишились крова и оказались в убежищах.

— Стыдно признаваться, но я вчера умирала от страха. Спала всего пару часов, а остальное время просто дрожала под одеялом. Хоть толчки и небольшие, но какой ветер был, и ливень! Едва окна не побило! Все говорят, что радиоактивные дожди теперь идут над Токио. Наверное, такое вот и есть военное положение, как вы думаете, Яманэ-сэнсэй? — говорила она в оправдание.

Яманэ гордился доверием Сатико.

— Разрешите, я с сегодняшнего дня буду угощать вас ужином, поэтому приходите пораньше. Я причиняю вам столько беспокойства...

Этот первый ужин, который она приготовила — салат с морской капустой, жареную савару с рисом и даже простой, но вкусный суп мисо — Яманэ очень оценил.

Все же ужин у них был невеселый.

— Это правда, Яманэ-сан? — спросила Сатико. — Я смотрела новости в Интернете: европейские медиа пишут, что сегодня в Токио радиационный фон был в сорок раз выше нормы.

— В сорок раз? — Яманэ ничего такого не слышал, ему стало не по себе. — Европейцы... — пробормотал он, — они многое преувеличивают.

Все же он не мог сказать наверняка, и обещал завтра спросить своего товарища, который иногда писал для газеты «Асахи».

— Завтра... — подавленно сказала Сатико. — Ведь не зря же нас просили не использовать кондиционеры.

Действительно, еще утром в связи с возможностью радиационного загрязнения воздуха муниципалитет Токио рекомендовал всем оставаться в домах, не пользоваться кондиционерами и даже кухонной вентиляцией.

Сатико объяснила, что теперь надо каждый день есть морскую капусту: в ней много йода, который помогает при повышенном радиационном фоне. Они успели посмотреть телевизор. Яманэ услышал, что родители Сатико просят ее как можно скорее вернуться в Фукуока, так как в Канто теперь небезопасно, кто знает, на сколько лет вперед.

— Лучше вернуться, — подумав, сказал Яманэ. Он совсем забыл, что Сатико есть, где укрыться, и теперь обрадовался за нее.

— В любом случае, я не уеду до конца учебного года, — погрустнев, сказала Сатико. — Это еще две недели. И потом — как же я всех брошу?

— Мы будем в порядке, — уверенно заявил Яманэ. — Вы об этом не думайте. Лучше уехать и не волновать родителей.

От сытного ужина его клонило в сон. Сатико убрала со стола и оставила комнату в его распоряжении.

...

Яманэ проснулся от того, что Сатико трясла его, и с неприятным чувством, что она делает это довольно грубо. Но он ошибся — Сатико трясла его совсем слегка, за плечо, остальное довершали толчки. Звук у телевизора был совсем низкий, и Яманэ сразу же прибавил громкости.

— Толчки идут из Фукусима-кэн, — как раз сказал комментатор.

Из-за неработающего кондиционера в доме было очень холодно. Лицо у Сатико было бледное и испуганное. В спортивных трикотажных брюках и джемпере, надетых на пижаму, она продолжала сидеть возле его футона. Рюкзак ее был рядом.

— Кажется, кончилось? — спросил Яманэ.

И сразу же по полу прошла волна, окна задребезжали.

— Яманэ-сан! — схватила его за руку Сатико, сжавшись, и дернулась в сторону двери. — Наверное, надо уходить из дома!

— Снаружи быть тоже не очень хорошо, вы же сами говорили — может быть, воздух...

— Не знаешь, что хуже... со всех сторон... — проговорила Сатико.

— Все в порядке. Все в порядке, — повторял он, хлопая ее по руке.

— Нет, не в порядке, — прошептала она. Нервы у нее, похоже, были на пределе.

При новом толчке она упала головой на край его футона, потянув на голову одеяло.

У Яманэ заныло в животе. Он продолжал хлопать ее, теперь уже по плечу, приговаривая:

— Все в порядке!

Сатико быстро поднялась и говоря: «Пожалуйста, перейдемте туда», перебежала обратно в свою комнату. Яманэ не понял, и остался лежать, переводя глаза с телевизора на темный квадрат окна. Из комнаты донесся голос Сатико:

— Яманэ-сан... вы не могли бы сегодня спать здесь, со мной?

Затрепетав, он прохрипел:

— Мне неудобно...

Стекла опять задрожали. «Теперь толчок силой 4,3 балла», — сказали на экране.

— Яманэ-сан, — чуть не плача, сказала Сатико, — неудобно, да. Но еще больше страшно. Холодно. Тоскливо. Прошу вас...

У него в голове стучали свои мысли:

— Я к женщине никогда не прикасался, — признался Яманэ. — Это ничего?

После короткого молчания Сатико тихо сказала:

— Но, Яманэ-сан, просто полежите рядом, немного...

Сердце у него колотилось от ее детской просьбы.

— Ну, только немного, хорошо? — бодро спросил он, поднимаясь. Шагнул в ее сторону, вспомнил, вернулся — убавить звук телевизора, передумал, оставил так, быстро прошел к ее комнате и впервые увидел ее постель — светлый в темноте футон и темные волосы на подушке.

— А-а... с какой стороны? — заметался Яманэ, бросаясь вправо и влево; и увидел, как она отгибает одеяло. Он нырнул туда, вытянувшись на самом краю, и, нащупав слева руку Сатико в свитере, судорожно сжал ее.

— Ах, как неудобно, — опять пробормотал он свое, переводя дух, и тут Сатико придвинулась к нему, касаясь плечом.

Он сразу же рванулся ей навстречу. Они прижались друг к другу; Яманэ, потрясенный, гладил ее серый свитер по спине и рукам.

— Первый раз я женщину обнимаю! — счастливо засмеялся он.

Он наслаждался ощущением изгибов ее тела под руками, и тут почувствовал руку Сатико на своей груди, на застежке джемпера.

— Пожалуйста, пожалуйста! — забормотал он, отрывая с мясом пуговицы

рубашки, и затем: — Как жарко! Потому что вдвоем! Можно это снять? — и, получив в ответ ее кивок, стянул с себя джемпер.

Следующие четверть часа ушли у него на то, чтобы между объятиями избавлять ее и себя от предметов одежды. От стеснения он немного суетился, но действовал довольно ловко. Только вначале он замер и с сомнением спросил: «А что можно делать?» — и, услышав ее великодушное «Все можно, что хотите» — выдохнул с благодарностью.

Он словно лепил ее тело, жадно сжимая руки на плечах, талии, бедрах, бросался вверх, чтобы еще поцеловать в губы, возвращался к животу. Обычно немногословный, Яманэ, не останавливаясь, нес счастливую чушь — о ее красоте, о своем новом опыте и задавал множество вопросов. Он сегодня еще был не любовником, а исследователем-натуралистом, и Сатико предстояло это вытерпеть, хотя временами она с трудом подавляла смех.

— Теоретически я знаю как, но нужно потренироваться, — прилежно говорил он. — Вы потерпите, хорошо?

Через пять минут труда потребовал:

— Вы почему не стонете? Надо стонать!

— Ну не сразу же так! Потом обязательно буду, — отворачивалась Сатико, пряча улыбку.

Глядя ее грудь, Яманэ восторгался:

— Потрясающе! Бюстгальтер — чашечки F, наверное!

— Яманэ-сан, — шепотом вскрикнула изумленная Сатико, — откуда вы знаете?!

— У меня голова умная, — задыхаясь от счастья, заявил Яманэ, и тут же сознался: — Учился в Интернете, извините!

Вдруг отстранившись, он сгнул руки в локте, демонстрируя ей бицепсы и торс:

— Сатико-сан, как вам?

— Нравится, — с чувством отвечала она.

Яманэ был и смешным и милым. Страхи совсем ушли от нее. Телевизор, продолжая работать, в который раз выдавал красный предупредительный сигнал о новом толчке где-то на Севере. Вслед за сигналом, через пару минут, содрогание приходило и сюда. Сатико этого не замечала.

...

Яманэ не позволил себе долго нежиться. Отдышавшись возле нее, он попросил разрешения принять душ. Быстро вымылся, оделся, прилег с краю на одеяло и принялся откашливаться.

— Первый раз я целовался сегодня. От поцелуев горло, что ли, садится? — с удивлением спросил он, действительно, немного сипло.

Сатико, от холода прячась в футоне почти с головой, наконец рассмеялась:

— Вы же говорили, не переставая!

— Я и на уроках говорю... Нет, это, наверное, от волнения, — размышлял Яманэ. — Сердце колотилось, и сейчас еще...

Он собрал и аккуратно разложил рядом с футоном ее одежду и с особым чувством — белье.

— Просьбу можно? — застенчиво сказал он. — А завтра пусть другого цвета белье будет... это приятно.

— Завтра?.. — не сдержалась Сатико, и от ее интонации Яманэ съежился. Сатико сразу пожалела о своем тоне.

— Завтра, завтра, — подтвердила она, глядя его по плечу, и Яманэ вернулся к жизни.

— Я вот что скажу вам, — прошептал он серьезно. — Смотрите, сколько людей, у которых завтра уже нет, а у нас есть. Я это хочу ценить, очень ценить, и Сатико-сан, вы тоже цените.

— Правда, я очень ценю, — отозвалась она, пристыженная. Кажется, она действительно влюбилась в Яманэ.

— Например, если ребенок получится, — подхватил Яманэ, — это хорошо. Я детей очень люблю, — с убеждением сказал он. — Пусть Сатико-сан скажет, что тоже хочет ребенка.

Она засмеялась:

— Хорошо-хорошо! Раз Яманэ-сан настаивает. Но тогда от воспитания не уклоняйтесь!

Несмотря на эту игру, Яманэ видел, что она тоже счастлива, и радостно улыбался.

Глядя на нее с локтя, он вдруг вспомнил, и, отведя глаза, вздохнул:

— Мой домик смыло, извините...

Сатико не знала, что сказать, и похлопала его, утешая. Ресницы у нее были мокрые.

— Ничего, ничего! — поспешно сказал он. — Это я не жалуюсь. Главное, мы живы с вами. Мы другой дом построим. Большой, для нашей общей жизни. Обязательно! Вместе построим, да?

— Вместе, — отозвалась Сатико.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Онсэн — горячий источник, а также гостиница, построенная на горячем источнике; как правило, в живописной природной местности.

² Ивабуро — бассейн или ванна, сложенные из камней. Два вида традиционных ванн в онсэне — каменная и деревянная (в том числе, например, в виде лохани).

³ Ротэмбуро — бассейн или ванна под открытым небом, где лежат одновременно любующься видами горных, лесных или морских пейзажей.

⁴ Футон — японский матрац (фактически кровать), который используют в традиционном японском доме; днем футон складывают и убирают, освобождая тем самым пространство комнаты.

⁵ Седзи — стенные клетчатые рамы из легких деревянных планок, оклеены полупрозрачной бумагой. Заменяют в традиционном японском жилище окна.

⁶ Около 50-ти долларов.

⁷ Синкансэн — высокоскоростная сеть железных дорог Японии; в узком смысле «поезд-пуля», развивающий скорость свыше 400 км/ч.

⁸ О-бэнто — «обед в коробочке»; еда, которую японцы берут в поездку, на экскурсию, на работу или в школу. Как правило, это отварной рис и рыба, мясо, овощи и т.п.

⁹ Хибати — переносная жаровня для обогрева на углях, сделанная из металла, глины или фарфора.

¹⁰ Ман — денежная купюра эквивалентом около 100 долларов.

¹¹ Кинкан — специфический сорт цитрусовых, мелкого размера.

¹² Норэн — вывеска в форме занавеса, которую используют магазины и рестораны, вывешивая над входной дверью в рабочие часы.

¹³ Онигири — рисовый колобок, бывает с разнообразными начинками — от сливы до икры, что существенно влияет на его цену.

¹⁴ Рекан — традиционная японская гостиница.

¹⁵ Манкай — «полное раскрытие» (япон.) — дни цветения, когда бутоны на сакуре раскрылись все. Манкай длится день-два, после этого цветы быстро опадают.

¹⁶ Фуросики — большой платок, в зависимости от размера используется для переноски мелких или крупных вещей.

¹⁷ Тэнгу — персонаж японской мифологии, существо огромного роста, с длинным носом и красным лицом. Похожими на тэнгу выглядели для японцев первые встреченные иностранцы.

¹⁸ Флайдзин — неологизм, возникший в период землетрясения 2011 года (fly, англ. — летать, прикрепленное к японскому «человек» — дзин). Применялся только к иностранцам (гайдзинам), поспешившим покинуть ставшую неблагополучной Японию.

Александр Тимофеевский

Случай, произошедший
в университетском Ботаническом саду
Балчика в Еньов день

Силаботаническая поэма

*Так ангел на пути в Эдем
Вздохнул, и пролилась прохлада,
И тень от гор свежее чем
Тень Ботанического сада.
А там, где ангел пролетел,
Блеснули три парящих пташки,
След ангела запечатлел
Мобильник старенький Наташки.
Друзья, божественный каприз
Не воссоздать и вполовину,
И посмотреть с вершины вниз
Не то, что снизу на вершину.
Здесь сад искусственный, дворец,
А там цветы на горных склонах.
Ну что ж, я понял, наконец,
Спор Марсия и Аполлона.*

Песня болгарских крестьянок на празднике в Ботаническом саду:

В поле жито колосится,
А трава примята,
Ты ищи цветя, девица,
С утра до заката.

Ищи, дочка, цветя в поле,
Ищи в лесе, дочка.
Если хочешь лучшей доли,
Сорви царь-цветочка.

Царь-цветочек голубою
Искрой загорится —
Твой любимый за тобою
На коне примчится.

Старик с газетой:

Раньше девок я баловал песнею,
А теперь получаю я пенсию.

Лирический поэт:

Какие платья и венки!
На сердце, обнажив зарубку,
Старушечки и старики
Меня уводят, взяв за ручку.
Какие лица и глаза,
Какое праздничное действо!
Болгарских женщин голоса
На миг меня вернули в детство:
Вот церковь белая, Донец,
Людьми заполнена дорога,
Со мною бабушка, отец,
Хороших, добрых очень много.
Иванов день в разгаре дня,
У всех в руках цветы и ветки.
И люди любят все меня,
Относятся ко мне, как к детке.
С разбега падаю в траву,
Где одуванчики крылаты
Под легким парусом плывут,
Как настоящие фрегаты.
Плывите в детство, корабли,
Где смысла здравого ни грамму,
Где любят запахи земли
Сильней, чем собственную маму.

Лекция экскурсовода:

...Гуляя по Ботаническому саду,
Вы легко развеете грусть и досаду.
Наш парк, это знает каждый болгарин,
Не раз посещали Армстронг и Гагарин,
И узнавши о быстром росте бамбука,
Всегда изумлялись: вот так штука!
У входа в сад стоит древний тополь,
Охраняет лужайки, лестницы, тропы.
Его возраст вычислить проще простого —
Посажен до Рождества Христова.
Обратите внимание на мои слова —
У нас удивительные деревья...

Дама с собачкой:

Сначала я не увидела ничего,
Просто увидела ЗЕЛЕНИ ГОРУ.
И ЭТО было больше всего,
И больше всего походило на гору.
Зеленое на листья не членилось
И все в одну сторону накренилось,
И долго, долго, долго смотрев я
И упиваясь красотой зеленой,
Поняла, что ЭТО
Горизонтальные деревья,
И каждое заканчивается кроной.
Я стала перелистывать ветви,
Как в книге страницы:
На мелкие ветки садились птицы.
Я видела листья, я видела ветки,
Целое членилось — появились детки.
И мысль об этом странном деленье
Мозг пронзила мне, как игла,
Потому что дерево было в отдаленье,
И я видеть этого не могла.

Лирический поэт:

Над синим зеленое.
Склонилось всеми ветвями над морем.
Дерево, что ты там потеряло?

Лекция экскурсовода:

...Мы начинаем всегда наши лекции
С осмотра кактусовой коллекции...
Теперь пройдем по ступенькам вниз,
Вас обвеваает легкий бриз.
Такое увидите в жизни не скоро —
Слились в один два синих простора...

Лирический поэт:

Жить в ритме моря,
Жить в ритме гор,
Ни с чем не споря.
Впитать в себя
Морской простор,
Ритм гор и моря.

Бомжеватый поэт:

Объелись морем в чистом виде.
До округленья пуз и щек,
Сидим на набережной, сидя,
А хочется сидеть еще.

Лекция экскурсовода:

...Дворец направо, водопад налево —
Направляемся ко дворцу королевы...

Бомжеватый поэт:

Не хочу тратить евро и левы,
И купаться, где камни у скал,
Я бы жил во дворце королевы,
И туристов туда не пускал.

Лекция экскурсовода:

...Узкая башня венчает здание.
Вот вам о королеве предание:
*Ночью лунною ранима,
Проглотив пирамидон,
Здесь владычица румынов
Выходила на балкон.
Обнаруживала в небе
Ненавистную луну
И бросала ее в гнев
В набежавшую волну.*

Бомжеватый поэт:

Здесь чайки галдят на птичьем базаре,
А над базаром наш главный розарий...

Если кормите чаек, не стоит, друзья,
Церемониться с этой скотиной:
Я вот булку ей бросил, она, как свинья
Булку жрет вместе с грязною тиной.

Лекция экскурсовода:

Возле розария прошу господ посетителей задержаться.

Лирический поэт:

Вот я схватываю глазом
Дерево, под ним обрыв.
Дерево стоит, все разом
Ветви к морю обратив.

	Аромата розы тонко Подступает полоса. Разом птички и ребенка Раздаются голоса.
Вульгарная дама:	Понаехали иностранки-засранки И оставляют детей на полянке. Дети просят мамкину сиську, А матери ходят пьяные в сосиську.
Бомжеватый поэт:	Я шагал от лужи к луже В Ботаническом саду, Целовал весь день лягушек В романтическом чаду, Все искал я Василису — Целовал в глаза и рот. Вдруг из зарослей ириса Кто-то шепчет: идиот.
Старик с газетой:	И не сеют, и не пашут, И не косят, и не жнут — О чем пишут, зачем пишут, Видно, сами не поймут.
Из записок практиканта:	Сегодня ночью случилось чудо. В 23.25, по обыкновению, спустился к морю и, проходя мимо розария, услышал, как роза тригинитипитала произнесла по-болгарски: добър вечер! Господи боже мой, если я доложу об этом Манчевой, она решит, что я рехнулся.
Дама с собачкой:	В сердцах, самой себе назло, Я свой маршрут переменила, Но дерево меня звало, Но дерево меня манило. Раскинувшись, как ход конем, Оно собой обозначало, Что где-то происходит в нем Чего-то нового начало. От мощной кроны до корней Его, казалось, кто-то лепит. Нет, не ко мне, скорей к волне, К ней относился листьев трепет. Я убегала от него И возвращалась вновь обратно, А зелень листьев с синевой Сливалась так невероятно, И дерево над гладью вод Само собой могло лучиться. Я понимала, что вот-вот Должно быть, что-нибудь случится.
Старик с газетой:	Что-то будет напоследок, Как покину этот свет, И оттуда своих деток Я увижу или нет?
Лирический поэт:	Своими увидал глазами, Поверить трудно, господа, Ведь, если бы вы мне сказали, Я б не поверил никогда.

Та роза к этой наклонилась,
И что вы скажете: молчит? —
Нет, роза шепчет: мне приснилось
Название милое — Балчик.

Черновик неотправленного пресс-релиза:

Уважаемые дамы и господа! Имеем честь пригласить вас на пресс-конференцию, посвященную сенсационному открытию, которое, вне всяких сомнений, станет главным событием не только третьего тысячелетия, а всей истории человеческой цивилизации.

Дирекция Университетского Ботанического сада Балчика.

Лирический поэт:

Сидел старик на скамейке,
Головой уткнувшись в колени,
А ветер шнырял по кустам,
Увидел газету, и она полетела,
Как большая грузная чайка,
Но долго летать не могла
И легла на клумбу с цветами.

Разговор трех роз

Первая роза:

Когда густеет пар в долинах,
И даль, как море, глубока,
Из тех пылинок тополиных
Родятся в небе облака.
На мир взирая удивленно,
Они гуляют голышом
На синем небе и зеленом,
На малом небе и большом.

Вторая роза:

Пронесся ангел в мире тонком,
Пролив на землю благодать,
За ним три ласточки вдогонку.

Первая роза:

Ах, как им хочется догнать!
Вот так собачки за машиной
Бегут, ее облаяв всласть.

Вторая роза:

День не прошел и вполовину,
А в небе звездочка зажглась.

Третья роза:

Не пора ль сказать нам людям,
Что цветы и звезды — сестры,
Не пора ли передать им
Моря с деревом беседу,
Не пора ль открыть им тайну,
Тайну смерти и рожденья?

Первая роза:

Взгляни, что здесь прочла в газете я.

Третья роза:

Да, слишком я поторопилась,
Мы умолкаем на столетия.

Татьяна Кузовлева

Исповедь скорбной души

Да полно, скорбной ли? Мятущейся — да! Раздираемой страстями — да! Переполненной стихами — «если бы мне в детстве сказали: "Саша, ты всю жизнь будешь писать стихи, но не увидишь их до 59 лет напечатанными", — я бы все равно сочинял... Это как бы заложено в меня помимо моей воли».

Ну и, конечно же, исповедь души, денно и нощно молящей о любви. И противоречивой (признается в дневниках: «Поэзия дарует нам великую льготу — право на противоречивость чувств»). И неукротимой в состязании со временем. Души, помеченной сумасшедшинкой, ждущей, когда «...вновь наступит вдохновения Эпилептический припадок».

О такой сумасшедшинке писала Мария Петровых: «Там сходит дерево с ума / При полной тишине. / Не более, чем я сама, / Оно понятно мне».

Потому и числит себя Александр Тимофеевский «поэтом Хиросимы», что невозможно сердцу, обожженному Божьей искрой, не слышать всечеловеческой боли и скорби:

... Я думал лишь о том, что нужно
Кричать о совести, о чести.
И я кричал, и лез из кожи,
И повторял одно и то же
Про этот взрыв невыносимый —
Я был поэтом Хиросимы.

Поэт провозглашенного им самосожжения — он «на звенящей площади стиха» снова и снова возрождается всем естеством своих строк, он пишет много и жадно, не может иначе: вбил себе в голову почти двадцать лет назад, что он — «опоздавший стрелок»...

Но разве можно опоздать с такими стихами, какие почти документально воспроизводят суть телефонного разговора Сталина с Пастернаком, диктатора с поэтом — о судьбе Мандельштама:

«Живот положить за друга —
Прекрасней поступка нет.
А участь живого трупа...»
«Да, но... — возразил поэт, —
Товарищ, скорей, по цеху,
А это не то, что друг».
«Испуг, — отвечал со смехом
Диктатор, — всегда испуг!»
«Да, но... от событий грозных
Тень ляжет на вас со мной.
Нам надо, пока не поздно,
Про вечность...» — Гудки, отбой.

Факт этого разговора интерпретировался не однажды многими литераторами, но так пересказать его ни одному поэту не удавалось. Да и брался ли кто за это, не знаю...

Александр Тимофеевский.

Один из интереснейших поэтов нашего времени, автор первой тоненькой книжицы «Зимующим птицам» (1992), а впоследствии книг «Песня скорбных душой» (1998), «Опоздавший стрелок» (2003), «Сто восьмистиший и наивный Гамлет» (2004), «Письма в Париж о сущности любви» (2005), «Размышления на берегу моря» (2008), «Краш-тест» (2009), «Ответ Римского друга» (2011) и других, для взрослых и для детей, книг, замеченных и оцененных критикой.

Александр Тимофеевский, прорвавшийся к читателям мыслью, голосом, страстью через несколько десятилетий вынужденной молчанки — после публикации в 1957 году подборки стихов в самиздатовском рукописном «Синтаксисе» Гинзбурга. Привлекший к себе карающее внимание Лубянки стихотворением «На смерть Фадеева» (ему еще и двадцати четырех не исполнилось!). Точнее было бы назвать — «На самоубийство...», поскольку Фадеев застрелился, когда стали возвращаться из сталинских лагерей им же, Фадеевым, спроваженные туда его коллеги и друзья. «Как приговор соцреализму / Твой выстрел короткий звучит...» Ну и, конечно же, — напрашивающийся вывод: рано ставить точку, «Пока существует основа. / Покуда система жива». Такое не прощалось «системой», шло наперекор ей, взрывало «примету времени — молчанье».

Не потому ли он всегда ощущает себя человеком неформальным, то бишь — внутренне свободным, что так вспоминает детство: «старшие подарили мне Пушкина и Гоголя, Рублева и Врубеля и то, что словами не выразишь. Они подарили мне целостное восприятие себя самого и своей родины, того, что дает человеку душевную ясность и бодрость, без чего жить на земле скучно и неинтересно»?

Редкостное в наши дни по органичности слияние личности и родины, сформированное русской классикой, — с таким багажом невозможно променять «душевную ясность и бодрость» на рабское воспевание любой государственной системы.

Чем я сильнее люблю свою страну,
Тем больше государство ненавижу.

Поэт — всегда мыслит иначе, не как большинство. По-другому жить ему «скучно и неинтересно» — просто ушла бы из стихов захватывающая головокружительность жизни, когда так упоительно

Мечтать о небе синем,
Летя с балкона вниз,
Лежать на гильотине
И слушать птичий свист.

Его стих тверд и гибок одновременно, его мысль всегда точна — иронична она или грустна, озорна или горька. Его стихи, вызревшие чувством и мыслью, трудно удержать, закупорить в себе.

Они вырываются из души, из горла, неведь кем и откуда продиктованные. Недаром в них, едва не разбиваясь о землю, безумно мечтается «о небе синем»,

не зря под «птичий свист» осязается шеей холодок гильотинного ножа. Не случайно они продолжают пастернаковское «строчки с кровью — убивают...» — своим, не менее жестким, требующим от поэта «полной гибели всерьез».

Он хитрит, убеждая нас: «Уже я больше не спешу». А сам спешит, и еще как. Ему нельзя не спешить. И походка у него стремительная: помню, летел через весь Малый зал ЦДЛ к микрофону на одном из поэтических вечеров так размашисто, что мне показалось — сейчас эта огромная седая птица разворотом крыльев сметет напрочь и микрофон, и все, что на пути окажется.

Он уводит нас от себя пустой обмолвкой: «Под дудку времени пляшу».

И если близкий ему Тарковский откровенен в признании: «Я долго добивался, / Чтоб из стихов своих / Я сам не порывался / Уйти, как лишний стих...» — то Тимофеевскому и добиваться этого не надо — он в своих стихах весь, с головой, по его стихам можно изучать подробно поэтическую анатомию его души. И ее правду, и ее фантазии.

Он, может, и пляшет, и ерничает («И даже я, вместилище греха, / Морального образчик разложения...»), но уж никак не под дудку времени:

Я не служил сексотом,
Доносов не строчил...
...Но был я человеком,
Познавшим стыд и страх,
Виновным вместе с веком
Во всех его грехах...

Откуда он?

Из того самого детства, где Пушкин и Гоголь, Рублев и Врубель. Он родился в Москве, довоенное детство провел у бабушки под Харьковом, в городе Изюме. Бабушка — Юлия Васильевна Наседкина, учительница, была знакома с Буниным и даже, кажется, была влюблена в него. В этом доме всегда звучали стихи.

А потом все резко меняется: война, блокадный Ленинград, эвакуация. Возвращение в Москву. А еще потом — Литературный кружок Центрального дома пионеров в переулке Стопани в Москве, в котором уже тогда о нем, пятнадцатилетнем, кружковцы говорили, как о талантливом лирическом поэте и где в феврале 1951-го года были по доносу арестованы семнадцати-восемнадцатилетние его старшие товарищи (всего-то старше на два-три года!), опасно возжаждавшие перестроить «систему» по Ленину... Трое из арестованных мальчиков были расстреляны, остальные — и девочки, и мальчики — отправлены в лагеря. Это было первым его потрясением. Встречал он некоторых из них, возвратившихся из лагерей, спустя четыре года после смерти Сталина, в 1956-м, на вокзале, с бывшими кружковцами и будущими прозаиками Владимиром Амлинским и Михаилом Румером.

И в молодости, и в последующие годы он, окруженный компаниями, внутренне всегда сам по себе. Он перманентно одинок — не такое уж редкое состояние для поэта. Он вспоминает 1958 год, когда

...у дверочки
Ведущего в неясность входа
Стоят мои друзья и девочки
Из пятьдесят восьмого года.

А 1958-й — это год окончания сценарного факультета ВГИКа. Начало самостоятельной жизни, когда на вопрос «чей я?» среди откликающихся на этот вопрос ответов — единственный, определивший судьбу:

Ты не мой, — земля сказала.
Ты не мой, — сказала небо.
Был тем криком полон воздух...
Кто ж со мной? — спросил я строго.
Ты не наш, — твердили звезды.
Я, — ответила дорога.

Он мотается со съемочными группами по всему Союзу, пересекает пространство от Москвы до Душанбе и обратно по несколько раз в год. Что он знал в пятьдесят восьмом о своей будущей судьбе? О первой трагической утрате — гибели в Душанбе двадцатитрехлетней жены? О том, что стихи, которые он не переставал писать никогда, начнут приходить к читателю лишь с 1992 года, когда поэту будет под шестьдесят?

Жизненный путь Тимофеевского всегда шел в опасной близости к реальному, не поэтическому инакомыслию, вился возле сталинских «сидельцев» разных сроков и возрастов, рядом с позднейшими правозащитниками застойного времени.

Не случайно тридцать седьмой номер трамвая вызывает у него живые ассоциации с тридцать седьмым годом, летя обратным ходом в прошлое, растворяясь в нем:

Там дед по матери моей
И дед другой — отец отца.
В затылках милых мне людей
Довесок — девять грамм свинца...

Александр Тимофеевский словно несет на себе мету отторженности, отверженности от любого официоза, от любой литературной группировки, но при этом не выстраивает вокруг себя вакуумное пространство — он общителен с друзьями, его дом гостеприимен, он мастер остроумных застольных бесед и щедр на чтение своих и чужих стихов. Его дом — его мир, в котором дремлет под чтение стихов пушистый серый кот под клетчатым пледом; мир, в котором мужчина обращается к женщине: «Я умру и стану морем, / Ну а ты повремени, / И живи себе без горя / Годы долгие и дни...» И мне вспоминаются строки Леонида Темина: «У поэта должна быть такая жена — / ах, какая должна быть жена у поэта...»

Он все еще ищет в себе — себя, но еще более ждет, ищет отклика на свои стихи. Ищет читателя. Не лъстя ему и не самообольщаясь:

Ты скажешь: «Он нужен народу...»
Помилуй, какой там народ?
Всего одному лишь уроду
Он нужен, который прочтет.
И сразу окажется лишним —
Овация, слава, почет...
Один сумасшедший — напишет,
Другой сумасшедший — прочтет...

Будто бы не знает, что отклик родины никогда или почти никогда не приходит ни к одному поэту вовремя.

Впрочем, тут не всегда дело в России. Тут — больше о читателе. Но что корить его, если времена переменчивы и глухи к стихам? Не великодушнее ли простить и отпустить на волю, как это сделал бы Светлов, как это написал и сам Тимофеевский?

И если над строчкой моею далекий читатель заплачет,
Ему прошепчу я: «Не надо, не надо, чудак!
Ведь все изменилось, у вас здесь все стало иначе,
И ты этот стих понимаешь немножко не так...»

«Немножко не так» понимают друг друга мужчина и женщина, у каждого — своя память:

Мы говорим: ты помнишь, помнишь?
Мы говорим ей: ты забыла
Тот пляж, тот сад и то авто.
А женщина не то любила
И помнила совсем не то.

Однажды в разговоре с Людмилой Улицкой услышала спокойное: «Я пишу для трех-четырех человек, мне достаточно их мнения». А тут — поэт: ему нужно немедленно и постоянно слышать голоса не только всего и всех что есть его родина, но и вселенной, и космоса, втиснутых в нее, потому что все это — его Россия. Иначе — он убит горем, он упирается в тупик:

Иду сквозь улицы глухие,
куда, Бог весть, ответа нет.
В закрытое окно России
не достучавшийся поэт.

Он не стыдится своей житейской рассеянности, под которой, я уверена, подписались бы многие его собратья по перу, и я — в том числе:

Я выход путаю и вход
И, впав в уныние и робость,
Задумчиво вхожу не в тот,
Не в тот вагон или автобус.

Я вижу его, как в перевернутый бинокль, совсем рядом, не по подсказке:

Да вот и сам я, вот...
Вон у того портала —
Одно плечо вперед.
Другое чуть отстало.

Но по необъяснимой воле воображения он видится мне отнюдь не у портала, а вышагивающим вдоль Патриарших или Чистых прудов, растворяясь в коротком сумраке летней ночи.

Я перечитываю его строки, написанные Единственной Женщине. У нее могут быть в разные времена — разные имена, и это мало что значит, она

всегда — Единственная, и к ней — его отчаянная мольба, его призыв, похожий на звериный утробный вопль:

Единственная, возлюбленная, невеста моя, звезда!
Сердце болит. Возьми билет! Прилети ко мне сюда!

Ей — его шепот, похожий на легкий выдох:

Как бабочки, тебя касаться,
Стремясь не повредить пыльцу...

Станиславскому один из актеров пожаловался на репетиции, что не знает, как передать на сцене жестом любовь. Станиславский ответил: «Прикосновением»...

...«Если оглянуться назад, — пишет Александр Тимофеевский в дневнике, — меня можно считать баловнем Господа Бога. Меня любили друзья и женщины».

Баловнем — то есть счастливецом его будем считать и мы, читатели, друзья — еще и потому, что Бог одарил его талантом прощения:

Я счастлив тем, что, находясь на дне
Бессмысленной и злой каменоломни,
Не помню боли, причиненной мне,
И зла, мне причиненного, не помню.

Словно подводя предварительный итог прожитому, невольно вторя Святому Августину, провозгласившему в «Исповеди» на стыке V–VI веков, что реально у каждого из нас есть только настоящее, которое вмещает в себя прошлое и будущее, Александр Тимофеевский по-своему развивает эту мысль: «Я всю жизнь писал, ставил какие-то задачи себе, а жизнь движется с невероятной скоростью, и возникают совершенно иные проблемы, иные ситуации, а я не успеваю на них среагировать. И каждый день — новый!.. Главное, наверное, это уловить смысл сегодняшнего дня, то есть жизни. Ее услышать и, насколько в тебе хватает творческой любви, ответить на услышанное, быть, как сказал Пушкин, эхом, но не ошибиться ухом...»

Может быть, это и есть — категория счастья?

Так думаю я, пока иду по старым московским переулкам от дома, где живут мои друзья, к ближайшей станции метро, подсознательно прибавляя еще один драгоценный день к отпущенным мне Богом.

Вячеслав Запольских

В зеркале пермских вод

Каменное время Осы

Когда подплываешь к Осе на теплоходе, над береговой линией открываются две доминанты: Троицкий собор и чертово колесо. Вокруг них естественно группируются старая и новая части города. Новой мы принципиально не интересуемся, разве что проедем на автобусе мимо гремящих попсой забегаловок и типовых жилых коробок, лишний раз убеждаясь, что всякое гордое желание сделаться немножечко Манхэттеном в наших широтах оборачивается неаккуратной репликой Гарлема.

А вот в старой Осе царит благолепная тишина, нарушаемая только негромкими постукиваниями молотков: хозяева усердно обшивают свои бревенчатые дома по фасадам аккуратными досочками, поправляют заборы — даже в выходной отнюдь не кучкуясь у магазинов, торгующих водкой. И самих-то водочных магазинов в старой Осе не расплодилось, а редкие покупатели интеллигентно ограничиваются чекушкой.

Пешеходные дорожки вымощены плиткой еще до революции, причем тротуар гидрографически грамотно выгнут дугой, так что луж и грязи бояться не приходится. Между тротуаром и проезжей частью — газоны с тщательно побеленными бордюрами и такими пышными цветниками из георгинов, гладиолусов, ирисов, которые пермский житель может позволить себе только на значительно удаленном от областного центра дачном участке. И ни один автодрандулет не смеет в Осе эти цветники утюжить колесами, поскольку пестуются газоны не муниципалитетом, а самими осинцами. Хорошим тоном считается частная инициатива по высадке деревьев. Растут в старой Осе липы, березы, рябины, лиственницы, почти с британской тщательностью подстриженные шиповниковые и вересковые кусты, а плебейских тополей почти нет. На пустырях, где так соблазнительно устраивать несанкционированные свалки, предусмотрительные обитатели близлежащих домиков разбивают мини-рощицы деревьев в десяток, и мусорных куч уже как-то не образуется.

Собаки по улицам бегают незлые, а кошки нежатся рекордно ленивые.

— Папа, — спросил меня малолетний сын, — неужели в Осе совсем нет гопоты?

— Помнишь, мы шли по мостику через ручей к церкви Казанской Божьей Матери, а в логу уже было накинано полно всякой пластиковой дряни? Гопота и здесь потихоньку заводится.

Но пока что — потихоньку. Причины нетипичной для нашей губернии патриархальной чистоплотности в какой-то мере могут отыскаться в изначальном тяготении

Осы скорее к Казани, нежели к Прикамскому краю. Но главное, город возник, в отличие от большинства уральских поселений, не возле горного заводика, а сам по себе, на торговом пути из европейской России в Сибирь. Поэтому население формировалось не из пришлых люмпенов, никакой собственно-сти не имеющих и потому ни свой, ни чужой труд не чтящих, даже принципиально выражающих свои хулиганско-революционные настроения в пакостничестве и безобразиях (от таковых пролетариев как раз произросла нынешняя наша гопота, гадающая в лифтах и паркующая свои «лендроверы» на газонах и тротуарах). Осинцы не пакостят, не хулиганят и революций устраивать не склонны. Их больше заботит возможность обихаживать собственное хозяйство и благоустраивать среду обитания.

Впрочем, осинцы падки и на шальное богатство, это тоже черта вполне купеческая. На другом берегу Камы, напротив Осы существуют какие-то пещеры, после строительства Воткинской ГЭС в них можно попасть, только ныряя, как граф Монте-Кристо. Местные жители верили, что в пещерах этих спрятан пугачевский клад. «Нет, — твердо заявляли ответственные товарищи. — Это остатки разработок медистого песчаника». Конечно, конечно. Был бы тут медистый песчаник — Оса не купеческим городком сделалась бы, а пролетарским поселением вокруг градообразующего медеплавильного производства. Но ведь сего не произошло. Так что версия о горняцких штреках — сознательно внедряемый миф. Чтобы народ дайвингом в ущерб здоровью не увлекался.

Печально, но в Осе имеется не только гопота, но и натуральные бомжи. Городские власти выделили им для бесплатного обитания вполне крепкий двухэтажный барак на самом живописном месте, на высоком камском берегу. Причем — на территории музея. Теперь бомжи разводят тут свои скромные огородики, сушат белье, а как поддадут — ломятся в музей за пищей духовной. Просят за бесплатно показать диораму. Или требуют допустить их до телефона, чтоб вызвать «скорую» (алкогольные суррогаты даром для здоровышка не проходят).

Думается, старинный город еще долго и стойко будет оборонять себя от натиска цивилизации, как оборонялся от пугачевцев, военного поражения в открытом бою все-таки не потерпев. Зато игру на нервах, стратегию не прямых действий совсем по Лиддел-Гарту (подкат вожов с сеном к деревянным крепостным стенам, «сейчас запалим!») осинцы не выдержали, ворота крепости открыли. Так что тихой сапой и эту твердыню благопристойности можно вынудить к капитуляции и отдать на поток и разграбление ларечникам и отможенным автовладельцам.

Но старая Оса покуда держится, инерция традиций здесь чрезвычайно велика. Пройдет еще не одно десятилетие, прежде чем осинцы сообразят, что живут уже не при социализме. Их убаюкивает милый магнитофонный голос пермского теледиктора Григория Барабанщикова, с классовых позиций комментирующий батальную диораму «Взятие Осы Пугачевым» в местном музее. Попросите местных жителей рассказать вам об автохтонных мифах и легендах, о здешних, образно выражаясь, привидениях. «А как же!» — оживятся они и расскажут, что здесь бывала Крупская и жили родственники Ленина — Веретенниковы, а осинский уроженец Мышкин сделался секретарем Замоскворецкой парторганизации и подписывал членский билет Владимиру Ильичу («А вы, князь Мышкин, — шутиливо обратился к нему Ленин, — собирались везти мой партбилет, так сказать, с доставкой на дом. Нехорошо, нехорошо! Да-с!» — *«Оса и Осинский район. Путеводитель. 1991»*).

Призраки прошлого, ржавыми цепями прикованные к революционным святам, отнюдь не бесплотны, они по-прежнему бродят по улицам, упорно хранящим патетику марксистских эпонимов, сгущаются до осязаемости в постсоветских книжках краеведческой тематики, где привычно клеймится Колчак и публикуются воспоминания «Как я стал чекистом».

Почему-то осинцы предпочитают гордиться тем фактом, что здесь причаливал

агитпароход ВЦИК «Красная Звезда», ненадолго высадивший на твердь Надежду Константиновну. Бюст боевой подруги пролетарского вождя, льстиво запечатлевший ее этак в семнадцать девических лет, стоит во дворе роскошного здания в стиле рационального модерна — бывшей земской управы. Почему здесь не поставили памятник Любви Орловой, к примеру? Артистка тоже причаливала к осинскому берегу — на более известном, чем «Красная Звезда», пароходе «Севрюга». Вместе с Игорем Ильинским и прочей киногруппой фильма «Волга-Волга». Слава богу, одна из улиц носит имя Виталия Бианки, жившего здесь в эвакуации. Но какую-нибудь «Советскую» или «Интернациональную» не подумали переименовать в честь Соколова-Микитова. Или Мотыля, который «Белое солнце пустыни». Или Ботвинника. Мало кто ведает, что несколько страниц «Двух капитанов» тоже написаны в этих местах: Ботвинник зазвал Каверина к себе в гости в деревеньку Богомягково под Осой, где в 1943-м жила семья шахматиста.

В качестве аллегории неподвижности бытия в Осе совершенно естественно появились уникальные каменные часы. Не подумайте, что это действующие куранты с каменными шестеренками. Просто — монументальная стела, на которой обозначен циферблат всего с четырьмя отметками. Они обозначают не часы или минуты, а века. Первая вежа — гляденовская культура II века н. э. Городище — археологический памятник, расположено прямо в историческом городском центре, но скрыто под помпезными мемориалами в честь пугачевского бунта, гражданской и Отечественной войн. Намертво вмурованные стрелки каменных часов указывают почему-то на XVII век, а не на XXI. Понятно, что каменные часы неподвижностью своей стараются всячески затормозить осинское время, но чем именно указуемое столетие оказалось значительным для Осы, неясно. Вроде бы после долгих дискуссий датой основания города признан 1591 год (а предлагались 1174-й, 1506-й, 1557-й, и все не без оснований), а знаменитый штурм осинской крепости Пугачевым имел место быть в XVIII веке. Создатели часов словно выбрали золотую серединку меж двумя знаменательными событиями, осторожность и тактика компромиссов никогда не мешают. А это ведь — качества коммерческие. То, что Оса в облике своем сохраняет черты именно купеческого города, замечал еще Бианки шестьдесят лет назад, да и по сю пору ее трудно воспринять как цитадель только нефтяного промысла.

Смешно сказать, но главные купеческие обороты обеспечивало здесь производство рогожных кулей. Несерьезно как-то, да? Но речная пристань, перевалочный статус города делали эту тару & упаковку весьма востребованным товаром. Обжиг кирпичей занимал лишь третье место, но если и сейчас взглянуть на заборы старинных каменных особнячков, можно догадаться, что кирпичиков в Осе производилось видимо-невидимо, иначе с чего б эти заборы превращались в длинные и толстенные, поистине крепостные стены, да еще с нарядным декором, только башен с бойницами не хватает... Не жалели стройматериала.

Каждый сохранившийся особнячок — произведение архитектурного искусства, вообще в Осе умели и любили строить красиво. Своевременно улавливая новые зодческие веяния. Про рациональный модерн земской управы мы уже упоминали, но есть здесь и еще одна современная постройка, бывшая земская школа — такое здание и в Перми — краевом центре, оказалось бы достопримечательностью, иллюстрируя стилистическую эволюцию от Кирилло-Мефодиевского училища («Муравейник») до Казанской церкви (усыпальница Каменских). С проклятым наследием прошлого вроде красивых и крепких каменных домов никто в Осе, слава Богу, бульдозерами не боролся, все они находятся в ухоженном состоянии и используются в основном под образовательные учреждения.

Менее состоятельные осинцы и деревянные свои жилища превращали в терема, оглядываясь на каменные хоромы соседей. Надстраивали дощатые парапеты над фасадами, а по бокам их сооружали некие фигуры, в которых, при некотором

напряжении фантазии, можно узнать деревянные аналоги каменных вазонов того же модерна. Приятно и поучительно видеть сегодня в Осе, что коттеджики из элитного кирпича и газобетонных блоков, с непременными башенками из учебника «История средних веков», огораживаются рабицей, а у стареньких, но заботливо подновляемых деревянных домишек курдонеры обнесены оградами из кованого металла. Богатенькие адепты неороманского стиля не постигли пока, в чем главный заборный кайф.

Судьба старинных деревянных зданий внушает больше опасений, чем каменных. Старая Оса застроена довольно-таки плотно, всунуться в архитектурную среду с коттеджиком затруднительно. Шелестят слухи, что потенциальные застройщики прибегают к методу «красного петуха», чтобы освободить местечко. Поиски деревянного, богато украшенного по фасаду дома купца Чердынцева привели нашего репортера к свежему пожарищу.

Иногда окаменевшее осинское время позволяет себе прилаживаться к самым современным изохронам. Один боевой генерал, осинский уроженец, в свое время к радости местной детворы прислал пару экземпляров боевой техники: танк (да не расхожую «тридцатьчетверку», а гигантский «ИС-2») и истребитель «Су-9». Сперва они стояли во дворе музея, а потом самолет решили переместить в парк аттракционов. Выволокли его на дорогу и бросили в ожидании транспортных согласований. Это в период-то всеобщей охоты за цветными металлами, ха-ха. Наутро самолета уже не было и дальнейшая судьба его неизвестна. На тяжелый танк, впрочем, никто пока не покусился. Однако каменные часы могут в очередной раз тикнуть, количество гопоты на душу осинского народонаселения возрастет, и прости-прощай, броня крепка...

Традиции купеческого размаха сегодня слабо подкрепляются крепостью финансового мускула. А так хочется размахнуться... Мемориал по поводу пугачевских событий в советское время отгрохали хоть безобразный, но амбициозный, опять-таки диораму заказали в мастерской им. Грекова — для райцентра раздувание щек предельное, да к тому же имеется диорама в музее природы, говорят, самая большая в Европе. Пермских художников Николая и Людмилу Зарубиных, над этой диорамой работавших два года, осинцы до сих пор вспоминают с уважением. Композиционно она решена так, что в ней органично представлены и времена года, и каждый суточный период, а если спуститься в подвальчик на несколько ступенек, то можно заглянуть в подводный мирок осинских водоемов. Диорама обрастает собственными легендами: «Вот этого медведя к нам привезли из Ленинграда в 1947 году, а все остальные чучела — местные. У нас даже японцы бывали, иероглифы свои оставили, означающие, что — понравилось».

Однако слайд-фильм, который, по замыслу художников, должен сопровождать экскурсию по диораме, «поломался», да и звуковое сопровождение барахлит. На крышу музея природы ведет винтовая лестница, там думали установить телескоп, да денег не хватило. Между музеем природы и музеем краеведческим громоздятся бетонные монолиты, из коих торчат проржавевшие железяки. Это постаменты для несостоявшихся памятников Пугачеву и Салавату Юлаеву. Жаль, что не состоялись (опять средств не хватило), а то ведь забавные могли получиться: постамент под Пугачева раза в два больше, причем вождя крестьянской войны намеревались увековечить пешим, а Салавата Юлаева рядом с Большим Братом, хоть и на коне, но неполиткорректно маленьким. Со стороны Камы эта композиция смотрелась бы оглушающе карикатурно.

Краеведческий музей расположен в перестроенном здании классицистического Успенского собора. Богатый когда-то был храм, на полу дубовый паркет, иконостас золоченый. Главный акцент экспозиции — пламя крестьянской войны, без каких бы то ни было попыток хоть мало-мальски переосмыслить бессмысленность и беспощадность. Видимо, для осинцев это — святое. Основной аутентичный экспонат — сучковатый посох пугачевского разведчика, внутри которого спрятан стилет. Сокро-

вище передавалось из поколения в поколение в семье Бегуновых, пока частинский учитель и краевед, представитель этой фамилии, не уступил многолетним уговорам осинского райкома и не поменял подлинник на специально изготовленную копию. А самый забавный экспонат — живописный портрет пугачевца, писанный современным художником с офицера военкомата. Н-да. Характерный разбойный генотип и за двести с лишним лет не поветрился...

Пермский художник Евгений Широков преподнес музею портреты как самого Емельяна, так и Салавата (опять — пеший и конный, большой и поменьше), а также историческое полотно, посвященное пребыванию в Осе Витуса Беринга, зимовавшего здесь перед броском на самую восточную оконечность Евразии.

Соседствующее с музеем здание, также отмеченное классицизмом, отреставрировано «на пять», я сперва даже думал, что музей именно здесь и расположен. Наивный. Тут — отделение федерального казначейства. А невдалеке имеется даже ротонда. Архитектурный стиль ее, правда, неопределим: плоская крыша лежит на железных трубах, но ведь — ротонда! И вид из нее на камские дали открывается великолепный.

Главный памятник осинской мегаломании — Троицкий собор. Размерами своими производил бы впечатление вулкана, внезапно выпертого подземными стихиями на плоскую земную поверхность, если б не первоклассные архитектурные достоинства (русско-византийский стиль) и богатый фасадный декор лекального кирпича. Приятно, что проект делал пермский архитектор Турчевич, а строили местные умельцы. Но до революции достроить не успели, а, судя по сохранившимся документам, он должен был оказаться еще величественнее и краше. При советской власти так и не смогли полностью использовать под атеистические хозяйды его громадные площади внутренних помещений. Теперь он стоит вовсе брошенный, только местные жительницы иногда проникают под купола, чтобы наскрести голубиного помета — лучшего огородного удобрения. Мною были обнаружены несколько свежих кровельных листов, положенных на крышу, а кое-где — подмазка свежей краской. Следы недавних выборов. У одного из кандидатов на должность главы местного самоуправления доверенным лицом была певица Екатерина Шаврина, так она выступила с речью в том смысле, что во многих странах была, но нигде такой красоты не видела, а потому дает наказ отреставрировать храм. Тут-то его и начали подмазывать, но победу одержал другой кандидат, так что как начали, так и бросили.

На вопрос «А кто же у вас теперь глава района?» представители старшего поколения даже не пытаются изображать на лице гримасу воспоминательного усилия. «Пусть, — говорят, — они там сами среди себя хоть кого выбирают, лишь бы нас не трогали». Трудно сказать, проявление ли это традиционной купеческой аполитичности, или позднейший советский пофигизм. Во всяком случае, богомольные местные старушки с гораздо большей заинтересованностью относятся к своим духовным пастырям и, говорят, не одного священника уже «съели», при малейшем прегрешении накатывая «телеги» в епархию.

И, наконец, о загадочной этимологии самого слова «Оса». Современные исследователи выводят его из вогульских, арабских корней, даже из русского «ось» (в смысле тележная). Инсектоидная версия популярностью у ученых не пользуется, к ней относятся с иронией. А зря. Во время нашего пребывания в Осе этих самых полосатых хищных насекомых порхало видимо-невидимо!

Добрянка — ягодка опять

- Папа, — спросила дочь, — Добрянка старше Перми?
- Старше.
- Она уже была столицей Пермской области?

— Нет, не была.

— Значит, еще будет.

Время не раз ставило этот населенный пункт на грань захирения и забвения, но счастливые случаи каждый раз не давали Добрянке раствориться в небытии периферийной малозначительности. Градообразующая краса и слава, — металлургический завод, — ушел под воду после строительства Камской ГЭС. Недалекий городок-завод Чермоз в такой ситуации обезлюдел, а Добрянке судьба улыбнулась: здесь построили домостроительный комбинат. Сырья было хоть отбавляй, бурно вырубался лес с будущего дна Камского моря. Но «зеленое золото» в окрестностях поистощилось, а ДСК в первые же постперестроечные годы обанкротился. Зато уже вздымались над рекой 330-метровые трубы ГРЭС. Между прочим, крупнейшую (тогда) в Европе тепловую электростанцию собирались строить сначала на Косье, потом возле поселка Бор-Ленск, но Добрянка опять чем-то приманила судьбовершительные силы и безоглядно шагнула в свой урбанистический период, принявшись оптимистично обрастать панельными многоэтажками.

Ничто не вечно под Луной. Ярино-Каменноложская нефть когда-нибудь исчерпается. А умелой акционерной рукой можно взять и положить на бок даже громады энергоблоков. Однако думается, что Добрянка сумеет найти новые ответы на очередные вызовы истории. Ведь место это непростое, несколько загадочное и не лишенное мистических свойств.

Представьте: все православные лояльно празднуют Радоницу, а жители Добрянки отправляются на гору Мендач и устраивают там языческое беснование под этимологически непостижимым названием «кашке-плишке». Средневековые ритуалы и ведьмовские заговоры практиковались тут до конца просвещенного XIX века. А может, и до середины XX. Чем, если не воодушевлением инквизиционного изуверства, можно считать доблестное раскрытие в глухой деревне Таборы организации румынских шпионов?

На Комаровской горе, доминирующей над старой Добрянкой, с 1836 года стоит Свято-Митрофаньевская церковь. Деревянная, она была построена в рекордные сроки, за пять месяцев. Хотя это, конечно, и не «уральский Афон» на Белой горе, но и в ее ауре отчетлив вектор благодатной связи с надмирными сферами. И нечто, имеющее отношение к чуду, в летописи этого храма запечатлено. После празднования Рождества в 1938 году церковь закрыли. Но местный житель Антон Николаевич Лузин, несмотря на свой восьмидесятилетный возраст, дважды ездил в Москву и добирался до самого Калинина. И произошло невероятное, удалось добиться разрешения вновь открыть храм. К октябрю того же года он снова стал действующим.

Уже в наши дни здесь служил отец Григорий (Ахидов). Говорят, каков поп, таков и приход. Так вот, при отце Григории прихожан у Свято-Митрофаньевской церкви было по советским меркам неслыханное количество. Довелось увидеть фотографию священника. Библейское облачко бороды, очки с сильными диоптриями, и какое-то излучение многомудрия и простоты, заставляющее мысленно проецировать это лицо на кипарисовую доску — если в том нет кощунства. Закончил свое служение отец Григорий не в Добрянке, а в поселке Юг, там и похоронен. Между прочим, в день его памяти все священство области имеет обыкновение приезжать на его могилку. Добрянцы, помнящие своего пастыря, называют его подвижником, не рискуя покуда употреблять преждевременный к этому слову эпитет. Не рискуем и мы, но, может статься, память отца Григория когда-нибудь будет почитаться не только его бывшими прихожанами.

А вышеупомянутый снимок хранится в летописи Свято-Митрофаньевской церкви, хронику из года в год пополняют члены приходского совета. История храма здесь запечатлена с 1888 года, с протоиерея Иоанна Орлова, приложена даже дореволюционная фотография батюшки вместе с семьей. Есть тут и фото «ходока» Антона

Лузина, и снимки чуть ли не всех пономарей, чтецов, псаломщиков, регентов, казначеев, просвирников и т. д. и т. п.

В середине позапрошлого века скромная провинциальная барышня, писать которую научил грамотный крепостной мальчик, до того увлеклась каллиграфическим процессом, что стала сочинять рассказы. И даже осмелилась послать их в столичные литературные журналы. Конечно, совершенно не надеясь на успех. А их взяли, и напечатали: Некрасов в «Современнике» и Салтыков-Щедрин в «Отечественных записках». Самое настоящее чудо, особенно если судить по нынешним литературным временам.

«Новая» Добрянка отмечена своими собственными тайными знаками. Ну почему — чем дальше от областного центра, тем халтурнее строители соблюдают технологию? Вот и приходится заново замазывать швы между бетонными панелями современных жилых домов, да заодно и трещины на самих панелях, отчего кажется, будто фасады украсились апотропеическими орнаментами жучков-древоточцев; в причудливых шрифтах этих тератологических дацзыбао самоуверенный визионер прочтет зашифрованные письма, предрекающие сокровенное будущее Добрянки.

Еще одна странность: этот населенный пункт, подобно Перми, «отвернулся» от Камы, хотя, казалось бы, всеми своими архитектурно-ландшафтными элементами должен быть ориентирован на речную красоту и динамику. Так нет же. Как Пермь встала к Каме затылком, а к убегающему в Азию Компросу — лицом, так Добрянка челом бьет сквозной Билимбаевской, ныне Советской, улице, а те здания, которые рискнули обернуться на реку, постигла злая судьбина.

Вроде бы лет десять с небольшим прошло с тех пор, как прекратилось судовое пассажирское сообщение с Добрянкой, но речной вокзал, чьи классические колоннада и фриз так гордо демонстрировали себя подплывающим путешественникам, обветшал до акропольной руинности. Невдалеке на берегу помаленьку рушится еще одно старинное здание. Судя по табличке, сохранившейся на разоренном фасаде, тут была библиотека. А если нашего репортера не подвели навыки источниковедческого анализа, в XIX веке в нем располагалось волостное правление.

Наконец, памятник архитектуры, контора Добрянского металлургического завода, также построенная на связностях «архитектура — речная стихия», подверглась к 380-летию города весьма выборочному реставрированию. Здание подбелили и подкрасили с трех сторон, а фасад, обращенный к Каме, так и оставили обшарпанным. Да, и еще окна заколотили металлическими листами, чтобы не видна была царящая внутри мерзость запустения.

Нашим репортером подмечена еще одна малопостижимая особенность, свойственная современной Добрянке. В районах панельной застройки нетрезвая молодежь чрезвычайно оживлена и энергична, если и присядет отдохнуть (за неимением патриархальных скамеечек) на придорожные металлические ограждения, то тут же совершит головокружительный кульбит, но скоренько с земли поднимется и опять на оградки лезет. А поодаль, за руинами речвокзала и волостного правления, на камском берегу пьяные подростки заторможены до чрезвычайности. Некоторые лежат и совершенно не шевелятся, а иные, впрочем, чего-то мычат и пытаются удержаться хотя б в сидячем положении. Но на окраине, этак в деревенском районе Комарово, подрастающее поколение трезвомысленно погружено в хозяйственные хлопоты, и умиительно видеть, как мальчишка с просветленным ликом гимназиста, уверенно шагающий к похвальному листу, трудолюбиво везет к отеческим грядкам алюминиевую флягу с водой на самодельной тележке; во внутреннем мире его звучат пассажи Листа и перелистываются страницы Шопенгауэра, и бесконечно далек от такого парнишки урбанистический панельный центр Добрянки с мишурными соблазнами цивилизации в виде баночного пива, «Иванушек International», лазерного шоу и новенького здания милиции, решенного в стиле романского казарменного сортира с

башенками. Почему-то такие полудеревенские парнишечки, праправнуки крепостных заводчан, но с породистым генотипом интеллигентов в –надцатом поколении, по окраинным избяным Комарово, Задобрянке, Рынку (ударение на последнем слоге) встречаются в изобилии, а вот в средоточии культурно-градостроительных достижений... Там шрапнелями носятся злющие осы и даже земля почему-то не родит. Навстречу фестивалю исторических городов Прикамья возле помпезной многоэтажки киноконцертного зала высадили аллею молодых елочек, можжевельников и липок, а они тут же начали рыжеть и сохнуть. Рядом с автовокзалом обнаруживается совершенно загадочная зона. Вроде как комплекс газонов с аккуратно побеленными бордюрами и тропками, выложенными тротуарной плиткой. Земля на газонах идеально разровнена граблями. Но тут ничего не растет. Даже сорняк не решается побег пустить.

Зато в центре композиции на небольшом пьедестале покоятся три каменюки иномирно-метеоритного вида. К одной привинчена мемориальная доска. Опыт подсказывает, что сейчас прочтешь: «Здесь будет воздвигнут...». Как бы не так. Попробуйте с трех раз догадаться, что за руны судьбы там высечены. Впрочем, и не пробуйте. «Память всегда на службе у сердца». Без подписи. Будто кто-то свыше надиктовал на скрижаль.

Этот артефакт, без сомнения, являет собой одну из сокровеннейших загадок современной Добрянки.

И все же она очаровывает — со своими снобистскими плиточными — или деревянными в три доски — тротуарами, с улицами, упирающимися в необходимость карабкаться метра на четыре вверх по ступенькам, лопатой вырубленным в крутеньком угоре. С плоским асфальтом центральной площади и театральными амфитеатрами всхолмленных окраин, где над крышами привольно расползшейся разномасштабными пристройками избяной усадьбы нависает кубический коттедж из элитного кирпича. Добрянка пронизана водой: одноименной речкой, сходящимся с ней под углом Вожем, барочной волютой камского залива, стрункой ручья, текущего по Сладкому Логу. Мосты и строгановская плотина завершают аллюзии с Канале Гранде и Порто-Маламокко, так что реклама санатория «Венеция» уже не кажется бессовестно амбициозной.

Фамилии добрянских граждан автохтонной фонетикой своею ласкают местно-патриотический пермский слух: Волеговы, Шехурдины, Кирпищиковы, Дощенниковы, Юшковы, Плюсины, Туневы, Сюезы... Последний *nomen gentile* запечатлен на самом видном из старых надгробий кладбища в ограде Свято-Митрофаньевской церкви. Чугунные намогильные плиты несколько стандартного дизайна (пухляцкие ангелочки с голубиными крылышками, растущими из ушей) во множестве отливались на заводе, но памятник И.Т. Сюезу, первому добрянскому учителю, поставили самый роскошный, в виде саркофага, богато орнаментированного металлическими гирляндами и кистями. А сын этого строгановского крепостного, Павел Иванович Сюез, прошел все ступени заводской службы и с 1877 по 1893 (год смерти) был управляющим Добрянского железоделательного завода. Изобрел новые листокальные валки — с закаленной поверхностью, учредил в крае телефонную связь, свою богатую библиотеку передал пермскому музею, был первым краеведом Добрянки, членом различных научных обществ и неоднократным гласным губернского земского собрания. Даже в наши дни, учреждая институт почетных граждан Добрянки, П.И. Сюеза внесли в список под №1. Именно по его эскизу была построена ставшая геральдическим символом города часовня во имя Святого Благоверного князя Александра Невского.

Часовню в честь чудесного спасения царской семьи Александра III (при известном крушении поезда) на свои средства отлили и смонтировали заводские мастера. Именно «отлили» и «смонтировали», потому что она была чугунной. Литые доб-

рянской узорчатости стоит вровень с каслинским, не случайно чугунная часовня ассоциируется со знаменитым павильоном, произведшим фурор на Парижской международной выставке и ныне хранящимся в Екатеринбургской галерее.

Сперва хотелось написать, что добрянские художественные изделия из чугуна по достоинствам своим идут сразу вслед за Каслями, но ведь соседское литье своей ажурной детализировкой и выбором персонажей подмигивает европейскому вкусу, а пепельницы, подставки под самовары, рамки для зеркал, полочки, садовые скамьи и столики, сделанные в Добрянке, следуют традициям невычурного уральского стиля. Их объемы обдуманно солидны и коренасты, аки купеческие особняки, даже заемные орнаментальные пальметты мясisty, наподобие лопухов. Отливки не идею невесомости транслируют, а принцип увесистой надежности олицетворяют. Стоит взглянуть на воротные кольца и дверные ручки из добрянского чугуна, хранящиеся в местном музее, чтобы еще раз анафематствовать аналогичный товар, ныне тотально торгуемый в магазинах «для дома»: все эти рукояточки пищат о своей тайваньской шикарности и турецком стиле *bazar*; взяться не за что, одна скользкая дешевая блескуность.

Вот и часовня-памятник являла собой типически местный пример понимания красоты и технологичности. Никаких иноземных роскошеств, чистота стиля и лаконичность декора. В 1932-м, понятное дело, этот шедевр разгрохали и пустили в переплавку, а в конце века вздумали восстановить. Как бы не так. Ни одно российское предприятие уже не взялось скопировать старинное литье, умения не хватило. Пришлось пустить в дело кирпич, а чугунными в новоделе оказались только памятные доски с фамилиями благодетелей, от дореволюционных мастеровых до губернаторствовавшего на тот момент Геннадия Игумнова. Но и эта неаутентичная копия на удивление быстро прижилась на святом месте оригинала, схватилась за здешнее пересечение силовых линий исторической памяти и географической мистики. Молодожены уже облюбовали объект для обязательного посещения в маршруте свадебного кортежа, изображение часовни вернулось в добрянский герб. Правда, кресты на часовне уже не зеркальные, как когда-то, а купола не облеплены звездочками...

Ну, 1932-й, — понятно, но зачем в начале восьмидесятых понадобилось сносить особняк одного из управляющих заводом, вполне симпатичный, судя по сохранившимся фотографиям? Еще одна региональная загадка. Ну почему красивейшим старинным зданиям никак не находится современного достойного применения — как пермскому пивзаводу на Сибирской, как добрянским речному вокзалу, волостному правлению, заводской конторе?.. В конторе до 2000 года находилась некая уникальная винтовая лестница, выполненная по проекту того же Павла Сюзева. Так что ее гибель пришлось прямо на наши просвещенно-цивилизованные дни. Причем книга краеведа М. Калинина из серии «Пермский край» как-то очень уж околичностями упоминает про новейший акт вандализма: судьба лестницы «оказалась весьма печальной». Наверное, просто выбросили — подобно «лесенке в небо» в пермском «доме чекистов».

Про уничтоженный Графский сад, от которого осталась купа деревьев на берегу залива да парковые чугунные львы в музее, говорят, что он помешал выходу автотрассы на Соликамский тракт, которую сперва хотели вести через Вож и Задобрянку, а потом все же пустили почти кавказским серпантинном по гористому берегу пруда.

А вот слухи про бывшую Рождество-Богородицкую церковь, соседствовавшую с Александровской часовней. Здание, которое использовалось как районный Дом культуры, ныне вполне может быть освобождено, поскольку построен новый Центр творчества. Но два кружка в перестроенном и лишенном колокольни и купола храме до сих пор квартируют, и это — повод, чтобы не возвращать церковное имущество законному владельцу. Неподалеку, на Рынке (ударение, напомним, на последнем слоге) недавно перестроили под храм Иоанна Богослова здание детского сада, так что у

церкви Рождества Богородицы, если ее восстановить, могут оказаться проблемы с паствой. Впрочем, здание в стиле классицизма, возводить которое начинали еще на деньги Строгановых, может, как и часовня, легко подманить прежних ангелов, курировавших его до наступления атеистических времен.

Вернемся к династиям именитых добрянцев. Фамилия Вологдиных, хоть и указывает на русский север, откуда шло заселение прикамского края, в памяти местных жителей занимает место не менее почетное, чем когномены, звучащие истово по-пермски. Петр Александрович Вологдин, сын крепостного мастерового, не только выучился в московской земледельческой школе Строгановых, сделался изобретателем, редактировал «Пермские губернские ведомости» и создал знаменитые очерские солнечные часы, но, главное, произвел на свет четырех сыновей, каждый из которых стал ученым профессором. Имя самого известного из них, Валентина Петровича Вологодина, носит улица в Петербурге и НИИ токов высокой частоты.

В двадцатые годы прошлого столетия, когда добрянский металлургический завод дышал на ладан, последним заказом стал уникальный прокат толщиной 0,03 мм для генераторов высокой частоты, создававшихся Валентином Вологдиным. Эти генераторы позволили построить радиостанцию, установившую связь с Америкой (в самой Добрянке, кстати, тогда радиовещания не было). После своего научно-промышленного триумфа старый завод опустел, потом воспрянул было в пятилетки индустриализации, а 17 января 1956 года заводской будильный гудок издал в последний раз звук, показавшийся его ветеранам рыданием.

Но добрянцы до сих пор помнят, что их железом крыты Зимний дворец и Новодевичий монастырь.

На орбите Глядена

В поисках замурованного времени

«Дорогие друзья! К вам обращаются учителя и ученики 1968 г. Мы гордимся тем, что являемся очевидцами начала покорения космоса, и немного завидуем вам: вы, возможно, побываете на других планетах».

Если б вместе с «капсулой времени», вмурованной в стену школы, на сорок лет вперед перенесся тогдашний житель Нижних Муллов, ему бы могло показаться, что он действительно очутился на другой планете.

Все вроде бы прежнее, холмы и луга, и распростершееся над Камой блеклое уральское небо. Но на господствующих высотах приземлились, как марсианские корабли, тяжелые красные кубики — особняки из первосортного кирпича, демонстрирующие нечеловеческий художественный вкус инопланетян: полное отсутствие архитектурного изящества и принципиальный отказ от фасадного декора. Враждебная цивилизация чужда красоте, ее идеал — экономная целесообразность и бастионная неприступность. Все излишества безжалостно оптимизируются.

Немцы на оккупированных территориях сохраняли колхозы. Инопланетные агрессоры с идеологической непримиримостью уничтожили совхоз «Большевик». Кирпичный завод взорван, освободившаяся территория расчищена-заутюжена и на ней вот-вот рассядутся новые красные кубики.

Герберт Уэллс в «Войне миров» отправил покорять Землю боевые треножки с губительными тепловыми лучами. Братья Стругацкие во «Втором нашествии марсиан» показали, что брать нас можно голыми руками, только обеспечить даровым минимумом материальных благ. Жизнь оказалась смелее фантастики. Не понадобилась ни вооруженная сила, ни задабривающая дармовщинка. Просто те же самые одно-

сельчане, которые вчера призывали включаться в соцсоревнование, однажды сказали: с сегодняшнего дня мы, товарищи, живем на другой планете.

Обошлось без великого противостояния.

«Мы живем в грозный век, когда то тут, то там распоясавшиеся милитаристы разжигают новые очаги войны. Сейчас мы всем сердцем с борющимся народом Вьетнама».

В музее школы в Петровке целый стенд занимают фотографии «афганцев» и «чеченцев» — выпускников, которым без всяких посторонних разжигателей, незаемными политическими ибицеллами был уготован огонь войны. Романтический пришелец из 1968-го просто не смог бы уяснить, зачем нижемуллинских ребят нужно посылать с миротворческой миссией на границу Грузии и Абхазии.

А народ Вьетнама за место на российских базарах бороться не стал, велено было убираться — куда-то делись, перешли, наверное, на партизанские хорошо освоенные методы.

«В 1980 году наша школа будет утопать в зелени и цветах. Мы гордимся тем, что первые деревья посажены нами. Стало традицией: каждый выпускник имеет свое дерево».

Учитель биологии Игорь Александрович Шаровский вместе с ребятами на краю села создал огромный плодовый сад. Спустя некоторое время по просьбе руководства совхоза «Большевик» сад выкорчевали под строительство коттеджей, перенесли его ближе к школе. Она, между прочим, летом вполне утопает в зелени радиально расходящихся аллей. Старый биолог умер, его внук Андрей Владимирович Вотинцев преподавал информатику, водил детей в походы по окрестностям и на досуге делал чучела. Потом таксидермия из хобби стала профессией. Бывший учитель и сам с ружьишком бродит по лесам, и знакомые ему свою добычу приносят. Сделанные на заказ чучела медведей и волков, вероятно, приносят побольше дохода, чем школьная служба.

«На страже порядков в школе и на селе стоят ЮДМ и оперативная комсомольская группа».

По вечерам на ступеньках Дома культуры попивает пиво допризывная молодежь. С недавних пор за пиво и сигареты их стали гонять с дискотеки, вот они и кучкуются у дверей, потому что главное ведь — не танцы и не «умца-умца» попсовых децибел, а роскошь человеческого общения.

«Гордостью нашей школы является музей Владимира Ильича Ленина, и мы надеемся, что вы продолжаете сбор материалов о жизни любимого вождя».

Надейтесь... Если и продолжается какой-то сбор, то налогов, процентов по кредитам и пустой стеклопосуды.

На дороге стоит космической расцветки «Калина», все четыре дверцы распахнуты, а возле нее покуривают и перекрикиваются со своими мобильниками четыре упитанных девицы не первой молодости. То ли изрядно подвыпившие, то ли не способные вести себя пристойно и на трезвую голову. Увидев редкого прохожего, бесцеремонно подзывают его и, шелестя компьютерными распечатками, отпуская шуточки, выясняют, где тут находится дом номер такой-то и проживает гражданин этакий.

Что за девичий десант? А это, предполагают местные жители, или из налоговой, или из банка — проценты по кредитам приехали выбивать. Но что-то девицы мало похожи на офисных обительниц, больше смахивают на боевых подруг братков, которые своими пуленепробиваемыми кожными и мятыми тренировочными штанами создали незабываемый стиль прет-а-порте девяностых годов. Десять лет прошло, браткам самим некогда раскатывать по лохам, они теперь взирают на них с предвыборных плакатов, в полиграфический формат которых тренировочные штаны, слава Богу, не вмещаются.

— А я всех знаю, про кого они выспрашивали, — сообщает невольный информа-

тор боевых подруг. — Это все мужики совершенно спившиеся. Но еще при жилплощади.

Потенциальные жертвы предполагаемых риэлторов обитают в крепких каменных домах на несколько квартир, в давние времена построенных кирпичным заводом для устраивающихся на работу лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Недурственные хоромы. Если, пьяниц выкинув, в порядок недвижимость привести, любой богатый пермяк с лапочками возьмет, потому как расположены в центре, возведены отнюдь не с марсианской голый рационально-стью, а главное, достанутся уже с наследственными привидениями. Не холодный необжитый новострой, который еще поколениями заселять семейными преданиями и местнотимыми суевериями.

К спившимся мужикам, которые в частном секторе, в избах живут, никто не приезжает, внимания не оказывает. Подобные избышки превращаются в алкогольные коммуны. Допустим, умерла у мужика жена, он с горя запил, хозяйство запустил, к нему перебрались на житье постоянные собутыльники, и вот вам хата, которую с первого взгляда от прочих отличить труда не составляет. Прежде всего, по выбитым оконным стеклам, которые зимой затянута полиэтиленом.

Население Нижних Муллов делится на две категории. Первые ездят на работу в Пермь. Вторые, как выразился сатирически настроенный старожил, в организованном и массовом порядке пьянствуют. А где деньги на пьянку берут? Так вокруг дачные места. И пункты приема цветных металлов в селе имеются? Само собой. Приметливые люди назовут 24 адреса, по которым разводится и разливается желающим вроде как спирт, привезенный в пластиковых бутылках с рынка «Гача». Ого, смотри, потащили алюминий сдавать, друг друга плечами подпирают!

Трифон Вятский как административный ресурс

В кабинете главы нижнемуллинской администрации висит объемный макет генерального плана развития села. Выполненный в советскую эпоху из фанеры, ватмана и пенопласта. Изрядно устаревший. Его даже на помойку выкидывали. Нынешнее руководство подобрало. Во-первых, история. Во-вторых, старый генплан вполне может послужить для выработки перспектив современного развития.

— У нас же не хуже, чем в курортной Усть-Качке, — нижнемуллинское начальство кивает в сторону кабинетного окна, за которым открывается живописный изгиб Камы и полоска несколько подгаженных промсооружениями правобережных лесов. — Только мы не столь «упакованы». Усть-Качка лучше раскручена. Но разрабатывается программа социально-экономического развития села. Будем возрождать древние промыслы, тканье половиков. В Академии живописи, ваяния и зодчества проектируют лестницу, скамьи рядом со «святым» источником Трифона Вятского.

Начальство прочло «Чердынь — княгиню гор» и теперь погружено в роман про Чусовую «Золото бунта». А у автора этих исторических произведений, Алексея Иванова, любимый персонаж как раз Трифон Вятский. Нижнемуллинскому истеблишменту очень хочется заполучить Иванова на этнографическое действо, которое при содействии фонда «Нанук» решили проводить в устье Мулянки, как раз там, куда приплыл первый пермский святой, чтобы срубить священную ель язычников, такую огромную, что на пне ее могли развернуться сани. Потомки язычников из Кудымкара и Кирова заявили о намерении приехать в гости, принять участие в научно-практических кампаниях под сенью Гляденовской горы.

Известно, что наша земля стала восприниматься частью Руси отнюдь не со времени ее освоения переселенцами и христианизации местных племен. Край стал окончательно нашенским, когда появился сугубо местный святой. Это и был Трифон Вятский. Главным чудом и подвигом его жизни стало следующее событие. Лодка

Трифона без весел двигалась по Каме против течения, пока не пристала к берегу возле устья Нижней Мулянки. Именно там росло гигантское идоложертвенное дерево, которому поклонялись остяки и вогулы. Считалось, что даже посмеяться над этим деревом нельзя: такой человек обязательно заболеет и умрет. Трифон же рискнул вовсе его срубить, и остался цел и невредим, а местные племена, как гласит легенда, в восторге обратились в христианство.

Пусть к Глядену можно доехать и через Савино, все равно «святой» ключ, равно как и знаменитое Гляденовское костыще, в Нижних Муллах считают своими. К моменту проведения акции «Гляденовские встречи», то есть к концу марта 2007-го, дороги сделались непроезжими, и под Гляден, к устью Мулянки, добраться автотранспортом стало нереально. Бревенчато-брезентовый чум установили между Домом культуры и администрацией. Запалили костерок, глядя на который, приглашенный специалист по язычеству гортанно тянул «Йоооооооооооооооо!». Автобусы привезли иногородних гостей. Слышалась разноязыкая речь. Монголоидные дети детсадовского возраста пытались аутентично стрелять из луков, но опозорились. Автору этих строк вручили шаманский бубен и велели стучать. Автор этих строк тоже опозорился. Научно-практическая конференция собрала не последнего разбора историков. Вздыхали: оказывается, подавляющее большинство местных жителей ведать не ведают про Гляденовское костыще. А ведь существуют, оказывается, такие географические карты, на которых наш край отмечен всего двумя точками: Пермь и Гляден. И больше ничего.

— И что это здесь у вас? — к чуму приближается одышливый местный житель едва не двухметрового роста.

— О, хорошо, что вы заинтересовались, подошли — сейчас как раз ищут, кого бы принести в жертву.

Родина пещерного носорога

Если Рим, Константинополь, Москва и Пермь стоят на семи холмах, то Нижние Муллы, кажется, на семидесяти семи. Земля вспучена, изогнута, обморочно запрокинута; четырех-, а то и больше «мерная» здешняя топология сносшибательна для непривычного вестибулярного аппарата, как космическая невесомость. Из космоса местность, наверное, видится испещренной каналами, как поверхность Марса. Такую геометрию создали семь рек.

Самонадеянная местная бабушка начинает их считать, загибая пальцы.

— Во-первых, конечно, Кама. Потом, само собой, Мулянка. Дальше, эта самая, Батуиха. Сарабаиха и...

Следующий палец зависает, не подгибаясь. Три реки куда-то делись, ушли под землю, выветрились их названия. Только стоящий на въезде в село крашеный голубой краской магазинчик демонстрирует вывеской историческую память: «Семи-речье».

Уходят в землю и в недостижимую прорву забвения долетописные и почти современные события. Что там в начальной глубине или под сусально тонким слойчиком вчерашнего дня, редко кто стремится помнить. Может, прошлое отзовется тихим эхом со страниц огромной рукописной книги, переплет с которой содран, последние листы слиплись в комок папье-маше, а текст столь богат витиеватыми росчерками, что суть написанного неспециалисту разобрать совершенно невозможно. Но ведь о чем-то повествует эта инкунабула, что-то хочет рассказать нам, жителям третьего миллениума? Однако пылится безмолвно в музее села невостребованной «капсулой времени». А может, потаенные магические энергии сокрыты в медвежьем когте, коим некая знахарка Уткина зачерчивала зоб? Тоже музейный экспонат. В нижнемуллинс-

кой школе целых два музея, один посвящен собственно школе, другой — истории села в целом. Жаль только, что две комнатки в школьном здании редко перед кем доводится отпирать, а уж порядок там навести, на общественных-то началах, и вовсе ни у кого руки не доходят. Потому встречаются под мутным стеклом витрин такие странности, как «рог пещерного носорога» (вот и не говори после этого, что Россия родина слонов), обрывок ручных кандалов идентифицируется как кистень, а на тарелке ржавых лабазных весов лежит табличка «Каска немец.», хоть сама трофейная каска немецкого солдата находится совсем в другом углу.

Но, слава Богу, что хоть двери не нараспашку, и шторы стараются держать задернутыми, чтобы экспонаты не выцветали. Прошлое законсервировано для будущих поколений, которые могут оказаться более рачительными хозяевами времени.

На камском ли обрывистом берегу, в логах или посреди узкой плотины пруда, везде пространство, пронизанное убаюкивающе замедленным темпом своих искривлений, умягчает накопленное житейское раздражение, вымывает токсины усталости. Будто на землю эту никогда не заползали злобные блуждающие геопатогенные точки. Три тысячи лет люди селятся в этой местности. Наши предки не дураки были, знали, где учредить столицу гляденовского племенного союза.

— У нас люди добрые, — говорит фельдшерица с четвертьвековым стажем Антонина Ивановна Тудвасева.

Ей виднее. Это она на пять минут быстрее «скорой» добежала до места трагедии, где пьяный старик-постоялец ударил по голове топором хозяйского мальчика.

— Что, даже пропившиеся мужики добрые?

— Добрые. Они друг другу помогают выживать. Когда кому-то из них плохо, прибегают и меня на помощь зовут.

Здесь молодой парень, работающий в аэропорту Савино, большой поклонник фантастики, постоянно покупает книги, несмотря на их дороговизну. А как очередную прочтет, сразу дарит нижнемуллинской библиотеке. Стеллаж фантастики там почти весь укомплектован подарками этого книголюбца.

Учительница музыкальной школы Екатерина Вотинцева взялась заниматься с мальчиком, из-за менингита практически потерявшим слух: так посоветовал сурдолог. Сначала фортепиано осваивали на дому, потом Никита и в музшколу стал ходить, делает успехи. Завоевал приз зрительских симпатий на концерте. Правда, трактовка некоторых пьес у него получается более бравурная, чем надо бы. Как у Дениса Мацуева. Но дело в том, что музыку он воспринимает не как звук, а как вибрацию.

Не так давно к директору ДМШ Розе Сычиковой привели... двухлетнего малыша. Дело в том, что у старшего ребенка в семье обнаружились серьезные логопедические дефекты, и чтоб та же участь не постигла и маленького, решили прибегнуть к помощи музыки. Конечно, занятия со столь мизерного возраста начинать не полагается, да и найти подход к несмышленишу гораздо труднее, чем к пятилетнему хотя бы. Тем не менее, Сычикова «на пробу» за нелегкую задачу взялась, первые занятия прошли довольно успешно. Но приходят в детскую музыкальную школу и вполне взрослые люди. Их не смущает, что начинать приходится с нуля и творчески конкурировать с малышней. Обычно, проучившись четыре года и дойдя, как выражается Сычикова, «до романсов», прекращают учебу.

Покупал я в магазинчике с сохранившейся вывеской «Сельпо» сигареты, а тамошняя продавщица Инна Аликина оказалась самой настойчивой меломанкой. Когда привела в музшколу сына и дочь, сама тоже стала заниматься, уже шестой год пошел, и прекращать не собирается.

Даже в городском дорогом бутике много ли найдется продавщиц, которые исполнят вам на фортепиано романс Шостаковича из кинофильма «Овод»?

Ангелы и подземелья

Молодежь здешняя, между прочим, не только млеет на дискотеках, но и берет на себя летописные труды. Школьница Катя Тодуа не только копалась в архивах, но и старожилов расспрашивала, создавая свод исторических фактов и устных легенд о церкви в Нижних Муллах. Ее начал строить по просьбам своих крепостных владений селом князь Сергей Михайлович Голицын. После отмены крепостного права князь за свои деньги достраивать храм не захотел — а доведено было здание к тому моменту только до первого карниза. Возведение продолжили на средства местных жителей. Теплая часть храма с престолом во имя св. Александра Невского была завершена в 1875-м, а холодная летняя, Святотроицкая — в 1882-м.

Вообще предания об ангелах, как бы «дежурящих» при строящихся церквях, довольно распространены. Взять хотя бы константинопольскую легенду о возведении святой Софии при Юстиниане... В Нижних Муллах своя версия: ребенок забрался по строительным лесам под самый купол, сорвался и стал падать — тогда множество людей видело, как два ангела подхватили трехлетнюю девчушку и мягко опустили на землю.

Каменная плита у входа сообщала, сколько яиц пошло на скрепляющий раствор. Когда во время Великой Отечественной войны тумбы церковной ограды пытались разобрать, добыть, так сказать, дефицитный стройматериал, то кирпичи крошились, но из хватки яичного раствора не выворачивались. Увы, крепость ограды не повторилась в прочности самого строения. В 1931-м во время службы раздался грозный треск, и разошлась часть церковной стены. Уже в наше время при восстановлении куполов не сподобились сделать водяные сливы и стоки, поэтому в дожди по стенам текла вода. Карнизы отвалились. Иногда под давлением свода ломаются кирпичи, по всему зданию расползается треск. Что делать, дисциплина среди дежурных ангелов оставляет желать лучшего, даже у св. Софии купол вскоре после постройки обрушился, пришлось, восстанавливая, диаметр заужать.

В первые годы советской власти казалось, что нижнемуллинской церкви повезло. Кругом храмы закрываются, разрушаются, а на здешнюю святыню никто руку не поднимает. Позже настигла отложенная судьбой, а оттого удесятенная по тягости напасть.

Еще одна легенда: будто бы из подвала церкви шли подземные ходы. Один — в церковно-приходское училище, что располагалось на другой стороне улицы. Якобы батюшка, преподававший в школе, появлялся в классе, хотя никто его переходящим через дорогу не видел. А другой ход вел в сторону Камы. И вот когда священников пришли арестовывать, они заперлись в церкви. Дверь сломали, но никого не нашли, храм был пуст. Ясное дело, батюшки через подземелье скрылись от атеистического преследования.

Роскошные фрески, которыми гордились сельчане, были уничтожены. Погибло множество икон. Нужно было сбрасывать колокола, но никто не решался взяться за такую работу. Наконец, нашелся некто по фамилии Некрасов. «Не я, так кто-то другой это бы сделал», — объяснял он свой поступок. Орудовал он на звоннице, а люди внизу плакали и проклинали его, и проклятия, как говорят, не втуне прозвучали: скоро у Некрасова умерла жена, а сам он ослеп и доживал свой век в одиночестве в крохотной каморке.

В церкви был засолочный цех, потом махорочная фабрика, потом склад совхоза «Большевик», далее она просто пустовала и даже пережила пожар. После которого через два года в Нижних Муллах с подачи Никиты Михалкова очутилась японская киногруппа, подыскивающая для фильма «Буря» (вышел в прокат с названием «Под северным сиянием») киноголические российские виды. Так церковь попала в кинознаменитости. И родилась еще одна легенда: в интервью американскому специализиро-

ванному кинематографическому журналу японский режиссер сказал, что, вот мол, церковь в селе Нижние Муллы находится в ужасающем состоянии. Вот после сигнала иностранной прессы ее якобы и принялись реставрировать.

Уже и службы начались. Но потом решили расчистить подвал, и разбудили лихо: вытащили из-под земли проржавевшие бочки с ядохимикатами и ветхие бумажные мешки с дустом и нафталином. И рабочим, и находившимся в тот момент в церкви прихожанам пришлось оказывать медицинскую помощь. Концентрация отравы в воздухе превышала ПДК в 12 раз. Причт переехал во временное помещение. Церковь снова переживает вялотекущий процесс реставрации, коим занимаются трудолюбивые гости из Таджикистана. Сейчас они наводят лоск на интерьер.

Здание, конечно, не зодческий шедевр. Значительное разве что своими размерами, оно являет собой мощный, несколько приземленной коренастости объем. Новорусско-марсианские кубики смотрятся рядом с ним россыпью внучатых племянников.

...И немного о культуре

Культура, сказал губернатор Чиркунов, должна сама зарабатывать деньги. А мы добавим: и милиция тоже. Дойдет до того, что и армия научится. А уж чиновники всегда это умели и умеют.

Наиболее полный охват народонаселения культурой происходит в Нижних Муллах два раза в год. Девятого мая и в День пожилого человека. Местные торговые спонсоры, в очередной раз покочевряжившись, выделяют средства на выпивку и закуску. Тогда даже престарелые и неходячие берут бадожки и бредут в Дом культуры.

Представить, что кто-либо станет на селе приобщаться к культуре за личные наличные, затруднительно.

А вообще культура по мере возможности поддерживается на плаву. Дом культуры подремонтировали, покрасили фасад. Работают детские кружки. Поблескивают спортивные тренажеры. Прислоненные к стене новенькие этюдники ждут, когда детская музыкальная школа эволюционирует до школы искусств. Почти двухметровой длины деревянный ксилофон ожидает специальных палочек, поскольку принесенными из леса сучками на нем не сыграешь. Потихоньку пополняет фонды уютная библиотека, в которой инициативно образовалась литературно-музыкальная гостиная. Половина местных поэтов читает свои стихи, а другая половина пока стесняется. Порой литературно-музыкальные салоны проходят в формате совместного выхода за грибами. Школьные учителя все прочли в очередь «Географ глобус пропил» того же Иванова, и бросились покупать роман в личную собственность.

Работница школьной столовой, приятная дама средних лет, обиняками и намеками разведывает у директора ДК возможности культурно-романтического досуга для тех, кому за тридцать, не на кладбище же ей, в самом деле, ходить, как советовала героиня фильма «Москва слезам не верит».

— Школа арабского танца! — однозначно рекомендует директор.

Эстафета адресатов

Если б еще на сорок лет замуровать в крепкую стену «капсулу времени», что имеет смысл сообщить, пообещать потомкам? Скорее всего, серьезная промышленность и конкурентоспособное сельское хозяйство в Нижних Муллах не возродятся. Местность разделит судьбу пригородных живописных окрестностей, превратясь

в зону особняков, усадеб и фамильных гнездовий: массовый исход из Перми, потерявшей городской облик, давно начался. Дезертируют уже не только богатенькие, уже и средний класс оседает в коттеджных поселках подальше от грязи, мусора, наркодилеров, автомобильных стад и постмодернистских монстров точечной застройки.

...Можно сколько угодно ворчать, ругать власть, тосковать по счастливой пионерской юности, грабить дачи марсиан, вообще остро переживать несправедливость мироустройства. Но мало ли слоев времени, как годовые кольца деревьев, чередуясь, накладывались друг на друга, то схожие, то непримиримо враждебные, как вода и масло, век за веком, лихо за злосчастьем? Нижним Муллам в 2013-м исполнится триста девяносто лет, годы и столетия оседали на возвышенностях и в низинках, формируя здешний геологический рельеф, характер жителей, образ их существования. Бродя по угорам и логам, замечаешь, как, просочившись из тектонических глубин памяти, широкоскулые гляденовцы заговаривают медные фигурки животных, птиц и насекомых, вселяя в них души умерших предков. Трифон Вятский неpolitкорректно сводит под корень ни в чем не повинную еловую экологию. Тени пепеляевских солдат на берегу Батуихи секут саблями бывшего гвардейца Финляндского полка, ныне местного большевика Ивана Ташлыкова. Вот и сейчас очередная историческая эпоха накрыла существование необоримой базальтовой толщей, равнодушная к писку раздавленных неудачников и радостному клекоту хозяев жизни, подскочивших на кочку фортуны. Смиряться с неизбежностью, остается только дуреть — от халявных миллионов или от паленого спирта. Но время не равнозначно предопределенности судьбы, оно всегда структурировано на развилке выбора. Можно бездейтельно поддерживать сползание к первобытной дикости, а можно нащупать зародыши добра и приложить свою силу к вектору оптимистичного сценария. Человек хозяин времени, а не наоборот. По крайней мере, в это хочется верить.

Разбойный тракт казанский

Это только малосведущий горожанин полагает, что шоссе Космонавтов за границей Перми плавно переходит в знаменитый Казанский тракт. На самом деле сей великий военно-торговый путь изначально располагался ближе к Каме, не обходя, как нынче, а по самой сердцевине прорезая окрестные поселки и деревни: Юго-Камский — Болгары — Култаево — Савино — Кондратово... Старый тракт существует до сих пор, где-то сохраняя свое транспортное значение, а в иных местах сделавшись пресловутым «направлением», преодолеваемым разве что «уазиками». В гужевую эпоху деревеньки и сельца, севшие на тракт, являли собой необходимые узлы сервисной инфраструктуры. Они росли и богатели как промежуточные пункты коммерческих потоков, сшивавших Урал с Россией, смыкавших строгановские заводи с камскими пристанями.

Над Юго-Камским «тучи ходят хмуро», тяжело цепляясь за вершины окаймляющих поселок гор: Красной, Кобыльей, Каравашкой и Костяной. Темнеет вода в заводском пруду, как народный гнев. Завод то работает, то остановится, собственники никак не могут поделить между собой промышленное имущество, причем дело едва не доходит до стрельбы. А оставшиеся без средств к существованию заводчане грозятся перекрыть «КамАЗами» федеральную трассу. Правда, Путин на голубом вертолете к ним не прилетал, к бунтовщикам, перекрывающим что-нибудь федеральное, вместо премьера стал прилетать ОМОН. В Юго-Камском же выезд на дорогу «Оса — Пермь» в критический момент накрепко блокировали гаишники.

Помнится, еще в 1998-м заводчане бастовали и устраивали митинг из-за полугодичной задержки зарплаты. Ох, не надо бы доводить югокамцев до крайности. Ведь

именно при вспышке спонтанной ярости местные жители после революции 1917-го утопили в пруду бюст царя-освободителя Александра II, на который сами же собирали деньги в не менее революционном 1905-м. И вообще они народ вспыльчивый, скорый на расправу и склонный к бунту. Думаете, почему гора на окраине называется Кобылей? Вовсе она не похожа на лошадь. Дело в том, что у ее подножия когда-то располагались казармы, где жили рабочие, и там же был установлен специальный станок для порки — «кобыла». Что-то не приходилось встречать упоминания о применении столь жестоких воспитательных средств на других Строгановских заводах. А тут приспособление для экзекуций даже в топонимике отразилось... Видно, часто его в дело приходилось пускать.

Издавна югокамцы привыкли дергать в лесу мох, заготавливать банные березовые веники, а то и дрова на зиму, причем «за так» и ни у кого не спрашивая. Ныне же у леса появился законный арендатор, среди сосен на квадроциклах раскатывают охранники. Хочешь дров — плати. Все по закону и, наверное, даже по справедливости. Однако... Темнеет вода в заводском пруду.

Условия местности, что ли, тут такие, смирению и непотреблению злу не способствующие? Вон даже шершни по окрестным лесам летают агрессивные и большущие, как «Су-27»... Ну, почти.

Югокамцам палец в рот не клади. До работы они сердиты, трудиться умеют, в царские времена поселок был весьма зажиточным. Однако и неожиданное богатство, по-нынешнему халява, многих соблазняло. Кто клады искал, а кто золотой песок в окрестных речушках обнаружить пытался. И легенды о местных разбойниках имеют под собой оч-чень веские основания.

Издавна на вершине одной из ближайших к поселку гор находили кости. Гору так и прозвали: Костяная. Считалось, что там жили разбойники, кормились охотой, мясо обглаживали, а мослы разбрасывали. Когда археологи установили, что кости — человеческие, легенда приобрела уж вовсе жуткий оттенок. На самом деле на вершине Костяной располагаются остатки городища и могильника гляденовской культуры III — V веков н. э. Но, как многие уверены, где-то на Костяной пламенный мотовилихинский экспроприатор Александр Лбов закопал награбленное.

Историю эту передают так. Крестьяне деревни Пашни вдруг встретили выезжающих из лога всадников, и с ними три подводы. «Я Лбов! — прокричал главный. — Всем лечь на землю и не шевелиться. А когда услышите выстрел, можете подняться и забрать себе эти три подводы».

Знаменитый бандит... То есть, революционер... То есть... Ну, в общем, народный герой в Юго-Камском, действительно, бывал. Только заводская касса в то время была пуста. Так что он удовольствовался тем, что оставил романтическую записку: «Вас посетил Лбов».

Когда Аркадий Гайдар написал повесть «Жизнь ни во что», он упомянул и о примете, по которой можно найти клад Александра Лбова: идти вниз по речке Юг, от четвертого родника подняться вверх по Костяной горе до трех сосен. Когда повесть вышла в «Звезде», что тут в Юго-Камском началось! Чуть гору не срыли!

Кладоискательский ажиотаж повторился, когда местный журналист и краевед Алексеев опубликовал в газете «Югокамский труженик» статью про легендарный лбовский клад. В редакцию пришел насупленный мужчина и с порога злобно заявил, что эта статья ему всю душу истерзала. Оказалось, он чуть ли не с детства этот клад искал, со временем вроде успокоился, а тут ему опять напомнили...

— Но сокровища-то вовсе не в горе зарыты, — поделился мнением мужчина, когда малость уgomонился. — В Юго-Камском у Лбова родня жила, так вот в подвале-то их дома золото и запрятано. Только вот где этот дом, не знаю...

А предания о разбойниках существуют и в роду самого краеведа. Есть в поселке полуразрушенная Святотроицкая церковь. Когда-то была пятиглавая, трехалтарная

и, говорят, побольше, чем ныне чудесно отреставрированная култаевская. И вот когда ее еще только строили, прадеда Алексеева отправили вместе с еще одним местным жителем на двух подводах в Пермь. За деньгами, которые епархия выделила на строительство. В Перми же к прадеду подошел пьяненький мужичонка и стал нагло требовать на водку. «Чего это я вдруг поить тебя должен?» — презрительно поинтересовался югокамец. «А того, — объяснил пьяненький, — что я разговор один подслушал. Ограбить вас собираются!»

Предупреждению прадед значения не придал. Выехали они с товарищем из Перми по Казанскому тракту и покатались домой. Это сейчас на авто до Юго-Камского можно быстро долететь, а тогда приходилось останавливаться на ночлег в какой-нибудь из деревень вдоль тракта. Проходил он не там, где сейчас асфальтированная трасса, а чуть ближе к Каме.

Если придется ехать на Юго-Камский, то после подъема сразу за Болгарами повнимательней посмотрите на правую обочину. Там через некоторое время мелькнет указатель «Село Степаново». Не поленитесь свернуть и заехать. Интересное местечко. Раньше называлось: деревня Убиенная. Сейчас этот населенный пункт малолюден, горожане-пермяки свои дачки и загородные поместья почему-то здесь располагать не спешат. Видимо, сохранилось в пейзаже Степанова нечто зловещее. Поскольку именно в деревне Убиенной, по легендам, разбойники сбывали перекупщикам свой хабар, да и с хозяевами постоянных дворов вступали в сговор, чтобы устраивать засады на путешествующих людишек, которые при деньгах.

И вот прадед в Убиенной как раз остановился, пьет чаек у открытого окна, и видит, как по тракту пронеслась со стороны Перми лихая тройка с какими-то господами. Он даже внимание хозяина постоялого двора на эту тройку обратил.

— Да, господа... — неопределенным тоном подтвердил хозяин, и эта уклончивая неопределенность не понравилась югокамцу. Вспомнилась пьяная болтовня встреченного в Перми незнакомца. И решил прадед от греха подальше, то есть от деревни Убиенной, выехать, на ночлег не останавливаясь.

— Куда же вы, на ночь глядя? — забеспокоился хозяин.

Но прадед был непреклонен. Выбрались на тракт и пустили лошадей во весь опор. Глядь, а навстречу уже тройка с «господами» несется. Видно, была у них с хозяином постоялого двора договоренность: если две подводы с епархиальными деньгами на дороге не появятся, значит, возниц уговорили ночевать в Убиенной, там-то их сонных и порешить можно...

— Гони! — сказал прадед своему товарищу. — А как с тройкой поравняемся, резко к обочине сворачивай.

Так и поступили. Разбойники пронеслись мимо. А тройку на дороге развернуть — на это время надо. Когда душегубам развернуться удалось, югокамцы уже далеко были. «Догадались!..» — донеслось им вослед.

А еще есть в Юго-Камском старинный дом, в котором при советской власти был магазин. Его все неофициально называли «Петуховским». Жили на том месте в давние времена некие Петуховы, люди небогатые, дом имели деревянный. Однажды остановился у них на ночлег возвращавшийся из сибирской ссылки «политический». Петуховы заметили, что путник как-то очень бережно обращается со своей тростью, и вообще трость у него толстая и, по-видимому, тяжелая. Пока «политический» спал, хозяева эту трость стащили и расковыряли. Внутри она оказалась полна золотых монет. Утром бывший ссыльный проснулся, хват — а трость-то пуста. «Помилуйте! — воззвал он к совести хозяев. — Я эти деньги долгие годы копил. Мне дочь замуж выдавать надо. Верните». Но Петуховы от подозрений открестились, а путник... повесился. Дела семейки после этого пошли в гору, вместо деревянной избы обзавелись Петуховы добротным каменным домом. Наставительной концовки сюжета о неизбежном возмездии история не сохранила.

Но это все истории сравнительно недавнего времени. Разбойничий промысел завелся на берегах впадающей в Каму речки Юг в самую стародавнюю пору. Занимались разбоем обыкновенные крестьяне. У них на горе Калиновой (самой высокой, триста метров) был оборудован наблюдательный пост. Оттуда было видно всю Каму от Таборов до Осы. С Калиновой заметят речной купече-ский караван, дают сигнал, крестьяне прыгают на коней и скачут к берегу, где уже припасены лодки. Однажды добыча оказалась небывало весомой: серебряные слитки. Сбыть их не так-то просто. И решили разбойнички до поры до времени утопить добытое в соседнем с горой озере Тритоновом, что образовалось на месте карьера Верхнего, так называемого Варваринского, завода.

С тех пор, как заводом владела Варвара Шаховская, в девичестве Строганова, минуло много лет. Но серебряный клад в Тритоновом озере до сих пор многим покоя не дает. Один югокамец даже канаву прокопал, часть воды сумел спустить, но серебра так и не нашел. От разочарования он свихнулся и шатался по окрестным лесам, пока не сгинул. При советской власти благоразумные школьники взяли пробу воды из Тритонового озера на анализ, но ионов серебра не обнаружили.

Зато не умирает легенда, будто одна крестьянская семья в окрестностях завода «вся в золоте ходила». Якобы отец семейства в секретном ручье золотой песок намывал. Завистливые люди приступили к нему и потребовали, чтоб он им указал заветное место. Мужик согласился, завел завистников в лесные дебри, а там от них и сбежал.

Но от зависти людской не убежишь, она и через столетия настагает. В той деревеньке до сих пор живет одна совсем пропившаяся бомжиха, как раз из той фамилии, что «вся в золоте ходила». Так к ней заявили современные «братки». Они настолько продвинутые были, что рылись в Екатеринбургских архивах и там обнаружили следы югокамской «золотой» легенды. Приехали и потребовали: продай нам свою землю — Морозовский хутор. Бомжиха только тем и отговорилась, что земельного пая у нее давно никакого нет, все наследство предков давно спустила.

Из разбойничьих местных преданий следует извлечь урок: не надо югокамцев до отчаяния доводить. Не зря ведь в строгановские времена подобные поселения при промышленных предприятиях назывались именно «заводами». Живет предприятие — жив и поселок. Бойлерная, водопровод, канализация — все на балансе у Юго-Камского машзавода. Если нынешние «братки» в костюмах от Армани закроют его — значит, вполне по-душегубски, как их давние легендарные предшественники, совершат убийство. Убьют на юго-камской территории всякую цивилизованную жизнь. Поставят крест на почти двухсотлетней истории поселка, ставшего родиной для многих прославивших Прикамье выдающихся людей. Петра Константиновича Чудинова, например, ученика знаменитого палеонтолога и фантаста Ивана Антоновича Ефремова. Именно Чудинов проводил раскопки остатков звероящеров палеозойской эры под Очером.

В самом деле, не в кладоискатели же безработным заводчанам подаваться, сокровищ легендарных или золотых россыпей в окрестностях так ни разу и не находили. Кости пермских рептилий Чудинов уже давно выкопал. А если югокамцы снова за кистени возьмутся и выйдут на трассу «Оса — Пермь»... Ой, не надо нам новых зловещих легенд про лихих людей, эта земля и без того леденящими кровью преданиями богата.

Манана Думбадзе

Афганистан сквозь замочную скважину «Барона»

С грузинского. Перевод Владимира Маловичко

Глава 15

Кто сказал, что афганская охрана плохая? Она очень хорошая, вполне меня устраивает. В нашем проекте и во всех других проектах USAID в соответствии с текущей политикой американского правительства в Афганистане идет тотальная «афганизация». В службе безопасности происходит то же самое. Американских и британских офицеров меняют на только что обученных афганских. По этому поводу весь международный состав «Барона» страшно паникует. Афганцам не доверяют: кто может гарантировать, что они не продадут тебя талибам? Памятуя о трагическом случае, когда талибы похитили американскую дипломатку, которая погибла в результате спецоперации по ее освобождению, я предупреждаю всех: если меня похитят, не вздумайте освобождать меня, с талибами я сама как-нибудь разберусь. Окружающие, которым я это говорю, улыбаются и советуют не шутить на эту тему.

Уже 20 дней как TAFA проводит тренинги для студентов экономического факультета Кабульского университета по теме «Деятельность Международной ассоциации перевозок». Эти тренинги известны всему Афганистану, поскольку кроме студентов университета TAFA прочла этот курс транспортникам и перевозчикам почти всех провинций страны. И настал мой звездный час: мне поручили написать «Историю успеха». Официальное закрытие трехмесячного тренинга было назначено на 30 октября. Ожидалось прибытие элиты афганской экономики, бизнеса и высшей школы.

С целью получения информационных материалов я решила посетить одно из последних семинарских занятий. Помимо всего, мне интересно было посмотреть, как живут и учатся студенты, как они одеты, какое у них отношение к учебному процессу, какие надежды, к чему они стремятся...

Мой учитель дари рассказывал мне, как он при талибах преподавал афганской молодежи английский язык: «Когда талибы пришли к власти, я бросил государственную службу и начал учить языку в университете. Одновременно подготовил курс для начинающих и на первом этаже своего дома открыл офис. Ежедневно до одиннадцати вечера я работал не поднимая головы, пока однажды ко мне не пришли и прямо во время урока не устроили допрос: что преподаешь, почему, кому? Я отвечал спокойно, полагая, что это обычная проверка. Мой сын оказался понятливей и, чтобы защитить меня, спустился ко мне из своей комнаты. Ему и слова не дали произнести, сразу ударили ногой в лицо. Я рванул к нему, но меня бросили на пол и долго, старатель-

но били ногами. Тогда мы отделались побоями, но с тех пор я стал очень осторожен и предпочитал заниматься с учениками у них дома. Особенно опасно было учить девочек. Это считалось грубым нарушением моральных принципов и могло привести к самым печальным последствиям.

Обучаться английскому приходил и молла. Однажды, когда мы с ним занимались, раздался грубый стук в дверь. Я сказал молле, чтобы он быстро начал читать Коран, каратели растерялись и ушли ни с чем. Несколько раз меня останавливали на улице, когда я возвращался от учеников, спрашивали, где был, чему учил. Видимо, кто-то постоянно доносил на меня. Я очень боялся, но остановить меня было невозможно. Я до сегодняшнего дня служу этому делу и создал уже около двухсот курсов изучения языков для разных слоев населения с разным уровнем знаний».

Так было при талибах. А теперь расскажу о сегодняшнем Кабульском государственном университете. С утра я согласовала вопрос с охраной, и мы с уже известным вам Дахундой и его ассистентками сели в машину и поехали участвовать в последней сессии по вопросам организации перевозок. Поскольку дорога в Кабульский университет проходит через центр города, я надеялась хоть из окна машины увидеть центральную часть Кабула и Куриную улицу. Но стоило мне об этом подумать, как в машине заработала громкая связь, водителю сообщили, что на центральной площади многочисленная демонстрация и надо ехать обходным путем. Мы двинулись по уже знакомой объездной пыльной дороге, вдоль гор, мимо грязных развалюх. Склоны гор здесь застроены глинобитными домами с плоскими крышами. Между ними вверх вьется ослиная тропа, по одну сторону которой — каменная лестница с высокими ступеньками. До самых верхних домов она не доходит, туда можно вскарабкаться только по тропинке.

— В нормальных странах в таких местах живут миллионеры, а у нас только бедняки, — говорит Дахунда. — В этом районе нет ни воды, ни дорог, а электроэнергия — по графику. Что касается канализации, то это ахиллесова пята всего Кабула.

— Позволь, а куда идет огромная гуманитарная международная помощь, если в городах не налажены водоснабжение и канализация? — возмущаюсь я, будто в 90-х годах у нас все эти вопросы были решены.

— Уплывает в чьи-то карманы. У вас что, не так что ли?

— У нас дороги строили и рушили сначала коммунисты, потом демократы их доламывали. Во время Революции роз начался дорожный бум. По утверждению нашего правительства, вся международная помощь была потрачена на строительство новых дорог. Да, новое здание аэропорта еще возвели. Правда, ветер так часто приподнимал его крышу, которая к тому же протекала, что народ остроумно прозвал это здание «кабриолетом». Фонтанов понастроили уйму. По количеству фонтанов на душу населения мы, думаю, вырвались на передовые позиции в мире. Еще мосты. Злые языки говорят, что продолжение строительства новых мостов может привести к необходимости добавления новых рек или, по крайней мере, притоков. Пока почти ничего не взрываем.

— Но вы вроде довольны правительством?

— Уж так довольны — дальше некуда, — отвечаю я и, чтобы не развивать эту пикантную тему, спрашиваю: — Скажи, а сколько стоят дома в этом квартале?

— Очень дешево, но все равно никто их не покупает. Здесь вынуждены селиться те, кто не в состоянии платить налоги и привык жить впроголодь.

— А район очень красивый. Думаю, лет эдак через двадцать-тридцать он станет наиболее привлекательным для жилья, — пофантазировала я. — Дальновидный бизнесмен сюда должен вкладывать деньги.

Дахунда снова улыбается, но на этот раз без комментариев: он вовсе не уверен, что Афганистан в течение ближайших тридцати лет покончит с войной и преобразится.

— Приехали! Узнай, пожалуйста, впустят ли нашу машину на территорию? — говорит он водителю.

По разные стороны университетских ворот — два отдельных входа: один для студенток, другой для студентов. При входе служба безопасности проверяет как девочек, так и мальчиков. Нашей машине позволили въехать во двор.

Университет занимает громадную территорию хвойно-лиственного лесопарка, по которой разбросаны учебные корпуса; остатки дорог, во всяком случае тротуары времен советского режима почти полностью разрушены. В глубине парка виднеются заржавевшие металлические столы и стулья. Учебные корпуса связаны с главной дорогой немного более ухоженными асфальтированными аллеями. Несмотря на то, что парк довольно старый и на удивление не тронутый, нашествие городской пыли наложило и на него свой серовато-коричневый отпечаток. В отсутствие хозяйского ухода он зарос и одичал, но красота его угадывается и теперь, несколько лет мирной жизни быстро бы его возродили.

Я спросила у Дахунды, когда был основан университет. Он ответил: то ли в 1320-м, то ли в 1330-м году, но это учитывая, что сейчас в Афганистане 1399-й. Значит, возраст их университета почти такой же, как и нашего, но отличается он от нашего тем, что представляет собой настоящий университетский городок: все корпуса со своими библиотеками, хозяйственными и административными постройками, студенческими клубами находятся на одной территории. Мне она так понравилась, что заходить внутрь совсем не хотелось, но я последовала за Дахундой на третий этаж, где расположен экономический факультет.

В первом ряду аудитории сидели только мужчины. Девушки — отдельно, в третьем и четвертом рядах. Дахунда и его помощник Джамшид проводили последнюю письменную работу, они неторопливо ходили между рядами, отвечали на вопросы студентов и давали советы. Я ходила вслед за ними и фотографировала. Во время перерыва Дахунда подвел меня к девушкам. Я записала несколько небольших интервью. Когда я спросила, как они оценили бы данный тренинг, они вежливо ответили, что он был полезным, после чего стали задавать вопросы сами:

— А вы как все это оцениваете? — обратилась ко мне девушка в красном платке, зеленоглазая, с правильными чертами бледного лица.

— Ну, по моей оценке, вы — самые красивые девушки в мире. Что же касается профессиональных оценок, то их сделают другие, — сказала я, указав рукой в сторону Дахунды.

— Большое спасибо, вы тоже красивая и очень добрая, — услышала я в ответ.

— Для них это самая желанная оценка, больше всего они хотят услышать именно это, — заметил Дахунда и взглядом дал понять, что пора уходить.

— Я должна сфотографировать девочек, — попыталась я потянуть время.

— Сфотографируй их в саду, — предложил Джамшид, и по голосу было заметно, что он нервничает.

Я быстро сделала несколько фотографий, и меня почти бегом «подали» к нашей бронированной машине. Водитель-афганец посмеивался над тем, как неловко я влезала в огромный внедорожник, но помочь не мог: правила приличий не позволяли. Зато он сделал то, о чем я и не мечтала, — повез нас обратно по разухабистой дороге через понравившиеся мне горные селения. Машина медленно двигалась по шумной щебенке и иногда накренилась так, что привязные ремни впивались в тело, но я все-таки ухитрялась фотографировать дома, осликов, их оборванных хозяев, веселых грязных детей, которые бежали за нами и смеялись нам вслед. Потом, просматривая карточки, снятые в квартале Сурия, я убеждалась в том, что до мест, которые мне так понравились, цивилизация еще не добралась.

Глава 16

Из-за того, что кто-то взорвался в «Файнесте» и унес с собой на тот свет минимум десяток невинных иностранцев и афганцев, нас начали возить в другой маркет той же сети. При выходе оттуда с полными мешками провианта через черный ход я подняла глаза и увидела совсем недалеко каменистую гору, на вершине которой прекрасным венцом сидела крепостная стена — шедевр древнего зодчества. Это был драгоценнейший перл Кабула — Бала-хиссар, основанная в V веке нашей эры крепость. Течение времени и нескончаемые войны ничего не смогли с ней сделать. Она, подобно нашему Джвари, так гармонично вписывается в пейзаж, будто вырастает из горы. Мне казалось, что машина времени перенесла меня в эпоху великого Шота Руставели, что я по его следам попала к стенам Каджетской крепости и своими глазами увидела, где томила в плену Нестан-Дареджан. Словно прекрасное видение, эта крепость явилась мне всего один раз, больше мне ее узреть не довелось.

Вчера одна моя афганская сотрудница прислала мне по Фейсбуку фотографии старого Кабула. Всего каких-то сорок лет назад город называли Цветущим садом или Розой Востока. Как жаль...

Кто-то сказал, что лучше всего у афганцев получается война. Но надо заметить справедливости ради, что возрождаться они тоже умеют. Просто жизнь этой страны сложилась так, что разрушения происходили чаще. Плохо то, что, если период восстановления сильно задерживается, строительные умения и секреты забываются. В Кабуле это отчасти сказывается уже сейчас: индийская, пакистанская и иранская архитектурные аляповатости начинают вытеснять ровный и мягкий афганский стиль. Я не имею претензий ни к какому стилю, но все хорошо на своем месте.

Наподобие знатных грузинских фамилий, фамилия Хотак в Афганистане связана с имперскими претензиями кучи¹. Оказывается, представители этого рода в XIV веке правили Афганистаном и половиной Ирана. Исмаил Хотак, наш сотрудник, один из последних представителей этого знатного рода. Это высокий, представительный, широкоплечий афганец с черной гривой выющихся волос над большими, темными как ночь глазами. Своей пластикой и манерами он очень напоминает нашего Арсена Марабдели из грузинских преданий, который отнимал у богатых и отдавал бедным. Если меня спросят про афганца, внешность которого могла бы олицетворять Афганистан, первый, кто встанет перед моими глазами, это Исмаил Хотак. С его лица не сходит улыбка, с которой он всем и во всем помогает. В нашем проекте ему поручены вопросы транспортного обеспечения сотрудников. Именно он встретил меня в аэропорту, когда я впервые прилетела в Кабул, и, вероятно, поэтому у меня сразу возник возвышенный и оптимистичный настрой по отношению к этой стране.

Исмаил необыкновенный знаток афганской истории. Это он рассказал мне, как первые грузины с боями ворвались в Северный Афганистан, остались там и со временем стали афганцами.

— Деревни кучи называют «вотхилами», и их жители считаются опасным народом. Большинство талибских военных отрядов почти полностью сформированы из кучи. В бузкаши² с ними не сравнятся никакие другие наездники. Для этого вида спорта и лошади у нас наилучшие.

— Бузкаши — это поло?

¹ Кочевники Афганистана — кучи (или кучаи), которых обычно относят к пуштунам, образуют самостоятельную этническую группу и по действующей афганской конституции пользуются особым положением в государстве. По разным оценкам, в Афганистане живет от 2,5 до 6 млн. кучи.

² Бузкаши — конноспортивное состязание, известно со времен Чингисхана, популярный вид спорта, который требует от участников отваги, ловкости и силы.

— Бузкаши — это «бус кашин», ловля лошадей. Наездник должен всеми правдами и неправдами отнять у противника зарезанного теленка. Безжалостная игра без правил!

— Выходит, бузкаши — это война, а не игра? У вас все без правил? — смеясь, спрашиваю у Исмаила.

— Так получается. Поэтому сегодня в бузкаши, кроме афганцев, уже никто не играет, — отвечает он и будто про себя добавляет: — Здесь никогда не поймут, что такое демократия. Наша культура и истина это Ислам. Все, что создано человеческой мыслью — закон, демократия и все прочее, — это Ислам, который представляет и независимость, и свободу... Говорят, что в Афганистане ущемляются права женщин. Это мы ущемляем права женщин? Мы, которые так ухаживаем за своими женщинами, день и ночь работаем, чтобы они ничего не делали, ни на минуту не оставляем их без внимания и никогда не бросаем их на произвол судьбы!

— Ты о ком говоришь, Исмаил, ты говоришь об афганских женщинах? Или я ослышалась?

— Женщина для меня все: мать, жена, друг, любовница, дочь, родина — все это связано с понятием женщина, — понесло Исмаила так, что можно было подумать, будто мы за грузинским столом и он предлагает тост за женщин.

— А чадру я, что ли, придумала?

— А кто тебе сказал, что чадра — афганского происхождения? Какой-то дурачок завез ее из Ирана, другой напялил ее на свою жену. Так и пошло. Своей жене я никогда не предлагал носить чадру. А как дорого обходятся нам наши дорогие женщины! В нашей стране мужчина не допускает, чтобы его женщина была не одета и не обута. Если в машине у мужчины сидит женщина, хорошо одетая и солидная, полиция его не остановит, так как этот мужчина — уважаемый, честный и деловой человек.

— Бедные афганские мужчины! Какие вы несчастные в наших руках!.. — подтруниваю я. — Кстати, у тебя, кажется, три девочки?

— Нет, у меня есть и мальчик, но я с ума схожу по моим девочкам; мальчики принадлежат матерям (такое впечатление, будто Исмаила подготовили грузинские мужчины и подсунули мне для испытания). — Кучи свободен как ветер. Афганская земля для него — собственноручно сотканный ковер-самолет. Кучи очень умен и ловок. Это самые богатые люди в Афганистане, но и мы теперь живем не так, как должны жить, — продолжает философствовать Исмаил. — Беспощадное время заставляет нас делать глупости, чтобы скопить денег. Владелец банка «Азиз» мой двоюродный брат. Будучи в нефтяном бизнесе, он сколотил огромный капитал, но... ценой гибели двух сыновей. Третьего сына у него похитили и не возвращали, пока он не заплатил миллионы...

Семья Исмаила состоит из восьмидесяти членов. Все живут в одном квартале в собственных домах. Один дом общий, там каждый вечер все собираются и вместе пьют чай. Исмаил говорит, что делают они так, чтобы мать имела возможность каждый день приласкать каждого своего ребенка и спокойно засыпала.

— Это наша младшая мать, сейчас она живет у меня. Отец мой несколько лет как скончался. Если она каждый день не пообщается со своими детьми, она тоже умрет, — говорит Исмаил.

Ну, дорогие мои, это все из какой-то другой афганской сказки. Потому что все, что я читаю в документах и книгах про Афганистан, что вижу в натуре, это совершенно другая реальность. Впрочем, возможно, мир кучи, заселенный кланом Хотакров, действительно тот желаемый Афганистан, который существует только в измерении Исмаила.

И еще о коврах, которые ткут кучи. Они совершенно не похожи на известные афганские ковры ручной работы. На ковре кучи отображается вся летопись народа, из-за чего за этими коврами особо охотятся коллекционеры и туристы. Хотя с гератскими коврами и им не тягаться: гератский ковер — это царь ковров.

Сегодня я, Весна и три молодые афганки обедаем вместе. Весна из Боснии. Она уже пять лет работает в Кабуле в международных проектах, достаточно хорошо разбирается в вопросах афганского быта и легко входит в контакт с афганцами. Книжки, которые я прочла перед приездом сюда, полны описаниями ужасов. Если верить тому, что рассказывают Халед Хоссейни и другие афганские писатели, эта когда-то великолепная нация, отличавшаяся изысканной культурой, стремившаяся к образованию, сегодня превратилась в сборище маньяков, садистов, необразованных фанатиков, интеллектуальных конформистов и коррупционеров. Что дело обстоит не так, я уже начала понимать. Иные эмигранты осуждают и тех, из-за кого они оказались в изгнании, и тех, кто добровольно остался на родине или не сумел, как они, сбежать. Так до сегодняшнего дня обвиняют нас убежавшие от советизации за рубеж грузинские эмигранты и называют коммунистами или в лучшем случае переродившимися грузинами, носителями советского менталитета. Мы не свергли советскую власть и не подготовили почву для их возвращения. Тех, кто в условиях социализма добивался определенных успехов, грузинские эмигранты из Западной Европы без разбора клеймили агентами КГБ. Коммунисты, в свою очередь, эмигрантов припечатывали изменниками. А мы, простые смертные грузины из Советского Союза, завидовали «деятелям» из Парижа, Лондона и США, которые, по нашим представлениям, ворочали миллионами. Как мы могли предположить, что *наши* не являются там представителями высшего общества и не сводят весь западный мир с ума своими талантами и невероятной пробивной способностью.

Я очень отклонилась от темы. А какое было веселое начало. Короче, сидим мы — я, Весна и три афганки и вкушаем афганский обед. В тот день на ланч в столовой были суп, цыплята табака, красное лобио и жареная картошка, на десерт — два банана. Мы с Весной съели своих цыплят с упоением. Здесь, в «Бароне», я вспомнила давно забытый вкус деревенской курицы, которую ела со свежим ткемали и с мчади, когда и мы не имели понятия о мороженных цыплятах из магазина. А эти люди и теперь питаются исключительно натуральной пищей и слов «генно-модифицированный продукт» пока не слышали. Чувствуете, как они отстали от цивилизованного мира?

Весна начала беседу, спросив девочек, замужем ли они. Что Рахима замужем, она знала, так как была у нее на свадьбе. Розия и Парасту в один голос ответили — нет.

— Значит, готовитесь?

— Представьте, нет, — отвечает красавица Розия.

— Это потому, что ребятам сейчас жениться очень трудно? — вступаю я.

Рахима отвечает:

— Да, все расходы несет мужчина: свадебные подарки, дом, одежда, выкуп за невесту ее семье — всего до пяти тысяч долларов. В этом смысле молодые мужчины в Афганистане на самом деле в трудном положении.

Тут я вспомнила историю, связанную с Абдуллой, торгующим у нас в минимаркете драгоценными камнями и ювелирными изделиями. Я зачастую любовалась чудесными изумрудами, которые он привозит прямо из Панчшира, даже не спрашивая о цене, — все равно мне не по карману. Но однажды он мне сказал:

— Если ты на самом деле покупатель, забирай за полцены.

— Что произошло, Абдул? — изумилась я.

— Собираюсь жениться, нужно очень много денег. Я должен собрать их за месяц, поэтому на месяц становлюсь добрым Абдуллой.

— Вах, как здорово, поздравляю! А «очень много» это сколько?

— Очень много... Все продам за полцены... Помоги мне — и ты выиграешь, и твои друзья.

Толпы покупателей повалили к Абдулле. Некоторые сразу покупали, некоторые

(я в том числе) торговались, пытаюсь сбить и уже уполовиненную цену. Представьте себе, Абдулла шел на неслыханные уступки. А в конце выяснилось, что хорошо все просчитав заранее, он за месяц, обвешав всех женщин «Барона» своими украшениями, собрал нужные на помолвку деньги.

Но вернусь к нашей застольной беседе.

— Скажите мне, как обстоят дела в Афганистане с женским здравоохранением? Говорят, из-за того, что мужчина-врач не может осматривать женщин, пациентки в экстремальной ситуации, например, при родах, нередко погибают. Я слышала, что те женщины, у кого есть возможность, едут лечиться в Индию.

— Это правда. На периферии роды принимают местные акушерки. В Кабуле много женщин-гинекологов, есть и мужчины, но их мало.

— В Мазаре, Герате и других больших городах есть и родильные дома, и женщины-гинекологи. Случаи женской смертности в основном в деревнях, — подтвердили девочки.

— А вы выходите на улицу в одиночку, без мужчины?

— По Шаренао (центр Кабула) ходим свободно, но дальше и на окраинах — ни в коем случае. Только если нас сопровождает близкий человек: муж, брат, отец или дядя. На базар допустимо, чтобы пошли две женщины, на Чикен-стрит тоже. Но в одиночку, вдали от центра — нет.

Глава 17

Галина Алжанова из Казахстана и Рахат из Киргизии — мои близкие друзья, мы все время вместе, на работе и вечером. Много беседуем о судьбах наших стран. Международное сообщество объединяет пять среднеазиатских республик бывшего Советского Союза (Киргизия, Туркмения, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан) в группу стран Центральной Азии. Одна из главных политических задач этих стран (некоторые из них богаче России) сегодня — освобождение от доминирования русского языка в быту и делопроизводстве.

Причинами обрусения, по рассказам Галины и Рахата, являлось то, что местное население в своей стране считалось национальным меньшинством. В большие города массово переселялись русские. И Галина, и Рахат родились в маленьких аулах, но даже там в детских садах и школах учили по-русски. Дома у Галины тоже говорили по-русски, и единственной, кто сопротивлялся этому, была бабушка, которая не понимала речи своих внуков и внучек, а они не понимали ее.

— Бедная бабушка все время просила нас научиться говорить по-казахски, но ее никто не слушал. Казахская школа была единственной в деревне, и туда почти никто не ходил. Сейчас мы постепенно начали восстанавливать казахский язык в государственных учреждениях. Выступление с докладом на казахском языке считается теперь хорошим тоном. Но мало кто знает родной язык на высоком уровне, — рассказывает Галя.

— Господи, какие мы необразованные: я ничего о вас не знаю, хотя на протяжении семидесяти лет мы были одним государством, — вырвалось у меня.

— А я читала книги твоего отца.

— Так я тоже читала книги, например, Чингиза Айтматова, но он ведь на русском писал.

— А твой папа разве не на русском?

— Нет, на грузинском. Как можно написать «Я, бабушка, Илико и Иларион» на русском? — откровенно удивилась я.

— Я читала ее по-русски, и она мне очень понравилась.

— А я у себя в классе был единственным киргизом, — включился в беседу Рахат.

— Почему, ты что, в русской школе учился?

— Ну да. Киргизская тогда в Бишкеке была чуть ли не одна и очень плохая.

В отличие от них я с гордостью рассказываю, что училась в грузинской школе, закончила грузинский университет, работала в Институте грузинской литературы и как мы все поднялись против большого Советского государства, которое хотело государственным языком в Грузии провозгласить русский. Я вспомнила и то, что моя кандидатская диссертация была переведена на русский язык и отослана в Москву на утверждение. А еще я вспомнила историю, которую мой отец рассказывал как анекдот. На одной из сессий Верховного Совета СССР (депутатом которого он был) его коллега, министр одной из среднеазиатских республик, поинтересовался, на каком языке в Грузии учатся в школе. И когда отец ответил ему, что на грузинском, с улыбкой заметил ему по-русски: «Как вы от нас отстали, у нас уже все на русском». Рахат и Галя долго смеялись, приговаривая: «А чего бы вы хотели от министра, он сказал правду».

Какого-то чрезмерного давления в направлении русификации лично я не испытывала, наоборот, часто встречала выскочек-грузин, которые по собственной инициативе в процессе беседы вдруг извинялись и под предлогом плохого владения грузинским языком переходили на русский. Помню, как меня удивило, когда уйгурка, жена друга нашей семьи абхазского поэта Гено Аламия, Рабигюль начинала говорить по-русски с чистейшим московским акцентом. Как Ивета, моя сотрудница-армянка, в анкете писала: место рождения — Тбилиси, национальность — армянка, родной язык — русский. Когда я ее спросила, почему она не знает армянского или хотя бы грузинского языка, она ответила: а зачем? Эти языки мне не нужны.

История моей семьи сложилась так, что у меня есть по родственнику самых разных национальностей — абхаз, украинец, русский, поляк, армянка, — но все свободно говорят по-грузински.

— Это просто невероятно, что у вас и русские, и украинцы, и армяне говорят по-грузински! — восторженно заметила Галя.

А в «Бароне» тем временем начались непредсказуемые события. Сначала наш партнер остановил контракт с директором коммуникаций Френсис Ардинс, как было объяснено, с целью снижения проектного бюджета. Другой причины они придумать не смогли, потому что у Френсис был двадцатилетний стаж работы в Си-эн-эн и восьмилетний — в пресс-центре Рейгана, с высшими оценками и рекомендациями. Возмущенная, я посоветовала Френсис пожаловаться в суд (в надежде на неоспоримый авторитет американского правосудия), на что она коротко отрезала: «Дорогая, на американское правительство не принято жаловаться», после чего смиренно собрала вещи и, прежде чем я ушла в отпуск на рождественские каникулы 2011 года, с помпой и банкетом удалилась навсегда. Ровно через неделю по той же причине уволили филиппинку Мартину. Потом на всякий случай всем нам дали понять, что такая же участь может постигнуть каждого из нас. Вот тогда-то «Барон» и стал похож на настоящую тюрьму, где никто не знает, когда вдруг откроется дверь камеры и тебя позовут: «На выход с вещами!»

<...>

Глава 20

Пребываю в паршивом настроении. Диана уезжает в Тбилиси ложиться на операцию и, разумеется, как и я, отличным расположением духа похвастать не может. Дживан 12 февраля заканчивает контракт и исчезает с афганского небосклона. У Весны так напряжены отношения с ее идиотическим начальством, что она, вероятно, преждевременно расторгнет контракт и в марте покинет проект. Грейс уже уехала, и

я скучаю по ней. Андрей собирается в отпуск. Рахат не знаю когда вернется из отпуска, Светлана — тоже.

Зато недавно в отдел Дианы прибыл Тимур, молодой узбек, юрист. Узнав от Дианы, что я дочь Нодара Думбадзе, он на следующий же день навестил меня в офисе с букетом цветов и целой охапкой цитат из романов отца. Я сгорала от стыда, когда не могла вспомнить, какое выражение какому персонажу принадлежит. А Тимур умирал со смеху и приговаривал, что я, наверное, не читала произведений собственного отца. Но он помнил такие мелочи и задавал такие каверзные вопросы, что я не уверена, смог ли бы сам отец на них ответить.

Моя сестра Кетино на вступительном экзамене в университет не смогла наизусть продекламировать «Завещание Автандила» из «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели, за что получила четверку, не добрала одного балла и в тот год не поступила. Мама по этому поводу срочно собрала семейный совет с участием отца. Я тогда была искренне «возмущена» фактом незнания Шота Руставели:

— Как, ты не знаешь наизусть «Письмо Автандила»?!

— Полностью не знаю, а ты что, знаешь что ли? — парировала Кетино.

— Конечно, знаю, в моем классе его знают наизусть почти все! — неизвестно на каком основании заявила я. Мама воскликнула, что с этими детьми справиться не может и передала бразды правления отцу. Папе явно не хотелось разбираться, и он сказал:

— Сам Руставели «Завещание Автандила» наизусть не знал — иначе он бы его не записывал, — и подмигнул счастливой Кетино.

Тимура я полюбила как сына, можно сказать, «усыновила» и каждый день, хотел он того или нет, кормила горячим обедом. Он в ответ каждую пятницу водил нас с Дианой в «Грин виллидж», где на общеизвестном «Бранче ООН» (завтрак — шведский стол) собирались иностранцы.

Два дня непрерывно шел снег. Заснеженный «Барон» напоминал декорацию к сказкам Андерсена. Во время ночного дежурства афганские охранники лепили во дворе «Барона» больших Дедов Морозов, снежных лошадей, тигров, женские торсы и другие красивые фигуры. Это была настоящая художественная выставка.

Что происходило за стенами «Барона», я как-то не думала, пока на третий день после боевой тревоги нам не разрешили поехать в «Файнест» закупить продукты на неделю. К тому времени началось таяние. Поскольку заснеженные дороги никто не чистил, мы то и дело застревали в пробках. Стоило машине остановиться, как боковые бронированные окна облепляли женщины в вываленных в грязи чадрах, с грудными детьми на руках. Мне стало невыносимо плохо — я ничем не могла им помочь. Газеты сообщали, что Афганистан и в этом году встретил зиму неподготовленным. В землянках многодетные семьи погибают от холода. Электроэнергия вот уже несколько дней населению почти не подается.

Мина собирает для нуждающихся одеяла, одежду и деньги. Я чувствую себя настолько виноватой, что готова отдать все. Господи, неужели и в Грузии было так же в 90-х или в 37-м? Да, кто это пережил, помнит: было почти так же. Афганцы говорят, что потеряли надежду на возрождение. И все-таки я не раз слышала от них что-то вроде нашего «Оп-ля, а мы живы!», не раз ловила искорку света в их сине-зеленых глазах, слышала их веселые песни и смех. Такова их природа. Если б было не так, не стоило бы и жить.

Трасса, ведущая к аэропорту, неплохо очищена, но на тротуарах такая слякоть, что не верится, будто два дня назад здесь лежал снег. Измызганные в грязных лужах дети в пластмассовых сандалиях на босу ногу или вообще босиком носят полуодетые. Видимо, у них такая мощная энергетика, что они не чувствуют холода, успокаиваю я себя. Здесь же на засаленных круглых подушках-мутаках устроились старцы, завернутые в изодранные одежды. Несмотря на философское выражение лиц, они

весьма бойко беседуют. Одни курят кальян, другие потягивают чай. Люди помоложе поставили перед магазином мангал и занялись приготовлением шашлыков. Специальные веники-опахала, которыми они раздувают огонь, такие же закопченные, как их шальвар-камизы. Женщины по ледяным лужам ходят в обуви на тонкой подошве. Но все веселыми взглядами провожают наш «броневичок».

Вспоминаю наши смутные девяностые: костры из старых покрышек во дворах для согрева, подожженная на улице перед нашим домом будка, грязь на проезжей части улиц, завернутые в поношенные одежды сомнительные девочки, беззубые рты наших знаменитых актеров и общественных деятелей, впалые от голода щеки писателей и учителей... Нищие женщины и дети, излишне агрессивные, престарелые нищенки-грузинки, умоляющие помочь, выстуженные квартиры, и от холода и голода преждевременно ушедшие в мир иной близкие и родственники. Кто этого не помнит? Разве что та группа сытых представителей грузинской «элиты», человек пятьдесят, которые бахвалятся своими виртуальными достижениями.

Но разница большая. В Грузии это происходило двадцать лет назад. Здесь когда это началось, никто не помнит и когда закончится, никто не знает. Народ привык к такому существованию. Однако неудивительно, что он испытывает такую ненависть к чужестранцам, которые превратили их страну в экспериментальную лабораторию и тратят миллиарды для ее окончательного разорения.

С момента приезда сюда мой статус и рабочая тематика несколько раз менялись, в зависимости от текущей социально-политической ситуации в Афганистане и «номеров», которые выкидывал со мной наш придурковатый директор проекта. Сначала я делала то, зачем приехала и что знаю, затем мне поручили заниматься тем, чего не знали сами, а уж я вообще не имела об этом никакого представления: написать две главы книги-руководства «Как торговать в Афганистане». Сначала я впала в глубокий транс. Но что делать? Не выйдешь ведь из лодки на середине реки. Я смиренно села и начала работать над темой «электронная коммерция» (e-commerce), по которой не то что ничего никогда не писала, но даже и не читала. Представьте себе, мой научный опыт пригодился: после долгого копания в интернете я выудила уникальные материалы, изучила их, завязала переписку с международными экспертами в этой области, изучила опыт развитых стран, сделала вкрапления афганской специфики — и получился небольшой научный труд.

К моему несчастью, труд заслужил у начальства похвалу и меня попросили написать еще одну главу: «Перспективы развития афганской торговли с Россией и странами Центральной Азии». Не теряя набранной инерции, я написала и эту. В снах я видела себя тогда то поставщицей оружия на туркменской границе, то продавщицей гератских ковров в Пакистане, то партнершей опиумных барыг. Маразм крепчал.

Потом выяснилось, что директор TAFA потратил деньги проекта совершенно нецелевым образом, и это привело к досрочному закрытию двух из четырех отделов. Я состояла в одном из них и, следовательно, в середине апреля оказалась вынуждена покинуть Афганистан. Когда я об этом узнала, мы устроили в комнате Брайана большой пир с караоке. Мы с Андреем исполняли советские марши и революционные песни, Брайан и его братья — американский фолк, рок, соул и металлик вместе взятые. Зрители, слушатели и исполнители получили большое удовольствие.

Глава 21

Ужасно холодно. Местные минус десять градусов по Цельсию я приравниваю к российским сорока, потому что никак не могу согреть дом, хотя оба кондиционера работают на отметке плюс тридцать. У афганских сотрудников дома отопления нет вообще, потому что ни у бедных, ни у богатых нет электричества и газа. Единственное, чем они слегка согреваются, это керосин, дизтопливо или еще какие-то низкосортные горючие средства, сгорающие с отвратительным запахом. Такое было

в 90-е годы в Грузии — ребята воровали старые автомобильные покрышки, поджигали их и так спасались от холода.

Афганцы, которых и в такой ситуации не покидает чувство юмора, шутят, в городе, мол, значительно улучшилась экологическая ситуация: меньше машин — меньше выхлопных газов. Их выдержке нет предела, чаша их терпения не имеет дна, их грусти и печали нет конца. Но гордость их душ непоколебима. Думаю, я не доживу до вставшего на обе ноги Афганистана, но и враг никогда не увидит его павшим на колени. Утром газета крупным шрифтом оповещает: «Холод — новый афганский убийца сотен детей-беженцев из провинций!»

Весь вечер я сидела в скайпе с Ниной Джахуа. Ее муж, один из ведущих сотрудников Министерства иностранных дел Грузии, собирался посетить Афганистан с дипломатической миссией. Нину интересовало многое: насколько тепло должен быть одет ее муж, должен ли он взять с собой каску и бронежилет, имеется ли в Министерстве иностранных дел Афганистана ксерокс, интернет и другая техника. Узнав, что я из каски смастерила абажур, а из бронежилета — ширму, она немного успокоилась, сообщать ей, что я, как мышка в клетке, сижу в «Бароне», где каждый шорох является причиной того, что нас гонят в бункер, я не стала. С нетерпением жду, когда приедет делегация: может, удастся встретиться с соотечественниками в каком-нибудь разрешенном месте.

Весна уезжает. Эта новость меня просто убила: в ее лице я приобрела настоящего друга.

— Моя работа здесь была ненавистна мне с первого дня, а сейчас, из-за тебя, я не хочу уезжать, — признается моя подруга.

Она еще вернется сюда, но меня здесь уже не будет. Через несколько дней уезжает Дживан, мой друг из Малайзии. Грейси и Мартина уже уехали. Так постепенно пустеет наша маленькая интернациональная планета. Скоро останемся только я и Диана.

С отъездом Весны прекратятся занятия йогой: тренироваться в одиночку я, наверное, не смогу. Хотя посмотрим, здесь ведь все происходит иначе, чем где-либо. Может, одиночество и начинающаяся депрессия заставят меня тренироваться в одиночку, дома. Свое жилье в огромном «Бароне» только я называю «домом», остальные говорят: «мой номер» или «моя квартира». Но для меня место, где я живу, независимо от страны или континента — мой дом. Земной шар — моя родина, а точка на нем, где я в данный момент пребываю, — моя тихая гавань.

Весна заполнила форму отъезда и отнесла на подпись своему маразматическому начальнику. Тот внимательно прочел маршрут: Сараево, Босния-Герцеговина... «Как, ты в три места едешь?» — спросил он Весну. Она с олимпийским спокойствием преподала ему краткий геополитический курс Балканского региона. Я подумала было, что он пошутил, но потом вспомнила, что в одном из его квартальных отчетов было написано: «На афганско-российской границе...» Я мягко намекнула ему тогда, что Афганистан не граничит с Россией. Он оправдывался тем, что по-прежнему считал Узбекистан Россией. Не удивительно. Для американцев земной шар начинается с Соединенных Штатов и кончается ими. Все остальное — обезличенные сателлиты. Поэтому они борются за каждый клочок земли, независимо от того, принадлежит он им или нет. Они считают себя директорами всей Земли и, подобно многодетному отцу, иногда забывают имена своих детей.

Наш сотрудник Узра говорит, что талибы афганцев не убивают.

— А кого они убивают?

— Врагов!

— А кто убивает мирных афганцев?

— Враг, третья сила...

Господи, этот земной шар действительно одна семья, иначе почему везде все происходит одинаково? Во время войны в Самачабло (Южная Осетия) и в Абхазии все плохое грузины тоже сваливали на «третью силу».

Глава 22

В проекте TAFA началась «Пятилетка пышных похорон». Сначала в праздничной обстановке освободили Эда, директора проекта, затем Кармелу с ее четвертым отделом (из которого «уцелела» теперь только я) и наконец добрались до Фреда, начальника Весны. Ему и трех дней не дали для сборов. Думаю, скоро доберутся и до меня.

«Усыновленный» мной узбек Тимур Нуратдидов хихикает каждый раз, когда я не узнаю цитату из отцовского «Илико и Илариона». Я решила организовать грузинский стол с красным вином, оставленным Весной, и шампанским. Тимур безошибочно назвал все грузинские наименования приготовленных блюд и заявил, что для полного комплекта не хватает только мчади (кукурузная лепешка). После чего назначил себя тамадой и, представьте себе, блестяще провел настоящий грузинский стол.

Я уже говорила, что «Барон» — это вавилонское столпотворение. Хозяйка, грузинка, накрыла стол, за которым сидели представители Боснии, Албании, Америки, Германии, России, грузинской Кахетии и Ливии, во главе с узбекским тамадой и русским, поющим «Мравалжамиери» («Долгие лета»). Тимур неукоснительно соблюдал традиционную последовательность тостов грузинского застолья.

Откуда у него такие познания? Оказалось: четыре года он встречался с девушкой-грузинкой, но когда дело дошло до женитьбы, узбекские родители запротестовали: мол, зачем нам сноха-чужеземка. Такая же реакция была у грузинских родителей девушки. Тогда Тимур придумал выход: родить ребенка, чтобы родителям некуда было деваться. Гордая грузинка оскорбилась и вскоре бесследно исчезла. Сейчас у Тимура жена-узбечка, два сына, и ради их содержания он мотается с риском для жизни по горячим точкам Азии и Африки. В Афганистане он уже четвертый раз.

Весь проект «качает из стороны в сторону». Когда-то в Союзе композиторов Грузии про аналогичную ситуацию кто-то в шутку сказал: «Никто не может понять, чей смычок в чьем рояле». Все проектанты со страхом ждут неожиданного увольнения и гадают: кто следующий.

Три дня Эду устраивали пышные проводы. Как и у нас в Грузии, в Афганистане очень любят грандиозные встречи и проводы с высокопарными выступлениями и посвящениями. Разрушителя проводят так, что непосвященный решит, будто провожают выдающегося созидателя.

В Кабуле представительство ООН располагается в поселении, которое называется «Грин вилидж» («Зеленая деревня»). Оно находится в нескольких километрах от «Барона» и раз в три-четыре месяца превращается в мишень для ракетных атак талибов. Во время последнего нападения погибли двадцать шесть сотрудников, их жен и детей.

О «Зеленой деревне» я слышала еще в Тбилиси и знала, что это поселение приблизительно такое же, как Американская деревня в тбилисском районе Диди Дигоми. А называется она так потому, что место, где она находится, сравнительно ухоженное, с зеленой травой. Поселение и правда похоже на деревню своими одноэтажными домами, маленькими магазинчиками, кафе, клубами и скверами с цветочными арками. Окружающая среда мне понравилась, но бараки-вагончики напоминают клетки для зверей в зоопарке, где нет места вильнуть хвостом. Моя двухкомнатная квартира в «Бароне» по сравнению с жильем здешних ооновцев выглядит как люкс гостиницы «Кемпински». Фаустино, которого еще в декабре «попросили» из проекта, зацепился за какой-то ооновский проект и теперь, на радостях, что удалось остаться, пригласил нас, старых друзей, на традиционный пятничный грин-вилиджевский бранч.

Глава 23

По дороге на таможню я глядела из окна на закутанные в белое покрывало после двухдневного снегопада полуразрушенные домишки и тротуары. Машина еле двигалась по ледяной дороге. До таможни было еще далеко.

— Зима — сезон воздушных змеев. Хотя в такую зиму, как в этом году, воздушные змеи находятся в спячке, как медведи, — говорит мне мой ассистент Мустафа. — Но как только станет теплей и суше, в Кабуле начнутся массовые полеты воздушных змеев, и вы увидите, как запестреет небо. У нас несколько любимых развлечений: первое — соревнование воздушных змеев, второе — бузкаши и третье — почтовые голуби. Четвертой по популярности можно считать игру с мраморными шариками.

— Игру с пятью шариками я тоже знаю: в детстве играла, но мы не воспринимаем ее как серьезный спорт. К тому же в Грузии нет столько мрамора, — подыгрываю я Мустафе.

— А я обожаю голубей. У меня уникальные голуби, вот посмотри, — говорит Мустафа и показывает мне видеозапись на мобильном телефоне.

В голубятне, построенной на плоской крыше дома Мустафы, с гордым видом разгуливают четыре белогрудых с коричневыми крыльями голубя. В углу прислонена сетка для ловли птиц, похожая на сачок для бабочек, но гораздо больших размеров. Заманивание чужих голубей — распространенная забава. Легче всего заманить уставшего от перелета голодного голубя: он сам проваливается в сетку, набрасываясь на корм. Чем больше голубей заманишь, тем больше получаешь очков. Хозяева потерянных голубей начинают искать их и, когда узнают, где они находятся, являются к «похитителю» и предлагают выкуп. Порода голубя определяет стоимость выкупа. Говорят, в этом бизнесе делаются большие деньги, которым зачастую сопутствуют серьезные криминальные разборки.

За разговором я и не заметила, как мы оказались на таможне, где пришлось выслушивать другие истории. Два сотрудника национальной службы контроля ждали меня, чтобы рассказать, как хорошо, когда в каждом офисе таможни установлена видеокамера. Под страхом неусыпного контроля афганские граждане, торговцы и экспортеры-импортеры не суют взятки в руки таможенников.

— Эти камеры записывают все, а мы передаем контролерам кадры, вызывающие подозрения, — объясняет мне начальник службы наблюдения Хасиб Хоссейн.

— Сколько нарушений зафиксировано, например, за этот месяц и привлечен ли кто-нибудь к ответу за нарушения? — спрашиваю я.

— Эта аппаратура смонтирована у нас недавно, и начальник таможни еще не требовал у нас соответствующих материалов. Но положительным, несомненно, является то, что все боятся Бабау, — улыбается Хасиб.

— А кто такой Бабау?

— Укладывая детей спать, им говорят, чтоб засыпали скорей, иначе придет Бабау и будет плохо. Вот и мы предупреждаем таможенников, что видеокамеры Бабау видят все и запоминают, — смеется Хасиб и показывает мне на большом телеэкране, что происходит в данный момент на кабульской таможне. Взад-вперед снуют люди в пиджаках, с папками. За ними ходят афганцы в чалмах и без. Главное, что Хасиб знает точно, кто из них дает, а кто берет взятки.

Хасиб закончил Московский университет и свои претензии к работе таможни, отключив диктофон, высказывает по-русски. Во мне он видит побратима и единомышленника, прошедшего советскую школу, который понимает, что разговоры под запись прямо пропорциональны риску быстрой потери работы.

Глава 24

Иногда какие-то афганские мужские голоса раздаются в моем мобильнике и, услышав женский голос, не оставляют меня в покое. Пока что я нашла два способа борьбы с ними. Один простой и стопроцентно срабатывающий: приняв звонок, откладываяешь телефон в сторону и продолжаешь делать свои дела в ожидании окончания денег на балансе звонящего. Поняв свою ошибку, тот поспешно отключается и больше звонить не будет.

Второй способ я узнала в доме «усыновленного» мной Тимурика. В гостях у него были также его боливийский друг Андрес и обамериканившийся афганец Сэм, который внешне больше Андреса похож на боливийца. В Афганистане у Андреса — бизнес, и он максимально старается выглядеть местным парнем: по-афгански отпущенная борода, на шее косынка афганского стиля, говорит на пушту. Сэм вещает на характерном американском сленге.

Когда зазвонил мой мобильник, я обреченно произнесла: «Ну, началось!» и протянула телефон Тимуру: может, услышав мужской голос, телефонный террорист оставит меня в покое?

— Дай-ка мне, — сказал Сэм и перехватил мой мобильник, после чего мы оказались зрителями великолепного шоу одного актера. Держа трубку перед собой, он несколько измененным голосом, как «базарят» наши тбилисские морфинисты, читал длинный монолог, звуки которого приятно ласкали слух.

— На каком языке он говорит? — спросила я Тимурика.

— На пушту, — ответил тот шепотом и приложил указательный палец к губам.

Когда абонент отключился, Сэм сказал, возвращая мне мобильник:

— Если у него есть голова на плечах, он в жизни не прикоснется больше к мобильному телефону.

— А что ты ему сказал?

— Я ему прочел один «национальный эпос». Перевести в нем можно только знаки препинания... Короче, этот человек со страху не только тебе, но и родному отцу долго звонить не будет.

— Что ж, поживем — увидим. Но твой спектакль я в жизни не забуду. Совсем по-тбилиски!

Вечером мне позвонил Андрей и пригласил поиграть в парный пинг-понг. С большой радостью я направилась в спортзал, где первый раз увидела, что к нам пришли поиграть афганские водители.

Андрей еле дышал. На другой стороне стола играл босой афганец — молодой, симпатичный, лет двадцати пяти — двадцати восьми, зеленоглазый брюнет с бородкой — и бил такие топки, какие я видела только в исполнении нашего Тато Урджумелашвили. У меня расширились глаза: после отъезда Тато я в основном играю в паре с Андреем, и мы считаемся сильнейшей парой, а хорошо играющего афганца я видела впервые.

— Это Тофик, так просто у него не выиграешь, нам придется крепко сконцентрироваться, — сказал мне по-русски Андрей.

Между тем он хоть и выигрывал геймы, но с большим напряжением, с преимуществом всего в два-три очка.

— Если бы вы с таким упорством в свое время боролись в Афганистане, вы и сегодня были бы здесь, — напомнила я Андрею о его «захватнической генетике», когда играла уже в паре с американцем Гари против Андрея и Тофика.

— Сейчас он одновременно борется с русскими и американцами, поэтому такой озверевший. Я защищаю честь империи и устрою ему реванш, — ответил Андрей.

По тону разговора было ясно, что он испытывает симпатию к Тофику как к достойному противнику.

Я сразу поняла, что грузинско-афганская пара принесена в жертву русско-американской коалиции. И случилось то, что случилось: ни Андрей, ни Гари не смогли взять почти ни одну нашу подачу. Мы потеряли очки на нескольких их не берущихся комбинациях, но провели много своих и выиграли гейм со счетом 21:19. Запланированный «реванш» не состоялся, вот так!

На другой день мы играли как обычно, потому что Тофик не появился. Почему-то пропал и наш постоянный партнер американец Стив.

— Куда пропал Стив? — спросила я Гари.

— Уехал.

— У него что, контракт закончился? Он же совсем недавно приехал.

— Да, но ему сказали, что бюджет проекта урезан и он попал под сокращение.

— Он не протестовал?

— Нет, решения американского правительства не опротестовывают, особенно в Афганистане.

— Он что, был шпионом?

— Этого я не знаю, но знаю, что контракты составлены так, что ничего сделать нельзя.

Мне не нравится история со Стивом. Это уже третий подобный случай, который произошел при мне. Шутка ли, закрываешь глаза на опасности, приезжаешь в эпицентр терроризма и на тебе — сюрприз от работодателя. Фактически сидишь на двух пороховых бочках: одна бочка жизни и смерти, другая — потери работы. Это и есть причина того, что в этой пуховой и соловьиной «тюрьме» все находятся в депрессии или страдают психозом.

Демонстрации на улицах Кабула не прекращаются. По официальным сведениям, уже убито семь демонстрантов. А вчера объявили, что в кабульском «Железном дворце» (Министерство внутренних дел), в строго охраняемом помещении, нашли трупы двух американских экспертов (здесь всех иностранцев называют американцами, раньше, видимо, называли русскими). Оба были убиты из огнестрельного оружия. В связи с этим в «Бароне» провели тренировки по гражданской обороне, дважды включали сирену учебной тревоги.

Еще одно «поле битвы двух гигантов» — мое общение с мужем по скайпу. Вадик пишет мне по электронной почте: «Почему, когда бы я ни вызывал тебя по скайпу, ты не отвечаешь?» Я: «Это я постоянно вызываю тебя, а ты не отвечаешь!» Короче, вместо того, чтобы залечивать раны друг друга, вызванные разлукой, мы в больших количествах высыпаем на них поваренную соль. В конце концов договорились общаться только по электронной почте. Представьте себе — помогло.

Раздается звонок из Тбилиси. Моя сестра Кетино очень взволнована, спрашивает, почему нас не эвакуируют. Оказывается, в грузинских СМИ идет такая информация о положении в Афганистане, что у людей волосы встают дыбом. А мы здесь и не подозреваем, что находимся на передовой линии фронта. Правда, мы получаем информацию от «Аль-Джазиры» и от Би-би-си, но в ней нет ничего панического. «Собака лает, а караван идет» — вот наше положение. Страна разваливается, а в «Бароне» упрямо утверждают, что реализация стратегического плана идет строго по намеченному графику.

Сию себе в крепости, где местные интриги не уступают интригам мадридского королевского двора, и между делом наблюдаю, кто на кого доносит и кто под кого копает. Окончательно это выясняется только после какой-нибудь очередной катастрофы. А снаружи Афганистан истекает кровью, и не только афганской... Как говорит Кармела, «who cares?» — главное, чтобы это кровопролитие продлилось как можно дольше, чтобы лидеры накопили как можно больший капитал.

Когда проект закрывают перед носом неудачника, он спокойно заявляет: ну и что? Земля-матушка забита «горячими точками», тем более сейчас, когда вспыхнули события в Ливане, Сирии... На тушение этих пожаров двинулся поток проектов из развитых стран с новыми рабочими местами для таких, как мы.

«А ты что там делаешь?» — спросите вы меня, и я отвечу: «То же самое», хотя чувствую, что в первый и последний раз... Писательница, посол Швеции, которая пишет «Письма из Афганистана» и хочет, как она выражается, внести какие-то положительные изменения в местную действительность, — это блеф. Что она может изменить или спасти? Ничего. Афганистан, Ирак, Сирия и любая подобная развивающаяся страна для таких «миссионеров» является идеальной «тихой гаванью». Здесь все они одинаково счастливы и по-разному несчастны (украли у Толстого). Женщины из этой касты домой возвращаться не желают. Они пытаются отыскать свою диаспору за рубежом и заполнить таким образом пустоты своей бытовой действительности. Некоторые из них обзавелись здесь семьями. Большой популярностью для этого дела пользуются одинокие породистые «мальчики» из охраны, бродящие по горячим точкам мира. По популярности от них немного отстают афганские ребята-жиголо, которые охотятся за обладательницами заграничных паспортов и грин-карт, для них «миссионерки» ассоциируются именно с этими ценностями.

У меня семья, любящие меня муж и сын, внуки и внучка. Я уже в том возрасте, в котором грузинские женщины вполне законно могут уходить на заслуженный отдых. Но в то же самое время мой муж — пенсионер, моя родина — нестабильная страна, которая платит за сорок лет научно-педагогической деятельности всего сто десять лари в месяц (около шестидесяти шести долларов США, при прожиточном минимуме около ста двадцати) и не дает никакой работы, можно считать, что родина пустила нас по миру не в погоню за «длинным рублем», а в поисках денег на пропитание. Вот почему я нахожусь в Афганистане, который нам платит настоящие деньги, а по отношению к своим гражданам ведет себя точно так же, как наши.

Кармела закончила работу и приготовилась к отъезду. Мне, к сожалению, не удастся присутствовать на ее проводах, так как я в ближайшие дни уезжаю в Дубай на очередное заседание Конгресса всемирной газетной ассоциации. А через месяц по возвращении оттуда я и несколько ведущих специалистов попрощаемся навсегда с проектом TAFA и с «Бароном».

<...>

Глава 26

Вот уже девять месяцев варюсь я в этом котле, где есть все, кроме тепла и любви: бетонные стены, колючая проволока под напряжением, охрана с автоматами при входе, амбициозные сотрудники с нескончаемыми интригами и депрессиями... Еще немного и я, хочешь не хочешь, вольюсь в эту славную семью. Но сильная встряска сверху отрезвила меня, убедив, что пришло время уйти: всех денег не заработаешь! Хотя в Грузии так напряглась ситуация, что порой задумываешься, не предпочтительнее ли остаться в воюющем Афганистане. Здесь, по крайней мере, знаешь точно, что стреляют и ты до конца не застрахован, знаешь точно, кто друг, а кто враг, все названо своими именами. Там этот вопрос сложнее.

Итак, моя афганская эпопея подошла к концу. Поставить точку на ближайшем прошлом в моральном плане для меня оказалось довольно трудно, тем более, что в это самое время здесь начинается совершенно новый этап — милитаризация: при входе в корпус поставили охранников с автоматами Калашникова, ввели дополнительные охранные группы и перед самым носом строят две новые площадки. Для чего — секрет милитаризации.

Во время перерыва афганские строители играют на площадке в футбол. Эта

картина напоминает мне Рембо. Помните, как он играет с афганцами в поло на лошадях в перерыве между атаками русских: какое царит веселье, какой спортивный дух, улыбки и хохот перед большим штормом... Затем вновь атака со стрельбой: смешались в кучу кони, люди, дети и женщины. Что изменилось после этого? Ничего, все в ожидании повтора. Здесь и война, и мир означают войну, а то и другое вместе называют миром.

На воскресенье в «Бароне» объявлена встреча и знакомство с новой охраной и последующий пикник в саду. Барбекю, хот-доги, яблочные пай и кока-кола — рекой. Думаю, пикник будет чересчур американский.

На церемонии, предшествующей пикнику, я впервые увидела весь состав службы безопасности, начиная от рядовых, кончая начальством. У генерала был так хорошо поставлен командирский голос, что микрофон для приветственной речи ему не понадобился. Его слова отдавались в моих ушах, как сирена боевой тревоги, что привело к тому, что у меня заложило уши.

Генерала сменили пламенными приветствиями одетые в камуфляжную форму здоровенные военные дамы, которые выразили всей охране и всему персоналу свою материнскую любовь и сестринскую преданность. На их улыбающихся лицах в этот момент даже блеснула слеза, что вызвало у слушающих кратковременный спазм умиления с последующим взрывом аплодисментов.

После этого через глубокие каньоны закусовых гор потекли реки напитков, грянула музыка, и я почувствовала себя словно на военном параде победы в справедливой войне. Наступило большое всеобщее веселье. Все обнимали и целовали друг друга. Фотоаппараты щелкали без перебора и перегрелись от большого количества вспышек: мы снимались как с отдельными рядовыми охранниками, так и группами.

После кульминационного момента веселье длилось еще приблизительно три часа, после чего пикник закончился, и я срочно занялась переносом отснятых фотографий в компьютер: хотела по свежим следам отправить друзьям фотографии. Но при подробном рассмотрении оказалось, что они весьма малоинформативны и почти на всех отснятых кадрах — снайперы с винтовками в руках на крышах наших жилых корпусов. Отправка фото была отменена. И это был мой первый и последний пикник в Афганистане, а точнее, в «Бароне».

— Один из моих сотрудников во время советско-афганской войны служил в Кабуле и до сегодняшнего дня не перестает говорить о красоте и привлекательности этого города. Это что, синдром войны? — спрашивает меня моя московская крестная Кира Андроникашвили.

— О синдроме сказать ничего не могу, но что касается страны, она очень привлекательна своей своеобразной восточной красотой. Правда, сейчас все так разбито и разрушено, что от этой красоты почти ничего не осталось. Раньше Кабул называли Восточной бахчой и Розой Востока. Потом, на протяжении сорока лет, эту «бахчу» рушили как своими, так и чужими руками. Но все равно красота Кабула удивительно притягательна, — объясняю я Кире, которую подобная информация про Афганистан, даже почерпнутая от непрофессионала, очень интересует, поскольку она политический журналист.

Мне вовсе не хочется рассказывать, как я собиралась в обратную дорогу. Скажу лишь, что афганские коллеги устроили мне в обеденный перерыв кофейно-бисквитный стол. Это не была официальная церемония проводов, которую как обязательку устраивают всем сотрудникам проекта. От нее я официально отказалась, в шутку сославшись на то, что я и так очень высокого мнения о себе, а дополнительные дифирамбы могут меня испортить. Прощание во время перерыва прошло в очень теплой и дружеской обстановке: мы много смеялись и подшучивали друг над другом. Немного погрустили. Из близких друзей здесь остались почти одни мужчины, если не считать Диану и Свету, которые рассказывали про меня разные курьезные случаи.

Когда Мина услышала про мой отъезд, она пригласила меня с друзьями к себе домой. Попасть в этот дом — мечта каждого баронета: своей коллекцией образцов культуры и внутренним садом он смахивает на эдакий афганский дом культуры. Это был мой последний вечер в Афганистане. Ночью я проделала несколько кругов по «Барону» — сон с трудом пришел ко мне.

В аэропорт я уезжала в шесть часов утра. Водителем моего «бронетранспортера» был мой друг Хайдар. Аэропорт казался уже настолько «своим», что я с закрытыми глазами могла дойти до пункта проверки паспортов. Рейс Кабул — Дубай вылетает без опоздания. Я с одной маленькой сумкой в руках, при полном спокойствии, двигаюсь в людском потоке в направлении своей родины. Независимо от меня в сторону дома движется мой груз. В Афганистане я оставляю один из интереснейших отрезков моей жизни. Полностью мой, не делимый ни с кем. А с собой на родину увожу самый странный в моей жизни опыт, тоже неделимый. Честно говоря, даже не знаю, что мне делать с этим выпавшим из обычной жизненной колеи отрезком и опытом, который продолжает мучить меня воспоминаниями. Да, я обязательно должна поделиться им, рассказать. Так взгляните вместе со мной на Афганистан через замочную скважину «Барона».

Я всегда знала, что рулевым своего жизненного корабля никогда не была, но у моего жизненного корабля всегда был хороший рулевой, который заботился о том, чтобы мне легче было ступать по каменистой дороге событий. Именно этот мой рулевой послал мне в кабульском аэропорту трех земляков — пилотов, у которых, как и у меня, закончился афганский контракт, они тоже возвращались домой. У них был свой, огромный багаж афганских воспоминаний, несравненно больший, чем у меня, поскольку они в течение трех лет бороздили на своем вертолете небо над этой страной и изучили ее с высоты птичьего полета вдоль и поперек. Я все спрашивала и спрашивала, а они все отвечали и отвечали. Нет, к войскам НАТО они отношения не имели. Это был американский экономический проект, название которого и фирму-исполнителя они назвать не имели права.

— При первой боевой тревоге мы как угорелые понеслись в бункер. Потом так привыкли, что в ответ на сигнал тревоги меняли только бок, на котором лежали, и продолжали спать, — смеется Тамаз.

— Ну и ну, а я, напялив каску, протирала спиной левый угол своей ванной комнаты, а вот бронезилет сдвинуть с места до конца пребывания в Афганистане так и не смогла.

— Один раз во время ланча объявили ракетную атаку. Вся столовая распласталась на полу. Вот этого типа, — Тамаз указал на своего товарища, — тревога застала в момент, когда он шел с полным подносом к своему столу. Он на мгновение остановился, огляделся и невозмутимо продолжил «слалом» между распластанными на полу сотрудниками. Аккуратно переступая через них, он то и дело приговаривал: «Экскюз ми! Экскюз ми!» — Тамаз так мастерски изобразил эту сцену, что я со смеху чуть не упала с кресла.

— Говорят, грузинские пилоты были одними из лучших во всей советской авиации, это правда?

— Похоже на правду, потому что очень крепкие были ребята. Вот сейчас приедем, сдадим квалификационный тест, и через некоторое время на нашего брата снова начнется большая охота. О нас уже многие знают.

— Как мне повезло, что я буду добираться домой вместе с вами, — сказала я, и тут же представитель грузинской авиакомпании «Аирзена» по динамикам аэропорта Дубая объявил, что по техническим причинам наш вылет откладывается на три часа.

Ребята страшно обрадовались: у них появилась возможность сделать покупки для детей. Конечно же, в Афганистане таких, как в Дубае, товаров не было. А я

огорчилась и с грустью сказала ребятам, чтобы шли на шопинг, я останусь сторожить чемоданы.

Когда они вернулись и позвонили в офис «Аирзены», им сообщили, что самолет уже в пути.

— А что случилось? — поинтересовалась я.

— У них сломалась какая-то деталь, пришлось вернуться с полпути, чтобы заменить ее.

— Эх, надо было лететь на «Дубай флайз», — сказал с досадой Тамаз.

— Почему на «Дубай флайз»?

— А потому, что у них новые самолеты и они вовремя вылетели в Тбилиси.

— А как насчет «Аирзены», грузинских пилотов... Вы же говорили... Это что, неправда?

— Нет, то, что я говорил про грузинских пилотов, правда.

Как раз в этот момент объявили нашу посадку. Я прилепилась к моим новоиспеченным друзьям (будто они могли помочь мне в воздухе, случись что-нибудь) и довольно грустно поднялась в самолет «Аирзены» с замененной деталью.

— Дорогие друзья, приветствуем вас на борту нашего самолета, — начала свой обычный монолог стюардесса, — приносим извинения за непредвиденную задержку. К сожалению, Иран перекрыл наш воздушный коридор на три часа. Постараемся в процессе полета хоть частично компенсировать потерянное время, — и ничего о проблемах технического характера. Я взглянула на моих пилотов, сидевших на нескольких рядов дальше. Они весело смеялись и жестами показывали, как легко я попала на их удочку.

Самолет мягко приземлился в аэропорту Тбилиси. С грузинскими пилотами я сердечно распрощалась. С тех пор я их больше не видела.

Теперь о ежедневных афганских делах я узнаю из телевидения и ужасаюсь от того, что была там, где все это происходит. О чем я думала, когда соглашалась ехать туда? Для чего и для кого все это было сделано? После такого количества «для чего» и «для кого» я пришла к выводу, что из всего увиденного и услышанного надо вычитать эдак процентов пятьдесят. Далее, к остатку, в зависимости от расположения духа, прибавить желаемое количество процентов, и то, что останется, это и есть фактор риска. Такая математика прекрасно пригнана к афганскому оптимизму.

Сначала я хотела поставить точку здесь. Но потом перенесла ее в конец истории, которая произошла, когда у меня дома гостили мои дорогие афганцы, живущие в Тбилиси.

В тбилисском «Бук-хаусе» (литературное кафе, которое находится на пересечении улиц Петриашвили и Гудаурской) во время просмотра фильмов по юмористическим рассказам моего отца я познакомилась с Майей Кебурия, преподавательницей искусствования в Интернешнл скул, которая сказала, что к ней в группу ходит несколько афганских учениц и учеников.

— Это брат и сестра, очень милые и веселые, а также другие члены семьи, которые уже несколько лет живут в Тбилиси, — сказала Майя.

— Ну-ка дай им мой телефон. Если захотят, пусть позвонят, — предложила я.

Через несколько дней мне действительно позвонила афганская девушка и сказала, что будет очень рада познакомиться со мной. Мы решили встретиться в воскресенье в три часа у метро «Делиси» и пойти к ним в гости.

На встречу со мной пришла девушка приблизительно лет пятнадцати, среднего роста, по имени Маджиуба. Тонкая брюнетка с черными глазами и милой улыбкой, она больше походила на таджичку. С ней был брат, Абид: по афганским обычаям, он сопровождал девушку вне дома. Голова Маджиубы не была покрыта косынкой, а брат был одет как типичный тбилисский тинэйджер: шорты и майка.

Абид пошел впереди, мы зашли через арку во двор. Они живут в четырехкомнат-

ной квартире на втором этаже корпуса чешского типа. Ребята завели меня в гостиную, посадили на диван к столу, который был уставлен вазочками со всякими засахаренными орешками, прозрачными конфетками и другими «развлекательными» штучками. Абид вышел, а вместо него в комнату вошли две его старшие сестры — Рабия и Амена. Сев по обе стороны от меня, они тут же засыпали меня вопросами: полюбила ли я в Афганистане чаепитие? Понравился ли мне Кабул? Где я еще была, кроме Кабула? Сколько у меня детей? Как я попала в Афганистан? И т.д.

— Чай я и до этого очень любила, а афганцев полюбила сразу, поэтому я сегодня здесь, — сказала я от всего сердца. — Что касается моей работы в Афганистане, то, кроме Кабула, я нигде не была, да и сам Кабул почти не видела, потому что из соображений безопасности нас почти никуда не пускали, в особенности пешком. У меня один сын, внучка и два внука, и сейчас я без зазрения совести пишу афганские записки, — скороговоркой протараторила я.

Абид вернулся в новой майке и в джинсах. Сел на подлокотник дивана. Девочки принесли семейный альбом. В комнату вошла пожилая женщина с косынкой на голове.

— Познакомьтесь, это моя бабушка Кобра, — сказала Маджиуба. С афганскими бабушками я уже встречалась в «Баги занане», они очень похожи на Акие-биби (нашу аджарскую бабушку): легкие, как бабочки, очень и очень скромные, с доброй улыбкой на лице. Кобра сказала мне несколько фраз на дари, я ей ответила, правда, с грамматическими ошибками. Она обрадовалась, рассмеялась и сказала, что другого языка не знает, поэтому говорить с ней можно только на этом, произнесла еще несколько простых предложений, я их поняла и была очень горда этим. «Это что! Читать и писать я умею лучше, чем разговаривать», — расхвасталась я. Бабушка Кобра указала мне на стол, приглашая угоститься, а сама под села к Абиду в уголок дивана. Пока я рассматривала фотографии в альбоме, Маджиуба принесла лэптоп.

— Здесь у меня фотографии свадьбы моего двоюродного брата. Вас интересует, какая бывает афганская свадьба?

— Очень интересует. Однажды в Афганистане я видела видеозапись свадьбы, но то была запись только мужской части. Говорят, вы так разрисовываете себя, что вас узнать невозможно, это правда?

— Правда. Очень много макияжа, ожерелья, золото, много золотых браслетов, большие медальоны, тяжелые бусы, кольца с драгоценными камнями... Свадьба длится два дня. В первый день невеста обязательно должна быть в зеленом платье, как вот на этой фотографии, на второй день она должна быть в белом, можно, правда, и в платье другого цвета, но предпочтение отдается белому, вот как здесь...

С фотографии на меня смотрела звезда какого-то фольклорного ансамбля, одетая в богатые одежды. На другой фотографии на ней был тоже национальный костюм, на третьей — европейское декольтированное короткое платье и, наконец, на четвертой — индийское панджаби. Во всех случаях ведущую роль в одеянии играли золото и драгоценности.

— Какое богатство! Трудно представить себе, что это Афганистан, — вырвалось у меня.

— Мои отец и мать раньше были такие бедные, что отец на свадьбе был одет в одолженные одежды, а свадьбу справляли в квартире родственника. Папа учился в Москве, откуда вернулся дипломированным юристом, но долго оставался безработным. Потом начал работать в ЮНИСЕФ и постепенно встал на ноги. Сейчас у него хорошая зарплата: он работает в офисе ЮНИСЕФ в Судане.

— А сюда как вы попали?

— В 2008 году, во время войны, папа приехал сюда как международный наблюдатель ООН и привез нас. Мы все ходим в международную школу. ООН оплачивает

половину стоимости обучения, другую половину — папа. Мама не работает, она ухаживает за нами, вот придет сейчас и напоит нас чаем.

— У мамы много свободного времени, попросите ее — она научит вас дари: в Кабуле она была школьной учительницей. Или приходите к нам почаще, общение с бабушкой заставит вас выучить язык, потому что английского она не знает, а поговорить очень любит.

— Я тоже очень люблю поговорить с пожилыми людьми: они знают много интересных историй из прежней жизни. Мне очень нравится ваш дом. Эти ковры вы из Кабула привезли?

— Нет, большой ковер хозяйский, мы привезли маленькие. Вы же знаете, что мы любим есть, сидя на ковре на полу.

— Я тоже хочу пригласить вас к себе домой и показать, что я привезла из Афганистана.

— Когда? Только вы помните, что мы не едим свинину и не пьем алкогольных напитков?

— Что свинину не едите, знаю, но насчет алкогольных напитков у меня другое впечатление: мои знакомые афганцы тоже говорили, что не пьют, а потом так «глушили» водку, что смотреть на них было одно удовольствие.

— Мой папа пьет, — засмеялась Маджиуба.

— Конечно, русские научили. — Это, к моему удивлению, рассмешило и бабушку Кобру, и она в знак согласия со мной кивнула. Оказывается, младший внук тихо переводил ей все, что говорилось.

— Азиз-джан! — это прозвучало с такой любовью, что я поняла: она произнесла имя сына.

— А вот и мама пришла, — зашебетали девочки. В комнату вошла красивая молодая женщина с платком на голове, улыбнулась мне и сказала Маджиубе довольно длинную фразу.

— Это моя мама Марзия и мой брат Юсуп. Мама приносит извинения, что не встретила вас, но мы скоро уезжаем в Афганистан, и надо было делать покупки. Но сейчас мы займемся чаепитием, и она полностью в вашем распоряжении.

— Здравствуйте, Марзия, здравствуй, Юсуп. Сколько тебе лет?

— Скоро пятнадцать.

— Тебе здесь нравится? Завел себе друзей?

— Да, завел, в школе и несколько здесь, во дворе.

— Ну и что, нравятся тебе тбилисские ребята?

— Да, есть хорошие и есть... ничего себе, у меня хорошие друзья, но чаще я бываю с сестрами и братом и маме помогаю.

У него то ли зеленые, то ли темно-синие глаза, брюнет, среднего роста, классического сложения, типичный красивый молодой афганец, уже мужчина. Рабия и Амена внесли электрочайник и начали разливать чай. Поговорили о том и о сем, и я пригласила их в воскресенье на обед. Они очень обрадовались и обещали обязательно придти. Потом, по афганскому обычаю, я расцеловала всех персон женского пола и, приложив ладонь правой руки к груди, поклонилась мужчинам.

Я с нетерпением ждала всю неделю встречи с моими новыми друзьями. Все, что обнаружила в магазинах фисташкообразного, сухофрукты, орешки и прочие восточные сласти я закупила в достаточных количествах. Пирожные тоже. Делать настоящий обед я не решилась, поскольку знаю, что афганцы не любят чужую пищу. Чтобы они не почувствовали себя неловко, я устроила сладкий стол.

Приглашенные на семь часов, мои афганские друзья вплоть до девяти не давали о себе знать. Я уже начала звонить Маджиубе по мобильному телефону — не случилось ли с ними чего по дороге, но номер был вне досягаемости. Потом, вспомнив про пресловутую афганскую «пунктуальность», успокоилась. Тут и гости пожаловали.

Прибыло только женское крыло семьи — бабушка, мама, Маджиуба и две ее сестры. Мужчины, как я и предполагала, не пришли. А я готовила им сюрприз: встречу с эмансипированным, эмоциональным, абсолютно свободно мыслящим украинцем тбилисского разлива, моим мужем Вадиком.

Вечер начался чопорно, но постепенно пришло большое веселье: представьте себе традиционных афганскую бабушку, афганскую маму, Маджиубу и двух ее сестер в компании с гуляющим от души Вадиком, который пьет вино из большого фужера, играет на гитаре с бантом и поет с цыганским надрывом «Очи черные». В промежутках между тостами Вадик старался развлечь женщин показом семейных альбомов, непрерывным предложением угощений, беседой на политические темы, на тему мирового экономического кризиса и глобального потепления. Не удовлетворившись всем этим, он снова схватил гитару с бантом и «врезал» «Эх раз, еще раз», да так, что люстра закачалась.

Надо сказать, что гости реагировали по-компанейски. Младшие девочки горящими глазами смотрели на проделки Вадика, Маджиуба периодически похихикивала, а мама и бабушка, сидевшие в креслах рядом, едва сдерживались от хохота, закрывая лицо головными платками. Глядя на них, я поняла: позволь им посмеяться от души — и больше им ничего не надо. И я позволила: залилась откровенно истерическим смехом, до колик в желудке. Мой сигнал к раскрепощению был принят, и они тоже открыто захохотали. Все барьеры рухнули, воцарились уют и свобода. Сейчас, когда я пишу эти строки, перед глазами у меня стоит медовая улыбка бабушки Кобры.

* * *

Вчера я говорила с Весной по скайпу. Она вернулась в Афганистан и работает в каком-то проекте ООН. Рассказала мне «веселую» историю: в их отделе некий афганец влюбился в замужнюю сотрудницу-афганку и начал посылать ей любовные эсэмэски. Та недолго думая рассказала мужу. Муж поступил цивилизованно и вместо того, чтобы полоснуть обидчика ножом по горлу, пожаловался его начальству. Начальство устроило «преступнику» импровизированный трибунал, оценило поступок как сексуальное посягательство и выгнало с работы. Можно сказать, он отделался легким испугом. «Смешнее» оказалось то, что у пострадавшего, оказывается, было две жены — таджичка и пуштунка. Одна говорила на дари, другая на пушту, и друг друга они без мужа не понимали. Что оставалось делать мужику, как не искать жену со знанием двух языков?

Эпилог

Вчера днем зазвонил звонок у входной двери. Я открыла и увидела средних лет мужчину, который назвался афганцем (участником афганской войны). Это был нищий. Я сказала ему, что только что вернулась из Афганистана и готова ему помочь. Он попросил бутылочную тару и небольшую денежную помощь. Пустых бутылок у меня не было, и в дом он не зашел. Я дала ему немного денег. Это был худой, маленького роста человек с короткой бородой. Я рассказала ему про наших ребят в Афганистане, кое-что про Кабул, но видела, что он стыдится и спешит уйти...

Имени его я не спросила, знала, что не скажет, тепло с ним попрощалась, и он ушел своей дорогой... Да, я слышала, что в нашем районе ходит и просит милостыню афганец, но до меня он дошел только сегодня. Как он мог себе представить, что здесь встречу его я, со своей долей Афганистана в сердце...

Кабул — Тбилиси, 2012 год

Светлана Алексиевич:

«Социализм кончился. А мы остались»

Разговор ведет Наталья Игрунова

Цикл книг о великой Утопии и рожденном ею человеке Светлана Алексиевич задумала почти три десятка лет назад. Как вспоминают студенческие друзья — заняла у Василя Быкова, Янки Брыля и Алеся Адамовича 5 тысяч рублей (огромные по тем временам деньги), взяла в журнале, где работала, творческий отпуск, купила катушечный магнитофон (других тогда не было) и поехала по городам и весям Советского Союза записывать воспоминания фронтовиков. Так появилась книга, название которой стало идиомой: «У войны не женское лицо». С тех пор были написаны «Последние свидетели», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Зачарованные смертью». Светлана Алексиевич стала известным писателем, лауреатом престижнейших российских, европейских и американских литературных премий. А страны, попытавшейся воплотить Утопию в жизнь, больше нет. Новая, завершающая «пятикнижие» работа: «Время second hand», главы из которой были опубликованы в «Дружбе народов» (№8–9, 2013 г.), — прощание с эпохой. Но не только. Новая книга Светланы Алексиевич — это еще и не менее отважная попытка разобраться в том, что произошло с нами и со страной после СССР.

Вот уже двадцать лет мы ведем со Светланой разговор о ее книгах и о том, как меняется мир и меняемся мы.

Н.И.

Н.И.: Ты своей книгой попадаешь в главный нерв сегодняшней мировоззренческой полемики. Прошло больше 20 лет после СССР, а российское общество по-прежнему делится по этому разлому: «за» или «против». Самые жаростные дискуссии на политических ток-шоу, вообще в СМИ, новые законодательные инициативы думских депутатов — о том, нужно ли выносить Ленина из мавзолея, о Сталине, переоценке Великой Отечественной войны, о роли Горбачева и Ельцина, о том, как советская и постсоветская история должна трактоваться в школьных учебниках.

С.А.: Это от страха. От страха перед новой реальностью, которая нам открылась, к которой мы не готовы и перед которой беспомощны. И поэтому лучшая защита, как нам представляется, — составить кубики не из событий

прошлого даже, а из наших мифов. Нас выбросило из собственной истории в общее время. Сначала нам казалось, что мы легко встроимся в этот мир. Массовое сознание надеялось: у нас будут такие же витрины, такие же магазины. Интеллектуалы думали, что они вот так, с ходу окажутся на уровне мировой элиты. А выяснилось, что все не так просто. Что это огромная работа, что это требует свободных людей, которыми мы не были, и свободного мышления, которым мы не обладали. И мы пошли не в мир, а от мира.

Н.И.: *Недавно опубликовали «левадовский» соцопрос — об отношении к лидерам страны. Самое положительное отношение — к Брежневу (56%), Ленину (55%), Сталину (50%). К Горбачеву и Ельцину отношение отрицательное (66 и 64% соответственно).*

С.А.: Разочарование в произошедшем огромное. Это говорит о том, что элиты не сделали свою работу. Гуманитарные тусовки разделились по профессиональным интересам, думали, что они, как на Западе, могут заниматься только своим делом...

Н.И.: *У тебя один из героев книги сетует: «Ничего еще не поняли о нашем недавнем мире, а живем в новом. Целая цивилизация на свалке». Может, проблема как раз в том, что мы пытаемся не разобраться, что произошло, не сделать такую исчерпывающую опись того, что было, а все время пытаемся оценить — хорошо или плохо? Твои книги, давая высказаться самым разным людям, описывают время.*

С.А.: Я описываю не идею как таковую, а метафизическую трагедию человеческой жизни, которая оказалась в этих жерновах, описываю, что и как происходит. И никого не сужу. Была уникальная цивилизация. Миллионы людей на огромной территории были захвачены мечтой построить Царство Небесное на земле. Рай. Город Солнца. Коммунизм. Общество, живущее по принципам равенства и братства. Государство, основанное на принципах справедливости: всеобщее бесплатное образование, бесплатная медицина, молодым — дорога, старикам — почет, от каждого — по способностям, каждому — по труду, а в светлом будущем, в обществе изобилия — каждому по потребностям. Эта идея утопическая увлекала и пожирала лучших, красивейших людей, которые бросились в новую жизнь с верой, что они осчастливят человечество, выстроят эту жизнь правильно, хорошо. Я встречала еще таких людей. Мы же в 90-е опять всё разрушили, не проанализировав ценность того, за что боролись и во имя чего жертвовали своей жизнью эти люди, и не имея четких планов на будущее. Горбачев и горстка интеллигентов совершили революцию, а люди ждали реформ. Это как какая-то болезнь: начнем сначала — и все получится. Хотя никогда, уже тысячи лет на развалинах ничего хорошего не получается, а всегда надо настраиваться на медленную, долгую работу.

Н.И.: *Так проблема в идее или в ее воплощении и «исполнителях»?*

С.А.: Об ответственности идеи тоже надо говорить. Я уверена: надо не людей убивать, а бороться с идеями. Нужна открытая полемика, в обществе должен быть другой климат. Я долго жила в Европе — нигде писатели, театралы, художники не замыкаются в своих высших сферах или гламурных играх. Идет бесконечная дискуссия о том, что происходит в обществе, как происходит, что надо делать. Особенно в немецком обществе, которое в данной ситуации наиболее похоже на нас. Там четко поняли, что человеческую природу нужно бояться, первородный грех силен: чудовище убито, но монстрики, которые одолева-

ют человека, оказались еще страшнее. А практики борьбы с этими монстриками человеческими не имеют ни литература, ни интеллектуалы. Поколение шестидесятников и чуть моложе — те, кого это заботит, — уже практически уходит с авансцены истории, а следующее за ним поколение все время играло в прятки — дескать, вопрос закрыт, конец истории, мы займемся другими делами.

Н.И.: А как ты сама оцениваешь эти 70 лет нашей истории — что это был за опыт? Что такое коммунизм, социализм? Ты в своей книге говоришь про «вирус», «заразу». Было это какое-то массовое «заболевание», или светлый, недостижимый идеал, или, может быть, что-то третье?

С.А.: На сегодняшний момент, это, конечно, недостижимый идеал. Человечество на пути к нему, но где-то в отдаленной перспективе.

Н.И.: Большинство «простых людей» все, что произошло после развала Советского Союза, воспринимается как огромная несправедливость.

С.А.: А то, что произошло в России, и есть огромная несправедливость.

Я в последнее время объездила с десяток российских городов, опросила сотни людей. Они не отрицают жестокости Сталина, репрессий, но они говорят, что советская власть была справедливей к простому человеку, был дух высокого равенства, что человек с деньгами не был так нагл, как сегодняшние «капиталисты» в первом поколении, не было такой коррупции. Отсюда настроения опять все начать сначала — особенно у молодых.

Для поколения старшего, моего, скажем, главной была утрата человека доброго, с любовью к книге, с какой-то общей жизнью, с опекой государства. Многие из моего поколения, особенно интеллигенты, по-прежнему выброшены из жизни, ввергнуты в нищету. У людей, с которыми я говорила, и это есть где-то в книге, прорывается одно и то же ощущение: я прожил не свою жизнь, но еще осталось немножко времени, чтобы пожить как-то иначе. По-моему, это чувство очень близкое нам всем. Молодые люди сильнее, многие смогли устроиться. Но это скорее в крупных городах, в провинции проблема молодежи не решена. Больше всего они страдают от того, что образование стало фактически платным.

Ну, а в деревне — полное запустение. По сравнению с Белоруссией, где сохранились колхозы, где еще старая машина скрипит, но крутится, русская деревня производит гнетущее впечатление.

Н.И.: Повторю давний вопрос: выходит, в чем-то Лукашенко оказался прав, не позволив провести шоковую терапию? По крайней мере, люди увереннее себя чувствуют?

С.А.: Увереннее, да, но мы в Белоруссии тоже выброшены из времени, мы вообще никуда не движемся, как жили в СССР, так и остались: ничего не происходит, разве что зародилось национальное движение, немножко оппозиционное. Нас законсервировали в прошлом... Вот если бы в конце 80-х был выбран социал-демократический путь, возможно, все бы пошло иначе, открылась бы новая перспектива. На тот момент он наиболее подходил и России, и Белоруссии. Я почему-то думаю, что, если бы Горбачева не торопили, дали бы ему время, он бы к этому пришел.

Н.И.: Ты веришь в Горбачева?

С.А.: Да, я верю в Горбачева. Мне кажется, он тоже учился вместе со временем. Ну что теперь гадать, что имеем, то имеем. А то, что произошло

в 90-е годы... Это был очень сильный удар, которого мы не ожидали и к которому не были готовы. И не оказалось тех, кто был способен его амортизировать, хотя бы объяснить, что происходит. Люди были просто брошены в новую реальность. Брошены жестоко. У нас же действительно больше половины народу, проснувшись однажды утром, не могли понять, где они проснулись. Интеллигенции казалось — мы знаем, чего хотим, мы звали новое время... Мы хотели перемен. А люди всего лишь хотели лучшей жизни. Кстати, мои герои на эти вопросы гораздо интересней отвечают.

Я не готова рассуждать как политик или экономист. Я просто хотела в своей книге организовать весь этот хаос. Это было очень сложно — общество распалось, атомизировалось, множество разных идей работает на этом пространстве. Моя задача была выбрать главные направления жизненных энергетических потоков и как-то оформить их словесно, сделать это искусством. Мне хотелось, чтобы каждый прокричал свою правду. У меня все говорят — и палачи, и жертвы. Мы привыкли ощущать себя обществом жертв. А меня всегда интересовало: почему молчат палачи? Почему уравновесилось добро и зло?

Н.И.: *Ты не раз говорила об этом в интервью, и один из эпиграфов к твоей книге — о том, что человек может быть палачом и жертвой одновременно. Ты действительно считаешь, что наше общество поляризовано именно так: палачи и жертвы?*

С.А.: Нет, разделение, конечно, значительно сложнее.

Н.И.: *Вот саму себя ты когда-нибудь воспринимала как жертву?*

С.А.: Так речь ведь не обо мне — я же исследую массовое сознание. В «хоре» есть сюжет о том, что мы росли среди палачей и жертв и видели, как все перемешалось и насколько это опасно. Перемены требовали чистоты и какого-то другого мировоззрения, и неожиданно их не оказалось. Оказалось, все размыто, все в каких-то начатках, набросках, прекраснотушных мечтаниях, только раньше мечтали на кухне, а теперь на площадях. Мечтания вынесли на улицы — а надо было действовать. Действовать начали конкретные ребята, которые стали делить эту огромную страну. Делить, пилить и вывозить.

Н.И.: *Кто-то из твоих героев говорит: «Социализм умирал на наших глазах. И пришли эти мальчики железные». Смотри, как поразительно сошлись два образа: твои «цинковые мальчики» советские, посланные в Афган на чужую гражданскую войну и там погибшие, и такие вот «железные» — безжалостные «братки» из постсоветских 90-х, готовые ради денег на заказные убийства (и не важно, были это «белые воротнички», тихие «завлабы» или бритоголовые качки в спортивных штанах и с бейсбольными битами)...*

Переадресую тебе из твоей же книжки вопрос: «Разве уже надо рассказывать о социализме? Кому? Еще все свидетели».

С.А.: Кто-то прожил в той стране большую часть жизни, кто-то из детства что-то запомнил и учился у людей, которые жили при социализме, и по учебникам, которые писали люди из социализма. Социализм еще во всех нас, он везде, им все наспиговано.

Н.И.: *По соцопросам какой-то очень большой процент молодежи, в том числе и родившейся после СССР, жалеет о его развале. Боюсь ошибиться, но, помнится, Мариэтта Чудакова очень жестко сформулировала: мол, так будет, пока не вымрут советские бабушки, которые рассказывают внукам о своей жизни.*

С.А.: Я бы не была так жестока к бабушкам, потому что бабушки не так уж не правы. Многое из того, что потеряно, жалко. Достоинство прежде всего. Вот это достоинство маленького человека. Я не Прилепин, я не считаю, что нужно возратить все в том виде, как было...

Н.И.: ...я думаю, что и сам Прилепин, какие бы эпатажно-скандальные статьи он ни писал, тоже не хотел бы этого.

С.А.: Наверно. Но то, в каком виде все получилось, мне, как и многим моим героям, не так уж и нравится. Хотя мы все ответственны за то, что мечты не сбылись.

Н.И.: А какую цель ты ставила перед собой, задумывая цикл книг об Утопии? Как выбирала болевые, опорные точки? Как вообще выработались этот жанр и эта внутренняя конструкция: монологи-исповеди, вырывающиеся из безымянного многоголосия, перекрывающие хор?

С.А.: Я тридцать с лишним лет писала эту «красную» энциклопедию. Все началось со встречи с Алесем Адамовичем. Я долго искала свой жанр — чтобы писать так, как видит мой глаз, слышит мое ухо. И когда прочитала книгу «Я из огненной деревни» Адамовича, Брыля и Колесника, поняла, что это возможно. Меня всегда мучило, что правда сегодня не умещается в одно сердце, в один ум. Что она какая-то раздробленная, ее много и она рассыпана в мире. Как это собрать? И тут я увидела, что это можно собрать. Так родилась книга «У войны не женское лицо». Это была книга о войне. А война всегда почему-то стоит в центре нашей жизни. Тогда, в 80-е, книгу не печатали — существовало «табу» на прошлое: нужно было восхвалять героизм и подвиги этих людей, от генералиссимуса до рядовых, иначе — только эвфемизмы. И «военная» литература, ты знаешь не хуже меня, потихоньку пробивала эту стену, пытаясь рассказывать о войне другим языком. Хотя, видишь, как получается: мы немногого добились, те же стереотипы и страхи остались сегодня, и не только у политиков наверху. Все эти взаимные обвинения в искажении правды о войне возникают потому, что общество боится правды о себе, боится необходимости внутренней работы.

Н.И.: Мы когда-то говорили с тобой о том, что с развалом Советского Союза и отказом от социализма оказались разрушенными, дискредитированными или дутыми многие опорные идеи, исторические события и моральные авторитеты — те, на которых держалась конструкция мира для нескольких поколений. «Верхняя Вольты с ракетами» — что ни говори, унизительно и несправедливо. Может быть, за таким отношением к войне и Победе, к ее цене и бесспорной ценности еще и подспудный страх, что отберут и это, великое и светлое, на чем твое самоощущение пытается удержаться? Тем более, что только слепому не видно: «военная» и «историческая» карта откровенно разыгрываются в текущей политической борьбе.

С.А.: Ты права абсолютно. Если бы у нас было осознанное будущее, если бы мы четко знали, чего хотим, если бы мы действительно строили новое общество, шли бы в открытый мир, мы бы так не боялись своего прошлого.

Н.И.: Дежурный вопрос: а нас ждет кто-то в этом открытом мире?

С.А.: Ну как и всех. Если мы будем достойны его, нас будут ждать.

Н.И.: Тогда еще один дежурный вопрос: а кто это будет решать и каковы условия? И вообще — такое ощущение, что по крайней мере «старая добрая» Европа начинает «капсулироваться».

С.А.: Никто нигде никого не ждет. Но существуют некое общее интеллекту-

альное и политическое пространство, некая логика развития, общее направление, ну, кроме исламского мира, о котором очень сложно что-то говорить, и мы должны были бы идти туда, напрячь свой потенциал, свои возможности. Новые люди подрастают, они ездят и видят мир, говорят на многих языках, они более открыты, более мобильны, они бы могли обустроить это новое время. А им говорят — пошли назад. Традиционная культура, истинная вера, самодержавие... все как двести лет назад. Конечно, прежде всего интеллектуалы будут покидать эту страну, они востребованы везде.

Н.И.: *Все-таки не интеллектуалы вообще, а те, кого сейчас принято называть «креативным классом» — программисты, инженеры, ученые-естественники, они-то и уезжают — потому что здесь несравнимые условия работы и нет перспективы развития.*

С.А.: Социальные лифты не работают. А что значат 10-15 лет для интеллектуального человека, когда он бездействует, не востребован, парализован в своей главной специальности... Возвратившись через 10 лет в Минск, я была поражена тем, сколько моих друзей умерло. Они умерли оттого, что у них украли время. Сначала украли вообще Время, а потом уже их личное время.

Н.И.: *Помнишь, тебе старуха какая-то говорит: социализм кончился, а мы остались. Причем невостребованными оказались те, кто привык что-то значить в обществе.*

С.А.: Конечно. Это подпитывало какой-то энергией. А так люди просто погружались в пустоту. У меня в книге вторая часть как раз называется «Обаяние пустоты». Нам попытались внушить, что главное в этой жизни — обладание и гламур. Но, слава богу, многие быстро поняли, что это пустое дело, пустота, за этим ничего не стоит.

Н.И.: *Пустоту же чем-то надо заполнить.*

С.А.: Все кричат, что нужна национальная идея, а заполняют бараклом. У частного человека появились новые возможности. У меня один из героев признается: когда упал «железный занавес», мы думали, все бросятся читать Солженицына, а люди кинулись кушать разное, чего они не пробовали никогда, ездить в те места, которые могли увидеть только по телевизору...

Н.И.: *Прошло уже двадцать лет, кому-то все уже приелось, а для кого-то остается несбыточной мечтой.*

С.А.: Да, это все пока не глубоко и неравенство огромное.

Н.И.: *В поездках по стране ты наверняка же встречаешь людей не сломавшихся, деятельных, успешных, с позитивной установкой, их ведь все-таки немало и в среднем поколении, и среди молодых. Не думала включить такие истории в книгу?*

С.А.: Получилась бы чистая журналистика, «положительный пример». Я прошла в этой книге по самому болевому и показала, что за всем этим стоит.

Н.И.: *Ты не раз говорила, что мы люди беды и страданий. Может, пока мы не перестанем так о себе думать, ничего и не изменится?*

С.А.: Я не знаю, как будет. То, что мы люди беды и страданий, — это глубокая, давняя русская культура. Поезжай в деревню, поговори в любой хате: про что будут говорить? — только про беду.

Н.И.: *Так мы же к психоаналитикам со своими проблемами не бегаем, а тут нашелся кто-то, кто выслушает, пожалеет — это чуть ли не главное. У тебя в книге мама девочки, которая попала в теракт в метро, говорит: «Слушают...*

сочувствуют... но без боли! Без боли!..» А по поводу культуры — и ехать далеко не надо: я уж не говорю про литературу XIX века, сцентрированную на «маленького человека», можно открыть любой учебник по актерскому мастерству и прочесть совет Станиславского «при поиске эмоционального материала» иметь в виду, что «в области отрицательных чувств и воспоминаний наши (т.е. русских. — Н.И.) запасы в эмоциональной памяти велики». Театральная классика — «Работа актера над собой».

С.А.: Все дело в том, какая людям дается установка. У нас установка на то, что ты или должен жертвовать собой во имя чего-то, как в недавнем прошлом, или, как сейчас — живи одним днем, выживай, как можешь. А установка должна быть, как я понимаю, такая человеческая — на осмысление, зачем ты этот путь проходишь... Это гораздо сложнее, чем отрицательный и положительный заряд.

Н.И.: Есть такая любопытная книжка — о геополитике эмоций. Автор — французский политолог Доминик Моизи. Тебе не попадалась?

С.А.: Нет, не попадалась. Интересно.

Н.И.: Если упрощая: миром правят не идеи, не экономические законы и не политические интересы, а эмоции, они определяют способность встречать вызовы не только отдельной личности, но и целой нации. Три главные, он считает, — страх, надежда и унижение. Страхом перед меняющимся миром он объясняет утрату доминирующих позиций «старой» Европой, надеждой на лучшее будущее — экономическое чудо «азиатских тигров»... Нас, похоже, сейчас «распирают» все три, но надежд за последние двадцать лет сильно поубавилось, а вот ощущение униженности не уходит и страх перед будущим растет.

С.А.: Я же говорю — у нас вообще культура страдания. У нас нет культуры счастья, радостной жизни. Культуры любви. Следующая книга, которую я буду писать, — о любви: рассказы о любви сотен людей. Я не могу найти у русских писателей рассказов о счастливой любви — только трагические, все кончается или смертью, или ничем, очень редко — замужеством. Не было такой жизни — откуда же взяться такой литературе, такому кино? Вот скажи, откуда у нас может появиться французская комедия? Легкая, непритязательная, без разрыва аорты... С чего она возьмется?

Н.И.: А зачем нам французская? У нас как раз в советские времена была установка на оптимизм и были свои, до сих пор любимые, комедии — «Веселые ребята», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи»...

С.А.: У французов эта легкость и любовь к игре в их менталитете, вырастает из жизни. А мы даже в этих комедиях с кем-то все время боремся — с бюрократами, местными «князьками», фарцовщиками, грабителями... У нас установка на борьбу. Борьба и война — опыт нашей жизни и нашего искусства.

Н.И.: Один из эпиграфов к твоей книге — из Фёдора Степуна — о том, что за победу в мире зла в первую очередь отвечают духовно зрячие служители добра. В конце 70-х отец Александр Шмеман в своем дневнике пишет об этом как об общей тенденции и фиксирует исподволь произошедшую подмену: «Пафос нашей эпохи — борьба со злом — при полном отсутствии идеи или видения того добра, во имя которого борьба эта ведется. Борьба, таким образом, становится самоцелью. А борьба как самоцель неизбежно сама становится злом. Мир полон злых борцов со злом! И какая же это дьявольская карикатура. Неверующие — Тургенев, Чехов — еще знали добро, его свет и силу. Теперь

даже верующие, и, может быть, больше всего именно верующие, знают только зло. И не понимают, что террористы всех мастей, о которых каждый день пишут газеты, — это продукт вот такой именно веры, это от провозглашения борьбы — целью и содержанием жизни, от полного отсутствия сколько бы убедительного опыта добра. Террористы с этой точки зрения последовательны. Если все зло, то все и нужно разрушить... Допрыгались.»

Мир полон злых борцов со злом — потрясающе сформулировано, да?

С.А.: И очень точно попадает в сегодняшний день. Это вообще одна из моих самых любимых книг — «Дневники» Шмемана. И еще «Лекции о Прусте» Мераба Мамардашвили.

У меня нет легких ответов на твои вопросы. Я сама перед многоярусностью, перед многоголосием жизни замерла, и есть ощущение, что мы не управляем этим потоком — куда же нас вынесет? Ощущение, что — это вот у Аверинцева хорошо — мы строили мосты над реками невежества, а они сменили русло. Будущее стало совершенно непрогнозируемым, как мы говорили с тобой в одном из прошлых интервью. Мы здесь копошимся в своих проблемах, а человечество, мир настолько изменились, что, по-моему, все в таком изумлении перед этим множеством жизней, которое вдруг открылось.

Н.И.: Куда ж нам плыть?

С.А.: Я считала своей задачей поставить вопросы.

Н.И.: А люди, как и в 90-е, живут сегодняшним днем или как-то выстраивают будущее — на уровне своей личной жизни.

С.А.: У тех, кто вышел из советского времени взрослыми, уже дети и внуки, выросшие в новой реальности, и они вынуждены новую реальность осмысливать. Старшие отошли в сторону, признав собственную беспомощность. А среднее поколение...

Н.И.: Среднему поколению как раз досталось в 90-е — вбросили, как ты говоришь, в новую реальность и бросили, нужно же было как-то выживать, прежде всего женщины на себя все это приняли...

С.А.: Это как раз поразительно — женщины оказались сильнее мужчин. Мужчинам надо взять винтовку в руки — и на войну. А женщина думает о ребенке, что ему жить, как ему помочь. И сегодня, когда я записываю, женщины более интересны. Хотя у меня очень много и интересных мужских рассказов.

Н.И.: По этой книге заметно, что люди уже рассказывают по-другому и во многом о другом, чем 30, 20 лет назад.

С.А.: Они откровеннее рассказывают о себе — о своих чувствах, мироощущении, гораздо шире захват происходящего. Исчез канон, по которому принято рассказывать. Когда я писала «У войны не женское лицо», существовал некий канон войны. И сбить с него было очень трудно. А уже с чернобыльской книжкой — ситуация совершенно новая, канона не было, и человек вынужден был решать, что и как он будет рассказывать, сам. Так же и сейчас, при работе над «Время second hand».

Н.И.: А кстати — откуда, почему это б/у время в названии?

С.А.: Потому что все идеи, слова — всё с чужого плеча, как будто вчерашнее, ношенное. Никто не знает, как должно быть, что нам поможет, и все пользуются тем, что знали когда-то, что было прожито кем-то, прежним опытом. Пока, к сожалению, время second hand.

Н.И.: Я не знаю, как с этим в Белоруссии — сюда мало что доходит из

оригинальной белорусской литературы новой, особенно молодой, разве что в Интернете что-то выловишь, но вот у нас в последнее время стали появляться книги с героем-деятелем. Много говорят о том, что такого героя не хватает, что на него есть «соцзаказ», но книги, которые я имею в виду, это не дань конъюнктуре. Повесть «Полоса» Романа Сенчина (прототип ее героя — реальный человек, он поддерживал в рабочем состоянии взлетную полосу на закрытом аэродроме, на которую сел аварийный ТУ года три назад), роман Дениса Гуцко «Бета-самец» (такая проверка способности героя на мужской поступок), роман Андрея Дмитриева «Крестьянин и тинейджер» (где решают изменить свою жизнь оба заглавных героя)... Сюжеты вытаскиваются из жизни и в жизнь вбрасываются.

С.А.: Это востребовано временем. Нужно на что-то опираться. Новое поколение хочет, чтобы их страну уважали, никому не хочется вечно жить на развалинах, хочется что-то из этих обломков построить.

Н.И.: Вопрос — что построить и почему именно это. У нас пытаются после социализма построить капитализм и привить буржуазные ценности — хотя основной посыл русской культуры двух последних веков был антибуржуазным, антимещанским. Бердяев, пытаясь сформулировать русскую идею и перечисляя противоречия, которые уживаются в национальном характере, с вызовом отмёл: «Но никогда русское царство не было буржуазным». Во второй части твоей книги, в «разговорах на кухне», где речь о 2000-х уже годах, есть мысль о том, что капитализм нам чужд, дальше Москвы не распространился, нам скучно копить и счастье для нас не в деньгах, русский человек хочет жить для чего-то, хочет участвовать в великом деле...

С.А.: И мы по-прежнему согреваем себя воспоминаниями о прошлых подвигах и мечтами о великих делах и не умеем обустроить свою единственную личную жизнь.

Н.И.: А протест против «буржуазности» проходит через всю твою книгу. Я не считала, но такое ощущение, что человек десять, если не больше, недобрым словом поминают в книге эту несчастную колбасу, символ капиталистического благополучия, ради которой отказались и от идеи, и, в результате, от страны. Образ мощный — прежде всего в силу незамысловатости притязаний. Хотелось, как ты говоришь, всего попробовать. Попробовали. И что дальше?

С.А.: Мы начинаем приходить в себя и осознавать себя в мире. И не так много из того, что у нас было позади, помогает нам — каждому из нас, отдельному человеку — сегодня. Когда-то Шаламов говорил, что лагерный опыт нужен только в лагере. Мы оказались именно в такой ситуации: в той нашей стране был другой опыт.

Н.И.: А ты все-таки думаешь, что это тот опыт, с которым однозначно нужно расстаться?

С.А.: Я думаю, да, теперь нам надо расстаться с тем миром и строить что-то новое. Оглядеться, как люди вокруг нас живут, и пытаться самим жить по-новому. Во всяком случае, не возрождать принцип «православие, самодержавие, народность», в XXI веке это не те задачи.

Н.И.: Но, смотри, вера — как раз сегодня единственное, что очень многих людей держит. Вера, церковь не как институт, а как приход, община, духовное сообщество. Прежде всего — своей заинтересованностью в человеке. У тебя в книге какой-то мужчина говорит, что он уверовал, ходит на все службы, а жена

идет с ним в церковь, потому что бабушка обращается к ней «голубушка». Кстати, тут опять поразительная «рифма» из советского времени: еще одна твоя героиня — Мария Войтешонок, писательница белорусская, вспоминает, как после присоединения в тридцать девятом году Западной Белоруссии к СССР их выслали в Алтайский край, как умерли мама и старшая сестра и начались детдома, и в каком-то детприемнике ее моют, она, кожа да кости, поскользнулась на мокрой лавке, лавка высокая, а пол цементный, и чужая женщина, нянечка, ее подхватывает и прижимает к себе: «Мой ты птенчик». И сразу после этого — последние слова ее истории: «Я видела Бога».

С.А.: Вообще в этих рассказах такие детали удивительные...

Н.И.: Да, и это как раз и дает самую точную картинку времени и поразительную степень достоверности. Помнишь — мужчина в октябре 93-го вышел ночью по призыву Гайдара демократию защищать, перестрелка, какого-то парня ранили, он его вытаскивает из-под огня, а тот спрашивает — ты за кого? Парень, оказывается, макашовец. И потом, когда он оттаскивает этого своего, казалось бы, противника к «скорой помощи», он видит вперемежку лежащих на земле раненых — и тех, кто за Ельцина с Гайдаром, и тех, кто за Руцкого с Хасбулатовым и Макашовым, — и у всех у них ботинки старые, стоптанные. Стоп-кадр. И уже никакие социологические выкладки не нужны.

С.А.: Я, когда услышала это впервые, подумала: вот, наверно, и в 17-м году так было...

Н.И.: Исторический опыт не уберег — повторилось.

У той записи отца Александра Шмемана есть продолжение: «Пишу это (восемь часов утра), а за окном масса маленьких, чистеньких, светловолосых детей идут в школу. В каком мире им придется жить? Если бы еще их заставляли читать Тургенева и Чехова. Но нет, восторженные монахини научат их "бороться со злом" и укажут врага, которого нужно ненавидеть. Но никто не приобщит их к знанию добра, не даст услышать "звуков небес" лермонтовского Ангела. Того звука, про который Лермонтов сказал, что он "остался без слов, но живой". Звук, который один, в сущности, и дает "глубину" нашим "классикам"...» Многие поколения у нас опирались на литературу, на русскую классику, проповедуемые ею ценности. Теперь этот опыт тоже перестает работать, уходит.

С.А.: Я сужу по своей маленькой Яночке, семилетней внучке — она видит мир иначе — через картинку. Я бы, конечно, хотела, чтобы она больше читала, но ее знание мира собирается из чего-то другого.

Н.И.: Я тут некоторое время назад набрела в Интернете на исследование социолога Любови Борусяк и теперь на разных людях ее наблюдения проверяю. Она анализировала сайты, где поднимается вопрос о чтении. Посетители — мамочки лет тридцати пяти—сорока, вполне благополучные, «средний класс». Сами ничего не читают, но когда чадо наотрез отказывается читать даже то, что задают по литературе, — кричат «караул!». И тут же появляются желающие поделиться опытом. Начиная от того, что мой, мол, тоже не читал, а потом подсел на комиксы, и кончая тем, что проблемы нет, пусть кино смотрит, у меня муж (свекор, начальник и т.п.) тоже не читает, а душа компании, успешный и высококультурный человек. Вот это «высококультурный» здесь слово ключевое. Чтение перестает быть одним из главных параметров культурного уровня человека — это новое и это мне как раз интересно. На твой взгляд — можно считать высококультурным человека не читающего?

С.А.: Человек нашего круга ответит — нельзя. Но у понятия высокой культуры наполнение тоже может быть очень разным. Я однажды была свидетелем такой сценки: хозяин дома, москвич, очень известный человек, который занимался космосом, как ты говоришь, душа компании, весь вечер сыплет примерами из русской классики, стихи наизусть читает — и к нему подходит один из гостей, его западный коллега и спрашивает: а вы специально выучили эти стихи наизусть? Тоже ученый с мировым именем. Вот это меня больше всего поражало на Западе — гуманитарный диапазон необязателен. Профессиональная заостренность есть, а широты нет.

Н.И.: *Может быть, в том, что уходит читатель, виноваты и сами писатели, сбежавшие в 90-е от разговора о тех проблемах, которые волновали тогда людей?*

С.А.: Думаю, это прежде всего связано с образом времени, как его понимают сейчас. На Западе это связано с их рационализмом. А у нас был какой-то момент, когда казалось, что этот путь не дал нам результатов. Но сейчас многие вещи возвращаются, так же как интерес к политике, интерес к гуманитарному знанию.

Н.И.: *Ты читала в последнее время что-то, о чем сказала бы: о! это нельзя пропустить?*

С.А.: Ну вот Ольгу Седакову читала много. В такое темное время, как наше, очень нужны проповедники, и ее присутствие в современной жизни для меня как фонарик.

Н.И.: *Ты говоришь — темное время. В 80-е годы, в перестройку Лихачёв пророчил: XX век принес страшный опыт тоталитаризма и прорывной опыт научных знаний, а новый век будет веком культуры.*

С.А.: Думаю, что это у нас уже не получится, как не получилось в XX веке жить по законам XIX. Будет что-то другое. Тут надо что еще иметь в виду: само понятие культуры усложняется. Чем дольше я живу, тем у меня меньше резких делений в жизни. Жизнь, она взаимопроницаема, в ней все светится со всех сторон и нет простых ответов. У читателя тоже появился выбор. Раньше все читали какую-то одну книгу, все ее обсуждали. А сейчас спросишь — все всё разное читают. Конечно, больше всего — детективы и женские романы: потому что там узнаваемо описывается современная жизнь — новые сюжеты, проблемы, отношения. Донцова, Устинова, Маринина...

Н.И.: *Сейчас уже сложилась и новая «мейнстримовская» литература о современности. А тот синтез литературы документальной и художественной, который ты когда-то открыла для себя, превратился буквально в тренд. Процветает жанр документального романа, известные писатели принялись писать для «ЖЗЛ», появляются автобиографические книги под вымышленным именем, или, наоборот, человек пишет под собственным именем и как бы мемуары, но это «маска», имитация, и там могут сталкиваться реальные люди и выдуманные персонажи, или литературные персонажи обсуждают истории реально существующих людей...*

С.А.: Это как раз попытки подступиться к реальности.

Н.И.: *Конечно. Причем в ситуации, когда человек доверяет документу и факту, а не их интерпретации.*

С.А.: В документе и факте оказалось гораздо больше тайн и неожиданнос-

тей, чем мы думали. Нам казалось, что документ — простая, прямолинейная, голая вещь, а он точно так же светится временем, личностью.

Н.И.: Возможно, это еще идет отчасти от такого рационализма, о котором ты говорила: изменился темп жизни, телевизор и компьютер все больше приучают к клиповости, «короткому метру», короткому информативному тексту, и уже сформировалось другое отношение вообще к слову, художественному слову — зачем нам нужны эти ваши красоты, искусства, ваши пространственные описания природы. Эмоция, заложенная в документе, факте, пробивает сильнее.

С.А.: Сегодня расширились границы обращения с документом. Раньше то и дело одергивали: это трогать нельзя, туда не ходи... Меня всегда удивляло: почему нельзя писать о личном, сокровенном моих героев?.. Просто нужно их хорошо защитить.

Н.И.: А у тебя ведь были именно на этой почве проблемы с «Цинковыми мальчиками»? Все эти суды? Слишком личное выносилось на публику.

С.А.: Да, они протестовали, рассказывали под микрофон, но не были готовы к публичности. Хотя у меня была и прямо противоположная история. Я в «Чернобыльской молитве» поставила вымышленное имя под монологом женщины, рассказавшей такие «фрейдовские» какие-то интимные вещи, не хотела чтобы ее растерзали обыватели, а она после публикации в журнале позвонила и спросила: почему?! я так страдала, что хочу, чтобы стояла моя фамилия.

Н.И.: А восприятие твоих книг у нас и на Западе чем отличалось?

С.А.: У меня на сегодняшний день вышло 125 книг. Интерес к этой стране, к этой идее — огромный, и, видимо, мне удалось найти ту форму, которая позволяет их лучше донести, раскрыть. Дело не в том, что это, как кто-то тут сказал, коллекции ужасов — почитайте книги о том, что было в Руанде, на западном рынке вообще множество книг о таких ужасах современной жизни, что мои рядом с ними — детские сказки. Есть еще одна причина, по которой мои книги были на Западе приняты сразу: описываемые в них события не были болью конкретно этого общества.

Н.И.: Своеобразный эффект остранения?

С.А.: Да. Скажем, «Цинковые мальчики» во Франции — они через мою книгу об Афгане заговорили о своей алжирской войне. У «Чернобыльской молитвы» во Франции был тираж тысяч триста или четырехста, поставлены десятки спектаклей. И это связано не только с тем, что на их территории много атомных станций — что-то в нашем мировоззрении, в нашем понимании любви, жертвы во имя любви в экстремальных обстоятельствах было им близко и понятно.

Н.И.: А в Японии после Фукусимы?

С.А.: Меня и до этого в Японии издавали, а после Фукусимы переиздали «Чернобыльскую молитву». У них на острове Хоккайдо есть атомная электростанция, она называется «Тамара». Помню, я приехала, когда там впервые вышла книга, глянула из окна — она такая красивая, как какой-то неземной космический объект. И на встрече с читателями работники этой станции были абсолютно уверены, что такая авария могла случиться только у безалаберных русских, а у них ничего подобного невозможно, у них все просчитано... И вдруг землетрясение всего на один балл сильнее, чем было заложено для сейсмобезопасности — и все, от всего этого прогресса остался мусор. Конечно, такие события застав-

ляют думать и философски смотреть на мир... После 11 сентября «Чернобыльская молитва» и «Цинковых мальчиков» стали больше читать американцы.

Н.И.: *Тут, наверно, интересен еще и непосредственно афганский опыт — они все-таки на годы увязли в Афганистане.*

С.А.: Нам все чаще приходится задумываться над тем, что мы не властны над этим миром, как нам казалось, что есть некие другие законы, некие другие силы...

Н.И.: *Накануне Дня Победы кто-то вбросил в Фейсбук «У войны не женское лицо». И несколько месяцев блоги гудят — читают, делают перепосты, обсуждают... Уже, видимо, новое поколение читателей.*

С.А.: И они открывают что-то другое. Книга ведь в каждом поколении начинает жить новой жизнью. Несколько лет назад «У войны не женское лицо» снова вышла в Польше — и вдруг стала «книгой года», получила несколько премий. В Швеции тоже успех. Даже издательство, когда выпускало, не ожидало такого.

Н.И.: *А почему ты все-таки не завершила книгу о любви, над которой столько лет работала? Мне кажется, что без нее этот цикл неполон. Это ведь было время и каких-то очень романтических порывов, светлой любви...*

С.А.: Нет, этот цикл на сегодняшний день закончен. В него вошло пять книг: «У войны не женское лицо», «Последние свидетели», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва» и «Время second hand». «Красный» цикл. Всё. Вот была эта идея коммунистическая, был «красный» эксперимент, были такие люди, они были задеты, захвачены этой утопической идеей и в то же время пытались прожить свою жизнь, — и всё кончилось.

Н.И.: *Ты считаешь — кончилось.*

С.А.: В том варианте — да, конечно, кончилось. Никто никогда не вернется в СССР. Если что-то будет — то что-то другое.

Н.И.: *Но пока еще — возвращаясь к началу нашего разговора — и идея, и страна, и опыт (со знаком «плюс» или со знаком «минус» — в данном случае не важно) живут в нас — твоя книга ведь и об этом тоже.*

С.А.: Ну, это память живет. Это память. И мы никогда не расстанемся с прошлым — мирно не расстанемся, — если не будем о нем говорить.

Пройдет какое-то время, и уже такую книгу написать будет невозможно. Уже невозможно сегодня написать такую книгу как «У войны не женское лицо» — ушли люди. Невозможно написать такую книгу как «Чернобыльская молитва» — ушли многие чувства, спал накал эмоциональный, многие детали уже забылись. Так и тут. Я ведь десять лет писала эту книгу. Это была адская работа. И я была готова к этой огромной работе. Все надо делать вовремя. И я рада, что оказалась нужным человеком в нужном месте.

А книги о любви и о старости и смерти — это уже совершенно иные книги. Их будет писать немного другой человек.

Н.И.: *Какой?*

С.А.: Я пока не знаю. Но другой. Человек, который сейчас больше изумляется жизни, чем раньше. Раньше меня больше интересовали и на меня самую больше влияли общие идеи и неподвластные человеку стихии: война, Чернобыль. Сегодня меня прежде всего интересует то, что происходит на пространстве одинокой человеческой души. Мне кажется, что мир смещается сюда.

Игорь Бондарь-Терещенко

Санация Санаева

За спиной героя — не только его единственное, как у каждого, детство: позади у него, как у многих, осталась эпоха и страна.

Александр Васютков. Сим-сим

На упавшем было градусе интереса литературы к позднесоветской эпохе (завершающими аккордами здесь прозвучали «Списанные» Дмитрия Быкова и «Библиотекарь» Михаила Елизарова) роман «Хроники Раздолбая» Павла Санаева вновь возвращает нас в эти благословенные для гуманитарной археологии времена. И в контексте подуставшей максимы о том, что все уже написано до нас, — неожиданно находит и нишу для оригинальных классификаций, и необычный формат разговора по душам, и, надеюсь, благодарного читателя.

Итак, начнем с последнего, попытавшись понять, кому адресован роман. Для текста из категории «личного зачета», когда автор (особенно находясь в прекрасном капиталистическом далеке) тщательно, роман за романом, сугубо для себя описывает личный жизненный опыт, заканчивая неожиданной лирикой в духе «Орфиков» Александра Иличевского, произведение Санаева слишком эпохально. И даже не во временном контексте, а исходя из широких взмахов тематически-идеологического крыла. «Из себя» так не пишут, поскольку личное всегда идет в ущерб «описанию природы». А «природа» у Санаева довольно дикая, буйная, ведь

речь о перестроечном времени и далее — о пресловутых бандитских девяностых. Поэтому пропустить личные переживания сквозь призму обществоведения, вписав жизнь своего героя в известную схему событий того времени, было бы, возможно, и просто, и хорошо, и по нынешним временам даже оригинально, но автора «Хроник Раздолбая» занимает другой момент. Его текст, назвать который мистическим триллером язык не поворачивается (а в «роман воспитания» все равно никто не поверит), будет интересен в первую очередь молодым. И рассматривать его стоит исключительно с этих позиций, поскольку прочим возрастным категориям читателей он будет близок лишь в качестве очередной ревизии прошлого. Особенно тем из них, кто поверил в окончательность приговора 90-м, который был вынесен Пелевиным в «Чапаеве и Пустоте» и «Generation П», и теперь с удивлением обнаруживает нынешних «взрослых» авторов вроде Александра Иличевского, который в своих новейших «Орфиках» дожевывает «тему 90-х», чей образ давно уже сформирован тем же Балабановым в кино («Брат», «Брат-2», «Жмурки»).

И это правильно. Интонационно «Хроники Раздолбая» напоминают «Курс выживания для подростков» Ди Снайдера, печатавшийся в журнале «Ровесник» в начале 90-х. Лучшую подачу материала для

Павел Санаев. Хроники Раздолбая. Похороните меня за плинтусом-2: Роман. — М.: АСТ, 2013.

интересующейся историей предков молодежи вряд ли придумаешь. В романе подробно детализируется детство-отрочество Раздолбая и его взросление (а не развал государственной системы), — и это главное для автора, стремящегося вписать события жизни страны в судьбу своего героя (а не наоборот). Наверное, оттого опознавательные знаки времени довольно схематичны, хотя, безусловно, узнаваемы — толкучка в «Детском мире», очередь в три кольца возле «Макдональдса», спасатели Малибу из одноименного сериала, «которым добивали двухчасовые боевики на трехчасовых видеокассетах». А также «Триллер» Майкла Джексона, «отрывок из которого показывали в передаче "Международная панорама", иллюстрируя падение американских нравов», и позабытая «Ритмическая гимнастика» — «в исполнении девушек, обтянутых цветными лосинами». Впрочем, лучше схематично, чем вовсе конспективно, как в упомянутых «Орфиках», где любовь на фоне эпохи, конечно, главное, но историю советской Родины из нее узнать довольно проблематично.

В то время как в «Хрониках Раздолбая» и любви, и Родине внимания уделено более чем достаточно. Перед нами безоблачное советское детство, пускай без папы (который даже повеситься толком не сумел) и с отчимом, зарабатывающим благородным трудом на посту директора издательства. «Завтраки в школе были бесплатными, одежду и проездной покупали родители, и кроме как на самолеты (модели самолетов, конечно же. — И.Б.-Т.) тратиться было не на что». Для идеальной картины немного подкачала мама, делающая на мужнины алименты дорогие подарки сыну (фотоаппарат, увеличитель плюс регулярные пять рублей на пленку, реактивы и фотобумагу), и оттого, наверное, автор порой вкладывает в ее уста пошловатые сериальные американизмы вроде сентенций о разбитом сердце: «Иначе ударишься потом серд-

цем так, что куски не склеишь». А вот папа хоть и отчим, а молодец, и с речевыми находками-выдумками у него все в порядке, поскольку «переживал за приемного сына как за любимую команду, проигрывающую 2:1 в полуфинале». Переживать, впрочем, было отчего. Во-первых, школьные пьянки, вытеснившие «грустные размышления о собственной никчемности, предстоящих выпускных экзаменах и необходимости решать, что делать после школы». Во-вторых, спекуляция магнитофонными записями. Об отсутствии у отпрыска навыков боевой и политической подготовки и говорить нечего (уроки политинформации прогуливал, в армию по здоровью не взяли), и кто такой Ельцин, уже учась в институте, он, естественно, не знает.

Кстати, автору этих строк как непосредственному свидетелю выращивания тепличных московских юношей, слушающих для вящей мужественности исключительно металлический рок, доподлинно известны результаты такого воспитания. Вот только в жизни все немного жестче, чем в литературе, какой бы «Duxless» ни подвизался в качестве оной. Справедливости ради стоит заметить, что во времена, описанные в «Хронике Раздолбая», в Москве обитало два типа «современной молодежи». Один из них — это, как правило, уже повидавшие виды и побывавшие в армии ребята (в романе Санаева таких целых два — армеец Валера и коммерсант Мартин, оба студенты МГИМО), которые в ответ на вопль приятеля, вернувшегося с очередного пикета возле Белого дома — «Мы там за свободу стоим, а вы тут водку пьете!» — отвечали со знанием дела: «А вы не пробовали за нее посидеть?». В отличие от подобных юношей с белыми повязками пикетчиков на голове, они были подкованы в современной философии (богоборческий спор на даче в романе Санаева тому хороший пример), сыпали направо и налево шутками, каламбурами и, главное, цитатами из до

недавнего времени подцензурной классики вроде «Мастера и Маргариты», а также расхожими фразами из репертуара Остапа Бендера. С одной стороны, это, конечно, свидетельствует о популярности образа трикстера и плейбоя в стиле Василия Аксенова, а с другой — о не менее вечной неграмотности (половой и культурной) того же Раздолбая, который ни книжек, ни газет, естественно, не читает.

Второй тип «современной молодежи» начала 90-х, к которой, собственно, и принадлежит Раздолбай, это детки из порядочных семей, где любили академика Сахарова и верили в вечные культурные ценности вроде романа «Два капитана» и фильма «Доживем до понедельника». Им было позволено играть в литературу и искусство, учась на дневных отделениях творческих вузов (а не на заочных, как упомянутым бывшим армейцам, которым надо было зарабатывать на жизнь), слушать металлический рок (картинками в его стиле были разукрашены их первые книжки стихов) и, в общем-то, особо не беспокоиться о будущем. И неважно, что со временем жизнь брала свое, в «литературе» и «искусстве» оставались единицы, а основная масса — вроде Раздолбая — переходила на заочное отделение, искала работу и вливалась в ряды то ли очередных «митингующих», то ли тусующихся на Арбате, то ли просто созерцающих жизнь на пенсию сердобольной бабушки, читающей на кухне Надсона и Толстого. Весьма симптоматично об этом типе молодежи начала 90-х уже было в «Учителе цинизма» Владимира Губайловского, чей герой сообщал: «Моя мама — врач. Мой папа — горный инженер. А я — бабушкин сын». Ему, как и Раздолбаю у Санаева, учиться было некогда: «Нужно и пива попить с товарищами, и портвейна хлебнуть не забыть, и в лес на казспэшный слет выбратся, и стихи написать». Впрочем, у Раздолбая еще и вечный комплекс подросткового инфантилизма при-

сутствует, и из любого казспэшного далека он вернется домой с подбитым глазом и скажет: «Нашел, мам, компанию — интеллигентные люди, не урлы. Были бы урлы — убили бы».

Если бы автор отследил жизнь своего героя немного далее (что, возможно, произойдет в продолжении «Хроник Раздолбая», заявленном в финале), то, кроме «поплавка» (значок о высшем образовании, выдаваемый вместе с дипломом), о котором его мама говорит, что он еще никому не помешал, мы бы наверняка узнали о «трех годах оплаченного безделья», коими называли аспирантуру. Или четырех? — автор этих строк, написавший за месяц свою кандидатскую и славно проживший упомянутые (и оплачиваемые) годы, уже и не помнит. Так что покуда лишь узнаем от самого Раздолбая о том, что «Суриковка» давала пять лет понятной определенности, и, чтобы отказаться от уютной колеи ради манящей, но рискованной свободы, нужна была воля, которой у Раздолбая не было», а уж работа «была из области далекой "взрослой" жизни, а ему хотелось хоть куда-нибудь поступить, чтобы еще на пять лет продлить беззаботную пору ученичества, когда чувствуешь себя при деле, но всерьез ничего не делаешь».

Упомянув об отсутствии в романе Санаева некоторых универсальных схем дальнейшего развития жизни (ведь речь о герое тогдашнего времени, и поэтому историческая панорама при этом обязательна), отметим, что многие из ее моментов — важные, наверное, психологически — в «Хрониках Раздолбая» комкаются, утапываются, концентрируются в компост для читательского домысливания. «Вся память прожитых лет в один миг показалась ненужным балластом, — торопит события автор. — Страх перед двойкой и радость новому самолетику, смущение на призывной комиссии и воспитательные беседы отчима, школьная дружба и первая пьянка — всю эту рух-

лядь захотелось вышвырнуть вон из памяти, как плюшевые игрушки, с которыми он играл до шести лет и которых заснется в семь».

Впрочем, публицистикой и конспектом романа «Хроники Раздолбая» не назовешь. Некоторые сцены прописаны (и не оттого, что они типичны), психологизм, поначалу хоть и вялый, присутствует (подсматривание в женской раздевалке с прямо-таки фольклорными милиционерами, устраивающими облавы у бассейнов). Опять-таки, характеры не вовсе ходульные, а если даже узнаваемы, так ведь нынче мало кто читает, и автор недаром расставляет повсюду вешки упомянутых литературных памятников: «Золотой теленок», «Мастер и Маргарита». На подобных аналогиях порой «воспитательная» интрига и выстраивается. Так, один из друзей героя, словно Воланд (он, кстати, и мнит себя им), творящий зло ради добра, недаром зовется Мартином. Согласимся, уже само имя Мартин (Лютер Кинг, как шутят в романе, но продолжение у имени другое, более соответствующее, и это не обязательно Хайдеггер) — явно не «наше», а уж графская родословная, которой кичится герой, и вовсе возносит все его богохульные речи на вершину, откуда уже мерещится Умка-Пелевин и Сорокоуст-Сорокин.

Хотя Пелевин тут все-таки присутствует, этим-то «роман воспитания» Санаева и отличается от скучной документальной саги вроде упомянутых «Списанных» Быкова. А именно — включением мистического элемента, экзотической изюминки вроде таинственных «кремниевых людей» эпохи Сталина из того же «Учителя цинизма», которая венчает типичный «роман воспоминания» Владимира Губайловского. В «Хрониках Раздолбая» это «богословская» составляющая романа, и хотя это еще не «богатый Господь для богатых господ», как у Пелевина, но героя такой, чуть подправленный современными практиками концепт мироздания

(наряду с положенными благами детства) вполне устраивает: «— Ну, Бог, ты даешь! — с улыбкой думал он по пути в институт. — Сам бы я никогда не начал этот разговор с мамой, ты подсказал. Неужели ты все-таки есть?»

— Конечно, есть, — отозвался внутренний голос.

— И если тебя слушаться, все будет получаться к лучшему?

— Всегда.

— Я буду! Мне понравилось».

Но, повторимся, «богатого Господа» здесь избегают, ведь у юных неофитов все несколько иначе, и автор это отлично понимает, поэтому у нашего героя «Бог оказался своевольным и если уж молчал, то молчал». Но даже когда он молчал, места хваленой метафизике в жизни типичных героев конца 80-х — начала 90-х вроде Плюмбума и Курьера, на чьей яркой кинематографической узнаваемости строит схему своего «Дома солнца» автор «Хроник Раздолбая», еще не было. Время тогда короталось просто и безыскусно, и пока мама смотрела по телевизору исторический съезд с академиком Сахаровым, можно было просто прослушать три альбома «Айрон Мейден» и двойной концерт «Джудас Прист».

Кстати, о музыке. Ей в романе Санаева уделено немало внимания. Ей, а также сопутствующим аксессуарам вроде «серебристого чемодана мощного двухкассетного "Шарпа" с тремя "топориками" на эмблеме», посвящено немало пылких, детальных и ностальгических строк. Об этом в современной литературе до обидного мало, и неудивительно, что подобное, музыкально-ностальгическое, напоминает лишь какую-то позабытую пряную прозу перестроенного периода, в которой герой расплатился в баре «горстью магнитофонных кассет». У Санаева об этом эквиваленте счастья чуть точнее, и «сорока рублей могло хватить на четыре магнитофонных кассеты, двенадцать ужинов в пиццерии или один перелет в

Ригу туда-обратно». Да и вообще, чуть ли не с «музыкального» этапа жизни героя у него начинается взрослая жизнь, и читатель заодно узнает: «Любой пласт, если не считать говна, что "Мелодия" штампует, от полтинника до сотки на "толчке" вроде нашего. Покупает себе продвинутый чел такой пласт, сразу начинает его отбивать — дает знакомым писать за пятерку».

Таким нехитрым образом, когда вневременная романтика нивелируется более точной во времени прагматикой, «Хроники Раздолбая» оказываются некой санацией, своеобразным и давно ожидаемым «очищением» 90-х — от обязательных Пелевина с Балабановым, словно от вездесущих малиновых пиджаков и группы «Асе Of Base». То есть, на самом деле это было чудесное время, когда упомянутой группы (и не менее культовых авторов) еще не было, и по старой памяти слушали «Бони М». И вообще, 90-е Павла Санаева — это реквием по мечте, сыгранный виртуозно, но по известной партитуре, и хоть нет ни пиджаков, ни рэкета, и один из друзей главного героя загадочно говорит о том, что «лед тронулся, хотя этого почти никто не знает», имея в виду ломку системы и подступающий рынок, а другой уверяет, что «бизнесмен — это спекулянт с душой — вся разница», но рынок этот какой-то картонный, киношный, узнаваемый, а из бизнеса — конечно же, компьютеры, и обязательно без хард-дисков, что напоминает о речах Брежнева, оказавшихся на купленной на балке пластинке «Лед Зеппелин». Помните, куда в шестидесятых наобум вложил свои денежки полоумный Форрест Гамп из одноименного фильма? Правильно, «в какую-то яблочную компанию», обернувшуюся со временем всемогущей корпорацией «Apple».

Смешно и немного грустно — словно в «Тайном дневнике Адриана Моула» Сью Таунсенд — в новом романе Павла Санаева. Интересно становится, начиная с

четвертой главы. Именно в описанное здесь время автор этих строк побывал на практике в Юрмале (куда герой романа приезжает на отдых) и многое узнал о тамошней экзотике. Романом в этих несоветских местах могло стать любое приключение харьковского Незнайки, если это, конечно, не Лимонов. Пивные бары с телевизорами и горы неизвестно для чего предназначенного тоника, дресс-код в ресторанах, а также книги — дефицитные книги вроде Шукшина и Жюль Верна в магазинчиках, внезапно возникающих в глухом переулке! Впрочем, глухих там нет, это мы ходили глухие и немые от увиденных сокровищ. В частности, автор этих строк привез с балтийского, так сказать, взморья томик Бальмонта и невообразимого Маркеса, которого до этого, беря в библиотеке, привык перечитывать каждое лето. И строчки Санаева догоняют сладкие воспоминания о номенклатурной Юрмале: «Белые лежаки, бирюзовый кафель и тысячи солнечных бликов, плясавших на воде в унисон с солнечными зайчиками на мозаичных стенах, складывались в картинку, похожую на кадр из фильма про Джеймса Бонда».

Когда угоревшие от эрзаца «западного» изобилия харьковские незнайки вернулись в родной институт, туда уже пришло письмо об их ухарстве во время производственной практики — саботаже, поджоге школы и срыве графика работы целого завода. Одним словом, «оккупанты», что тут скажешь. И даже стандартной отговоркой «мы за вашу свободу на митинги ходили, а вы визовый режим ввели» не отделаешься. Поделом, наверное. Но им, кстати, тоже досталось. Все их звезды вроде — условно — Anne Veski немногим позже пели в московском Мэрино на площадках возле универсама, а знаменитый кабак, где выступала Лайма Вайкуле, их собственные бандиты, говорят, сами же и сожгли.

Наверное, что-то подобное происходит с героем романа Санаева, столкнув-

шегося в Юрмале с правилами новой жизни и осознавшего, что на всех своих новых друзей ему приходится смотреть снизу вверх. Миша был фанатичным служителем музыки, которым он восхищался; рижанин Андрей — опытным ловеласом, на которого он мечтал быть похожим; Мартин и Валера знали о жизни столько, что казались ему втрое старше, а шалопай Сергей мало того что жонглировал дорогими вещами, как мячиками, так еще оказался любим красивой заботливой девушкой. Кстати, что касается девушек, поначалу Раздолбай долгое время боялся, что «она будет жечь его своей красотой, а он — топтаться перед ней на сброшенных брюках, прижимать к груди хуленькие ручки, чтобы они не казались нитками, и походить на пережившего засуху кенгуру», а после оказался обычной «открывалкой» для уехавшей в Лондон возлюбленной.

Отдельно стоит отметить, что обывательская точка зрения, позиция и взгляд на мир отображены в «Хрониках Раздолбая» как нельзя лучше. Это умные отклимы сравнивали не магазины и рестораны, а танки и ракеты, и лучше советских тогда, действительно, не было, а их отпрыски мерили свое детское счастье совсем другими мерками. И юному Раздолбаю «было непонятно, как можно считать их общество прогрессивным, если все понастоящему хорошее прорывается к ним из "непрогрессивного" общества — машинки, джинсы, хорошая музыка». И пускай «лучшей музыкой в мире» наш герой

долгое время считал «Битлз» и Челентано, а все остальное было все-таки родом из «ближней» заграницы — то ли из Прибалтики, то ли из Польши и ГДР, но именно на обывательских позициях дольше всего задержалась у нас ностальгия «по настоящему». Жирующие в СССР не перестали жировать и в дальнейшем, капиталистическом будущем, а вот маленькие радости некогда большого дома очень скоро исчезли из обихода советского мещанина. «Курево по талонам стало, — по привычке сеял он панику в "демократические" времена. — Утюг сгорел, хотел новый купить — на полках ни одного. Ладно, сигарет скурили больше, чем выпустили — могу понять, но утюги, сука, где?»

Таким образом, роман Павла Санаева — эпохальное полотно, ода ностальгической радости и гимн смутному времени — может быть прочитан еще и как сугубо приватная драма рядового гражданина некогда большой страны. Для одних это сопоставление фактов, для других — очередные откровения (ведь где еще прочтешь «личные» переживания об августовских событиях 1993 года), для третьих — вообще открытие советского прошлого, словно для самого героя романа, в одночасье позабывшего, «как выглядят сыр, гречка или мясо, и ему даже не верилось, что такие продукты когда-то продавались свободно». Думается, что так же свободно автор «Хроник Раздолбая» мог бы описать всю историю СССР. И хорошо, у него еще все впереди.

Татьяна Морозова

Многоуважаемый том

Андрей Немзер выпустил толстенный том литературоведческих работ, где обращается к тем, кто составляет — в зависимости от доброжелательности взгляда — список литературы для просвещенных школьников или «национальный канон», по выражению самого автора.

Немзер публикует свои статьи разных лет, начиная чуть ли не со студенческо-аспирантских штудий, не только затем, чтобы предъявить сообществу все, что он сделал, но и затем, что все эти работы, включая заметки к юбилеям, статьи в Антологии поэзии пушкинской эпохи, плоды преподавательского обращения к русской классике, — составляют цельный взгляд на развитие русской литературы как концентрации национального духа, его исторических задач и возможностей.

Статьи в книге сознательно расположены не по времени написания, а следуя исторической последовательности, где названия частей уже содержат авторскую оценку целых периодов: «Золотой век», «Трудное время», «После». Замечательно в этом смысле название всего тома — «При свете Жуковского», в котором явно слышится цветаевское «...при свете совести». Постоянное обращение к Жуковскому, которого называли совестью литературы, его негромкое, но непрестанное ощущаемое благотворное воздействие на все пространство литературы многое объясняет во взгляде Немзера на русскую словесность. Автор признается, что «пошел в литературоведение ради Жуковского», что всегда «чувствовал его таинственное и животворящее присутствие в русской словесности», поэтому вся русская литература — вплоть до Солженицына и так любимого автором

Давида Самойлова — воспринимается при «ясном и ровном свете Жуковского».

Открывается том статьей «Наставники», посвященной Державину, Карамзину и Жуковскому, и отношения к действительности этих столпов русской культуры, круг их тем, представление о жизни и смерти, о вечности, о роли искусства в жизни человека и государства, их диалог с западом, по мысли Немзера, и задали тот уровень осмысления жизни и его художественного воплощения, который сделал русскую литературу «нашим всем».

Немзер образцово точно, тонко, емко разбирая хоть «Развалины» Державина, где «Царское Село описано с документальной точностью, но так, как будто его уже нет», хоть карамзинских «Бедную Лизу», «Мою исповедь» или «Марфу-Посадницу», ни на йоту не отступая от авторского замысла, так расставляет акценты, обращает внимание на такие глубокие вещи, что становится ясно: русская классическая литература не постепенно набирала высоту и силу, а сразу начинается с высот, на которые поздние авторы могут только оглядываться, — достичь же их удастся не всем. Погруженность в мир поэта придает размышлениям Немзера основательность и выверенность. Рассуждая о Державине, он предлагает точные формулировки, которые по своей смысловой нагруженности могли бы быть тяжеловесными, но именно в силу продуманности звучат ясно, просто, философски отточенно, обобщенно. «Державин знает о том, что должное не равно сущему, но удивительным образом умеет видеть (и открывать нам) в сущем — должное, в земной суете — прекрасное и величественное».

Вот и Немзер — «видит и открывает нам». Его понимание классической литературы совершенно свободно от сегод-

Андрей Немзер. При свете Жуковского: Очерки истории русской литературы. — М.: Время, 2013.

няшной конъюнктуры. С одной стороны, он не подводит под либеральный знаменатель сегодняшнего дня, скажем, карамзинские рассуждения «о прелестях кнута», не спрямляет часто нелестное для современного прогрессивного сознания мнение писателя и историка о важнейших исторических фигурах или переломных моментах в развитии страны. А с другой, так говорит об этом, о пресловутых особенностях русского пути, что карамзинский взгляд на историю приобретает не столько актуальность (хотя и это есть), сколько вневременную истинность, должную противостоять любой современной публицистической тенденциозности. Вот как пишет Немзер о «Марфе-Посаднице»: «Объективность, уважение к потерпевшим историческое поражение, даже любованье ими ...не мешают, но помогают тенденциозности. Лишь неуверенный в исторической целесообразности свершившегося будет приукрашивать "положительных" героев и унижать "отрицательных". Карамзину же в "Марфе-Посаднице", а потом и в "Истории..." надо утвердить не личную точку зрения, но словно бы не зависящую от него истину». Вот это осознание «не зависящей истины», приближение к ней — как к самому ценному содержанию русской литературы — через рассмотрение тонкого поэтического инструментария, через смысловые пласты, через гипертекстовый диалог писателей — и есть главная задача литературоведческих работ, составивших лучшие части этой книги.

Несколько выбивается из ее строгого и глубокого содержания часть «Золотой век: опыты конкретизации темы» — заметки по случаю юбилеев поэтов. Ограниченный объем, специфика аудитории, желание кратко сказать о многом, не впадая в совсем уж популяризацию, но и не перегрузив читателя не ожидаемой им глубиной, тоже может стать интересной задачей. И автор с азартом ее выполняет. При этом могут получиться чуть ли не шедевры, как этюд о Дельвиге «Прозаического стиха никогда не напишу», или о Баратынском — «Изгнанникрая». Но иногда автор может впасть и в ненужную красоту, этакую многозначительность, изобразить в конце виньетку, закруглив

фразу или отчеркнув конец, как в заметке о Денисе Давыдове или — к сожалению, о Батюшкове.

Иногда кажется, что автор, задавшись желанием высказаться по каждому писателю, чей юбилей подвернулся, делает это зря. Потому что, представляя себе, ЧТО и КАК может Немзер написать, читать на двух-трех страничках *приблизительный* текст про Островского — «Горячее сердце» или про Гаршина — «Только-то?», уместный скорее в газете (и украсивший ее), чем в книге, тянущей все же на некий итог, как-то даже неловко и необязательно.

Но тут же, а этой части, доходишь до текста про Толстого — «То, что называется фугой» — и опять диву даешься, настолько это глубоко! Это все же не назовешь литературоведческой статьей в строгом смысле, может, из-за сбивчивости первого абзаца, где про все сразу: и про то, что сейчас читают, и что ставят, и кто «моднее»: Пастернак или Мандельштам. Но автору меньше всего хочется соответствовать строгим канонам. О Толстом он пишет емко, стройно, точно обнажая смыслы и объединяя мотивы «Войны и мира» темой потока, текучести, растворения в мире, где «ничего не кончается». И жаль, что та скрупулезность, точность подхода, та прекрасная добросовестность в работе, которая ощущается в ранних статьях автора «В поисках окончательного слова» о Гоголе, «Еще раз о Гоголе и В.Т. Нарезном», «Страстная душа томится» о «Мцыри», «Поэзия Жуковского в шестой и седьмой главах романа "Евгений Онегин"», становится автору как-то скучна. Под некоторыми из статей стоят две даты: «1984, 2009» или «1979, 1993». Добросовестность — оттуда, из начала, когда только что освоенные тома почтенных предшественников обязывали, когда и мысль писателя увлекала, и внимательное обращение к тексту было не столько данью ученичеству, сколько желанием ничего не упустить, передать красоту доказательств. А сейчас (маститый мастер!) можно намекнуть, обозначить мысль, и скорее, скорее дальше, уповав, что умному — достаточно. В общем-то, да. Но прочитав эти ранние работы, понимаешь, что заматерелость, умение

быстро высказаться на заданную тему, соотнесение своей работы в лучшем случае с собой же ранним — может сыграть неожиданную шутку, и ранние работы только оттенят в зрелых — «легкость в мыслях необыкновенную» и оставят чувство недосказанности — не многозначительной, а торопливой.

Но зато о тех, кто по-настоящему дорог автору, он говорит всерьез, вполне соотнося свое слово с теми, о ком пишет. Завершают книгу статьи об отражениях поэзии Золотого века во времени — «После», замечательные работы о Тынянове (и опять появится Жуковский в статье «Жуковский в интерпретациях Тынянова»), но главное — это статьи о Солженицыне и Д. Самойлове, тех писателях, которые подтверждают мысль о том, что русская литература существует при «свете совести» и «при свете Жуковского».

Статья «Рождество и воскресение» о романе Солженицына «В круге первом» открывает его с неожиданной стороны — автор строит свой анализ на то времени действия, — в «особые дни, освященные тайным светом, ...светом Рождества». И то, что марфинская шарашка расположена в бывшей семинарии, и то, что западное Рождество — «это *только* празднество, а не поминовение величайшего события в духовной истории человечества, вообще «возможно ли Рождество в соседстве с атомной бомбой» — все это придает немзеровскому прочтению романа духовную глубину и выводит его из привычных социальных рамок.

Постижение России как истины и Иннокентием, и Нержиным, чей день рождения приходится именно на 25 декабря, и Рубиным, чей идеал абстракция, в отличие от живого идеала дяди Авенира, и даже Яконовым, который после разноса у Абакумова «проводит ночь на мертвых камнях разрушенной церкви Никиты Мученика» и утром ощущает «торжественную очищенность в примороженном воздухе», — дает возможность увидеть в страшных страницах истории предвестие воскресения. А в выборе Нержина стать писателем — солженицынскую веру в будущее, «неотрывное от его веры в слово». «Ибо он твердо знает, что Младенец, с которого началась наша эра, избежал

ироковой казни, ибо он верует: "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог"».

Во внутреннем мире персонажей автор выделяет ту же «текучесть», что и у любимых толстовских героев — в этой связи Солженицына с лучшими традициями русской литературы Немзер прочитывает утверждение, что «Россия не погибла, что, пережив сталинский ад, страна осталась живой, а душа ее, словесность — свободной».

Логически продолжает эту тему возрождения России статья «Диалог с русской классикой в "Августе четырнадцатого"». Именно в многочисленных реминисценциях с Лермонтовым, Толстым, Гоголем (замечательны и неожиданны наблюдения к отсылкам «Страшной мести»!), в таком усвоении уроков прошлого Немзер видит возможность сохранения России, «хотя хорошо никому не придется».

После такого эпически мощного осмысления романов Солженицына завершающая сборник статья о Давиде Самойлове — тот самый «примирительный елей», который и есть содержание поэзии. Самойлов — давняя привязанность автора, несколько раз он собирался написать о нем книгу, и если эта статья — краткий конспект ее, то такую книгу стоит ждать. Немзер, подмечая скрытые самойловские соотнесения с Пушкиным, Ахматовой, Цветаевой, даже со «Словом о полку Игореве», утверждает, что «Самойлову жизненно необходим то открытый, то тайный диалог с целым русской поэзией», ведь истинный поэт «в какой-то мере воплощает *всю* поэзию».

Говоря о Самойлове, Немзер поднимается на благородную высоту обобщения, осмысления жизни и свободы, что и в статьях о Державине, Жуковском, Карамзине, еще раз подчеркивая и уровень русской поэзии, и возможность ее толкования: «Красота, бессмысленная (с практической или рациональной точки зрения) игра, неподвластность тлению (заметим вновь отсылку к Пушкину)... — это и есть бесконечная свободная жизнь, на тайну которой может намекнуть строящаяся по тем же "беззаконным законам" поэзия».

Немзер любит эти «беззаконные законы» и открывает их.

Александр Зорин

Поэзия — тоже документ

Эту книжку, увы, я получил в день похорон Галины Осининой. Не довелось отозваться при жизни. А ей, поэту не очень известному, любой отзыв был драгоценен. И вот — голос внятный, скорбный, узнаваемый, как будто окликнул уже оттуда. Впрочем, «оттуда» — условное местопребывание поэта, чье присутствие ощутимо в его поэзии.

Ее судьба типична для советского человека. Родом из Нижнего Новгорода. Порухенная раскулаченная семья. Погибший на фронте отец, послевоенные мытарства в столице, поиск дружественной среды и смысла жизни («В тухляком стог бытия// Тщусь смысла отыскать иголку») и, наконец, бесповоротное обращение к христианству, к которому тянулась с детских лет. Что с наибольшей полнотой сказалось в последней книге стихотворений. А их и всего-то было три. Но были другие книги: учебники английского языка. Галина Александровна, окончившая иняз, стала известным специалистом по языку; ее учебники, издававшиеся под фамилией Макарова, востребованы и сегодня. Поэт чуток к языку и может, как никто, рассказать о его богатстве и уроках его постижения. Кстати, ее русский сохранил чистоту и крепость простонародной лексики.

Мы знаем, по воспоминаниям очевидцев, как дышит, как шевелится земля над могильным рвом, в котором остались недострелянные жертвы. Книга Галины Осининой — сгусток горя — во многом

напоминает ту влажно-дышащую землю. Она молится за них, родных и близких, «познавших ад на земле», рассеченной лагерными зонами. Ад — узилище немоты и страха, в котором жило население по обеим сторонам колючей проволоки.

Мы жили, как пришибленные, тихо.
И не роняли лишнего словца.
Нас берегла от всяческого лиха
Тень мученика деда иль отца.

Галина Александровна избежала прямых репрессий, но была свидетельницей событий, о которых не лишне напоминать сегодня. Мемуаров и документов явно недостаточно, если безумие тех лет до сих пор не осмыслено нашим забывчивым населением, если тень Сталина наплывает на сегодняшний день.

Поэзия тоже документ — пристрастный и эмоциональный. Вспомним, к примеру, пореволюционное творчество Максимилиана Волошина. Поэзия Осининой — документ трагический и бескомпромиссный.

Я родилась для мира и покоя,
Да, видно, заблудился мой талан.
Мы пережили времечко такое —
В любом роду ГУЛАГ иль Котлован.

Времечко наложило печать не только на душу. «Добрый доктор с фиолетовым носом», знаток неисчислимых болезней своих пациентов, вразумляет обескураженного мужа:

Жены нашего поколения
Все больны. Вы уж мне поверьте.
Неподъемная это ноша —
Бабья жизнь на земле Российской

Галина Осинина. «Прииде кротость на ны»: Стихи. — М., 2011 г.

Мать, обреченная смерти, просит Бога сначала прибрать ее дочку («Молитва старообрядки Бобковой»), потому что без нее она, бесприютная, все равно погибнет. Все равно dokonают:

«Ироды, душерастлители.
Не человеки — зверье.
Нет на свете обители,
Где бы упрятать ее.
Только земля наша матушка
Даст ей надежный приют.
Слышишь ли, доченька Аннушка,
Как херувимы поют?

Сквозь неизбывный морок, обволакивающий родную землю, звучат ангельские голоса, позывные надежды...

Правда, надежды на потустороннюю близость. По эту сторону надежда мерцает «песчинкой-огоньком», еле видимым светом вопрошающего одиночества.

Нам только думать друг о друге
Скупой судьбой отведено.
Мерцают в сумраке разлуки
Мое окно — твоё окно.

Теплится на расстоянии смутная душевная близость. Можно сказать, что поэзия Осининой верна Некрасовской школе — поэзии скорби и печали. Отчасти так. Но Некрасов и помыслить не мог о том, что случилось с Россией в XX веке. Его Россия, кружась в пучинах народного горя, еще дна не достигла — последнего устрашающего предела, опоры, от которой можно оттолкнуться только ввысь. Если, конечно, не иссякли силы, чтобы... оттолкнуться. Смертоносное дно подсказывает единственный выход — Евангельскую вертикаль. Некрасовская печаль (Россия), замкнутая на народном горе, ангельских голосов не слышала. Слышала сказки Деда Мороза, обходившего свои владения. И, как «Дарья стояла и стыла в своем заколдованном сне». А здесь сна и в помине нет. Здесь ад — с его inferнальным бытом и бытием. Но именно здесь-то и рождается действен-

ная молитва, попытка оттолкнуться ввысь, навстречу другому, как в том состоянии двойного (донного) одиночества. Оно, в свете молитвы, не беспросветно.

Боль роднит, страдание соединяет. Больничное сиротство понуждает к взаимопомощи.

Пот стереть, подставить судно,
Поднести воды глоток...
Дышит жадно, дышит трудно
Братства малый островок.

Но соединяет не только страдание, и, может быть, более, чем страдание, соединяет радость, Радостная весть — хотя и не просветленная в полной мере. Искалеченные души на ощупь пробираются к ней. В больничной палате рождается духовное родство, ощущение братства.

Характерно, что в ее исповедальной поэзии нет назидательного напора, правоверной риторики. Хотя название книги «Прииде кротость на ны» вроде бы настораживает. Но это, помимо смысла, всего лишь знак конфессиональной принадлежности, не более того. Ее стих гармоничен, обстоятелен, она мыслит стихом. Строфа рождается на вдохе и выдохе. Поэтика облагораживает действительность. Преобладает сдержанный тон. Она поэт широкого диапазона. Лирическая глубина восходит к социальным обобщениям. Изменения в обществе немислимы вне нравственной сферы, касающейся каждого человека. К чему может привести только подвиг веры. Это ее, так сказать, программа максимум. И вместе с тем она понимает, как изгужен духовный климат в стране, как изгужен политической атмосферой. Евангелие, на которое она уповает, все еще мало доступно населению постсоветской России. И поэтому она избегает окончательных выводов. Мир открывается ей в главном — в фокусе преображенной личности. Драма жизни, постижимая в искусстве, уже не безнадежна. А просветленная Евангельским откровением, не так страшна.

Алексей Устименко

Обвиненные в любви

Навстречу друг другу они вышли из совершенно разного времени.

Мудрый суфий Машраб, обвиненный в любви к одной из служанок кашгарского ишана¹ Афака-ходжи, был изгнан ишаном из собственных учеников и ушел в сорокалетние скитания еще в XVII веке.

А торопливый, очевидно, чтобы достичь цели своего ненасытного движения, — некий художник Усто Мумин двинулся в путь уже в XX веке.

Мандатом комиссии ТуркЦИКа выплеснутый из европейской России в российскую — тогда — Азию, он ехал с бумагой, красками и кистями привносить революционную культуру в туркестанскую окраину, состоящую из пыльных, пережженных и пережаренных солнцем городов — столичного Самарканда, Бухары, Ташкента и каких-то других, совсем отдаленных хорезмийских поселений.

В 1920 году, когда это случилось, его бесконечно широко раскрытые, почти что навывкате, серо-голубые глаза еще не выцвели. Он еще в европейском измятом костюме возлеживал на деревянных полках трясущегося в Ташкент железнодорожного вагона, а не носил на своем коричнево-черном теле халат из легкого бекасама и на голове — парчовую тюбетейку. Он еще даже и имени нового не носил, а прозывался с послереволюционным панибратством — Сашкой Николаевым...

Во всякую многодневную тянучую дорогу само собой всегда обдумывается или то, что — в промельк — за дымным окном, или же ты сам, если и не во всю твою жизнь, то — во всяких — со всех сторон — ее эпизодах.

Наверное, можно сказать, — художник Николаев думал об отрицании.

Об отрицании того русского ориентализма, который, входя в Азию строевым колониальным шагом вместе с войсками генералов Черняева, Скобелева и фон Кауфмана, отразил в себе не Восток, но едва ли не все то же, азиатскими темами дополненное, передвижничество.

Литературное назидательство холстов Василия Верещагина, дополненное иллюстративно-репортажными построениями Николая Каразина, не открывали Азию, не знакомили, собственно, со страной, а только фиксировали славянский взгляд на тюркскую, разглядываемую с чужой и чуждой для нее стороны, землю.

Революционное, как ему тогда казалось, *его* искусство уничтожит эту обложечную красоту, новыми смысловыми формами взорвет, развеет по историческому ветру, выкинет оставшиеся осколки себе за спину, в прошлое. О местном же живописном искусстве, которое могло встать на его пути, он даже и не думал. Разве оно возможно в исламской стране, где изображение живой жизни, как *творческое* соперничество с Аллахом, — велик Он и славен! — не допустимо в принципе?..

Портал самаркандского медресе Шир-Дор встал перед ним первыми воротами недоумения. Пештак² медресе из симметричных своих углов глянул на художника *живыми* львиными мордами, просунувшимися в яркий свет сквозь полукруг солнечного диска. Древняя свастика поворотом своего вечного колеса в центре портала, под которой он молча протащил свои привезенные краски, чтобы пройти внутрь квадратного двора, тут же заобещала ему новый поворот жизни. И сделала это без обмана.

Революционное искусство, как сразу же ощутил он, было здесь никому не нужно. Его европейская чужеродность бросалась в глаза. Оно было внешним маскарадным вторжением, возникшим на один раз, на мгновение в вечности, которая вслух здесь дышала грудью широкой площади Регистан, выстроенной из трех медресе — Улугбека, Тилля-Кари и Шир-Дора.

Нет, оно действительно было. В виде, например, красно-сатиновых выцветших транспарантов, непонятной ему арабской вязью растолковывающих неторопливому населению нечто, понятное немногим. Немногим *одержимым*, как виделось это понимающими глазами самого Востока. Они мелькали красными косынками, гимнастерками цвета песка и кожаными тужурками, не дающими дышать настоящей, живой коже под ними. Они стали признаком всей той властной орды, — которой по счету в веках? — что замелькала на извитых жизнью улочках встречавшего его Самарканда.

Верещагина и Каразина знали здесь лишь просвещенные человеческие единицы. Но этого солнца, этой поливной керамики неба, опрокинутого на мир громадной пиалой, похоже, еще не знал никто. Не видел никто. Не писал так, как оно есть.

Разве что — где-то здесь обретающийся другой художник — Александр Волков, пока ему еще не знакомый.

Плоский картинный срез открываемого Востока плотной тяжестью своего воздуха напоминал сцену за плотной тяжестью вздрагивающего занавеса. Николаев знал такой занавес. Когда тот поднялся, а это случилось в его родном скучном Воронеже, куда однажды на гастроли приехал московский Свободный театр, — за ним оказалось искусство: вне бытия его мира живущие на сцене мужчины и женщины, прежде не виданные, хотя и похожие на соседних с ним по бытованию людей.

И если начинал он обычаем всех художников, вгоняя открытое пространство мира в замкнутую площадь пространства картины, то теперь, помощником декоратора взявшись за оформление постановок Свободного театра, он должен был делать противоположное: замкнутое пространство сцены расширить до убедительного, убеждающего внешнего мира, внешнего пространства жизни.

В Самарканде же краски лепили форму, а не форма ими раскрашивалась.

Однако эти краски нельзя было брать со стороны, ничего не получилось бы. Точнее, — получились бы вновь Верещагин с Каразиным. Следовало самому сделаться некой местной краской, раствориться в ней без остатка. Большинство русских, осевших здесь, этого не хотели и не умели делать. Они тянули за собой свое собственное, удивляясь тому, что оно — это собственное — на их взгляд лучшее, более цивилизованное существование, отчего-то не приживается в азиатском краю. Колонизирование ими здешнего Туркестанского края — что они всегда ставили себе в серьезную заслугу — не было слишком насильственным и кровавым. В большей степени оно было в навязывании самих себя как

носителей единственной собственной истины, будь она русско-цивилизаторской, или интернационально-революционной.

И что из того, что со времен Александра II (Освободителя, но и, позднее, Завоевателя, хотел он того или нет) и до времен Николая II (совсем, пожалуй что, Никакого) всякому чиновнику, *почетно ссылаемому* сюда, вменялось в обязанность знать сартский язык. *Не* для собственного своего *к ним*, как тогда говорили, — туземцам — приближения делалось подобное чиновничье нововведение, но для полного *их к себе* притягивания. Впрочем, позже уже и этой наивности не стало. На кой черт затруднять себя лишними знаниями: ведь не я к ним пойду (хотя уже и незвано пришел), но им ко мне двигаться в общую *со мной* жизнь...

В измазанной красками майке и пропотевших коротких штанах художник Николаев таскал свой ящик с кистями и красками между дувалами Самарканда, стараясь проникнуть в те неисследованные городские пространства, о которых местный с виду степенный — четыре рваных халата, один на другом — черный цыган Абду-Саттар, делающий свои деньги на Регистане совсем не степенным криком: «Вот с этого места рисовал Верещагин...», — не смог бы сказать что-нибудь подобное.

Синяя чалма зазывалы Абду-Саттара, размером с пыльно-голубой купол усыпальницы Гур-Эмира и его черная борода, заселенная крошками, сухими листьями, веточками и птичьим пухом, похожая на недостроенное гнездо, оставались далеко за спиной художника Николаева. В городе, где и местные, и чужие жили внешней общей жизнью, сообщая понимая, что она — *внешняя*, а потому — несомненно — *не-настоящая*.

Ему же нужна была именно первая жизнь, изначальная, изнутри сотворенная здешним исконным народом.

В уточнение своих поисковых работ он принимался расспрашивать встречных мальчишек. Те скалили свои веселые зубы, отбегали в сторону и — не понимая его языка — кидали в его мокрую спину горсти сухо-пылящей глины и куски распадающегося в полете кизяка.

Вот тогда он и стал, запоминая, учить здешний язык, чтобы говорить с ними.

Мальчишки сновали повсюду, эти местные муравьи, вертящиеся и по своим собственным, и по обременительно взрослым делам. Но даже когда он заговорил с ними первыми собственными узбекскими словами, они не перестали скалить в его сторону свои чистые белые зубы, но стали больше и громче прежнего насмешничать над Николаевым, впрочем, перестав метать в его сторону сухой кизяк и облака лессовой пыли. Да и к чему было это делать, если чужой человек не отругивался от них. Он только прикрывал ладонями то холст с первыми, брошенными на него красками, то мокрый квадрат акварельной бумаги, — чтобы на них не легла ими поднятая пыль. Он был — *мумин*, кроток. И он защищал свои рисунки, этюды и акварели ладонями сдвинутых рук.

Станным виделось лишь то, что на изрисованных им листах, спасенных от пыли и кизяка, все-таки чудом для них, мальчишек, оказывалась лежащей и эта пыль, и эти сжимающие их улочки, и минареты, и деревья с обмершими, навечно яркими листьями, и даже они сами с плоскими лицами.

И уже не боясь, что его изгонят, художник Николаев торопливо исписывал и изрисовывал заключенное в рамку пространство, не уставая разглядывать и любить эти копошащиеся поодаль смуглые мальчишеские тела, еще не ставшие

мужественными, еще несущими в себе тот женский отсвет, который остается в каждом до первой ломки звонкого голоса.

Повсюду в закрытых странах, а здесь, в Средней Азии, особенно, всегда был некий третий пол, существующий для украшения жизни и для замены собой спрятанного женского общества, вроде бы обретающегося где-то самостоятельно, но невидимого для непосвященных.

Нет, с женским и женственным здесь, как всегда, было худо. Невидимое, но востребованное живой любовью становилось абстрактным образом. Чаще всего — стихами. И нет, пожалуй, больше нигде в мире поэзии более высокой, лиричной и — *неконкретно* привязанной к женскому лицу, телу, к плотскому их ощущению, чем на таком Востоке...

Мальчишки же, чуть повзрослев, — изгоняясь из женской, начинавшей смущаться их, половины, переходя в мужскую, некоторое время еще несли в себе этот отголосок сокрытого, эти для чужих недоступные запахи легких одежд, плавные повороты головы со слегка подведенными глазами и гибкие танцевальные движения пока не мужского тела.

Они порождали целый театр, подчас, на взгляд европейца, слишком чувственный и, в их понимании, потому аморальный.

Все тот же художник Василий Верещагин, внешне стараясь оставаться осуждающе отстраненным, описывая подобное «ненормальное», по его словам, «явление», все-таки по-художнически явно любит их:

«В батчи-плясуны поступают обыкновенно хорошенькие мальчишки, начиная лет с восьми, а иногда и более. От неразборчивых на способ добывания денег родителей ребенок попадает на руки к одному, к двум, иногда и многим поклонникам красоты, отчасти немножко и аферистам, которые с помощью старых, окончивших свою карьеру плясунов и певцов, выучивают этим искусствам своего питомца и, выученного, нянчат, одевают, как куколку, нежат, холят и отдают за деньги на вечера желающим для публичных представлений.

...(Зрелища) даются почти каждый день в том или другом доме города, а иногда и во многих разом, перед постом главного праздника — байрама, когда бывает наиболее всего свадеб, сопровождающихся обыкновенно подобными представлениями. Тогда во всех концах города слышны — стук бубнов и барабанов, крики и мерные удары в ладоши под такт пения и пляски батчи»³.

В своих записях Верещагин верен себе: он — этнограф, изучатель. Его художническое любопытство — даже при полном неприятии темы как таковой — ничуть не вступает в моральные какие-либо борения: внешнее должно быть отражено, и все тут!

«...В одной из комнат, двери которой, выходящие на двор, были скромности ради закрыты, несколько избранных, большею частью из почетных туземцев, почтительно окружали батчу, прехорошенького мальчика, одевавшегося для представления; его преображали в девочку: подвязали длинные волосы в несколько мелкозаплетенных кос, голову покрыли большим светлым шелковым платком и потом выше лба перевязали еще другим узко сложенным, ярко красным. Перед батчей держали зеркало, в которое он все время кокетливо смотрелся».

Николаеву тоже всенепременно надобно было быть там самому, но совсем-совсем не так, как Верещагину. Он должен был все понять изнутри. Он должен был быть среди участников.

И среди этих оркестрантов тоже, дудящих в трубы-карнаи, выстукивающих ритмы о желтую кожу дойры. Он был сам готов вздымать над головой медную

тяжесть этих трубящих труб или перед выступлением греть над костром — для звонкости — эту самую желтую кожу.

Его место было и среди этих батчей, и среди тех же сартов-украшателей, вырисовывающих на лице мальчишек-танцоров темные кокетливые брови.

«...В заключение туалета мальчику подчеркнули брови и ресницы, налепили на лицо несколько мушек — *signes de beaute*, и он, действительно преобразовавшийся в девочку, вышел к зрителям, приветствовавшим его громким, дружным одобрительным криком.

Батча тихо, плавно начал ходить по кругу; он мерно, в такт тихо вторивших бубнов и ударов в ладоши зрителей выступал, грациозно изгибаясь телом, играя руками и поводя головой. Глаза его, большие, красивые, черные и хорошенький рот имели вызывающее выражение, временами слишком нескромное.

«Радость моя, сердце мое», раздавалось со всех сторон, «возьми жизнь мою», кричали ему, «она ничто перед одною твоею улыбкой...»

Вот музыка заиграла чаще и громче; следуя ей, танец сделался оживленнее, ноги — батча танцует босиком — стали выделять ловкие, быстрые движения; руки змеями завертелись около заходившего корпуса; бубны застучали еще чаще, еще громче; еще быстрее завертелся батча, так что сотни глаз едва успевали следить за его движениями; наконец, при отчаянном треске музыки и неистовом возгласе зрителей, последовала заключительная фигура, танцор или танцовщица, как угодно, освежившись немного поданным ему чаем, снова тихо заходил по сцене, плавно размахивая руками, раздавая улыбки и бросая направо и налево свои нежные, томные, лукавые взгляды».

Художник Николаев совсем не по-верещагински должен был стать и картиной, и краской, и звуком, и всей — *внутренне* гармоничной — композицией. Он тоже должен был стать мастером среди них, то есть — *усто*. Он им стал.

Николаева отныне переставали помнить.

По-новому названный человек по-новому же и засуществует.

Вдруг родился *Усто Мумин*, и — не вдруг — исчез Сашка Николаев.

И — национальная ли живопись Туркестана приобрела? Русская ли потеряла?

Он стал противоположен Верещагину. Он принялся жить среди них, теперь не смущающихся его присутствием. Он вместе с ними пил воду из скользящих мимо арыков, он сторонней своей справедливостью в разные стороны разводил их крики, когда в вечной игре раскрывались мальчишеские ладони и из них семенем высыпались на землю едва ли не веками отполированные бараньи косточки-ашички. Он загорал вместе с ними в те редкие, короткие, как воробьиный клюв, часы, когда солнце еще не может до пепла сжечь. Вместо брюк он стал носить светлые полотняные штаны, на голове — не туристическую круглую расшитую тюбетейку, но бело-черную, чустскую, с историческим оберегом-рисунком то ли миндаля, то ли — стручка перца, а быть может — крыла фазана (в этом он еще должен был разобраться).

Его лицо с глазами навывкате исчернело и отполировалось, как дервишский кашкуль, сосуд из кокосового ореха, привязанный сбоку халата для подаяний-пожертвований.

Говорили, что идя по такому, для европейца достаточно странному внутреннему пути, он, в конце концов, окончательно стал мусульманином, приняв даже чужой для себя Ислам.

Теперь, наконец, не Запад смотрел на Восток. Теперь — в своем равновеличии — Восток усто-муминовскими глазами посмотрел на Запад.

Искусствоведы же пытались по-научному осмыслить все с ним случившееся...

«Стремился ли Усто Мумин изобрести "национальный стиль" в изобразительном искусстве, стиль, основанный на восточной традиции вообще? Думаю, что нет. "Ибо, — как остроумно заметил Генрих Белль, — национальный колорит схож с наивностью: если ты сознаешь, что она у тебя есть, считай, что ее у тебя уже нет".

Узкоспециальной целью создания национальных особенностей в искусстве, в том числе и на основе фольклора, Усто Мумин вообще не задавался, как и не было стремления противопоставить Восток Западу. Он просто жил своеобразием национального характера, каким он его представлял себе в самовыражении, движении, развитии»⁴.

Он не вводил в свои не-европейские картины этих мальчишек, вычлняя их из азиатской экзотической скорлупы. Они там как бы существовали изначально.

«Батчу-девочку сменяет батча-мальчик, общий характер танцев которого мало разнится от первых. Пляска переменяется пением оригинальным, но и монотонным, однообразным, большею частью грустным».

Бог весть, узнавали ли, увидев самих себя, эти мальчишки. Но другие, смотрящие, и через десятилетия все еще узнают их: то этого юношу, дающего питье с языка, почти что из собственных губ, главной по любви на Востоке птице — перепелу-бедане⁵; то двух других, невинно и одновременно откровенно-чувственно — в любовании художника — отдыхающих мальчишек, будто бы ждущих, чтобы их разбудили, даже и того, кто не спит⁶; то в третьем юноше-водоносе, почти что гибкой веточкой изогнувшемся, почти что в танце идущем под тяжестью — не названной на картине — нескольких кумганов⁷.

Художник Усто Мумин, чтобы не загромождать восприятие бытийными представлениями о предметах, убрал со своих холстов третью часть измерения мира, оставив лишь два первых общепринятых плоскостных измерения, однако — приплюсовав к ним свое, личное, особое измерение — краски Востока. Тем самым он вполне определенно продолжал традиции своего недолгого (всего полтора примерно года учебы во ВХУТЕМАСе) учителя Казимира Малевича и всей группы супрематистов, словами своего литературного идеолога — Алексея Крученых — провозгласивших:

«Творчество должно видеть мир с конца, должно ...постигать объект интуитивно, насквозь, постигать его не тремя измерениями, а четырьмя, шестью и более»⁸.

Понятно, что он повторял размышления самого Малевича, который говорил примерно так: «...наше искусство работает в очень маленьком уголке, в трехмерном пространстве. Этот же уголок — маленькое отхожее место, и больше ничего. А большая Вселенная не входит сюда, и нельзя ее вместить. И находясь в этом уголке, нельзя понять эту Вселенную.

...Вот я, художник, который это создал, — я нахожусь где? Ведь я же вне этих трех измерений, мною изображенных. Вы скажете, что я тоже нахожусь в трех измерениях. Но ведь это измерения другие, другие. Я их созерцаю, и как художник созерцающий помещаю свой глаз по ту сторону трех измерений, в четвертом измерении, если уж считать их арифметически. Но их арифметически считать нельзя. Их не три, их тридцать три, триста тридцать три и так далее без конца. И в этих измерениях — мировых, космических, вселенских — я как художник

помещаю свой глаз. Сам я как человек, конечно, уязвим. Вы можете меня ударить, но как художника попробуйте меня ударить...»⁹.

И если измерения можно добавлять до бесконечности, то отчего же — так же до бесконечности — их нельзя и сокращать?

Усто Мумин хотел видеть мир изначальный, только-только порожденный светом и красками... Их почему-то до него *так* еще не видели. Наверное, потому, что они ими, красками, не стали. А он — стал.

Хотя — как уже знал Усто Мумин — к подобному же мирооткрытию, мироощущению, *мирожитию* прежде него уже пробовал приблизиться ранее него обжившийся в Азии уроженец Ферганы, коллега его — художник Александр Волков, шумно гремящий на азиатских улочках своим голосом и пестрыми браслетами, вертящимися под солнцем на его руках и ногах. Этот тоже почти что стал дервишем...

В конце концов, Усто Мумин так узнал Самарканд, а Самарканд так узнал его, что грязные и злые казахские псы, всегда сторожащие свою определенную собачью территорию, перестали ворчать на него, ощеривая желтые клыки, но лишь шевелили рваными ушами, когда он шел мимо, и — не поднимаясь — похлопывали хвостами по земле, выколачивая облачка белой пыли.

Усто Мумин некоторое время еще гнался за исчезающей на глазах любимой натурой, возясь с наслаждением с создаваемыми им фигурами юношей.

Натягивая невидимые вожжи, он пытался на холсте остановить разогнавшееся чужое взросление. И тогда на картине рождался светлый юношавсадник, подросший мальчишка в белых непорочных одеждах на белом стремительном — от художника ускользающем — иноходце.¹⁰ Но всякому становилось видно, что из библейского словаря взятая и чистыми красками подчеркнута выписанная эта его непорочность давно осталась за спиной скачущего теперь уже мимо художника, мимо зрителя всадника. Непорочность его утеряна, и оттого картина, основанная всего лишь на внешней любви к своей модели, родилась стилистически плоской и предельно красивой — до сахарности.

Усто Мумин, похоже, начинал себя терять.

Мир райского чувственного блаженства не может оставаться вечным, — однажды наступает изгнание из Рая и появляется изгойство земных троп, по которым предстоит идти дальше. Гоген умер на своем полинезийском острове, Усто Мумин оставил его, исчерпав тему.

Теперь говорят, что идя по такому, для европейца достаточно странному внутреннему пути, он, став мусульманином, принял не только чужой для себя Ислам, но и бытовой образ азиатской жизни, вечно и строго диктуемый этим Исламом, женился на тайно подчинившейся ему девушке-узбечке...

Правда, во всех воспоминаниях такое предположение (или же знание действительного факта) затушевывается, зарисовывается, заливается праведными красками, — как неудавшийся эскиз неудавшейся картины художника. И остается в текстах лишь терпеливая жена — Ада Евгеньевна Корчитс, дочь профессора медицины из Белоруссии; с нею в 1923 году он сыграл обычную свадьбу в одном из любимых садов Самарканда. И у них будут сыновья и дочь...

С ними он станет приближаться к реальному миру, выходя из мира своих азиатских снов.

Он исходил Самарканд до всех его древних пределов. И старый город стал мал для него. К тому же, властвующие в Москве чиновники принялись образовывать государства, нарезая их по внеисторическим картам ломтями,

как им виделось, а не как обживались людьми — особенно узбеками и таджиками. И столица новой Узбекской Советской Республики через ущелистые Тамерлановы ворота теперь тихо переползла из Самарканда в Ташкент, куда должен был уехать и Николаев.

Казалось, само время подталкивало Усто Мумина к будущим переездам, к дервишскому бродяжничеству — для еще одного познания земли и времени. К тому же обретенный язык как бы подтолкнул к нему близко такого же полюбившего не-сосредоточенную жизнь — великого поэта, странника, дервиша и безумца Машраба.

Старые и молодые певцы-ашуличи, извлекая из струн рубабов и дутаров¹¹ выцветшие звуки древних музыкальных сказаний, повсюду выпевали, вызволяя из небытия то пересказы старинной повести «О безумце Машрабе», то стихи самого Машраба, то стихи неизвестных, приписываемых Машрабу:

«В степи любви я ночью брел, увы, не ведая дорог, // Но путь в отшельнический дол меня неудержимо влек. // ...И понял я: сей мир лукав, враждебной хваткою он лих, // И, лик ногтями истерзав, себя я каяться обрек. // Господни люди говорят: "Сколь горек хмель мирских утех!" // И я, чтобы познать сей яд, вкусил той горечи глоток. // Потом, не зная забытья, в себе я своеволье бил, // И саблей отрешенья я себя казнил, как только мог. // И жарко-огненным копьем я миру выколол глаза, // И сабли хладным острием соблазнам голову отсек. // Безумец, не в стихе ль твоём, Машраб, — спасение от мук: // Ведь этим словом, как огнем, сердца влюбленных ты прожег!»¹²

Усто Мумин теперь особенно хорошо понимал эти стихи. Даже смотрясь в осколок зеркала, он видел отныне совсем не себя, загорелого до черноты, но созвучного ему скитальца, очень-очень давно вышедшего из Ферганской долины, из плоскокрышего, как вся долина, древнего и всегда непокорного Намангана, чтобы в своих вольничавших стихах дойти до Кашгара, до Самарканда, до Ташкента и Бухары.

До нашего времени.

Возможно, кто-нибудь да поверит в переселение душ, увидев вошедшего в Наманган нового, опаленного дорогой, странного дервиша с болтающейся сбоку поклажей, правда — не с кокосовым кашкулем, но ящиком красок, холстов и пачкой шершавой бумаги.

Усто Мумин в своих художественных странствиях добрел однажды и до родины Боборахима Машраба, последователя суфийского течения тарикат¹³ и дервиша суфийского ордена Накшбандиев. Этим своим — сюда — приближением он должен был узнать, что принял в себя, а что отторг философ Машраб в суфийских собственных поисках. И — правильно, или же нет, но все должны были увидеть недавние, в 1924 году Усто Мумином написанные, картины — «Дорога жизни» и «Суфи».

Это была новая грань Усто Мумина.

В узбекской среде он, несомненно, был любим как человек, полюбивший их язык. Как будто бы и совсем мусульманин, падающий на колени в мечетях, творящий пятикратный намаз и — сведя вместе ковшиком собранные ладони — после молитвы и еды завершающий, проводя руками сверху вниз, святое общение с Аллахом и едой сакральным словом: «Омин!»... Но — все же — человек сторонний, пришлец. Изменивший самому себе, прежнему.

В русской среде (и в традиционно, окраинно, равнодушной ко всякой политике, и во взбудораженно бестолковой, революционной, привнесенной) — он сразу же стал чужим этим своим уходом-перерождением: вместо того, чтобы

этнографически изучать все азиатское, он вдруг сам стал некой этнографией, требующей изучения.

Он сделался внутренним изгоем при всех внешних ему славословиях.

Другого это могло бы мгновенно сломить. Усто Мумина ломали многие и не торопясь.

И этот его, им обретенный, им выпестованный, им проживаемый художественный стиль — плоская двухмерность средневековья, но уже на изломе, уже в приближении к итальянскому возрожденческому кватроченто, — по большому счету наплевавший не только на традиционализм занимающихся Востоком художников, но и на супрематизм Казимира Малевича, на всякий послереволюционный тогдашний авангард, — раздражал, будоражил, перечеркивал их собственные — и традиционалистов, и художественных революционеров — находки и поиски.

Смешно сказать, но по чужому мнению, к которому через силу своей отчужденности он все-таки прислушивался, его, Усто Мумина, графика тоже нуждалась в профессиональном совершенствовании.

Так, в 1930 году, случилась (трудно представить — после всего Усто Мумином — вершинно! — сделанного) творческая командировка *для усовершенствования* в им выбранный Ленинград. Да еще в издательство детской литературы...

Судьба любит повеселиться за счет доверившихся ей.

Уверен, что графические работы художника Александра Николаева этого периода ничуть не хуже иллюстраций Алексея Кравченко, Владимира Конашевича, Ореста Верейского, а то и самого Владимира Фаворского. Но еще больше уверен, — стань он с ними вровень и — исчез бы навсегда из искусства художник Усто Мумин...

Плоскости книги, плаката, журнальной страницы при всей их удачности заполнения были все-таки — *не его*, то есть — не Усто Мумина. Они стали лишь псевдоплоскостями своего трехмерного времени. Так случаются дети, рожденные не от любви, но от сложившихся обстоятельств, от брака по расчету.

А у старательных советских искусствоведов появилась возможность научно и правильно говорить о «...принципиальных особенностях его плакатов и газетно-журнальной графики».

Само собой разумеется, что биографическое разворачивание жизни художника должно вести к неким высотам. Со ступеньки на ступеньку, но обязательно — вверх, к достижению чего-то, что выше всего прежнего, совершеннее. С завершением этого восхождения смертью творца, не успевшего до конца довершить уж совсем что-то неповторимое...

Но ведь есть же и художники — наоборот. И писатели.

В литературе из таких — работавших по нисходящей — Юрий Олеша.

В живописи и графике — Усто Мумин...

Совершенно ясно, что графические усто-муминовские работы, порожденные им в те дни, не могли не сопротивляться художнику Николаеву, усмирявшему, перевоспитывающему себя самого. Они до последнего сохраняли верность Усто Мумину, ища себе союзников в персонажах, Николаевым изображаемых.

Например, герой николаевских иллюстраций Ходжа Насреддин словно надсмеялся над художником: вместо рекомендуемой литературоведами маски правдолюбца и борца за народную справедливость он сохранил под карандашом Усто Мумина свое собственное лицо — хитреца, мудреца и восточного Ивана-

дурака, только что — в рваном халате, а не в армяке. За что, естественно, Николаеву традиционно попало.

В Ленинграде, абсолютно европейском городе, тоже была мечеть. Но Николаев не ходил в нее. Она казалась ему не настоящей, как казались не настоящими православные храмы с пыльными луковками колоколен где-нибудь в Ташкенте или Самарканде. Как всегда были для него не настоящими, не-восточными все виденные им азиатские картины пропутешествовавших по Туркестану европейцев.

Если поверить, что человек способен раздваиваться, то можно без натяжки сказать, что и этот человек раздвоился. Одна его часть — тот самый Усто Мумин — осталась в землях Азии. А другая — которая значилась Николаевым — допоздна торчала в прокуренных комнатках художников Детиздата, вырисовывая на картонах социалистических пионеров и капиталистических полицейских, трактора на грязных гусеницах и какие-то самолеты-бипланы над красно-зелеными толпами Первомай.¹⁴

Но человеку невозможно поделить себя пополам, на две независимые человеческие половины, без риска угодить в дом сумасшедших.

Усто Мумин чуть-чуть оживал, когда попадалась возможность сделать книгу, напрямую связанную с Туркестаном. Он на некоторое время уходил от действительности и тогда с любовью вырисовывал своих коричневатых мальчишек, запускающих весенних змеев между плоских азиатских крыш, обрывающих зелено-золотые тяжелые капли винограда с витиеватых лоз, повисших над дворами, тонкими исцарапанными пальцами вытягивающих ватные дольки хлопка из зеленых полураскрытых коробочек.¹⁵

Здесь заданность темы хотя бы отчасти, без сопротивления, сходилась с его последней памятью, исчерпывающей себя.

Но даже если бы он смог совершить невозможное, разодрав эту мокрую и серую дерюгу ленинградского неба на две части, чтобы вытащить, наконец, наружу плоский желток здешнего солнца, — оно все равно бы его не согрело по-туркестански... И в 1931 году Усто Мумин рванулся обратно.

Впрочем, и после его нового переселения в Ташкент библейского воскрешения в художнике не произошло. Произошло нечто страшное — отравление советской заданностью, полученное в Ленинграде, своей тошнотой мучило и здесь. Им придуманные, сочиненные герои будто бы тоже перебрались вслед за ним. Из мокрого нереального Ленинграда в новую среднеазиатскую — и здесь тоже — придуманную социалистическую жизнь.

Все здесь было вроде по-прежнему. Вот только на площадях и улицах больше стало мгновенно выцветающего плакатного красного сатина. И еще глубже местный народ ушел в свою внутреннюю жизнь, еще крепче закрылся в самом себе, вместе со всеми принявшись сочинять жизнь внешнюю, не столько для себя, сколько для государственных газет.

Что из того, что не все божественные семена в нем еще проросли, — теперь не до них. Теперь уже трудно было пробиться наружу тому, что еще оставалось в Усто Мумине естественного и настоящего. Он еще нежен к людям, если они пока не стали плакатом. Он еще талантливо пишет нежные комнатные акварели детей.¹⁶ У него еще яркие краски — его красный цвет это не совсем только цвет комсомольских косынок и официальных знамен. Но — еще и не отцветших шелковистых маков, рассыпанных зерен граната и розовых кустов.

Однако — слаб человек, *уверившийся* в силе своей, в возможности справиться с предложенными обстоятельствами и — сохранить себя.

Постепенно цвет кумача начинает преобладать. Его плакатная графика, его газетные и журнальные иллюстрации вполне соответствуют социальному заказу.

Его надувающий щеки плакатный пионер с вытаращенными от восторга глазами, с горном, слегка ностальгически напоминающим карнай, с безвкусными желтыми розочками в свободной от горна руке, и с ними же на самом горне, да еще и на красном знамени с портретом самого Сталина — идеологическая иллюстрация к знаменитому тезису «Жить стало лучше, жить стало веселей!» — вот то, чем он теперь постоянно занимается. Лицо Сталина — кстати сказать, фотографически блистательно исполненное, — будто печать канцелярии при исправной бумаге: такое искусство я утверждаю.

Как всякий настоящий — от Бога! — художник, интуитивно понимающий мир и в нем себя, Усто Мумин в тридцатые годы живет внутренним оправданием, — это пишу для себя, «для искусства», а это — для газеты, журнала, для гонорара, чтобы кормить семью...

Старинный рецепт спасения — уход с отрешением ото всего высоко в горы — на очень короткое время еще действовал. Горы правдивы и своим спокойствием, и — наоборот — бешеными, опасными камнепадами. Своей неподвижной убежденностью в том, что они всегда есть, а потому все остальное — ничемная суета сует. Даже самые высокие из них не раздавливают человека так, как способен раздавить надвигающийся на него отовсюду камень людского города.

Если удавалось выкроить достаточное время, то можно было добраться до маленького пыльного городка Ангрена, миновать его, обвивая горы по все выше и выше взбирающейся тропе, переползти через перевал Камчик, на котором легко можно пнуть облако, и тем же манером — обвивая острые склоны, но на этот раз по спускающейся вниз тропе, и — войти в древнюю чашу Ферганской долины. Ту самую, что своими зелеными неохватными просторами во все времена формировала глубоких, широко мыслящих людей. Будто бы кто-то одел эти острые камни в зелено-белый бухарский полосатый халат, из-под которого всегда хотелось вырваться и уйти.

Воля немногих осуществилась. Именно отсюда ушел, чтобы открыть себя миру и скрыться в нем от себя же мудрый философ Машраб.

И хотя Усто Мумин не жил здесь, и вроде бы все вокруг него считалось открытым, он все больше и больше оковывался обездвиживающими цепями времени, расколотить, расплющить, разорвать которые, вырвавшись через перевал, ему не удавалось.

«Был, увы, я сотворен для любви несчастной, // И неверной был прельщен девою прекрасной. // Гибну, жаждой изможден, я в глухой пустыне, // А тобою воплощен океан бесстрастный. // ...Я горю в пылу пламен, горестный влюбленный, // Днем и ночью только стон слышен мой ужасный. // Войско бед со всех сторон рушит меня силой, // Мучусь, жаждой изнурен, я в тоске напрасной. // Нрав твой щедро одарен злостью и лукавством, — // Мотыльком лечу, спален, на огонь опасный. // Как Меджнун мечусь, влюблен, — средства нет от боли, // Я с младых моих времен в муке ежечасной. // Одержим Машраб, смятен, — что, друзья, сказать вам? // Не стыдите: он, Машраб, — раб судьбы злосчастной».

Может быть, вовсе и не на этом самом, не на перевале Камчик, обрывалось от страха высоты и от счастья, что высота эта достигнута, сердце Машраба. Среди вершин не было искусственной человеческой грязи, состоящей из низкой — земной — гордыни не взошедшего на перевал человека, но волей рода и случая вознесенного над другими. С гордыней, верящей, что только она

знает, как жить всем остальным возле нее: какие должны быть дома и улицы, в какие часы и как должно обращать свои мысли к Аллаху — велик Он и славен! — в каких одеждах ходить под солнцем Бухары и Ташкента и листы каких книг, написанных на голубой самаркандской бумаге, держать в руках, читать и переписывать... А какие — забыть и повыбрасывать из библиотек медресе и мечетей.

Машраб же любил, как он хотел, когда хотел и кого хотел. И говорил о любви своими словами, не опираясь на слова повелителя с царских подушек, или же — мудреца в зеленой чалме с последней ступеньки минбара.

Даже всемогущий Аллах — пусть святится Его имя во веки веков! — был сделан людьми — Непостижимым в понимании.

И это успокаивало людей, лишний раз не напоминая, что они не умеют пользоваться собственной головой.

Все их ничтожные придумки о Его непостижимости, равно как и убого описываемые пространства Рая и ада Машраб был готов отдать за одну монету, за одну бутыл земного виноградного вина. Его Рай не был где-то там, наверху. Он не перетаскивал в него снизу вверх, с земли на небо, зелень листьев чинар и карагачей, не переливал стеклянно живущие, булькающие, пенящиеся, холодящие воздух вокруг самих себя, мчащиеся среди скользких и мокрых камней ледяные ручьи-саи. Ему не были нужны поднебесные гурии, тяжелыми райскими опахалами навевающие на попавших в прохладную дрему, скуку и однообразие мусульман-праведников.

Его живые земные гурии телами были схожи с кумганами и кувшинами из розовой самаркандской глины, а их соски напоминали виноградины сорта карабурну: по одной — на каждую из двух возвышенностей, в самой синей ночи посвечивающих кожей и голубоватыми жилками под ней.

Кувшины можно было наполнить опьяняющей жизнью, а виноградины сладостно съесть.

Любовь Машраба вся состояла из хрустально прозрачного горного воздуха, из незапыленного острого скола молчаливого черного камня, лежащего перед ним на перевале, из голубизны губчатого вершинного снега, белыми лентами стекающего в Ферганскую долину.

Бог был для Машраба в самих людях, в их любви между собой, в чистоте снега, воздуха и камня Им сотворенных, а значит — остающихся частью Него, Всемилоственного и Всемилосердного. Он способен был облекаться во всякую форму своего творения.

Бога можно было потрогать.

Он существовал в ощущении тяжести камня, удерживаемого в руке. Он, переходя из одной формы в другую, вдруг переставал быть снегом и становился водой. Им, Богом, даже можно было дышать, — ведь холодящий воздух, входящий в легкие, был тоже Он.

И в нем, в Машрабе, тоже жил Бог.

И оттого Машраб был един в самом себе.

Раздвоение же Усто Мумина усиливалось. Было оно еще более страшным, еще более болезненным, чем в Ленинграде. Все лучшее, имманентное в нем, задвигалось в темный угол души, пусть и с подсознательной надеждой на то, что однажды будет вынуто, извлечено и воплощено по-настоящему.

Усто Мумин, опускаясь до понимания многими, начал работать в рамках этой вот нисходящей морали. И осторожно, но его уже начали принимать за своего.

Наконец, он предал себя до такой степени, что даже в официальном мире его сочли настолько правильным и праведным, что решили — никто, кроме художника Николаева не сможет оформить и расписать — *так, как требуется!* — павильон Республики Узбекистан на ВСХВ — Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставке в Москве. Возможно, вспомнили, как он уже был однажды — в 1920—1923 годах — человеком проверенным — делал эскизы наградных знаков для как бы самостоятельных и независимых эфемерных советских республик: Хорезмской (ХНСР) и Бухарской (БНСР).

И Николаев вновь оставил Ташкент. И вновь — изменяя себе — принялся за необходимую государеву работу.

Странно, что его не арестовали в Ташкенте: здесь о нем знали все. Все, о чем способны рассказать не только биографические документы, но и *аналитические записки* коллег, адресованные нестрадающему от отсутствия корреспонденции ведомству — НКВД.

Москве, может, просто нужно было исполнить традиционную разнарядку? Хотя и закрадывалось недоумение — по какой статье его проводить: ни под буржуазного националиста, ни под великодержавного шовиниста странностями своей жизни он никак не подходил.

Слегка подходило происхождение — явно не пролетарских корней, доверия не внушающая, родословная: из дворян, отец — из царских военных инженеров, да и сам — из Сумского, близ Полтавы, кадетского корпуса, затем — уланский корпус в Твери. То есть — почти царский офицер.

Но и это — не основание; поди, найди в тридцатые годы взрослого состоявшегося человека, не родившегося и не учившегося при том низвергнутом и проклятом царском режиме.

Взяли все-таки за другое, померещившееся: «...по делу ликвидированной антисоветской, вредительской, террористической организации, существовавшей в Союзе художников УзССР...», поскольку было «...установлено, что активным участником этой организации является Николаев Александр Васильевич... в 1936 году Николаев был привлечен в террористическую группу, ставившую перед собой задачу совершения террористических актов над руководителями ВКП(б) и Советского правительства».¹⁷

Вот уж — пальцем в небо...

Знающие Усто Мумина с большей убежденностью поверили бы в его намерение покрасить кремлевские стены в черный — квадрата Малевича — цвет.

Однако признательные показания дали все арестованные: да, было, как есть, как подсказано, как напомнили — готовили террористические акты «...над руководителями ЦК ВКП(б)».

И что же тут удивительного? Сознавались, пожалуй, все. Не сознавались лишь забытые насмерть.

«...Мне в этом мире, как ни быюсь, приюта не найти. // Я смерчем без любимой выюсь — пришлец иных сторон. // ...Поверь мне: кто любви не знал, в том веры тоже нет. // Но я склонюсь пред тем, кто пал под тяжестью бремен. // Да будет внятна боль моя лишь претерпевшим боль, // А для невежд — загадка я, след Ноевых времен... // Знай: у людей понятия нет, откуда я пришел. // А спросят, кто я, — вот ответ: нет у меня имен. // Не ангел-небожитель, я — сам человеческий сын, // Сын Намангана я, и там на свет произведен. // Сегодня детище стыда, ты пал во прах, Машраб. // Но всем влюбленным в День Суда — и власть ты и закон!»

Самый худший вид власти — власть справедливая: надо — накажу, надо — помилую.

Потом, правда, придя в себя от физических впечатлений тюрьмы, подследственные открестились, отказались от сказанного. Но свое, однако, получили...

«Выписка из протокола № 10 Особого совещания при Народном Комиссаре Внутренних Дел СССР от 9 февраля 1940 года:

Слушали:

№ 23808 / НКВД Узб. ССР по обвинению Николаева Александра Васильевича, 1897 года рождения, уроженца Воронежа, русский, гр-н СССР.

Постановили:

Николаева Александра Васильевича за участие в антисоветской террористической организации — заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на три года, считая срок с 9-го ноября 1938 года.

Нач. Секретариата Особого Совещания

при Народном Комиссаре Внутренних Дел СССР

Иванов»

Приписка от руки:

«Узбекск. ССР 22 / II 40 г. № 9 / 13 — 17517 Сиблаг».

Священники, перегруженные грехами чужих исповедей, отпуская их, делятся ими с терпящим все это благодушным Богом, а потому и сами спасены бывают. Писатели, даже самые неталантливые, уходят в слово, и поэтому тоже — плывут налегке, сохраняя и охраняя себя. Художники оборачиваются картинами, краски которых — будто вывернутая наизнанку душа, однако же тоже тем сохраненная.

От ареста до освобождения Усто Мумину не разрешалось брать в руки карандаш, поэтому пальцы принялись забывать — как его следует в них держать. Его любимые темперные краски, поначалу еще вроде бы снившиеся радужной раскраской последних воспоминаний, постепенно исчезли под серо-черной растушевкой скользкой поверхности стен. Глаза перестали командовать художественным преображением всего во все. Голова раскалывалась от каменной тяжеловесности обыденных впечатлений.

Перегруженность притягивала смерть. И если сам он еще пока жил, художник в нем продолжал умирать.

Страшна власть, особенно справедливая...

А.В. Николаев был помилован ею, конечно же, по справедливости. И эти пальцы, забывшие как держать карандаш. И эти его — навывате — большие глаза, ставшие бояться азиатского солнца и всех порожденных им красок. И эту голову, отныне навсегда распираемую болью.

И не искусствовед мог теперь, положив рядом два рисунка Усто Мумина — «Уйгурский танец»¹⁸ и эскиз декораций к спектаклю «Кырк-Кыз», — признать огорченно: рука *мастера*, рука *усто*, стала рукой ребенка, робко и неуверенно марающего бумажные листы. Первый набросок сделан в 20-е годы, второй — в 1942, по возвращении *оттуда* — из созданного государством застенка, из государства-застенка.

Только оно, это государство, мнило себя справедливым: почти тотчас же после выталкивания Усто Мумина на волю, в 1943 году, наградило его Почетной Грамотой ЦИК Узбекской ССР за участие в создании Уйгурского театра. Оно и дальше будет столь же благодарно поступать, «...в связи с 25-летием Узбекской Советской Социалистической Республики» присвоив А.В. Николаеву (Усто Мумину) почетное звание заслуженного деятеля искусств Узбекистана.

Стоило ли все это картин, не написанных им с тридцатых годов?

Доколачивающие гвозди в уже распятого художника.

Декоративность его картин сменилась декоративностью жизни.

С ним снова стали здороваться. Пожилые — уважительно к прошлому. Молодые и новые (насквозь теперь праведные, поскольку воспитаны на ограниченном пространстве государства и времени) — подчеркнуто вежливо: ведь он пока еще существует среди них. Когда-то — едва ли не наиболее известный усто... Но — кто сегодня?

Усто Мумин понимает, что если сегодня он ничего похожего на прежнее не создаст, то совершенно погибнет не только для них, но, наконец, и для себя.

Он видит, как, лицемеря, пытается войти в официальный государственный мир искусства даже непримиримый прежде к общепринятому лицемерию Александр Волков, о котором уже осторожно начинают писать как о своем собственном, наконец одумавшемся, прирученном человеке. В официальной искусствоведческой статье новая работа Волкова упомянута среди «наиболее показательных» работ, хотя еще и без восторженных слов и с явно проглядываемой долей сомнения в качестве исполнения «государственного заказа»:

«Нельзя также пройти мимо портрета В.И. Ленина работы А.Н. Волкова.

... "В.И. Ленин" работы А.Н. Волкова является шагом вперед в творческом развитии художника, преодолевающего пережитки формализма. А. Волков воссоздает облик Владимира Ильича в дни Октября. Ленин был "прост, как правда". Это существенное в образе вождя, а также сила его энергии подчеркнуты в портрете.

К сожалению, работа А.Н. Волкова помещена в условиях невыгодного освещения».¹⁹

Возможно, освещение важно. Но только (и в это верится больше), — и отборочную комиссию, и запрограммированных искусствоведов явно смущала определенно существующая неискренность художника. Ощущаемая ими. Однако, не пойманная ими за хвост.

Именно в этот момент судьба расстилает перед Усто Мумином свой новый приглашающий дастархан. Ему предлагают взяться за иллюстрации к стихам Машраба. Такого же гонимого скитальца. Так же спасающего себя, как — недавно еще — спасал себя, стараясь сохраниться, и он, Усто Мумин. Такого же, растворенного в восточном мире суфийского бродягу с тем же суфийским уважением к печали и любви, которое теперь появилось и у него.

Вот Машраб спускается с перевала и входит в город. Чернобородый. В высокой шапке-кулохе. С переметной сумой-хурджуном, перекинутой через плечо. С кашкулем — кокосовым ведром для непросимой, но подаваемой ему милостыни. Он проходит сквозь городские ворота, преодолевая их как надоблачный перевал, — в городе ведь труднее сохранить в себе собственную свободу, — и от него отстраняются все, попадающиеся навстречу, и все, идущие параллельно с ним. Но не потому, что его халат пропах потом, не потому. Так здесь пахнут все. И не потому отдаляются, что жалко серебряную монету. Такому — и золотой динар передать — себе не в убыток: святой человек! Отстраняются, боясь быть узванными в своей подлинной сути. Он слишком, слишком проницателен.

Этот один Машраб знает столько, сколько знают все жители города, вместе взятые... А если и не знает, то — все равно — он больше, чем все они.

Усто Мумину мнилось, что во время своих художнических прежних скитаний то в Самарканде, то в Бухаре, то у костра из кривых веток горной арчи, обогревающего путников перед спуском с перевала Камчик в плоскость ограниченного пространства вечно мятежной Ферганской долины, он встречал именно такого Машраба. А когда встречал — не отстранялся. Тогда ему нечего было таить от провидца Машраба. Тогда он был честен с самим собой.

Если бы ему удалось создать цикл графических иллюстраций к текстам Машраба и к его жизни, он бы художником завершил свою странническую жизнь великого Усто Мумина..

Художник уже склонился над эскизом первой иллюстрации...

Вот только тотчас возникло и первое недоумение, — поймут ли теперь они друг друга? Сможет ли задуманное и продуманное Усто Мумином равноценно осуществить государственник Николаев? Или же — наоборот — к доверенной Николаеву ответственности стоило ли вообще допускать прежнего почти дервиша — Усто Мумина?

Творящая рука одного резко останавливалась осторожничающей рукой другого. Выпестованный жизнью эскиз одного перекрывался сочиненным в уме, да еще, пожалуй, в чужом и стороннем, эскизом другого.

Скомканные листы бумаги летели под стол, под кровать, в форточку. Разорванными в клочья плоскостями сыпались под ноги, где и затапывались.

Боль распирала голову, не стараясь вырваться из тюрьмы черепной коробки, но стараясь выдавить из нее все остальное, кроме самой себя. Подобно тому, как тюрьма в свое время выдавила его из бытийной жизни.

Так подошла смерть Усто Мумина, не сдавшегося, но и не победившего.

Заказ был провален.

Головная боль, обретенная в реальной тюрьме на реальных допросах, не исчезала, — она словно бы продолжала допрос, заменив собой мучающего следователя. И — то ли он сам к этому времени убил себя, то ли его убили другие.

А еще — они же — убили Машраба.

В 1123 году Хиджры — время переселения пророка Мухаммада из Мекки в Медину. Одновременно, в 1711 году от Рождества Христова, — старый поэт и философ Машраб был изловлен исполнительными людьми правителя Махмудбея Катагани. Тот верил, что не менее тысячи шайтанов, тревожащих спокойствие спокойного человечества, поселилось в хилом ребристом теле бродячего обличителя бездумной веры и обдуманного лицемерия. И их уже невозможно было никак иначе изгнать из этого тщедушного обиталища жизни, из тела Машраба, как только умертвив его самого.

Семьдесят лет они гнездились внутри Машраба, и следовало сделать так, чтобы они, наконец, навсегда застряли в нем, не найдя выхода наружу, дабы снова и снова не беспокоить ни натужно удерживающих власть правителей, ни не имеющих настоящего понятия об Аллахе — велик Он и славен! — седобородых мулл, отличающихся одной лишь памятью на суры²⁰ и айяты²¹ из Корана.

Так подвергли старика Машраба позорной для мусульманина казни — не от холодной сабельной стали, не от горячего — нагретого в руке — короткого палаческого ножа. Но — от шершавой, разлохмаченной толстой веревки, перехлестнувшей морщинисто-коричневую шею, перекрывшей к Раю, или даже и аду, выход душам всех шайтанов, гнездившихся в нем, видимых облеченному

человечеству. Да и его собственной — попутно — души. Души поэта Машраба, также застрявшей внутри дрогнувшего несколько раз и навсегда затихшего тела...

Машраб был повешен то ли в Балхе, то ли в самом Кундузе. Повешен после подтверждающего — быть по сему! — кивка головы правителя Кундуза Махмудбея Катагани из династии Аштарханидов.

Мудрые правители понимают: хочешь остаться в истории — убей поэта. Есть, правда, вариант — приблизь к себе.

Что совершенно одно и то же.

Усто Мумин (А. Николаев) умер в конце раскаленного ташкентского июня 1957 года. В пыли и мареве сонного зноя за гробом, боясь обнажить головы, чтобы не получить солнечного удара, прикрываясь распластанными по темени носовыми платками и пропотевшими соломенными шляпами, шло человек десять художников. Несколько старух — профессиональных провожальщиц покойников — толклись следом.

«Очень скромно хоронят заслуженного деятеля искусств УзССР. Объявление в газете появилось только на другой день».²²

Вот этого, умершего, — да, понимали.

Не понимали прежнего, до-арестного. И понимали же, что — *не-понимают*. Извинялись, объясняя самим себе, отчего непонимание происходило: «...Этому есть две причины. Первая — слабое знание традиций, поверхностное изучение истории узбекского народного творчества. Вторая причина заключается в том, что в какой-то мере правильные поиски национальной формы, начатые в конце 20-х — начале 30-х годов такими художниками Узбекистана, как Усто Мумин, Александр Волков, Урал Тансыкбаев, Николай Карахан, были без достаточных на то оснований объявлены стилизацией под миниатюру, идеализацией Востока, формализмом и скинуты со счетов».²³

Впрочем, кажется, примерно тогда же появилась то ли книга «О безумце Машрабе», сделанная как надо, то ли книга «Источник света» самого Машраба. Уже в соответствующей и подобающей несправедливому времени трактовке.

Машраб в ней состоял из толкований чужих стихов и — из нравоучительных рассказов.

Видевшие те книги рассказывали, — Машраб там был в иллюстрациях другого художника. Он сидел среди по-царски подпирающих его подушек и говорил совсем по-государственному, — нравоучительно о банальном.

Кто заплакал бы о таком?

Плачут доныне, слушая *другого* Машраба.

Недавней весной, под Наманганом, в малом городе Чусте, известном своими великолепными ножами, в чайхане, где присутствовало все, чему положено присутствовать на Востоке, — чинары, карагачи, поющие перепела в круглых клетках, подвешенных к их высоким, но стелющимся ветвям, арык, текущий под деревянной (в коврах, курпачах²⁴ и подушках) супою, зеленый чай в чайнике под полотенцем и теплая водка в глиняных пиалах, — ко мне, сидящему в тихом азиатском оцепенении, подсел небритый старик с дутаром, исцарапанным вечным вневременьем.

Он пел Машраба.

А где-то поблизости, за перевалом Камчик, по которому мы тоже только что проехали, шел XXI век. Но только не здесь.

И тянущиеся надо всем этим машрабовские газели, мустазады, мусаддасы, мусабба, мурабба и мухаммасы,²⁵ перешедшие через двухсотлетний перевал, жили как только что сочиненные.

Конечно же, — вопреки всей темной истории — Машраба тогда не убили...
Выжил и Усто Мумин.

Ну, хотя бы той, самой своей знаменитой небольшой картиной — «История юноши гранатовые уста» («Радение с гранатом»), ставшей итогом его исследований той красоты, что обрушилась на него здесь, в Средней Азии. Тысячу раз описанная и перетолкованная.

Это тоже — житие, каким остается в памяти жизнь Машраба.

И житие тоже подчеркнуто земное, но при этом не вознесенное, не возносимое в своей откровенно обозначенной художником святости к недостижимому, к небесно-духовному, внечеловеческому. А наоборот — своей *земностью* опускающее небесно-духовное, абстрактное до пределов человеческого. Рай жизни на земле *contr* Рая жизни на небе.

В каждом клейме — часть жизни, художником, будто иконописцем, освященной.

Тем не менее, вся картина, если будет позволено так сказать, — антиконна. Хотя формально в ней находят явное заимствование традиций житийных икон с клеймами вокруг основной освящаемой темы, то есть — иконописи XVIII-XIX веков. Впрочем, если приглядеться, пофантазировать, то можно в этой ярко изображенной истории *юноши гранатовые уста* высмотреть не только христианские — формально — композиционные мотивы, но и отголоски, нет, дополнения, пришедшие в «Радение...» от миниатюр того же Бехзада, а то и просто — от арабских буквенных начертаний куфического письма.

Вот среди клейм-арабесок главный герой повествования — танцует перед друзьями, еще равными с ним в их общей юности, в их жизненном сани. Вот он танцует среди немногих, но выше всех оценивших его. Вот он — теперь один на один с другим юношей, как будто бы с единственным, достойно понявшим его танец и полюбившем язык его тела. Того самого нежного юношеского тела, что способно до полного изнеможения в одиночестве отдыхать возле хауза-водоема. Или вот, рядом — нет, не купаться, но омыwać себя в нем. И вот они теперь уже неразлучны, — одинаково понимающие безгреховный для них внешний мир. А вот они на совете мудрейших, хорошо и правильно понимающих этих двоих, из не отторгающих их от себя. Как не отторг, а, похоже, даже благословил их на любовь одинокий старец в белой чалме в одном из последних клейм. И, наконец, вот их общая смерть не просто от сладостно промелькнувшей жизни, но, наверное, и от разделенной любви: общий на двоих — вопреки всем мусульманским канонам — желтый холмик могилы с разделенным напополам глиняным надгробием, — напоминание о двоих, лежащих под ним. Под венчающим все бунчуком из расчесанного конского волоса, под которым обычно упокаиваются святые.

В таком житии нет любви к женщине, всегда перетягивающей на себя всякое поэтическое и всякое философское слово и поэта, и философа. Здесь есть любовь к первоначальному творению Бога, действительному образу и подобию, живущему в чистоте райского, единоличного мужского мира, рисуемого как

одно общее высокодуховное целое. До искушения Евы. До осквернения помыслами о плотской любви.

Хотя ее все-таки так не хватает...

Это — не то, что мы испорченно понимаем сейчас.

Это — то, что понимали когда-то давным-давно, до грехопадения двух.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ишан — глава мусульманской дервишской секты, общины.

² Пештак — арочный портал в архитектуре Востока.

³ «Духоборцы и молокане в Закавказье. Шииты в Карабахе. Батчи и опиумоеды в Средней Азии. Обер-Амергау в горах Баварии». Рассказы художника В.В. Верещагина с рисунками. Москва. Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнеров и К°. Пименовская улица. Собственный дом. 1900 г.

⁴ Ремпель Л.И. (1907—1992), доктор искусствоведения, профессор. «Мои современники». Изд. литературы и искусства им. Гафура Гуляма. Ташкент. 1992 г.

⁵ Картина — «Мальчик с перепелкой».

⁶ Картина — «Отдых».

⁷ Картина — «Мальчик-водоноша».

⁸ Цит. по статье Натальи Кривцовой «Черный квадрат». Журнал «Звезда Востока» №№ 11—12, 1994 г.

⁹ Казимир Малевич в воспоминаниях Михаила Бахтина. Записано В.Д. Дувакиным. «Пепел и алмаз». Литературная газета от 4 августа 1993 г. № 31 (5459).

¹⁰ Картина — «Жених».

¹¹ Картина — «Дутарист».

¹² Здесь и далее перевод газелей и муссадас Машраба сделан Сергеем Ивановым.

¹³ Тарикат (узб. — тарика) — путь.

¹⁴ Книга — «2 Первомая».

¹⁵ Книга — «Болялар» (боларар — узб. — дети).

¹⁶ Картина — «Манюня» (бумага, акварель). 1931 г.

¹⁷ Из «Постановления об избрании меры пресечения» от 31 декабря 1938 года. Здесь и далее документы следствия цитируются по книге Э. Шафранской «Ташкентский текст в русской культуре». Москва. Art House media. 2010 г.

¹⁸ Автолитография.

¹⁹ Р. Такташ. «По залам выставки. О республиканской художественной выставке 1954 года». Журнал «Звезда Востока». № 1, 1955 г.

²⁰ Сура — глава из Священного Корана.

²¹ Аят — стих из суры (главы) Священного Корана.

²² В. Уфимцев. «Говоря о себе. Воспоминания». Москва, изд. «Советский художник». 1973. (Цит. по книге Э. Шафранской «Ташкентский текст в русской культуре».)

²³ А. Умаров. «Образ современника в произведениях Абдулхака Абдуллаева». Журнал «Звезда Востока». № 4, 1959 г.

²⁴ Курпача — длинная, ватная как одеяло, раскладываемая на скамьи и места для отдыха подстилка.

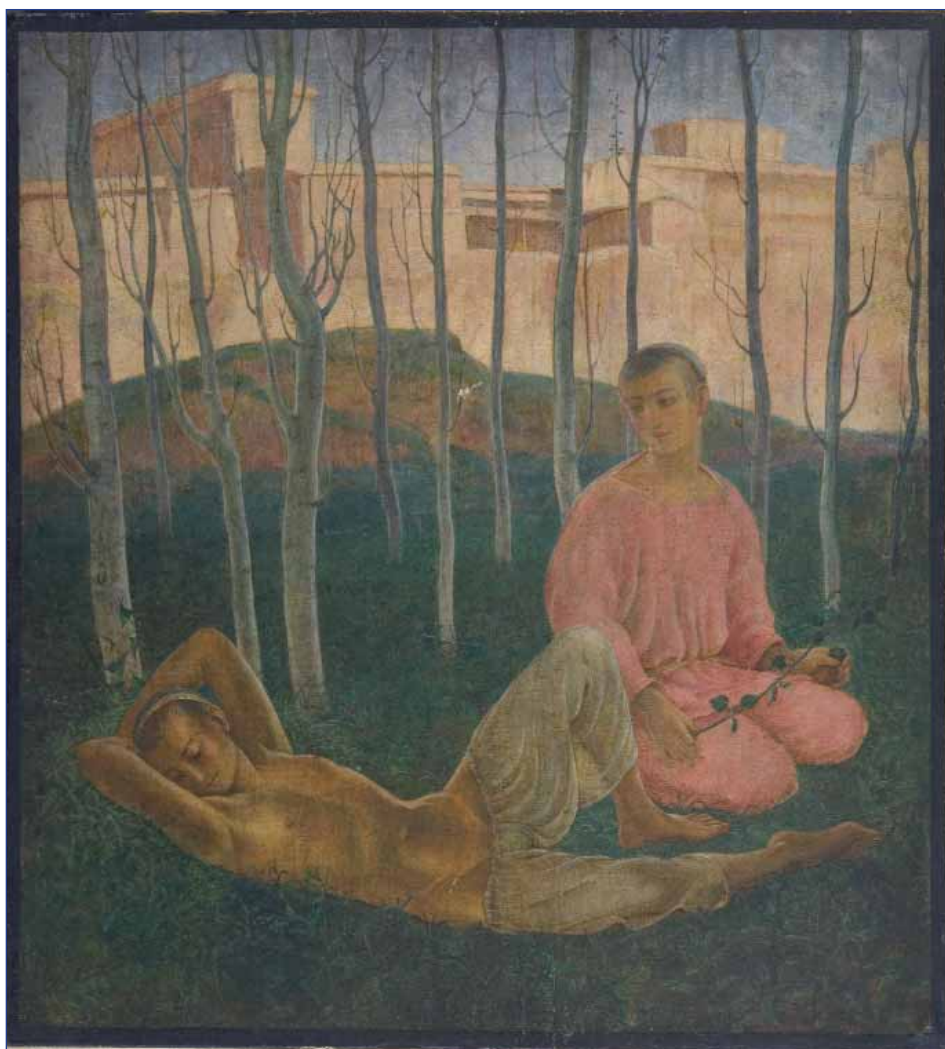
²⁵ Газели, мустазады, мусаддасы, мусабба, мурабба и мухаммасы — формы восточных стихов, в которых работал поэт Машраб.

Редакция благодарит Государственный музей искусства народов Востока (Москва) за предоставление изобразительных материалов.



Усто Мумин

ИСТОРИЯ ЮНОШИ ГРАНАТОВЫЕ УСТА
(РАДЕНИЕ С ГРАНАТОМ). 1923.



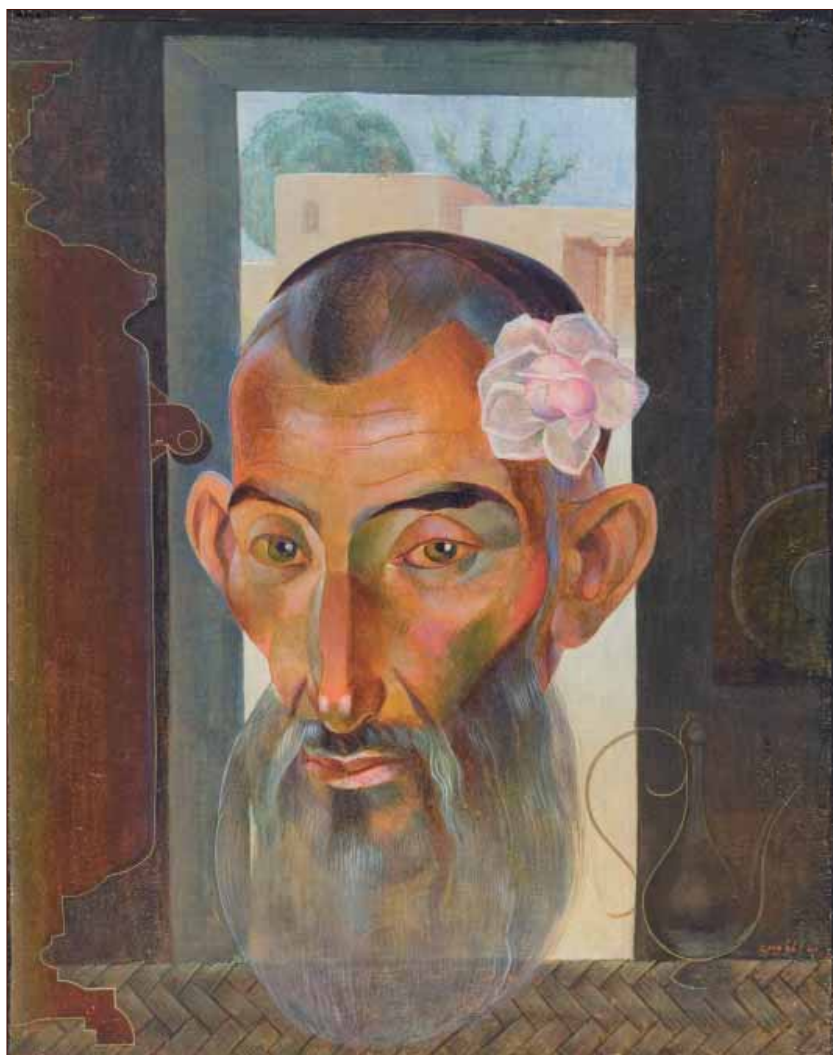
Усто Мумин

ВЕСНА (ОТДЫХ). 1923.
Дерево, темпера. 66,5 X 61



Усто Мумин

БАЧА-ДУТАРИСТ (МАЛЬЧИК-ДУТАРИСТ). 1924.
Дерево, темпера. 57 X 52



Усто Мумин

ЧАЙХАНЩИК. 1928.
Дерево, темпера. 46 X 37,5

Они и оно

Рубрику ведет Лев Аннинский

Некоторая синтаксическая изысканность заглавия моей статьи — ответ на изысканность заглавия новой книги Рады Полищук «Я и Я». Десяток прежних ее книг запомнился определенностью прицела. «Одесские рассказы»: еврейское счастье, мазл-размазл посреди русских счастливых-несчастливых. А тут что? То ли Я, то ли не Я. То ли есть, то ли нету. То ли сча... то ли стье... Зеркальная двоякость, зазеркальная непостижимость. Все — условно.

А между тем — безусловно. Реальные координаты судьбы означены четко. Начало и конец, за рамками коих — то ли чаемая приконченность, то ли нечаянная бесконечность. Быль-небыль имеет — как сформулировали бы когда-то, — конкретно-исторические очертания. Или, как базарят теперь: просто конкретные.

Начало и конец

«Тупик коммунизма, то есть полный тупик»
(«Конец прошедшего времени»)

А коммунизм тут причем?

Объясняю. Это не тот коммунизм, который приняли в качестве символа веры отцы и деды русской революции, вытаскивая его из ранних версий христианства, обогатив марксовым «Капиталом» и объявив мировой задачей человечества.

И не тот коммунизм, который, сжавшись до позиций одной, отдельно взятой страны, стал для этой страны боевым знаменем и помог выдержать костоломку мировых войн, из коих вторая опажнула народ такой смертельной угрозой, что еще на полустолетие сковала его все той же стальной «диктатурой пролетариата», сохранявшейся если не в реальности, то на знаменах.

Реально в послевоенное полустолетие диктатура эта понемногу слабела, ее мировая перспектива оставалась висеть в мифологическом воздухе, а повседневная жизнь примерялась к новой реальности в формах если не жестоких, то терпимых.

Конкретно: образование — всеобщее. После школы — институт. Тот самый, о котором мечтали отцы и деды, то есть папа и мама. Учение. Диплом. Работа в престижном (секретном) «почтовом ящике». Гарантированный прож-минимум, аванс и зарплата, отпуск и премия. Пресловутый «пятый пункт» теряет свирепость. То есть? Хочешь жить и работать — живешь и работаешь.

Конечно, воры воруют, пьяницы пьют, начальники буреют. Если у кого родитель — буйный алкоголик, приходится его терпеть, а потом из-под его власти как-то выкарабкиваться... И вообще — вылезать из этого барачного быта, где убийство и самоубийство равно обыденны. Выкарабкаться можно — если хочешь. А главное: если знаешь, чего хочешь. Сидишь в конструкторском бюро с книгой, логарифмической линейкой или паяльником.

А надоест — иди из «ящика». Переквалифицируйся в писатели. Но это уже — когда «коммунизм», обеспечивший тебе начало биографии, — кончается в чрепологи-

сье Перестройки. И это уже совсем другая песня. Финальная. Под нескончаемое кваканье лягушек, предвещающих конец света.

Главная героиня этого первоначально-конечного этапа в романе — загадочная соседка повествовательницы, неумная спутница по имени (или кликухе) Милая.

Кликуха — от фамилии: Милова. Звучит то обольстительно, то вызывающе. Непредсказуемо и непонятно. И сама эта непонятность чуть не демонстративна. Услужить — пожалуйста! Подлянку кинуть — с той же готовностью. Без колебаний. Свести, развести — без разницы. Донести на того, кого с кем свела, — без колебаний. Какая от доноса радость? Никакой. А преданность откуда? А из этой же непредсказуемости. Может, там гены безумные, может, наследственность от инопланетян. То ли наитие, то ли умопомрачение. То ли любовь к единственному, то ли секс с первым попавшимся. Все, что угодно.

Останься я в пределах традиционной советской этики-эстетики, — спросил бы у автора, сочинившего такое: не лучше ли все-таки было бы выяснить, где там что — где правда характера, а где кривда авторского умысла, то есть не оставлять все эти противоречия на грани бреда или сна...

Это увещевание было бы понятно в условиях социалистического реализма, вериг которого Рада Полищук как писательница сроду не знала.

Но вдруг догадка пронзает мой затуманенный читательский мозг: а ведь эта неуловимость типа, эта невменяемость характера, эта муть-перемуть поступков и мотивировок — не от недоработки повествования! Она — цель повествования! Открытие того характера, того типа, который обнаруживается в новой реальности, после конца химерического «коммунизма».

И невозможность понять, что за человек перед нами, — не случайна. Человек боится, что его поймут, раскусят, разгадают, выведут на чистую воду. Он, этот новый человек, таится, он прячет что-то... и не достоинство, которое не спрячешь, а... пустоту.

Пустота, которая оказалась за всеми «химерами», — вот потаенное состояние людей. Это — ключевое слово в экспертизе Рады Полищук. Или — реже, но и понятнее для всех: скука.

Скука. Тоска. Морока. Пустая суета.

«Точка. Конец прошедшего времени».

За мгновение до точки:

«— Он жив?

— Нет. Уже... четыре года, четыре месяца и восемнадцать дней...

— Он знал, что это ты рядом с ним?

— Нет. Он никого не узнавал, ничего не помнил... Он целовал мои пальцы...

— Ты была с ним, когда он умирал?

— Да. — Она впервые сказала "да". — Мы умирали вместе».

У милой обманщицы на дне неуловимо-изменчивой души неистребимо живет — любовь. Тайком от всех. Скрыто.

Все — прилипчивы, как мухи. Не поймешь, кто такие. Ни сторожа, ни дворники. И ты с ними.

И я?!..

Чаемая приконченность

— Ах, тебе этого мало? Слушай, не зли меня, умоляю, мне сейчас не до этого. А то я тебя убью, честное слово...

(«История одного убийства. Псевдетектив»)

На этом честном слове тут все и держится. На слове, которое вырвалось в сердцах. В телефонном разговоре — сорвалось и улетело.

Ну и что из этого? «Одно дело орать: я убью тебя! И совсем другое... совсем другое...»

И тут оказывается, что это «совсем другое» не просто реально, а куда реальнее того, что тебя в самом деле окружает.

Чтобы это «самое дело» (то есть убийство) не показалось обманным, мобилизуются традиционные художественные средства: образы и краски. Кроваво-красное по мертвенно-белому. Белый барс с красными глазами. Ну, и черное, конечно. Черная кошка, которая путается под ногами, мешая героине вскочить верхом на метлу и взлететь, без разбега, вертикально вверх, как в трубу.

Но прежде чем вылететь в трубу из обыденности того, что происходит на самом деле, оценим это самое дело.

Потаенный смысл его все тот же: пустота. Все та же тоска одиночества, которая оборачивается скукой обыденности, морокой, суетой, бессмыслицей. Судьба — сплошь потери. Гибнут женихи и мужья, один за другим, то неожиданно (под колесами), то ожидаемо (сказал «я умираю» и отлетел). А если жив, то — имитация жизни. «Утренний секс на бегу, газеты, телефон...»

Голос в трубке — приговор: «Я тебя убью»...

Приговор — реальность. Все остальное — ирреальность. Сон? Бред? Мистика? Мистификация? Мистика, переходящая в мистификацию? Мистификация, переходящая в мистику? Или это без разницы? Бытие, потерявшее статус бытия и повисшее в загадочной конкретности? Роковой размен жизни и смерти в существовании современного человека?

Можно укрыться от конкретных событий, но нельзя укрыться от невозможности понять, где конкретное переходит в потустороннее, и наоборот. Смерть — это жизнь, реализовавшаяся из небытия. Жизнь — это небытие, реализовавшееся из смерти. Милая, ты где?!

«Я его убила, даже если он жив».

«Бесконечна пустыня, что от рождения до самой смерти зовется жизнью».

«Жизнь — смерть. Ожидание длиною в тире».

Псевдодетектив, написанный героиней-повествовательницей по договору с современным издательством и получивший «шумный успех», открывает в прозе Рады Полищук тихую катастрофу бытия, потерявшего высший смысл среди распавшихся конкретностей того существования, где пустота и одиночество компенсируются утренними поцелуями и сексом на бегу, а роковая истина объявляется по телефону.

Нечаянная бесконечность

Я лежу, а вокруг меня непрерывно суетятся, хлопочут люди, люди, люди...

(«Лицо, покинутое ангелом-хранителем»)

Лежа среди людей, героиня Рады Полищук в надежде вернуть ангела-хранителя переходит на французский язык:

«Лямур».

Что?!

«Да-да — лямур».

Родным читателям объясняет:

«Любовь — это такая зараза, не излечишься».

Еще более родным — растолковывает:

«Главное — чтобы это случилось. После не будет ничего — только истерзанная удовлетворенная плоть».

Удерживаюсь от цитирования соответствующих сцен. Соблазн немалый: в прозе Рады Полищук эротические страницы — одни из самых ярких. На радость читателю, который может подумать, что это и есть сверхзадача.

Меж тем сверхзадача Рады Полищук — не в описаниях истерзанной и удовлет-

воренной плоти, а в той загадке бытия, когда встречаются, приглядываются, меняются ролями Я и Я.

Припадают и пропадают.

Припадают друг к другу в круговерти притворных объятий, лживых слов, бессмысленных встреч и прощаний. И пропадают в бездне нечаянной бесконечности, таящей смысл этой круговерти.

Смысл брезжит — в миг любви, которая сцепляет жизнь со смертью. Жизнь в этот миг означает смерть, смерть — возвращение к жизни.

К какой жизни, если эта жизнь все время маскируется в смерть, в шальной разгул, в экстаз соития, после которого люди «сидят, прижавшись друг к другу, и не знают, что же им теперь делать».

Люди, люди, люди... Сторожа и дворники... То ли сторожа собственного Я, то ли дворники, чающие это Я очистить.

От чего очистить?

От того, что скрывается за жужжанием мух, липнувших к сладкому, за кваканьем лягушек, чующих конец света. От пустоты, мороки, скуки. От ощущения плоти, обессиленной в контактах с людьми, то ли реальных, то ли воображаемых.

В реальных — есть что-то древнее, инстинктивное, какая-то звериная дремучая тайна, какая-то природная сила, перечить которой бессмысленно.

В воображаемых — страшно даже подумать, что... если естеством действительно исчерпывается предназначение.

Оно, предназначение, прячется в какой-то другой сфере, в ином измерении. Оно висит в пустоте, таясь и прячась под загадочным Я, которое не дает покоя...

— Если Я — есть, то что же есть — Я?

А ведь что-то есть...

Что?

Нечаянная бесконечность?... Что-то выше похоти и страсти? Что-то, похожее на шелест травы, на шорох ресниц, на всхлип языка...

Нет, оно ни на что не похоже.

«Ноет, воет и течет...»

«Нечто невыразимо, липуче-тягостное, обволакивающее меня изнутри... Что-то, не знаю что... Которого вроде бы и не было... Оно все-таки утекло. А значит — было».

«Быть — было»? Некоторая синтаксическая изысканность такой формулировки все-таки обнадеживает: повторы слов хороши тем, что очерчивают неназываемое.

А назвать хочется...

«Нечто, ну, не знаю, даже слово сразу не могу подобрать...»

«Самосознание»? «Самопожертвование»? «Служение»?

Видением маячит сквозь мельтешащее «конкретное».

Чистое — сквозь нечистое. Непритворное — сквозь притворное. Живое — сквозь неживое.

У Рады Полищук — нестандартный дар видения той реальности, которая бьется в несмирненной мятущейся одинокой душе, и она смеет (и умеет) пронзительно и ярко писать о том, что, по ее словам, «только в кругу анонимных сотоварищей по беде рассказать можно, чтобы каждый понял: он — не одинок, рано еще — вниз головой с двадцать первого этажа, есть выход, быть может, странный (подзаголовок книги, как жанр — «Странные странности»), быть может, — призрачный...»

Кажется, вот-вот ухватишь. Сил не жалко... Только бы не упустить...

Оно того стоит.

Summary

ALEXANDR BUSHKOVSKIY. The Celebration of the Odd Eagles Out

Number «three» seems to have a sacramental meaning for the notion of friendship. At least in the literature (remember the famous «Three comrades» by Remarque, «Three Men in a Boat /To Say Nothing of the Dog/» by Jerome K. Jerome, «Les trois mousquetaires» by Alexandre Dumas). Three friends are also acting in the long-short story by A. Bushkovskiy -- three veterans of the military operations in the Caucasus. Two of them are trying to adjust themselves to the peace-time, the third lives in a monastery. On the SOS-call the two rush to the third

JULIA STONOGINA. Teacher Yamane's Second Half-Year

The scene of this long-short story is set in Japan in winter and spring of 2011. The protagonist, an elderly teacher, in this half-year happens to finish the building of his summer cottage, to fall seriously in love and to endure the Fukushima tragedy when the nuclear power station was gravely damaged by the giant tsunami. This seems to be the first literary work in Russian dedicated to this catastrophe.

IRINA VASSILKOVA. To the Drivers of the Mountain Trolleybuses

«Retribution for the training of my human growth» — thus the protagonist of the long-short story defines the experience she obtained in dramatic collisions which had taken place in her life and are with good sense of humour depicted by the author. «Now I know: if an unexpected wrecking takes place in one's life one can begin everything from the very beginning again», — seem to conclude both the protagonist and the author.

POETRY SECTION

of this issue presents well-known poets and translators, our regular authors: «The Poet»-prize-winner OLESYA NICKOLAEVA with her moving poems on the eternal human values; ALEXANDR TIMOFEEVSKIY with his joyous chastooshka-like poem about a true story taken place in the Zoo of Bulgarian town of Balchik; and the national Lettish poet OYAR VATSETIS with his last poems published after his death and masterly translated into Russian by IRINA TSIGALSKAYA.

VYACHESLAV ZAPOLSKIY. In the Mirror of Perm's Waters

In the genre of travel notes the author narrates about his voyage along the Kama-river. Depiction of the new epoch's distinctive marks alternates with the author's reflections on the past times.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В 2013 году на журнал "Дружба народов" можно подписаться
во всех отделениях Почты России

подписной индекс в каталоге "ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ" —
70250

подписной индекс в зеленом каталоге "ПРЕССА РОССИИ" —
91826

Также можно оформить подписку *online* на страничках журнала
"Дружба народов" в Живом журнале и в Журнальном зале
<http://drujba-narodov.livejournal.com/>
<http://magazines.russ.ru/druzhba/site/podp/>

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой